



ДРУЖБА НАРОДОВ



ДРУЖБА НАРОДОВ 9/2011

- *Лия Стура*
...из Тбилиси в рай —
кратчайший путь
Сонеты
- *Анна Матасова*
Впереди зима
Стихи
- *Гарри Кунцев*
Жил-был Параджанов
Документальная повесть
- *Алексей Малащенко*
Заметки о пространстве,
именуемом постсоветским...
- *Хамид Исмаилов*
Вундеркинд Ержан...
Повесть

9'2011

ДРУЖБА НАРОДОВ



Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

9'2011

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Анна МАТАСОВА. Впереди зима. Стихи	3
Гарри КУНЦЕВ. Жил-был Параджанов. Документальная повесть	6
Лия СТУРУА. ...из Тбилиси в рай — кратчайший путь. Стихи.	
<i>С грузинского. Перевод Марии Фарги</i>	53
Алексей ТОРК. Я собираюсь в Бейрут. Рассказ	56
Хамид ИСМАЙЛОВ. Вундеркинд Ержан. Повесть	62
Айгерим ТАЖИ. По вечной канве. Стихи	101
Лявас КОВАРСКИС. Похороны учительницы танцев. Повесть.	
<i>Слитовского. Перевод Тамары Перуновой</i>	104
Современная армянская поэзия в переводах Георгия Кубатьяна	
Акоб МОВСЕС. Первопричина; МЕРУЖАН. Из бездны	123
Павел АНТИПОВ. Дача. Рассказ.	128

Нация и мир

Алексей МАЛАШЕНКО. Заметки о пространстве, именуемом постсоветским, и о том, что там делает Россия	135
Алексей УСТИМЕНКО. Остаются, чтобы уйти...	153

Публицистика

Саодат ОЛИМОВА, Музаффар ОЛИМОВ. Человеческий капитал в Таджикистане. Итоги двадцати лет независимости	160
--	-----

Ночь и судьба

Роберт КОНДАХСАЗОВ. Незаконченные тетради.
Фрагменты из книги воспоминаний **169**

Критика

Тамара ГУНДОРОВА. Симптом «больного тела».
Постсоветский украинский роман.
Сукраинского. Перевод Андрея Пустогарова **189**

Школа перевода
Вячеслав ШАПОВАЛОВ. «Материнских слез не видел я...».
«Превратности метода» в переводах из Алыкула Осмонова **200**

Книжный развал

Валентин КУРБАТОВ. Проповедь исповеди **208**
Георгий КУБАТЬЯН. На последнем берегу **212**
Ольга БАЛЛА. Правила непринадлежности **217**

Эхо

Блаженство увечья. Рубрику ведет Лев Аннинский **221**

Summary **224**



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (МФГС)

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Наталья ИГРУНОВА, Галина КЛИМОВА,
Владимир МЕДВЕДЕВ, Фарит НАГИМОВ (заместитель главного редактора)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Вячеслав АР-СЕРГИ, Сухбат АФЛАТУНИ, Муса АХМАДОВ,
Резо ГАБРИАДЗЕ, Алла ГЕРБЕР, Денис ГУЦКО, Иван ДЗЮБА, Валерий ИСХАКОВ, Александр
КЛЯЧИН, Валентин КУРБАТОВ, Ольга ЛЕБЕДУШКИНА, Давид МУРАДЯН,
Захар ПРИЛЕПИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Валери ТУРГАЙ, Сергей ФИЛАТОВ, Эльчин,
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

© «Дружба народов», 2011

Анна Матасова

Впереди зима

Температура

Расскажи мне сказку про черную колыбель.
...Смоляная речка текла, чешуя к чешуйке,
И змеились ветки, дома заметала бель,
И горели книжки в буржуйке.

И вздыхала мама, темнели зрачки в дыму,
И качала мама рукой шершавой
Волчью землю, где пеленали тьму
Человечьей кожей, колючкой ржавой.

За рекой топтался рогатый лес.
По следам отца, человек рожденный,
Ты бежишь, и горло твоё — разрез
Черный.
Черный.
Черный.

Вспомни что другое — малину, зной,
Пальцы в соке, губы в ключичной ямке,
На балконе девочку, выпускной,
Малыша в панамке.

В колыбели черной, в седой стране,
Снова мертвые проплывают мимо.
Баю-бай, рассказывай обо мне —
Я была любима.

* * *

Тут Рамшан и Джамшуд приехали на халтурку —
Все «пад клуч», а ключики — под ключицу.
Вот и черный кофе льется в медную турку,
Вот и медный таз в подгоревший ноябрь стучится.

Хорошо, что стройка, известь, бетон, белила,
У виска — шуруповерта стальное жало...
Нарисуй мне море, неслабо тогда штормило,
Поцелуй, плечо соленое, и сбежала.

Отчего ноябрь над тобой, словно мать-тереза?
Мед, лимон, горчица, перец, мокрая кожа ...
Соль и жар, и горечь высоси из пореза —
Все равно любовь только на смерть похожа.

Все равно зима, а ремонт тебе только снится —
Синька, шторм, рапаны, фотки твоих мальчишек.
Все равно к утру захочется застрелиться
И похмелье хлынет из разорванных книжек.

* * *

Промокший черный корявый ствол
И яблочный детский рот.
Когтистый месяц, известь, раствор —
Ноябрьский переворот.

И, перевернутый, видишь тьму
Всю в яблоках золотых.
Ну кто сорвет тебя и кому
Онега споет — бултых?

А ты качаешься, гибкий прут,
На краешке облаков.

Откройся, кто тебя держит тут —
До крови, до синяков?

Вдруг те, кто темень зовут — зимаааа,
Цепляя пуховики,
Вдруг те, кто носят в руках дома,
Полные требухи?

Там выгрызают нам животы
Красные корешки,
И сшиты намертво наши рты —
Поцелуй, стежки.

Два ствола

Я режу ночь пополам, ломаю ночь пополам,
Пусть будет по-братски все — горбушка, яблоко, тьма.
Но первый розовый снег уже забит по стволам,
По яблоневым стволам, в которых дымит зима.

Ты говорил — танцуй, я отвечала — снег,
Дым заплетал язык, волчий очес, трепло.
Выруби чайник, мобилу, радио, интернет,
Выруби свет, сначала было тепло.

Сначала ты долго гладил по животу,
Блуждал в трех родинках на спине.
Утром проснешься в розовом снежном саду
Яблоком золотым, в черном дымящем не...

Ладога холодна — в бане зато жара.
Выруби свет, выруби сонный сад...
Мир начинался у твоего бедра,
Яблочный мир, без дымовых засад.

Там, где кошачий шарик луны,
Там, где собачий джаз.
Снежные колтуны,
Крапчатых яблок таз.

Теперь ты мчишься на вороном паровозе, под вороной трубой,
Вертишь дымящий ствол между гранитных губ.
Дымные волки воют тебе — отбой,
Красные звезды режут мазутный круп.

Какие ж вы, мальчики, страшные дураки!
Сколько сожженной нежности, боже мой...
Мне снится — я твоего вороного кормлю с руки,
Яблоком золотым
черной-черной зимой.

* * *

Ты стоишь по колено в Питере,
В серебре болот,
Серой шкурой, кошачьим свитером
Прикрывая рот.

А Фонтанка фыркает у «Пятерочки»,
Дребезжит трамвай.
Я люблю тебя до шершавой корочки —
Отрывай.

Ржавый ветер растяжки шлепает,
По маршруткам тьма.
Сфинксы щурятся в пролетарской копоти —
Впереди зима.

Впереди она, безголовая —
Черный мех, белый пух.
Пшениный дождик клюет Садовая
На руках старух.

Я грызу эскимо на палочке,
И пишу в сети:
«Я люблю тебя до последней ласточки...
Все, лети»

* * *

Отчего-то море зимой слышнее,
Если лед расшаркан до синяка,
И сдается вымокшей малышне и
Заживает радостно у ларька.

Отчего песок его даже в чае,
А прибрежный рев — в дымовой трубе?
— Слышишь, море, я по тебе скучаю...
Я свихнусь от нежности по тебе.

Возле уха — раковина рапана:
— Слышишь море?!
— Я слышу тебя, алло...
— Я скучаю дико, зима, погано...
— Прилетай, я выслало НЛО.

Гарри Кунцев

Жил-был Параджанов

Документальная повесть

Говорят, что Параджанова уже нет, что он когда-то умер... Может, в это кто-то и верит, но не я. Он уже умирал. Столько раз! И всерьез.

А однажды, выйдя из тюрьмы, даже устроил себе грандиозные похороны. С панихидой, с речами о себе, с траурным шествием по улицам, с поминками, когда пришли все друзья и недруги, недруги и друзья, которых он не отличал друг от друга, и тех и других одаривая одинаковыми порциями неизбывной доброты.

На катафалке был укреплен его портрет в траурной рамке. Он шел рядом, скорбно сложив руки на груди. И на вопрос встречных: «Кого хоронят?» — со спокойным достоинством отвечал: «Сергея Параджанова...»

И встречные покачивали головой, поверив...

Ведь незадолго до того в газетах и впрямь промелькнуло сообщение, что «кино-режиссер Сергей Параджанов скоропостижно скончался» на таком-то году своей такой непонятной, несерьезной, нестандартной жизни, которой нормальному гражданину в советской стране жить не рекомендовалось...

Он со смехом показывал мне фотографии тех похорон. Он часто смеялся, говоря о смерти. В открытую звал ее в свою жизнь. В свой неугасимый карнавал, которым дирижировал так неистово! И я не хочу верить, что сквозь звон и грохот этого карнавала Она все же расслышала его зов.

Для меня параджановский карнавал начался давно, еще в детстве.

По древним улицам Телави, сохранившим тепло и уют старины, неспешно бродил невысокий плотный человек с острой бородкой, придававшей ему облик то ли сказочника, то ли фокусника типа Калиостро.

Он всматривался в низенькие дома, в узоры висячих балконов, в ковры, развешанные по перилам на просушку, от пестрых узоров которых и дома и улицы становились нарядными и веселыми.

Чаще всего человек останавливался возле церкви за мостом. Перед нею он стоял долго. Запрокинув голову, с грустью смотрел вверх, где оштукатуренная шея храма с сиротливой оголенностью ежилась от пронзительного ветра, рвущегося с Кавкасиони.

Головы у церкви не было. Кто-то единым махом отсек ее гигантской саблей, и унесла ее куда-то река Алазани...

Человек протягивал к седым камням руку, подрагивающими пальцами трогал их, лаская. Заметив меж камней сухую траву, яростно вырывал ее, чтоб змеиные корни сорняка не разъедали стены.

Я уже знал его имя. Наизусть знал его потрясающий фильм «Тени забытых предков». И ходил за ним по пятам, с удивлением наблюдая, как он все время что-то подбирает с земли. Цветную стекляшку, старую куклу, птичье перо... Я не знал тогда, как много умеют его руки! Как умеют они рисовать, писать, шить поразительные шляпы, одевать, порхать, взлетая над головой, проигрывая перед актером роль, на секунду падать вниз, умирая, и снова с непостижимой легкостью взлетать, не сдаваясь...

Окончательно фильм рождается на пульте перезаписи, где в кадры вливается звуковая кровь: музыка, шумы, речь. Обычно за пультом рядышком сидят «акушеры» — режиссер, композитор, звукооператор.

Режиссер дает команды — где усилить музыку, где усилить тишину, а где все перекрыть речью. Композитор высказывает свое, стараясь, чтоб музыки было побольше.

Звукооператор, кроме всего, старается еще и свои идеи протолкнуть. Процесс, одним словом, нервный, кропотливый, на износ. У Параджанова же все было не так, как у нормальных режиссеров.

Первое, что он делал, войдя в зал перезаписи, — заклеивал все приборы, по которым я следил за уровнями громкости. И когда я пытался было напомнить ему о «правилах технического приличия», он неизменно отвечал: «Вот как раз за нарушение каких-то там дурацких норм мы и получим с тобой Оскара!»

После такого заявления с грохотом садился впереди пульта, поднимал обе руки вверх, совсем как дирижер, и добавлял: «Ты только ни о чем не думай, ни в чем не сомневайся, будь уверен в одном — мы с тобой гении и сейчас это докажем! Только следи за моими руками и делай то, что они тебе скажут!»

И — потрясающее дело! Они действительно говорили!.. Кричали... шептали... Удалялись, вливаясь в экран. Опять возвращались ко мне, навертев там полнейший хаос, затем, при спокойном прослушивании, оказывавшийся сложным сплавом, который раньше мне не удавался и который уже невозможно было снова разложить на составные косточки — так он гармонировал с изображением, которое Параджанов задумал и родил до меня.

Он не любил повторов, репетиций. Все рождалось здесь, стихийно, без глубокомысленных потуг, от сердца. Он тут же кричал, смеялся, плакал... От радости за необычную нотку падал на колени, целовал руки. Тут же что-то дарил «на вечную память за гениальную работу», за просто так... Боже, как он любил что-то дарить! И как он умел это делать! И обижался, как ребенок, если его подарок не принимали.

Не забуду, как обиделся он на Киру Муратову, когда в Баку, в номере гостиницы, где мы собрались у Параджанова после фестивального просмотра ее фильма, он вдруг положил перед нею богатую меховую накидку, которую ему «привезли из Парижа». Накидка Муратовой очень подошла, и Сергей, не задумываясь, воскликнул: «Кира! Ты прекрасна! Она твоя!»

Муратова заявила, что она не может принять такой дорогой подарок, Параджанов надулся и потом, в Тбилиси, много раз вспоминал это и с ребячливой обидой спрашивал: «Почему она не взяла?.. Я ведь от души».

В Телави, в моем детстве, мы встретились с ним лишь однажды.

Я не любил кататься на каруселях. Мне было жаль их. За то, что скамеечки, подвешенные на длинных цепях, привязаны к столбу и не могут улететь.

...Целый день лил дождь, и дядя-карусельщик где-то запоздал. В парке никого не было. Карусельные скамеечки тихонько стонали в мокрой скуке.

Я подошел к заборчику, прислушался. Жалобнее всех стонала зелененькая скамеечка. Стонала не от холода. Я смотрел-смотрел на нее и понял — она плакала... Плакала оттого, что в тот день не крутилось колесо и она не могла еще раз попробовать улететь!

Я тронул ее рукой. Она радостно пискнула в ответ. Я тронул ее снова. Она с готовностью качнулась. И тогда я стал раскачивать ее!

С каждым махом она отлетала от меня все дальше, все выше. Цепи натянулись, зазвенели и...

— Что, парень? — пробурчал за спиной карусельщик. — Покататься захотелось?

Я еще раз осторожно толкнул скамеечку, цепи обреченно звякнули.

— Отпустите ее, а? — попросил я.

— Кого? — удивился карусельщик.

— Вот эту скамеечку, — на полном серьезе ответил я. — Она давно уже хочет улететь отсюда.

— Улететь?! — Карусельщик даже оглянулся на скамейку. — Куда?! Зачем?!

— Туда! — показал я на небо.

— А что ей там делать? — Карусельщик с опаской подергал цепь, убедился, что скамейка пока на месте.

— Может, надоело ей... — пожал я плечами.

— Что надоело?

— Крутиться и крутиться... Или парк этот надоел.

— Э-э, браток, — вздохнул карусельщик. — Каждый из нас приходит на этот свет, чтобы крутиться и крутиться... Кто в парке крутится, кто в небе... Такова... эта самая, философия!

— Хорошо мыслишь, философ, — ехидно вмешался кто-то в наш разговор.

Я оглянулся.

За спиной стоял Калиостро.

— Парень правильно говорит — отпусти ее. На одну скамейку не пообедаешь, — поддержал он меня.

Карусельщик смотрел на нас, как на больных.

— Да вы что?! С ума все посходили, что ли? — фыркнул он.

— Ну ладно, тогда давай так... — Калиостро достал из кармана десятку. — Продай нам ее, а мы уж сами придумаем, где ей крутиться.

Карусельщик мельком глянул на купюру, скривил рот.

— На это даже гвоздей не купишь для такой скамейки.

— У меня больше нет, — не отступал Калиостро.

У меня денег не было тем более.

— Нет — так обойдетесь без нее. — Карусельщик больно ткнул зеленую скамейку кулаком и полез куда-то в мотор.

— Вот такие-то «философы» и рубят церквам головы... — тихо проговорил мой новый друг и медленно пошел себе дальше, на ходу приклеив купюру к мокрому боку скамеечки.

— Что-что?! — выскочил карусельщик из кабины. Но, кроме меня, в парке уже никого не было. — Ходят тут всякие...

— Он не всякий... — начал было я и хотел объяснить, что это кинорежиссер Сергей Параджанов, что в нашем городе он снимает фильм «Цвет граната», что он...

Карусельщик, заметив десятку, старательно отклеивал ее, и это занятие и без моих объяснений успокоило его философскую душу...

...Прошло много лет, прожитых нами в разных плоскостях. Я совершенно не знал, где и как проживал свою «плоскость» Параджанов, и никогда, ни в каком, даже в самом цветном сне не мог предположить, что наши судьбы рано или поздно переплетутся-таки в бесконечном океане, которым для меня всегда являлось кино.

Но в моей биографии достаточно много счастливых случаев. Одним из них, например, и, может, самым важным для всей остальной судьбы, был тот, когда мне, совсем еще неопытному новичку, директор киностудии «Грузия-фильм» Резо Чхеидзе вдруг доверил самостоятельную работу над первым многосерийным фильмом грузинского кино «Дата Туташиа».

Работа была сложной, престижной, на нее претендовали более заслуженные звукооператоры нашей студии, но Резо Чхеидзе всегда обладал редким для творческого человека качеством — он доверял молодым, не завидуя никому. неизменно, по мере сил и возможностей, а частенько даже сверх этого, он старался поддержать

«киношника» во всех его начинаниях, многие поколения «новобранцев» киностудии обязаны ему тем, что им был дан шанс, большой, серьезный шанс сказать свое слово.

«Дата Туташиа» оказался моим шансом, счастливым паролем.

Режиссеры, узнав, что я работал над этим фильмом, стали охотно звать меня в свои картины. Посчастливилось поработать и с самим Резо Чхеидзе, автором неувядаемого фильма «Отец солдата», была совместная работа с болгарскими, я пробовал писать сценарий, за несколько лет после дебюта у меня уже сложился солидный список озвученных лент.

Во время записи синхронных шумов для фильма «И падал снег над белыми садами...» режиссера Гоги Левашова-Туманишвили меня позвали к телефону. «Резо Чхеидзе хочет с тобой поговорить», — сказал мой ассистент, и меня, честно говоря, удивило: как Чхеидзе меня нашел? Работа шла на телевидении, на киностудии никто об этом не знал, кто же мог ему дать номер телефона крошечного шумового ателье?

Впрочем, вопрос этот меня мучил недолго, уже на второй секунде размышлений я вспомнил, что Резо Чхеидзе — член ЦК, а для людей такого ранга отыскать скромного звукооператора в любых дебрях особого труда не составляло.

На следующей секунде меня заинтересовало другое: зачем так срочно понадобился скромный звукооператор члену ЦК... Впрочем, тут же интуиция шепотом подсказала, что меня, скорее всего, ждет еще один счастливый случай: до тех пор никогда Резо Чхеидзе не разыскивал меня так срочно ради какого-нибудь нехорошего известия. Интуиция не подвела.

— Гарри, как там дела? — спросил директор для проформы.

— Все в норме... — ответил я, как и положено дисциплинированному работнику.

— Это хорошо, — остался доволен директор. — Значит, так... Ты, конечно, знаешь Сергея Параджанова?

— Изучал его в институте, — скромно признался я. Ведь не стал бы я рассказывать занятому государственными проблемами члену ЦК историю из своего детства!

— Придется тебе познакомиться с ним поближе. Он начинает фильм на нашей студии, давно не снимал, сам понимаешь... мы должны всячески помочь. Работать с ним направляем лучшие силы. — Голос Чхеидзе был негромок, но я с удовольствием расслышал, что я тоже в числе «лучших сил».

Но тут же нешуточные сомнения заставили меня вновь разволноваться.

— Спасибо за такое предложение, батоно Резо, но-о... — неуверенно протянул я, прекрасно понимая, что навлекая на себя гнев всемогущего директора: он не терпел сомнений и отказов в любом его начинании.

— А в чем дело? — Голос в трубке незамедлительно зазвенел сталью.

— Он же умер... я сам читал... недавно. И еще... работать с самим Параджановым? Мне?! Я, наверное, не смогу...

— Не знаю, какой там у них Параджанов умер, но настоящий Параджанов сидит сейчас передо мной и требует такого звукооператора, как ты! Завтра в одиннадцать сбор группы.

Гудок отбоя дал понять, что вопросов больше ни у кого не осталось и что в моей судьбе уже завершился новый, и по всей видимости довольно крутой, виток.

На следующее утро, в одиннадцать, явившись на сбор группы в киностудию, я обнаружил, что кроме меня с Параджановым встречались еще двое — актер Додо Абашидзе и мой ассистент Миша.

Параджанова я сперва не узнал. Растолстевший, в неопрятном, протертом на локтях свитере ручной вязки, в давно не чистенных ботинках, заросший густой, наполовину седой неухоженной бородой, облысевший, обрюзглый, напоминающий огромную перезревшую тыкву, он совершенно не походил на таинственно-элегантного «Калиостро», который не так уж и давно, все еще в одной и той же жизни, с таким достоинством выкупал скамеечку из карусельного плена. А меня он и не пытался узнать, он уже не знал, что мы с ним когда-то встречались. Как раз для него-то все это было совсем в другой плоскости...

Сергей был весел, сыпал шутками беспрестанно. Держа Додо и Мишу под руки, размягченно прохаживался у входа на старую студию.

Это в центре Тбилиси.

«Старая киностудия» — красивое, стройное здание, в котором рождались все шедевры грузинского кино, из ворот которого на любимый тбилисцами уютный, очень свойски-домашний проспект Плеханова выходили после съемок Нато Вачнадзе и Дудухан Церодзе — истинные звезды еще немного, еще неловкого, но уже такого смелого и рискованного экрана, и весь транспорт по восхищенному требованию пассажиров останавливался, пассажиры принимали к окошкам трамваев, провожая влюбленными взглядами своих кумиров, а мужчины, которым посчастливилось в тот момент оказаться в непосредственной близости от этих женщин, гордо выпрямившись, замирали, склонив голову и приложив руку к сердцу, показывая этим остальному миру, что они готовы весь этот мир по первому же знаку грузинских красавиц положить к их ногам немедленно и целиком.

Грузинское кино всегда было счастливым. Его любили. В нем было много красивого. И доброго. И умного. Оно было счастливым, потому что было желанным.

Я ни на секунду в жизни не пожалел, что всю свою судьбу связал с ним, оно подарило мне много-много гордости. Где бы я ни был, с кем бы ни встречался, стоило мне сказать, что я работаю на киностудии «Грузия-фильм», лица у людей мгновенно светлели, становились добрее, улыбчивее, отношение ко мне явственно менялось, я мгновенно вырастал в глазах собеседника. От такого трогательного уважения к киностудии мне самому добавлялось самоуважения, и даже сейчас, когда в Грузии разруха и голод, когда людей заставляют терять человеческий облик, когда прекрасные проспекты превратились в навозные свалки, а знаменитые павильоны студии отданы под колбасные цеха и цеха для розлива фальшивого шампанского, чтоб киностудия имела возможность расплачиваться за пользование электроэнергией, когда люди больше не узнают в лицо актеров (невозможно поверить, но это потрясающий факт: в Грузии, славящейся своей культурой и талантами, на наших глазах, на исходе XX века, который-то и породил в нашей стране кино, уже выросло поколение людей, которые за всю свою жизнь ни разу — ни разу! — не были в кинотеатре!) и гордым мужчинам некогда провожать восхищенными взглядами красивых женщин, потому что они вынуждены целыми сутками таскать со складов на базары турецкий товар, чтоб заработать несколько монеток на хлеб семье, — даже в такой вот черный момент истории слово «киностудия» продолжает оставаться символом яркой сказки, той самой, в которой обязательно бывает добрый конец.

Даже сейчас, в эпоху всеобщего маразма, в который превратили нашу жизнь современные правители, я никогда и нигде не встречал в Грузии человека, который не любил бы свое кино. Даже такое вот больное, обнищавшее, разоренное и униженное сегодняшнее кино... Господи, какое счастье, что оно не умеет мстить!

И надо отметить поразительный факт: и в тот далекий день, когда пожизненно опальный, но временно «великодушно» помилованный Параджанов начинал свой новый фильм «Легенда о Сурамской крепости», и сегодня, в январские дни 2001 года, в первые дни нового тысячелетия, когда пишутся эти строки, всю власть в Грузии, неограниченную, всеильную, держала и держит в своих цепких руках одна и та же личность — Эдуард Шеварднадзе.

Тогда он был первым секретарем ЦК Компартии Грузии, сейчас он — президент.

А поразительно для меня вот что: тогда, четверть ушедшего века назад, этот действительно неординарный человек, сумевший-таки развалить не только средней высоты берлинскую стену, но даже такой колосс, каким был (или, во всяком случае, казался в глазах остального мира) Советский Союз, проявил истинную заинтересованность в дальнейшей судьбе Сергея Параджанова.

В отличие от таких же, как он, «хозяев» и Украины, где Параджанов создал свой бессмертный шедевр «Тени забытых предков», и Армении, боль и красоту которой он так возвышенно и трепетно воспел в «Цвете граната», не посмевших в угоду кремлевским вождям после выхода Параджанова из тюрьмы приютить, пригреть, поддержать гения, дать ему возможность вновь воспрянуть в любимом искусстве, — в отличие от

них Шеварднадзе в то время не просто безбоянно, без сомнений и оглядок приютил Параджанова в своей «вотчине», но и настоятельно потребовал, чтоб режиссеру создали все условия для творческой работы.

Этого из биографии партийного босса Шеварднадзе не вычеркнешь, это — было!

Так же, как было рождение по его, необъяснимой тогда, инициативе фильма «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, который взорвал устои диктаторства с такой яростью, что зрители нашего огромного Союза поеживались, предчувствуя неизбежность ответного беспощадного удара системы, который, как ни странно, почему-то не последовал, — может, к тому времени и сама Система уже начала что-то соображать, может...

Но Шеварднадзе первый сказал этим фильмом во весь голос то, что считал нужным сказать, и сделал это достойно. Так же, как много достойного он сделал в те годы вообще для грузинского кино.

Но не найти никаких объяснений тому, что именно во времена его нового ампула, его президенства в той же стране, где он уже был и царем, и богом в более опасную для вольнодумия эпоху, грузинское кино перестало существовать. В прямом смысле этих страшных слов!

Оно умерло на наших руках, умерло совсем как живое существо — в столах от бессилия, в агонии от безнадежности, и боль во сто крат сильнее от мысли, что наше кино убило не оскудение талантами, не иссякание душевных нот — оно умерло от примитивного непрофессионализма сегодняшних «царьков», только и сумевших, что создать вокруг подлинный мрак, в котором так легко раздавить собственный народ, отняв у него культуру, спорт, науку. Великая все же сила — мрак! В нем даже слабенький огонек спички может показаться подлинным Светочем...

...Во время операции его легкое раскрошилось в руке хирурга.

Хирург был невиноват. Жизнь превратила дыхательные органы Параджанова в тончайшую скорлупу, которая не выдержала бы прикосновения даже крыла бабочки.

— Легочную труху выкачивали из меня специальным пылесосом, — рассказывал мне Параджанов, показывая огромный лиловый шрам, пересекавший его живот, словно экватор на безмерно раздутом глобусе.

Он прекрасно понимал, что доктора ни в чем не виноваты, но считал-таки, что даже в этом была замешана воля власти, которую он так ненавидел.

— Не случайно это, нет... Почему у меня не отказали глаза, слух, голова? А именно — легкое?! Они перекрыли мне воздух!.. Да-да! Знают, сволочи, что без воздуха мне конец!.. Мало им того, что абортировали меня из кино на пятнадцать лет, — они решили перекрыть мне воздух навсегда!

Это был наш последний разговор. Вскоре его отвезли во Францию, которая тоже ничем не смогла ему помочь...

...А в первый день, во дворе «старой» киностудии, Параджанову представил меня мой ассистент.

— Вот это и есть мой шеф! — слишком уж громко прокричал Миша, всегда выделявшийся неадекватной реакцией на происходящее.

Он резво подбежал ко мне, взял за руку, как маленького, и с подчеркнутой уважительностью подвел к режиссеру.

— А-а!.. — с язвительной улыбкой похлопал по моему плечу мягкой ладошкой Сергей. — Слава богу, соизволили прислать мне звукооператора! А я уж думал, что творю немой фильм! Почему скрываешься от меня? Боишься?

— Зачем мне скрываться? — пришлось улыбнуться в ответ. — Наоборот... Польщен доверием. Только вчера мне сказали, и вот я здесь.

— Ха! — повернулся Параджанов к Додо Абашидзе. — Целый месяц требую у Чхеидзе звукооператора, а ему, оказывается, только вчера сказали! Все стараются меня облапошить!

Я не успел сообщить, кого он имеет в виду — меня или начальство киностудии, —

как Параджанов уже переключился на новый объект. Во двор величаво вплывала удивительно красивая женщина.

— Кора! — с надрывом в голосе театрально протянул к ней руки Сергей. — Где ты, где?! Заклевали меня совсем! Какие-то тексты хотят, бездари!.. Напиши им что надо!.. У меня же в крови сахар — триста!.. Какие могут быть тексты у больного режиссера?! — С несчастным видом Сергей целует в щечку Кору Церетели, нашу «принцессу киноводства», как называл ее Параджанов, и мгновенно его лицо вновь озаряется жизнерадостностью и интересом к жизни — он увидел на пальце «принцессы» изящное кольцо старинной выделки. — О-о! Откуда такая прелесть?!

Он поднес палец Кору к своим глазам поближе, покрутил палец туда-сюда, приценивающе сощурил глаза и безошибочно выдал всю биографию кольца: имя мастера, год рождения кольца, его стоимость и даже несколько имен прежних хозяев. Коре оставалось лишь на все согласно кивать.

У Параджанова это было в крови. Никто лучше его не умел оценить любую вещь. Торговля бриллиантами и золотом считалась семейным делом семьи Параджановых. Весь Тбилиси знал, что в любое время суток в их доме можно было купить драгоценности. Когда отца в очередной раз «высылали строить Беломорканал», торговлей ведала мать Сергея.

— Это была умнейшая женщина, — отзывался о ней Параджанов. — Никто не мог обвести ее вокруг пальца, ни в каком вопросе. Дома во входной двери было специальное окошко. Мама через то окошко сперва внимательно рассматривала пришедшего за покупкой клиента, а потом решала, открывать ему дверь или нет. Если клиент ей чем-то не нравился, ни за какие деньги она ему товар не давала.

Однажды пришли трое. Здоровые были парни, небритые, неулыбчивые, по всем статьям типы подозрительные. Но мама им почему-то дверь открыла. «Нам нужны бриллианты», — заявили они. Мама согласно кивнула, предложила гостям присесть к столу, над которым нависала огромная люстра, освещавшая комнату дюжиной лампочек. Сама вышла в спальню, откуда и вынесла мешочек с разнокалиберными бриллиантами. В другой же руке она держала зажженную керосиновую лампу.

Клиенты удивленно переглянулись, но мама невозмутимо приступила к делу. Умело рассортировала камешки, назвала цену каждого. Парни действительно оказались платежеспособными, выбрали, что им хотелось, аккуратно расплатились, и лишь у самого порога один из них не выдержал, повернулся к ней:

— Скажите, пожалуйста, если не секрет. У вас в комнате такой яркий свет, такая прекрасная люстра, а вы еще и керосиновую лампу зажгли зачем-то...

— Какой там секрет! — усмехнулась мама. — Вас трое, здоровенных и незнакомых. У меня на ладони — такое богатство. Вы берете его рассмотреть, а тут вдруг отключают свет! Вы бегом за дверь, и уж куда мне за вами угнаться... Для этого и зажигаю на всякий случай керосиновую лампу.

— Какая умная женщина! — восхитился широкоплечий клиент, а мама, прикрыв за ним дверь, тихо проговорила:

— Попробуй не будь умной без мужчины в доме...

...Съемки «Легенды о Сурамской крепости» начались с курьеза.

Параджанов не требовал никаких синхронных записей на съемочной площадке, ему не нужна была «черновая» фонограмма, которая помогает режиссерам при монтаже, а потом и актерам при окончательном озвучании смонтированного фильма. У этого режиссера существовало свое кино, в котором общепринятые методы и законы абсолютно игнорировались.

Какие-то «системы Станиславского», «репетиции с актерами», «поиски характерного грима», «сквозное драматургическое действие», «предварительные раскадровки» и прочие киношные термины придуманы были не для него. То, что сейчас называют «мир Параджанова», — это мир Параджанова, и никаким заранее продуманным и придуманным раскадровкам мир этот не подчинялся.

Не знаю, может, по ночам и снились режиссеру те краски и мизансцены, которые утром он оживлял на площадке, но я не помню, чтоб он на съемке держал в руках сценарий или прогонял с актером будущую сцену; все, что мы потом видели на

экране, возникало в его сознании вот тут, на этом месте, рядом с тобой, в эту секунду, что-то вспыхивало в нем только тогда, когда хотел он этого сам. Смешно было слышать стенания начальства, требовавшего от него аккуратного выполнения «календарного плана», «экономической сметы», «технологической последовательности съемочного процесса». Редкий начальник мог понять, что сказки и фантазии, легенды и видения, рождающиеся в таких душах, какая была дарена Сергею небесами, неподвластны ни графику, ни смете, ни скучной логике, они потому-то и будоражат, волнуют, возвращают в яркое детство того, кто готов настроиться на волну его ауры, что вырывают тебя из серости, из обыденности, из установленной кем-то покорной размеренности.

«И что это за жизнь, если нет принципа и каприза!» — прокричал он в одном из писем.

Это и было его кредо. То самое, которым он раскрепощал и тебя.

В нем клекотало поразительное умение внушать — он умел заставить тебя поверить, что ты тоже гений, что дело, которое ты делаешь, самое нужное на свете, он придумывал в фильме какой-нибудь никогда не существовавший в жизни мифический фольклорный обряд, и серьезные, научно настроенные киноведа тут же начинали создавать многостраничные труды о роли этого обряда в истории народа и его общественно-моральном развитии на протяжении нескольких веков...

Ничего, кроме улыбки, не вызывает у меня «открытие» подобного рода, которое я обнаружил в одной из статей, опубликованных в уважаемом издании:

«...Параджанов подходит к явлению тембровости в его традиционном, красочном значении. Импрессионистские парные понятия «звук — цвет», «тембр — краска» реализуются Параджановым согласно его индивидуальным представлениям — насколько индивидуален внутренний слух человека. Этот особый процесс взаимодействия разных органов чувств, в итоге порождающих новую способность восприятия, психология определяет как синестезию. Одной из ее своеобразных форм — визуализация слышимого — является цветной слух... Сергею Параджанову, думается, как и другим кинорежиссерам (к примеру, Микеланджело Антониони), также был присущ цветной слух. Он воспринимал цвет темброво и тонально, поэтому его «озвучивание» происходило не спонтанно, а по определенной логике».

Цветной слух, наверное, у Сергея действительно был — от него всего можно было ожидать. Но вот относительно логики, да еще в «озвучивании»!.. Все происходило гораздо проще, уважаемые, гораздо проще. Какая там «визуализация слышимого»? Сергей смонтировал «Легенду о Сурамской крепости» за полторы смены, затем позвал в монтажную меня и крикнул с порога, убегая по своим более важным делам:

— Я сделал свой шедевр! Теперь можете его портить!..

— Да, но!.. Сергей! Подождите! — спешу за ним. — Когда портят такое, режиссер должен быть рядом! И еще... У нас даже титровой музыки нет! Надо что-нибудь придумать!

— Придумай! Вы же гении здесь все!

Пришлось придумывать...

Сюжет фильма основан на легенде о том, что в древней Грузии долгие годы строили Сурамскую крепость, стены которой по неведомой причине все время рушились. Тогда обратились к гадалке. И она нагадала, что, пока в стене крепости не замуруют мальчика по имени Зураб, стена будет разваливаться.

Интрига заключается не только в патриотизме семьи мальчика, которая согласилась ради любви к родине пожертвовать единственным сыном, но и в том, что гадалка и отец мальчика когда-то любили друг друга, но так уж повернулась их судьба, что они вынуждены были расстаться. И гадалка таким жестоким способом решила отомстить своему возлюбленному. Зураба замуровали в стене, и крепость действительно простояла несколько веков, охраняя Грузию от врагов.

Легенда красивая, фильм у Параджанова тоже получился, как всегда, красивый, но мне от этого было не легче.

Я впервые столкнулся с материалом, в котором почти все кадры были внешне статичны. Каждый кадр в отдельности представлял собой завершенный коллаж, который можно было бы вставить в соответствующую рамку и отправить на выставку

любого ранга. Но эту «коллекцию коллажей» необходимо было «взорвать» звуковым рядом изнутри. Взорвать не просто ради эффекта, не просто ради добавления каких-то эмоций. Как раз наоборот, цветовых эмоций на единицу кадра было столько, что все это требовалось «разбавить» текущей своим руслом — где в параллель, где в контрапункте — особой звуковой драматургией, которая отразила бы принципы параджановского метода, заключающегося не в показе-действии, устремленном к сюжетной кульминации, а к длительным стояниям-размышлениям, проникающим в глубины зрительского сознания и подсознания.

Необычность картинно оформленного кадра в фильме порождена любовью Параджанова к Востоку, его неутолимим восточным мировосприятием времени-пространства, восточной созерцательностью, сопровождаемой отрешенностью от бытовой суеты и погруженностью в абстрактное размышление.

И вот тут-то еще одной трудной задачей передо мной стала необходимость «связать» в гармоничное целое не просто видимую статику и звуковое движение, важнее было сплести в единый узор тот Восток — костюмы, пластику героев и «певучесть» цветов, которыми буквально упивается режиссер в фильме, — и грузинскую ткань легенды.

Ведь действие происходит в реальном месте, легендой воспевадается грузинский менталитет, способность грузина на любые жертвы ради свободы. Повесть о Сурамской крепости с пленок знает у нас каждый, и далеко не каждый адекватно воспринял бы то обстоятельство, что ожившие на экране любимые герои вдруг оказываются в одеждах людей другой веры, что в их речи звучат непривычные интонации и к тому же режиссер посмел изменить даже сам облик главного действующего лица, Зураба, который у Параджанова не маленький мальчик, как это было в литературном первоисточнике монаха Чонкадзе, а уже зрелый юноша, который сам решает замуровать себя в стене крепости. Режиссер посчитал, что, когда читаешь о том, что маленького человечка приносят в жертву, — это одно, но когда видишь это «в натуре» — совсем другое: это может вызвать просто шок, а не патриотический восторг перед подвигом отца и матери.

Жертвовать собой или нет, даже во имя самых высоких целей, — это должен решать сам человек, хозяин своей жизни, своей судьбы. И тут не важно, во что он одет, в грузинскую хоху или в старое восточное платье. В этом, думается, авторы фильма правы. Объект для подражания должен вызывать желание подражать...

Когда в фильме Зураб в исполнении актера Левана Учаниешвили — высокий, плечистый юноша, еще не воин, но уже не ребенок — без колебаний и громких слов выполняет свое предназначение, я верю ему. Но совсем иное дело, если бы вместо него в роли жертвы выступал беспомощный малыш.

В народной песне мать Зураба, что вполне понятно, тоже не находит в себе сил смотреть на это. Она только и может издали со стоном выкрикивать в ритме прощального речитатива один и тот же вопрос: «Зура, сынок! Сколько уже раствора?..» В первом куплете сынишка отвечает ей: «По колено, мама... По колено!» Во втором: «По грудь, мама...» В третьем: «У горла уже раствор, у горла...» А после этого ее вопрос остается без ответа и мать понимает, что ниша замурована полностью. Такая вот песня, порожденная легендой...

Я вспомнил о ней, когда наступило время придумать ту самую нить, которая «примирила» бы восточный аромат фильма с его грузинской сутью, и место для этой песни определилось сразу: она должна была зазвучать в первых же кадрах, тех самых, где мы видим разваливающиеся стены крепости (снятых, кстати, довольно просто, но эффектно: Параджанов поставил друг напротив друга несколько зеркал, в которых отражалась в разных перспективах небольшая старая крепость в Восточной Грузии, затем бросил в зеркала камни, зеркала треснули, а нам кажется, будто треснули стены крепости. Три-четыре дубля — и достигнута полная иллюзия, что крепость разрушается раз за разом...).

Вот эти кадры и должны были «родить» песню, а она в свою очередь становилась камертоном всего фильма.

Но дело усложнялось тем, что в классическом виде этой песни матери не

существовало, я слышал ее в исполнении самодеятельного хора, ни нотной записи, ни магнитной я не встречал.

На мое счастье, в той же Восточной Грузии живет талантливая исполнительница народных песен Лейла Татарaidзе, мы попросили ее прийти на киностудию, попробовать записать песню, которой не существовало. Она пришла, попробовала...

Это надо было снимать для отдельного фильма.

Параджанову сказали, что назначена официальная смена записи музыки. Со страдальческим лицом он ворвался в ателье, швырнул кепку и кашне на стул.

— Ну?! Что вы тут надумали?! И именно сегодня!.. Еле дышу, а вы...

Даю команду киномеханику — на экране появляются начальные кадры фильма. Параджанов сразу оттаивает, с удовольствием смотрит на трескающиеся зеркала.

— Гениально придумано, а?! И что вы хотите с этим сделать?

— Хотим попробовать песню...

— При чем тут песня?! Рушится все, а вы про какую-то там песню!.. Ха-ха!..

Представляю! Крепость разваливается к чертям собачьим, а мы концерт накладываем! Прекрасно! Женское контральто! Ля-ля-ля-ля!.. — Параджанов, взмахнув руками, напевает вальс Штрауса. У режиссера абсолютный слух, у него это получается довольно музыкально.

— Мужского контральто не бывает! — злюсь я: мне неудобно перед Лейлой, притаившейся в темном уголке зала.

— Что ты знаешь о мужчинах?! — бросает Параджанов на меня уничтожающий взгляд. — Контральто ему понадобилось!.. Еле дышу, а они целую смену тут назначили!.. И вообще! Где дирекция?! Почему меня никто не спрашивает, хочу я этот концерт или не хочу?!

Кадры, которые надо озвучить, склеены в кольцо. Дойдя до конца, эпизод начинается снова. Опять проклятые зеркала, опять бесконечно рушатся стены.

— Какая прелесть! — любит своей выдумкой режиссер. — Всего три зеркала — а какой эффект, а?! В Америке только за это я стал бы миллионером!.. Кстати, где дирекция?! Пусть смотрят, пусть смотрят! Они мне пока так и не заплатили, сволочи! Это же зеркала моей бабушки! Ей привезли из Венеции, но разве дирекция что-нибудь понимает в венецианском стекле?! О Боже! С кем я имею дело! — Он резко поворачивается ко мне: — Смена — это сколько часов?

— Смотря для кого... — бурчу я. Кольцо пошло уже по десятому кругу.

— Ну вот! Никто меня не любит! Все хамят! — вздыхает Параджанов и нарочито покорным тоном спрашивает: — Что за песня у вас?

— Песни пока не существует... — признался я и заметил, как сжалась в своем уголке певица в ожидании нового взрыва Сергея.

— Интересно! — заулыбался Сергей, и это уже не было игрой. Ему действительно было интересно то, чего до него не существовало. — А это кто? — заметил он наконец гостью.

— Женщина... Но не контральто. — Я представил Лейлу, и Сергей, разглядев в ее руках чонгури, совсем ожил. Инструмент оказался прошлого века, и уже это вызвало большое уважение Параджанова.

На освещенном пюпитре лежал текст песни, и я попросил Лейлу напеть его в ритм кадрам, в ритм тому, что происходило на экране, напеть не просто песню, а стон... И чонгури должен подыгрывать ей негромко, печально. Никаких нот не существует, да они и не нужны. Лейле дается полная свобода, она должна придумать мелодию сама, здесь же, увидев наш эпизод «свежим глазом».

Лейла задачу поняла, но сперва немного растерялась, медленно провела пальцами по струнам чонгури, настраивая. Оглянулась на нас.

— Я попробую что-нибудь подобрать... но... так сразу! Мне надо порепетировать... и...

— Конечно! — воскликнул Параджанов, ему явно понравилось и то, что у нее и вправду был не «классический» голос. — Сколько надо! Хоть всю смену!

Чтоб не смущать женщину, он сел рядом со мной возле пульта и шепнул мне прямо в ухо:

— Сразу включай запись!

Я так и сделал.

Как только на экране пробежал начальный черный ракорд эпизода, чонгури затащил свой печальный пролог.

Удивительный все же инструмент чонгури! В его звуках одновременно и седая-седая древность и вечность... Эти звуки и голос певички, еще не распеваный, дрожащий от волнения... «неподглаженное» дыхание Лейлы, слишком близко стоящей у микрофона, что простительно для первой репетиции и совершенно недопустимо для окончательного варианта, — все это удивительно точно подошло «настройке» эпизода.

И еще в наушниках я слышал посторонние шорохи, от ее одежды, от ее переступания с ноги на ногу, слышал не совсем чистый отзвук струн и «растяжку» ритма в те моменты, когда Лейла поднимала голову от текста, чтобы проследить за сменой кадра. В принципе это считается браком, но для кадров Параджанова все это, наложившись одно на другое, и оказалось той фактурой, которая была необходима для оживления статики.

Параджанов замер, магнитная лента в аппаратной шла на запись, и я молил Бога только о том, чтобы Лейла не остановилась, поверив, будто это и вправду всего лишь репетиция, или чтобы кто-нибудь случайно не вошел в ателье, испортив все...

Лейла допела до конца, прокашлялась, опять что-то подкрутила в инструменте. Я посмотрел на Параджанова.

Он тихо плакал...

Несколько мгновений в наушниках слышался только равномерный шип неостановленной магнитной ленты.

Лейла, удивленная тишиной, оглянулась на нас, хотела что-то спросить, но не успела: Параджанов подскочил к ней, упал на колени и стал целовать ей руку, продолжая рыдать. Женщина оторопела, не привыкшая к подобным проявлениям чувств, а Сергей не скрывал восторга.

— Все! Все!.. Прекрасно!.. Это... это... не знаю! Это... — Он чуть не задохнулся от собственных слез. Громко всхлипнув, вскочил наконец на ноги, включил общий свет, замахал руками. — Все!.. Смена окончена!.. Я в восторге! Дирекция! Заплатите этой гениальной женщине в пятикратном размере! Нет, в десятикратном! Вы не понимаете, что она сделала сейчас для моего шедевра!.. Не кривите рожи!.. Не кривите!

Схватив шарф и кепку, побежал к выходу. Бросил мне на ходу:

— Никаких дублей!

И исчез. На целую неделю.

Растерянная Лейла Татараидзе, машинально пощипывая струны, переводила взгляд с экрана на меня, не соображая, что же делать дальше.

— Он прав... — улыбнулся я ей. — Все прекрасно.

— Да, но-о... Я же только попробовала... Мне надо порепетировать... поискать. Может, что-то по-другому... Он же сказал — могу целую смену...

— Он не знал, на что вы способны... — искренне ответил я ей на прощание.

Не знаю, в сколько «кратном» размере оплатили эту вдохновенную импровизацию, — скорее всего дирекция ни на какой гонорар не решилась: слишком уж кратковременным было вдохновение певички, а у нас, как известно, платят в основном за количество часов, — но смею заверить, что второго дубля и вправду не было. И если когда-нибудь у вас возникнет желание еще раз посмотреть «Легенду о Сурамской крепости», и именно фильм Сергея Параджанова (в грузинском кино были и другие версии на эту тему), то прислушайтесь, пожалуйста, к песне в начальных кадрах. Это и есть первый и единственный дубль нашей тогдашней смены.

Вот так в основном работал со звуком в своих, во всяком случае — в последних, фильмах Сергей Параджанов, уважаемые «веды кино»!

И может, стоит хоть иногда, прежде чем делать в своих ученых статьях выводы, подобные таким вот: «Фонограммы фильмов Параджанова позволяют судить об их тембровой драматургии. Природные звуки, сопрягаясь с музыкальными, чистое пение с разноязычным, разнодиалектным, разнораспевным говором и неартикулируемыми возгласами, криками животных и птиц, различными конкретными шумами окружающей природы либо вызванными механическими действиями, создают удиви-

тельно дифференцированную фоническую партитуру. Особое значение приобретают и натуральные звуки народных инструментов: в «Цвете граната» — лейтмотив кяманчи, в «Легенде о Сурамской крепости» — доола и тимплипито. При этом режиссер по-музыкальному чутко подчеркивает значение паузы, тишины, молчания...» — может, стоит, повторяю, спросить у живых и пока все еще действующих в кино авторов всего этого красочного звукового «винегрета», у звукорежиссеров указанных фильмов, как на самом деле и кто на самом деле собирал, придумывал и смешивал вкусные компоненты этого «винегрета», кому в действительности принадлежит хотя бы эта самая «музыкальная чуткость в подчеркивании значения паузы, тишины, молчания»...

Не знаю, как с «Цветом граната», я был слишком мал тогда, но доол и тимплипито «Легенды...» — это мое, хотя, видит Бог, я даже не подозревал, что так сложно назывались те инструменты, которые я записал в «караван-сараях» у Девичьей башни в центре Баку, где совершенно случайно, не спрашивая ни Параджанова, ни кого другого, обнаружил молодежный фольклорный ансамбль и попросил ребят наиграть мне несколько старинных восточных мелодий. Они с удовольствием наиграли. Мой неразлучный магнитофон не выключался. Добрые музыканты знали, что, возможно, я все использую в фильмах. Я использовал. И в «Легенде...», и в «Ашик-Керибе», смешав мелодии «с разноязычным, разнодиалектным, разнораспевным говором...»

И как раз к чести Параджанова надо отметить, что он не вмешивался в мое дело, он доверял. А это великое умение.

Он доверял своему экранному материалу, был абсолютно уверен, что аура его цвета и его неповторимого видения сама «наговорит», что и как делать тому, кто прочувствует эту ауру. Он учил не раздумывать, учил чувствовать. В искусстве это важнее... Да и не только в искусстве.

...Первый день съемок начался с курьеза.

Единственное, чего требовал Параджанов на съемках от звуковиков, была музыка, которая не замолкала бы ни на секунду. Он сам предварительно говорил нам, какого характера музыка должна звучать на завтрашнем объекте, мой ассистент, Миша, человек дисциплинированный и очень активный, раньше всех приезжал на съемочную площадку, раскладывал аппаратуру, расставлял мощные динамики таким образом, чтобы музыка не обделила никого: ею, по замыслу Параджанова, должны были проникнуться все — и актеры, и операторы, и гримеры, и массовка, и даже трюкачи со своими лошадьми.

Отобранная к снимаемому эпизоду музыка, по убеждению режиссера, невольно проникала во все клетки души и тела участников и заставляла двигаться и мыслить в необходимом ритмическом настрое.

Кстати, насколько мне известно, подобное проделывал еще во времена немого кино не менее великий Гриффит — он приводил на площадку духовой оркестр и заставлял его играть у съемочной камеры непрерывно, пока шла работа.

Параджанов снимал очень насыщенный эпизод.

Древний Тбилиси... Живописный холм, весь усеянный народом. На вершине — монастырь, возле которого проходит обряд венчания. Жених, невеста, гости... Музыканты играют свадебные мелодии...

Ниже, по тропе — печальное шествие... Несут гроб... плач... черные одежды...

Еще ниже, у подошвы холма — народное гулянье: смех, влюбленное переглядывание молодых, рога-канци, наполненные вином, гарцующие лошади, украшенные красивыми попонами. И все это — в одном кадре, все должны быть предельно внимательны, чтоб не нарушилась композиция, не прервался ритм.

Почти вся смена ушла на одевание тысячной массовки, на ее расстановку.

У Параджанова от крика совершенно сорван голос, он безумно хрипит на всех, страшно вращая выпученными от напряжения глазами. Операторы в сотый раз проверяют фокусы, поглядывают на небо в ожидании того неповторимого момента, когда солнце все осветит «нежно-теплой палитрой».

В конце дня этот момент наконец наступил.

Костюмеры еще раз пробежались по всему холму, подправили костюмы. Трюка-

чи стали на отмеченные места, стараясь удержать беспокойных лошадей в точно рассчитанных Параджановым и оператором Юрием Клименко мизансценах, тяжелый гроб вновь взвален на плечи актеров, которые с большим трудом стоят на сыпучем склоне песчаного холма. Все застыли на несколько мгновений, ожидая команды режиссера «Мотор!», сам режиссер, держась рукой за сердце, нетерпеливо поглядывает на второго оператора, который уже укрепляет на кинокамере большую кассету с драгоценной пленкой, благодаря которой и через век на экранах будет оживать все то, что сейчас пока живет само по себе, то, что пока еще не кусочек фильма, не произведение искусства, а рядовой «съемочный объект».

Неожиданная тишина, видимо, внесла в душевное состояние Сергея дополнительный дискомфорт, он замотал головой, пытаясь понять, чего же не хватает в окружающей его атмосфере, и вдруг понял — музыки! У Миши закончилась кассета, и он готовил новую.

Заслышав истеричный хрип Параджанова в свой адрес, мой ассистент заторопился, кое-как закрепил кончик пленки в приемной бобине и ткнул пальцем в клавишу магнитофона. В динамиках сперва зашипело, затем четко на всю долину вырвалось из них долгожданное: «Мотор!»

И в тот же миг по склонам холма потекли живописные потоки — свадебный в одну сторону, траурный — в противоположную, черный, красный, белый потоки! Тонконогие арабские скакуны закружились в азартном хороводе, барабаны и свирели «заплели» такое многоголосье, что с ним не сравнится бы самый мощный хор самой знаменитой оперы, и над всем этим самозабвенно загремела Мишина восточная музыка, специально выбранная вчера самим Параджановым!

Картина была потрясающе эффектной, она напоминала что-то из «Герники» Пикассо вкупе со «Сном разума» Гойи, но самое потрясающее во всем этом было то, что команда «Мотор!» была подана чужим голосом. И не потому, что голос у Параджанова к тому времени пропал совсем, — в этот момент подобной команды он дать не мог: операторы не были готовы, а требовалась абсолютная точность, расчет был на единственный дубль. Ни сил, ни желания выстроить подобную массовку для второго дубля не осталось ни у кого.

Помощники Сергея бросились было остановить людскую лавину, расходившую весь свой пыл впустую, но никто никого не слышал, грохот стоял, как при всемирном потопе! Огромная масса людей смеялась, пела, танцевала, рыдала, двигалась по склонам холма вверх-вниз, уклоняясь от копыт мечущихся лошадей, тщательно исполняя все, что было приказано ей делать строгим режиссером, и больше всего разгоряченные ситуацией люди боялись случайно посмотреть в сторону кинокамеры — это им приказали строже всего. А там, возле камеры, «безжалостный» режиссер, хватая ртом воздух, без сил упал на стул.

— Кто?! Кто?! — шептал он посиневшими губами. — Какая... сволочь?! За что?! Кровавийцы!.. У меня же... сахар!

А «сволочи», как оказалось, никакой не было. И на его кровь никто не посягал. Просто на магнитной ленте, которую запустил мой ассистент, перед музыкой осталась команда дирижера «Мотор!», которую подают звукорежиссеру при записи оркестра...

И все-таки славный народ — киношники! Второй дубль, несмотря ни на что конечно же состоялся. В тот же день. Успели. И по местам всех точно расставили, и грим подправили, и костюмы как надо подчистили, и даже музыку прощенный Миша запустил достойно — на полную громкость и без лишних команд...

...Маленькая ободранная комната, в которой жил Параджанов, вся была не от мира сего. Да и не могла быть никакой другой. Это была целая вселенная. Со своей особой флорой и фауной. Со своим микро- и макрокосмосом. Со своими «тайнами двора».

Все начиналось здесь, обегало наш бранный мир и сюда же все возвращалось — вся огромная слава и огромное проклятие, которыми был награждаем этот человек. В комнатке находилось самое любимое.

На стенах — рисунки, сделанные в тюрьме. На подставках — нежнейшие шля-

пы, созданные в моменты особого вдохновения и названные все вместе «Памятью о несыгранных ролях Нато», той самой легендарной Нато Вачнадзе, которая навсегда осталась символом красоты грузинской женщины, Нато, которую он обожал.

В углу — манекен в полный рост. Мужчина, похожий на самого Параджанова, держит на руках погибшего юношу.

Юноша тот — Тарковский.

Перед Андреем Параджанов преклонялся в открытую.

«Мне ничего не надо — только одно: пригласите к себе Тарковского, пусть побудет возле вас — это больше, чем праздник...», — напишет Сергей своим друзьям из тюрьмы.

Андрею он и посвятил свой последний фильм «Ашик-Кериб».

В середине комнатки — широкий стол, его поверхность украшена мозаикой из лоскутков, которую клеил Параджанов. За этим столом сидело много великих. Еще больше — простых, не очень известных, но влюбленных в хозяина дома людей, которых необъяснимым магнитом тянуло сюда, где что-то неизменно вливалось в тебя, пусть всего лишь капелька, но целебная, капелька неизведанного.

Стол никогда не накрывался скатертью — Параджанову претила церемонность. Лишь однажды я видел стол покрытым. Большим, во всю длину, зеркалом, которое было сморщено глубокими трещинами.

Приехал Тонино Гуэрра, по чьим сценариям снимали свои фильмы Антониони, Феллини, Рози. Ему сделали сложную операцию в Москве. Оттуда он заехал в Тбилиси, отдохнуть. И первое, что сделал в нашем городе, — пришел к Параджанову, к Сержику, как его называли близкие.

К приходу синьора Тонино Параджанов и покрыл стол разбитым зеркалом, на котором расставил пиалы, устланные изумрудными листьями молодого винограда, и поверх этой свежести — огромная клубника. Зелень винограда и кровь клубники причудливо преломлялись в трещинах зеркала, и казалось, что в комнате вдруг зацвело маленькое поле, несмотря на то, что его кто-то безжалостно перепахал.

Приглашая меня и мою жену Манану на «ленч» с Гуэрра, Параджанов попросил, чтобы я был «во всем голубом, а Манана — во всем белом». Честно говоря, эта просьба озадачила нас. Во-первых, я в жизни не носил ничего голубого, во-вторых, я просто не знал, где мне достать это самое «все голубое», и в-третьих, — никак не мог понять, всерьез это было сказано Сергеем или он, как всегда, затевал очередной карнавал. Манана же отнеслась к просьбе Параджанова по-философски невозмутимо:

— Он — художник, и ему, очевидно, сегодня нужна именно такая палитра: голубое с белым...

Пришлось у товарища одолжить голубую сорочку, а на нижнюю часть «торжественного туалета» прекрасно подошли голубые джинсы. Для полной красоты Манана по дороге попросила купить еще и лесные ландыши. Это ее любимые цветы. С ними, в своем белом наряде, она и впрямь была неотразимой. Особенно у стола Сергея, покрытого хрустальным зеркалом. Посмотревшись в него, Манана тихо спросила:

— Для чего такая «скатерть»?

Я пожал плечами:

— Он же художник... Разве его поймешь...

...Дом, в котором жила комнатка Сергея, был построен таким образом, что с улицы она находилась на первом этаже, со двора — на третьем.

Мы любили заходить в нее со двора.

Забор, огораживавший двор, был весь покрыт подковами, разными образами, солнышками, вырезанными из тонкой золотистой жести.

Крутая лестница, казалось, ведет в какой-то сказочный храм, и эти подковы, подобранные на счастье, и солнечные лучи будто благословляют тебя.

Поджидая гостя, Параджанов разложил на ступеньках лестницы вещи, символизовавшие фильмы, которые были сняты по сценариям маэстро Тонино.

На одной ступеньке лежала скрипка со смычком — «Репетиция оркестра». На

другой — фанерка с дымящим пароходом — «И корабль плывет»... На третьей еще что-то, из «Амаркорда»...

Мы стояли на балконе, с нетерпением поглядывая на поворот улицы, откуда должна была появиться машина с гостями. Сергей почему-то нервничал. То и дело сбегал по лестнице и поправлял на ступеньках «фрагменты» фильмов. Он знал, что иностранного гостя обязательно будет, зримо или незримо, «опекать» гэбэшник, а подобных опекаателей Параджанов не выносил всем своим нутром, сахар в его крови при их виде мгновенно закипал смертельным сиропом.

Вдруг возле себя я заметил невысокого бодренького мужчину с живыми, умными глазами. Он, очевидно, прошел сюда с улицы и тоже с любопытством склонился над перилами, наблюдая за действиями хозяина.

— Серж! — жизнерадостно позвал он и помахал рукой в приветствии.

Параджанов оглянулся.

— Тонино! — обиженно скривил он губы. — Ну вот, итальянцы, всегда вы так! Даже правильно не можете прийти к человеку!.. Ты же отсюда должен был прийти! — показал он на лестницу и разочарованно отвернулся.

— Момент! — крикнул гость, сбегал по лестнице к воротам, развернулся и на этот раз вошел во двор так, как было задумано.

— Серж! — снова воскликнул он и обнял наконец заулыбавшегося Параджанова.

Они стали медленно подниматься по лестнице, перешагивая через «фильмы», и на каждой ступеньке Гуэрра останавливался на миг, словно что-то отсчитывал.

А в комнатке долго не садился. Молча смотрел на стол. Затем провел пальцем по трещинам зеркала и понимающе качнул головой: «Жизнь твоя...»

Манана притихла, с новым интересом вгляделась в зеркало, изломанное трещинами, отражение ее скромных цветов невольно добавило печали в слова гостя. Наконец и я понял тайну белого платья жены и моей голубой рубашки: Параджанову хотелось, чтоб в тот день возле его «зеркала» было побольше светлой краски...

А Тонино Гуэрра снова обнял Сергея, прижал его к себе на секунду, заулыбался, восхищенно зацокал языком, поднес к губам серебряный бокал с терпким вином, а потом, без особых просьб и уговоров, стал рассказывать нам забавные случаи из жизни еще одного своего друга — Феллини.

— Мы с Федерико давно хотели побывать на севере, в Сибири. Наслышаны были о ней, а видеть не видели. И вот недавно наша мечта чуть не сбылась: Феллини позвонили из Америки и предложили снять фильм, действие которого происходило бы именно в Сибири. «Только этого не хватало! — пробурчал Федерико. — Путешествовать там еще можно, но делать фильм — бр-р-р! Ни за какие деньги!» Упрямые американцы не отступали. Предложили встретиться и все обговорить конкретно. Тогда мы решили схитрить: заявим американцам, что нам необходимо поехать в Сибирь недели на две-три для сбора материала к сценарию, они — люди богатые, оплатить наш «творческий» вояж им ничего не стоит. Они немного подумали, затем радостно сообщили, что продюсеры будущего фильма лично прилетят в Италию для уточнения деталей.

В нашем аэропорту через несколько дней приземлились, один за другим, сразу одиннадцать «боингов». Продюсеров проекта было ровно одиннадцать, и каждый прибыл на личном самолете. Десять мужчин и одна женщина... В зале, где состоялась официальная часть визита, они с достоинством восседали за длинным столом. Место во главе стола уступили женщине.

У другого конца, спиной к выходу, поставили воистину царское кресло, обитое вишневого цвета бархатом, с резными подлокотниками и высокой спинкой, которая надежно оберегала сидящего в кресле от любого нападения с тыла. Я понял, что кресло предназначалось для «маэстро Феллини». Он тоже все правильно понял, деловито уселся на этот трон, наивными глазами уставился на «меценатов».

Совещание, от которого зависело исполнение нашей давнишней мечты, открыла женщина.

— Вы хотите собрать материал о том крае? — мелодично пропела она, улыбнувшись.

— Мы не хотим, мы — обязаны! — мужественным дуэтом воскликнули мы в

ответ. — Чтобы создать достоверный сценарий, надо все точно узнать: историю, традиции, быт...

— Если вы хотите поехать в такую даль только из-за этого, то мы облегчим вашу работу...

Теперь довольно заулыбались все, и женщина подала знак секретарю.

Секретарь торжественно достал из специального саквояжа огромный, страниц на восемьсот, прекрасно изданный фолиант в толстом кожаном переплете, в котором, оказалось, были собраны все сведения о Сибири начиная с древнейших времен: ее история, традиции, быт. И еще много такого, о чем мы даже не подозревали и что раскопать нам самим было бы не под силу за целый год...

Федерико полистал драгоценный труд, для видимости удовлетворенно покивал, затем с задумчивым видом взял из коробки огромную сигару, закурил, аппетитно выдохнул ароматный дым, глянул на меня. Я все понял...

Пересев к миллионерам поближе, я начал что-то говорить им о концепции будущего сценария, о предполагаемых драматургических ходах и других умных вещах, Феллини же так «увлекся» историей и бытом Севера, что положил книгу себе на колени и, продолжая дымить, потихонечку развернул свой «трон» так, что кресло в конце концов оказалось спиной к нам.

Я развивал оригинальные мысли еще довольно долго, миллионеры с завидным терпением и вниманием смотрели на меня до самого конца моего монолога, который я завершил лишь после того, как заметил, что дым у кресла Федерико начал рассеиваться. Тогда я встал, вежливо раскланялся и направился к двери. На ходу убедился, что догадка моя верна: в кресле одиноко лежала американская книга, а на ней — аккуратно погашенный окурок гавайской сигары...

Целых четыре месяца после того совещания продюсеры звонили из Америки в офис Феллини и просили режиссера к телефону. Нежный голос режиссерской секретарши неизменно вежливо отвечал, что «маэстро Феллини в настоящее время находится на творческом отдыхе на каких-то безлюдных островах». В конце концов американцам надоело это бесконечное «творчество» и они отстали от нас, так и не догадавшись, что голосом «секретарши» с ними каждый раз говорил сам Феллини...

Подождав, пока мы отсмеялись полностью, Тонино Гуэрра достал из сумки небольшую, нарисованную цветными мелками картинку, на которой птичка, похожая на соловья, сидит на гробе и поет песнь.

— Это я нарисовал сразу после операции, — пояснил он. — Я ведь уже было попрощался с жизнью, и вдруг мои глаза вновь увидели солнечный свет, а уши услышали пение птиц... Но этого было мало. Я должен был проверить — слушаются ли меня мой мозг, мое воображение... Я попросил бумагу и мелки... И вот что получилось. Я понял, что продолжаю жить...

Картину маэстро оставил нам, и Сергей подарил ее мне. Как раз в те дни на нашей студии приняли к постановке мой первый сценарий, и Параджанов, самолично поместив картину в рамку под стекло, протянул ее мне и сказал:

— Так и продолжай. И чтоб соловей твой пел всегда, как на этом рисунке.

С тех пор эта картина висит в комнате моей дочери, над ее рабочим столом. Этот подарок двух великих людей — самое дорогое, что у меня есть...

Параджанов ненавидел декорации.

Он задыхался в их искусственности, в их немоте. Терялся от их «тупой лживости». Чувствовал себя привязанным к столбу, от которого не оторваться, не улечь.

Съемки фильма «Легенда о Сурамской крепости» подходили к концу, а эпизод «Восточный базар» не получался.

Сергей страшно нервничал, ругал всех и вся. Больше всего доставалось художникам, которые в огромном павильоне старой студии никак не могли построить ему именно тот караван-сарай, который соответствовал бы его замыслу.

Наконец кое-как что-то начало вытанцовываться.

Белоснежные стены и балконы «караван-сарая», на которых были развешаны пестрые ковры и персидские платки-калагаи, «разбежавшиеся» по команде режиссера

потрясающим хороводом, стали похожи на огромное полотно, принявшее в себя сильные брызги сочной краски.

Усевшись в середине павильона, хрипя и колотя кулаком по спинке стула, который он всегда ставил задом наперед, Параджанов напоминал полководца в разгар битвы. У его ног были разложены серебряные кувшины, украшения, шитые золотом накидки немыслимой старины, оружие, страусовые перья, кольчуги, шляпы с чалмами, уздечки — все подлинное, все уникальное и действительно красивое, отобранное когда-то не случайно, а с любовью и вкусом. Все его, собственное. Он был богатым полководцем. И богатством своим распоряжался так, как умел и хотел распоряжаться только он: кони топтали ковры, которые стоили полмиллиона, потому что так нужно было по сценарию, серебряные чаши расплющивались, падая с горы, — так виделось режиссеру крушение чьей-то судьбы. Тончайшие кольчуги, которым было место в самом придирчивом музее, раздирались вдрызг, волочась по каменистой пустыне в эпизоде «Война глазами Зураба». Чалма, снятая со святой головы подлинного шаха в подлинном персидском государстве, щедро обливалась краской-«кровью», потому что так нужно было по фильму «Ашик-Кериб», красивейшему из всех виденных мною.

И когда в просмотровом зале кто-то не выдерживал и громко вздыхал, восхищаясь всем этим великолепием, Параджанов хитровато усмехался: «Ну и дурачье!.. Думают, что это настоящее богатство!..»

Я понимал, что он имел в виду.

Для него настоящим богатством была свобода... Вот уж она принадлежала только ему.

Это сейчас все запоем кричат о свободе. Он не кричал. Он был ее родным сыном.

Как морская пена породила Афродиту, так Свобода родила его, и никакие кони не могли затоптать ее в нем, никакие горы не могли расплющить...

...Нет, не получалась в тот день съемка эпизода «Восточный базар»! Что-то мешало, чего-то не хватало.

— Где верблюды?! — вдруг закричал Параджанов. — Где павлины?!

— Какие еще павлины? — вытаращил глаза Серго Сихарулидзе, его постоянный директор. — Зачем они тебе?

— Трахать буду! — язвительно кидает в ответ режиссер и вскакивает с полководческого стула. — Пока не приведешь девять верблюдов и четырех павлинов — снимать не буду!

— Где ты видел в Тбилиси верблюдов? — пытается увильнуть от нового задания несчастный директор.

— А где они есть? — не отступает Параджанов. — В Баку есть?

— Наверное, есть... — пожимает плечами Сихарулидзе.

— Прекрасно! Сегодня же едем в Баку! Там все есть — и верблюды, и павлины, и настоящий караван-сарай!

— Чем тебе плох этот? — разводит руками директор, стараясь спасти денежки, которые улетели на строительство декорации, уже сплошь усеянной разнаряженной массовой.

— Это — караван-сарай?! — демонически, со слезами на глазах и в горле, хохочет Параджанов. — Вы представляете?! — поворачивается он к нам. — Он принимает меня за дурака! Здесь же ни воздуха нет, ни неба, здесь нечем дышать!.. И он думает, что купит меня за какое-то дерьмо! Дудки! Мне нужен настоящий камень и настоящие верблюды!.. И женщина должна быть... рабыня... вот здесь будет танцевать!

— Настоящая? — удрученно переспрашивает директор, уже прикидывая в уме, во сколько обойдется ему непредвиденная командировка в Баку.

— Не знаю! — бурлит Параджанов. — Какую хочешь доставай! А здесь, в этой тупте... — он бьет кулаком по декорации, — я снимать не буду!

Директор хочет еще что-то сказать, но вдруг происходит нечто ужасное.словно в подтверждение слов Параджанова декорация вместе с коврами и массовой разва-

ливается у всех на глазах! Люди с огромной высоты летят на пол, грома пыли заволакивает все вокруг, а Параджанов застывает среди этого апокалипсиса с выпученными глазами.

Мы стоим рядом, и я слышу дрожащее:

— Боже!.. Опять мне... в зону?! Не надо!.. Не надо...

Бог услышал его мольбу. Никто не пострадал, ни у кого ни царапинки.

Вечером следующего дня группа отправляется в Баку.

Там у Девичьей башни — настоящий караван-сарай с огромным небом вместо душевой крыши, из настоящих вековых камней.

И режиссер оказался прав — на их фоне исполнитель одной из главных ролей Додо Абашидзе, крупный, величавый, смотрелся гораздо эффектнее, чем на фоне дешевой фанеры.

Додо Абашидзе, замечательный актер, колоритный человек, любимец всей Грузии, был сопостановщиком Параджанова на обоих фильмах. И на «Легенде о Сурамской крепости», и на «Ашик-Керибе». Честно говоря, он совершенно не вмешивался в творческую сторону съемок. Параджанов не разрешал это никому. Абашидзе отвечал за дисциплину в группе. Ему доверили самое трудное. Наверное, за его громовой голос. Но так уж случилось, что, когда Параджанов приступил к работе над «Ашик-Керибом», Додо был уже неизлечимо болен и ни на одной съемке побывать не смог. Однако Параджанов упрямо говорил везде, что Абашидзе — «полнокровный соавтор», и когда выплатили гонорар, он полностью отнес его больному другу.

Но узнали мы это не от Сергея. Он никогда не рекламировал свою щедрость. Лишь однажды он с детской горделивостью показал квитанцию, которая гласила, что Параджанов перечислил немалую сумму в фонд помощи аджарцам, пострадавшим от стихийного бедствия; это были деньги, полученные им на международном кинофестивале в качестве приза.

Получая этот приз в валюте, он был предупрежден властями, что, сойдя со сцены, тут же обязан сдать валюту соответствующим органам, неизвестно за что и неизвестно кому. Параджанов тогда перехитрил всех. Там же во всеуслышание он объявил, что денежную часть приза передает в фонд попавших в беду земляков. Соответствующим органам в такой ситуации стало неудобно на глазах у всего мира отнимать у него валюту...

Мы уже шестой час ждали верблюдов, которых администрация искала по всему Баку. Разъяренный Параджанов не терял времени зря: распекал юного реквизитора, который по забывчивости что-то оставил на студии.

— Опустись!.. Опустись свои наглые глаза! Ты! Бездарь!.. Ты посмотри, сколько гениев вокруг тебя теряют время из-за твоей тупости! Что?! Что ты крутишь этот кинжал в руках?! Брось! Ты недостойн держать эту красоту в своих грязных руках! Или пырнуть меня хочешь?! Ха!.. — поворачивается режиссер к нам. — Видите? Он убить меня собирается!.. На!.. На!.. Убивай! Старого и больного человека убить легко! Это работать трудно! Да не крути ты его возле меня! Чуть заденешь — из меня же сироп хлынет! Кровь вся высохла из-за таких вот! Один сироп в жилах остался! — Вдруг тон становится жалобным. — У меня же сахар — триста! Он душит меня! Неужели вам мало, что он душит меня? Еще и кинжалом добить хотите?..

Во время этого трагического монолога на съемочной площадке появилась упитанная женщина в прекрасной дорогой шубе. За женщиной шествовал парень с репортерским магнитофоном на боку.

Увидев Параджанова, женщина расплылась в отработанной улыбке и ласково прикоснулась к его плечу пухленькой ручкой.

— Сергей Иосифович! — пропела она с неподражаемым бакинским акцентом. — Можно несколько слов для нашего радио?

Вздрогнув от неожиданности, Параджанов с диким видом оглянулся на незваную гостью и целый миг не мог сообразить, кто она такая и что ей нужно.

Женщина восприняла его молчание за согласие и дала команду своему звукооператору:

— Генрих! Включай микрофон!

Генрих включил.

Женщина все так же певуче начала интервью:

— Дорогие радиослушатели! Мы находимся на съемочной площадке, где киногруппа выдающегося кинорежиссера Сергея Параджанова ведет съемки нового фильма...

Не успела она договорить вступительную фразу, как Параджанов выпалил в ответ:

— Кто вам сказал все это?.. Я — «выдающийся»?! Это он выдающийся! — ткнул Параджанов в реквизитора пальцем. — Видите? Хочет прославиться! Убьет сейчас выдающегося кинорежиссера — и прославится! А если и вас заодно, то на всю жизнь себя обеспечит!.. И вообще!.. Вы знаете, что я только что из тюрьмы?.. Я еще не отмылся от тюремного дерьма! И вообще!.. В номере гостиницы ни горячей, ни холодной воды! А вы лезете тут со своими микрофонами! Вас бы туда... А может, и попадете... за то, что со мной разговариваете! Вы у властей взяли разрешение разговаривать со мной?.. Нет?! М-да-а... Вы лучше моего директора найдите! Каких-то несчастных верблюдов не может... Пойду сейчас... за любым углом сколько хочешь валяется!

Женщине явно стало не по себе. Побледнела, сжалась вся. Еле прошептала:

— Генрих... выключи микрофон!

Пока Генрих выключал, Параджанов на ходу со знанием дела потрогал пальцами ее шубу, одобрительно хмыкнул, хотел что-то сказать, но тут кто-то истерично прокричал: «Верблюдов ведут!» И Сергей, мгновенно забыв и про убийц, и про сахар в своих жилах, засеменял навстречу экзотическим участникам съемки.

Все засуетились, осветители врубили свет, массовка разбежалась по своим местам, у камеры уже ставили полководческое кресло.

А через несколько месяцев Параджанов всеми правдами и неправдами помогал тому самому реквизитору поступать в Академию художеств, доказывая всем, что этот юноша — самый талантливый из всех, кто когда-либо переступал порог академии, что он — личность, по всем категориям выдающаяся, что раньше всех это заметила гениальная корреспондентка бакинского радио, и если кто не верит, может спросить у нее сам...

После съемок Параджанов решил доставить всем удовольствие. Он помчал нас куда-то за город. Куда-то, где не было никаких дорог, а была одна гигантская дымящаяся, вонючая непреодолимая свалка.

Приблизительно час мы ехали в сторону аэропорта, потом свернули к песчаным барханам, Баку со всей своей цивилизацией остался где-то на другой планете.

Жирный, странный дым-туман, раскиданные в беззащитной откровенности отходы и отбросы человеческого бытия и первобытная тишина напоминали кадры фильмов Антониони.

Параджанов любил копаться в свалках, отыскивая что-то, никому другому не нужное, из чего он затем делал свои прекрасные коллажи.

— Люди не знают, что выбрасывают... — говорил Сергей. — На свалках больше драгоценного, чем в домах...

Мы долго продирались сквозь смрад и тишину.

Наконец уперлись в какое-то странное сооружение. То ли маяк среди свалочной пустыни, то ли дом на курьих ножках из детских сновидений.

За корявым забором, сооруженным из продранных матрасов, проржавевших кроватей, сплюснутых тазов и ванночек, неожиданно оказался широкий двор, в котором нас встретил мужчина лет шестидесяти. Встретил спокойно, словно ждал нас.

— Арменак Хачатуров, гениальный скульптор... — представил его нам Сергей.

Хозяин радушно развел руками, мол, прошу — и чудо явилось сразу за его спиной.

Весь двор представлял собою как бы огромную сцену, на которой застыли необычные действующие лица. Будто кто-то взмахом волшебной палочки остановил миг трагедии.

На первом плане, подняв в мольбе голову к небу, стоял окаменевший человек с худеньким, беспомощным телом девушки на руках.

— Это моя дочь, — пояснил скульптор. — Она утонула...

За спиной окаменевшего человека стремительно ввинчивалась в небеса крутая лестница. Змеей обвилась вокруг узкой башни, которую мы приняли за маяк. Башню поддерживали изможденные люди, которые тоже с иступленной надеждой смотрели на крышу башни, где на искривленном прутике качался символ нашего тогдашнего бытия — Серп и Молот. Рукоятка молота была переломлена и перевязана ржавой проволокой. Лестница до вершины не доходила. Обрывалась на середине пути. На последней, надломленной ступеньке, отчаянно пытаюсь удержаться за отваливающуюся скобу, свесился над пропастью человечек.

Башня была центром, от которого разбегались скульптуры. Цементные люди, в немом крике раскрыв рты, смертельно уставшие, не менее мертвые, чем утонувшая девочка, убегали и не могли убежать от маяка. Они были связаны одним материалом — серым цементом, да и бежать было некуда — кругом забор из проржавевших кроватей да свалка...

Мне стало трудно дышать. Да и всем остальным тоже...

Лестница все же куда-то вела.

Крошечная комнатка висела себе под серпом-молотом, между небом и землей, на тахте стоял самовар.

Мы попробовали густой душистый чай, который, как целебный бальзам, про-чистил наши легкие от свалочного смрада, и хозяин неспешно, мягким, добрым голосом рассказал совершенно невероятное: раньше он никогда в жизни не рисовал, понятия не имел, как делаются скульптуры, не слышал, что на свете жили Пиросмани и Микеланджело, и только гибель дочери что-то разбудила в нем.

В пятьдесят восемь лет он впервые слепил из цемента фигурку, которая вышла очень похожей на его дочь. Тогда по какому-то наитию за несколько месяцев он и создал все то, что мы видели. Создал для себя, чтобы не быть одиноким.

— Мне теперь весело, — усмехнулся он. — Я не одинок. То с одной скульптурой поговорю, то другой чем-то помогу...

Я взглянул на Параджанова. Он беззвучно плакал. Он был убежден, что люди умирают не от болезней. От одиночества. Даже самые выносливые.

Одиночество не значит, что ты «один». Одиночество — это когда ты один среди многих, когда многие вместе, а ты почему-то не можешь быть с ними, или, наоборот, — они, многие, не могут быть с тобой. Это и есть смерть...

У него был сценарий. Написал в зоне. И подарил Феллини. Не знаю, так ли это, во всяком случае, он так говорил. В основе сценария был случай, который произошел на глазах Параджанова.

В зоне, как и положено, был пахан, самый сильный, самый жестокий, которого боялись все — и свои и чужие, у которого не было ничего святого за душой.

Его портрет Параджанов показывал на всех выставках. Типичный убийца. Тупая, квадратная морда, короткий «ежик» над узким лбом и... странно живые глаза, в которых жестокая сила была упрятана чуть-чуть в сторонку. Рука Параджанова как бы сдвинула ее с первого плана, оставив немного места для какой-то попытки.

Пахан вдруг заболел. Ему срочно понадобилось переливание крови. Кровь оказалась редкой группы. Такая группа была у одного из охранников. Охранник дал согласие, и его кровь спасла пахана. Но когда он выздоровел, вся зона отвернулась от него. Ему не простили, что он принял кровь охранника. И несмотря на то что болезнь не убавила ни силы, ни жестокости пахана, никто уже не боялся его. Просто он перестал существовать для всех.

— И он вскоре умер. Его убило одиночество... — со вздохом заканчивал обычно этот рассказ Сергей. Но я слышал от него и другую версию.

— Вы же говорили, что он не совсем умер, что его отвели в психушку и он там успокоился. Потому что опять был не один. Вокруг него было много таких, как он...

— В психушку? — Сергей подумал, покачал головой. — Нет, он умер... Так мне больше нравится.

...Когда начался карабахский конфликт между армянами и азербайджанцами,

местные боевики ворвались на эту свалку и буквально расстреляли в пыль все скульптуры Арменака, только за то, что были созданы руками армянина... Судьба самого старика мне неизвестна...

Кстати, где-то должна существовать двадцатиминутная документальная лента о нем и его цементных «детях» — этот маленький фильм сняли когда-то по просьбе Сергея. В фильме все еще живы...

Если вечером никто не приходил к Параджанову, он убегал в Оперный театр.

Весь репертуар знал наизусть. Трудно было поверить, глядя на его оплывшую фигуру, что когда-то он и сам был профессиональным танцовщиком.

Не забуду, каким взволнованным он пришел в монтажную на другое утро после премьеры новой оперы Гии Канчели «Музыка для живых». Целый день не мог усидеть на месте! То и дело вскакивал, распевал арии без слов, разыгрывал мизансцены.

— Сегодня же обязательно сходи! — приказывал он в десятый раз, задыхаясь от восторга. — А какой выход под барабанную дробь!.. Та-та-та-та!..

Руки взлетают в такт барабанам, пальцы выделяют невообразимое вибрато, ноги становятся в позицию и... Мария Федоровна Пономаренко, неизменный монтажер всех фильмов Параджанова, приехавшая из родного Киева по его первому зову, настоящий профессионал и скромнейший человек, устало переспрашивает:

— Мы сегодня работать будем?

— Машенька!.. — не может прийти в себя Параджанов. — Машенька... — с горестным придыханием качает он головой. — Я... я о великом искусстве сейчас говорю, а ты... словно ушат холодной воды! Почему ты любишь меня мучить?!

— Я только спрашиваю: работать будем? — все так же невозмутимо отвечает Мария Федоровна.

— Нет! — запальчиво кричит на всю монтажную режиссер. — Я не могу работать после таких опер! Мне хочется все порвать и начать снимать заново!.. Обязательно сходи сегодня же, и ты поймешь меня! — кричит он мне.

Конечно, я пошел «сегодня же»...

Возле Оперного театра — столпотворение. О лишнем билетике и не заикаюсь — поднимут на смех. Но у меня надежный пароль. Тихо шепчу билетерше: «Я с Параджановым...», и она показывает рукой куда-то вглубь, где я могу его найти.

Он стоит в партере, возле боковых лож, у колонны. Мнет в ладонях платок. Волнуется так, словно это его премьера. Завидя меня, нервно показывает на свободное кресло, улыбается в радостном предвкушении нового праздника.

Он так и не присел на протяжении всего спектакля. То ли стоя он полнее впитывал и переваривал в себе музыку, то ли ему хотелось лучше рассмотреть лица людей в зале. Он все время переводил взгляд со сцены на зрителей, словно подготавливал их к очередному сюрпризу: «А что сейчас буде-е-ет!..» И когда раздались овации, стоял такой счастливый, будто смог-таки одарить всех сразу самым дорогим, что у него было...

Оперу давали часто, и Сергей не пропускал ни одного представления. Ради этого откладывал все — и монтаж, и озвучание — и приучил всех к мысли, что, когда дают «Музыку для живых», работать он не в силах, что наши вопли о сроках и планах — это очередное насилие над его выпотрошенной душой...

И действительно — сколько может выдержать одна-единственная такая вот душа! Душа Сирано и Мюнхгаузена...

Дома Параджанов достал из альбома фотографию. На ней он стоял у изголовья гроба, в котором покоилась седая женщина с невероятно худым лицом. Он тихо спросил: «Узнаешь?» Я пожал плечами.

— Лиля Брик... — еще тише произнес Сергей и осторожно провел по фото ладонью, снимая пылинку и лаская...

Я даже вздрогнул, с новым интересом взгляделся в фото. Для меня ведь Лиля Брик была очень-очень далекой эпохой. В мозгу замельтешили реденькие, обрывочные сведения об этой женщине, которую любил Маяковский. Как раз незадолго до нашего разговора один из центральных журналов осмелился опубликовать обширный материал об их отношениях, там были и письма поэта, в которых он раз за разом

объяснялся ей в любви, страдал и ревновал. Сама Лиля Юрьевна писала о нем так: «Это было нападение, Володя не просто влюбился в меня, он напал на меня. Любовь его была безмерна. Но я ему сопротивлялась — меня пугала его напористость, рост, его громада, неумная, необузданная страсть».

Любовь Маяковского к Лиле Брик несла на себе печать фатальности. «Я люблю только Лилю, — говорил он. — Ко всем остальным женщинам я могу относиться хорошо или очень хорошо, но любить я могу только ее». Письма Маяковского к ней поразили меня полнотой мужской любви, каждая строчка буквально стонала от ревности и желания; лично мне этими письмами «поэт революции» открылся совершенно по-новому, но поразило и то, что Маяковский писал совершенно неграмотно, многочисленные орфографические ошибки засоряли буквально каждое слово.

— Ну и что? — пробурчал Сергей, нахмурившись. — Гениям позволительно то, за что остальным в школах ставят нули... Я тоже неграмотный. Потому и не читаю глупые журналы, которые печатают чужие письма. — Он снова погладил пальцем мертвое лицо. — Это была редкая женщина. Она многое сделала для меня... Когда она была в Париже ...

Стукнула дверь. Кто-то с привычной бесцеремонностью вошел в комнатку. Параджанов мгновенно захлопнул альбом. И больше никогда не говорил со мной о Лиле Брик. Еще бы несколько минут... Проклятая бесцеремонность людей! Сколько мы теряем из-за нее...

Потом-то я узнал, как уговаривала Лиля Брик Луи Арагона приехать в Москву и принять-таки из рук Брежнева орден Дружбы народов, от которого писатель сперва отказался в знак протеста против деяний коммунистического режима: он был возмущен процессом Синявского и Даниэля, раздавленной Пражской весной, «делом» Солженицына... Ради Параджанова он согласился на это.

Принимая орден, Луи Арагон в ответном слове попросил выпустить из тюрьмы «режиссера Сергея Параджанова, которому еще сидеть в ней целый год».

Брежнев, довольный тем, что французский классик согласился принять советский орден, повернул голову к стоявшим рядом советникам и на всякий случай переспросил: «А кто такой Параджанов?» Ему тут же доложили: «Это — просто кинорежиссер, сделал две-три картины и что-то где-то сболтнул лишнее...» — «Кинорежиссер?.. Надо отпустить! Человек же просит...» — кивнул добрый Леонид Ильич на Луи Арагона, и Параджанова действительно освободили из зоны на год раньше.

И еще я узнал, что в гроб Лилю Брик положили в платье, которое ей сшил своими руками Сергей. На похоронах он сделал ей еще один подарок — вложил в ее остывшие руки веточку рябины... Согласно завещанию, прах этой легендарной женщины развеяли в поле под Звенигородом. Говорят, на том месте рябина разрастается особенно щедро... Может, от той самой веточки...

В доме Брик рядом с самыми любимыми картинами висят бережно сохраненные ею коллажи Параджанова. Он присылал их из тюрьмы, за четыре года его несвободы коллажей набралась целая коллекция. Материалом для них служили сухие листья, подобранные у тюремного забора, конфетные фантики или обрывки каких-то иллюстраций. А иногда просто кусок мешковины — он из нее шил в зоне мешки — или крышки от кефира, найденные на помойке. И почти всегда «подпись» — автопортрет с нимбом из колючей проволоки на голове. Мотив колючей проволоки повторялся часто с ножницами, которые ее перерезают, — его мечта о свободе...

...Я записывал крик чаек на набережной. Здесь они кричали совсем не так, как, например, в Батуми. Более печально.

Чаяк было много, целая туча. Неспokoйная, мечущаяся над самой головой сизая туча.

Мне стало неудобно. Я даже оглянулся почему-то, передернув плечами от неожиданного озноба. В двух шагах заметил высокого сутулого мужчину в потрепанном плаще. Он улыбнулся. Шаркая туфлями, подошел, кивнул на магнитофон.

— Что записываете?

— Чаек... море... ветер.

— А зачем это?

— Для фильма.

— А-а, знаю. В караван-сараяе что-то снимаете...

— Да.

— А вот это вам не надо? — Незнакомец развернул сверток, который держал под мышкой. В газете оказалось несколько тростинок разной длины. Он стал по одной подносить их к губам, и каждая из них пела своим голосом. Мужчина менял их таким образом, что паузы в мелодии не было. Необычные голоса тростинок слились в голос древнего поля, по которому выделявал непривычные па шуршащий ветер, то взвизгивая тонкий песок, то трогая сухие травинки-струнки, и они звенели в унисон, звенели так же печально, как голоса неугомонных чаек.

Я включил магнитофон. Поле и море долго-долго пели мне старинный мугам...

Музыкант, покосившись на микрофон, поднес к губам сразу несколько тростинок. Нежный хор заставил наконец чаек притихнуть.

Пленка кончилась.

Я достал новую. Но мужчина, словно очнувшись, так же аккуратно завернул свой инструмент и так же неожиданно, как появился, исчез, зашаркал себе дальше, не потребовав ни благодарности, ни платы.

Не могу простить себе, что не спросил у него даже имени.

Из гостиницы вышел Сергей. Завидев меня, подошел, поинтересовался, чем это я занимаюсь. Вместо ответа я включил магнитофон. Услышав хрипловатые голоса тростинок, Параджанов замер. Так и не шевельнулся, пока мелодия не допелась. Чувствую — понравилось. Рука, лежащая на парапете, мелко подрагивает от волнения.

— Слушай, — спрашивает он, вглядываясь в туман на горизонте. — До Стамбула далеко?

Стамбул совсем в другой стороне, но не хочу его огорчать.

— Да нет... Вон там, за тем туманом...

Параджанов подается вперед, чтоб лучше разглядеть Стамбул. Просит:

— Давай еще раз этот мугам...

И вновь древнее поле стонет печально...

Вдруг вспомнилось: «И повторится все, и все довоплотится, и вам приснится все, что видел я во сне...» Я говорю тихо, почти про себя, стараясь уловить ритм мугама.

Параджанов расслышал, согласно кивнул. Не поворачиваясь, прищурил глаза от соленых брызг неугомонного моря.

— Стамбул почему-то приснился... Хочется побывать... У меня когда-то невеста оттуда была.

— Откуда? — не поверил я.

— Из Стамбула... — кивнул Параджанов на туман. — У нас училась, во ВГИКе... на актерском. Красивее женщины я не видел больше никогда.

Сергей достал из кармана кусок хлеба, размял, протянул ладонь с крошками над парапетом. Чайки увидели, нервно закричали, не решаясь приблизиться. Но вот одна из них стрелой ринулась к нам, на ходу схватила с ладони свою порцию, ликуяще взмыла над робкой стаей. Параджанов проводил ее грустным взглядом, покачал головой:

— Чья-то душа... порадовалась.

Взмахнул ладонью, бросил крошки в море.

— Мы должны были пожениться, но она вдруг исчезла. Я долго искал ее. И нашел... мертвой. Оказалось, что с колыбели она была обручена с каким-то турком. Узнав, что она больше не принадлежит ему, он приехал в Москву с братьями и... ее нашли на рельсах... я еле опознал...

Он провел опустевшей ладонью по лицу, утирая с бороды брызги волн, медленно пошел вдоль набережной.

— А ты говоришь — сон... — пробурчал он почему-то неласково и тут же добавил: — А может, и сон...

Но я невольно оказался провидцем. Через несколько лет действительно «все довоплотилось», и ему наяву «приснилось все, что видел он во сне», — он побывал в

Стамбуле! В том самом, настоящем, где жила когда-то прекрасная невеста, так и не ставшая ничьей женой... Довоплотилось... Появился Горбачев, и Параджанов наконец стал «выездным». Он увидел мир не в тумане, а живьем, и мир живьем успел увидеть его.

В числе двадцати лучших кинорежиссеров мира он был назван «Режиссером XXI века», а сами лучшие режиссеры называли его «Маэстро».

Ох, как гордился Параджанов этим своим единственным званием! Он помолодел сразу на все те годы, которые провел в заключении...

В московском Доме кино, на премьере фильма Леонида Осыки «Этюды о Врубеле», сценарий которого написал Параджанов, было объявлено, что Сергею присвоено звание «заслуженного»... Поздно. К тому времени он был уже в том состоянии, когда сознание едва ли воспринимает происходящее. Да и не думаю, чтоб он очень уж обрадовался этому. Никогда не гонясь за наградами, звания он считал «подарочком в долг», который потом всю жизнь надо отрабатывать по велению власти. «А долгов у меня и так хватает...» — ворчал он, когда речь заходила о наградах.

...В Голландию, где проходила церемония выбора «Маэстро», его выпустили всего на два дня. На субботу и воскресенье, как раз в дни, когда антикварные магазины, которые он обожал, в развитых странах обычно закрыты. И Параджанов из-за этого вернулся страшно недовольный.

В киностудии он появился сразу после прилета, почему-то один, без привычного окружения. На нем был коричневый замшевый костюм, подаренный ему Додо Абашидзе, костюм пришелся Сергею впору, он носил его все время. Менял только шарфы. Для улицы у него был шарфик в черно-белую клеточку, для Оперы хранился темно-вишневый шарф с золотистой нитью по всему полю.

У стены, картинно облокотившись на высокую спинку длинной скамьи, вальяжно восседал известный грузинский кинорежиссер и актер Валериан Квачадзе, или, как его любовно зовут все, — Валико, автор прелестных фильмов «Старые зурначи», «Похитители вина» («Незванные гости») и других удивительно теплых и добрых лент. Как актер он известен тем, что сыграл когда-то во МХАТе самого Сталина — вождь был еще вождем, и, судя по тому, что Валико намного пережил его, Сталину в свое время игра Квачадзе пришлось по душе.

Валико приветливо улыбнулся проходившему мимо Параджанову и своим бархатным голосом произнес, растягивая слова:

— О-о, Серж!.. Поздравляю!

Параджанов резко притормозил, словно натолкнувшись на что-то, повернулся к Валико.

— С чем это вы все меня поздравляете? — ядовито прогнусавил он, и я понял, что он не в настроении и было бы лучше для Квачадзе его сегодня не трогать. Но, очевидно, Валико знал Сергея не так хорошо, потому и продолжал певуче:

— Ну как же!.. Ты ведь назван в числе двадцати лучших режиссеров мира!

— Ха! — немедленно скривил рот Параджанов. — Нашел с чем поздравлять! Я числюсь в первой пятерке лучших педерастов мира и то не треплюсь!

Валико замер от этого победного выкрика, а Сергей, выпятив живот, независимо зашагал себе дальше, по-чаплински раскорячивая ноги, на которых еле держались огромные разномастные ботинки.

Да, Параджанов это умел великолепно: опережать других, первым смеяться над собой, зная, однако, как и когда это делать. Что бы потом ни говорили о нем другие — все уже было сказано им самим. Потому-то удар в него уже не получался таким острым...

Смех в свой адрес — удел сильных. Это не я придумал. Параджанов не щадил себя, зная свою истинную цену.

Я часто слышал этот вопрос, задаваемый и ему лично, и тем, кто знал его близко: «Правда ли, что он сидел в тюрьме за гомосексуализм?»

Сам он отвечал так:

— Официально — да!.. И не только за это. Еще и за то, что я будто бы подкупал

следователей!.. воровал!.. совращал старух и малолеток!.. спекулировал бриллиантами!.. Не лизал жопы властям!.. Я не лизал, это правда! Я их трахал! И гэбэшники не простили мне именно этого! Ну как же! Какой-то нищий режиссер трахает святые комсомольские жопы!

На самом же деле и КГБ, и всякую другую партийную власть приводила в неистовство неординарность Параджанова, его несерость. Его непокорная мысль и свобода духа, желание и умение жить так, как подобает свободному человеку. Они чувствовали его лютую ненависть к любому насилью над личностью и ломали его как могли, «абортировали», по его словам, из искусства, из общества, из жизни.

А он, наперекор всему, вновь и вновь выкарабкивался из «прогнившей почвы соцреализма», жадно ловя глоточек свежего воздуха, и, так и не успев надышаться, неугомимо устраивал очередное свое «мщение», моральное побоище власти.

Вот такое, например...

В Киеве он жил почти в самом центре. Два окна его небольшой квартиры выходили на площадь, где власть устраивала праздничные парады.

В один прекрасный день, в день очередного юбилея «великой» революции, Параджанов пришел домой и удивленно остановился в дверях спальни. В комнате, несмотря на солнечную погоду, было темно.

Сергей быстро выяснил, что темнота эта вызвана тем, что организаторы парада повесили на стену его дома гигантский портрет Брежнева. Плотная материя добротного затемнила всю квартиру, и так уж случилось, что глаза с шикарными бровями Генсека аккуратненько прилипли на оба окна. Один глаз — на окно спальни, другой — на окно кухни. Естественно, оригинальное место для портрета вождя коммунисты придумать не могли...

На залитой флагами площади правительственный оркестр без передыха играл бравурные марши, динамики с мощной напористостью разносили по миру уже набившие оскомину призывы-лозунги, на трибуну с достоинством поднялось руководство партии и правительства республики.

Параджанов, не теряя времени, открыл окно, взял самые острые ножницы, вскарабкался на подоконник и с деловитостью опытного художника точно по рисунку вырезал глаз Брежнева. Спокойно поставил стул посередине прорези, уселся поудобнее и с интересом стал смотреть вниз, на бурлившие праздничным энтузиазмом колонны передовых тружеников.

Через несколько мгновений ряды смешались, кто-то показал рукой на портрет Брежнева. Раздался смех. Хозяева республики и парада тоже оглянулись на изображение партийного босса... и обомлели! Один глаз Брежнева был совсем как живой, «зрачок» активно шевелился, и всем показалось, что вождь весело подмигивает участникам парада.

Дверь квартиры, естественно, очень скоро распахнулась, и в спальню ворвались разъяренные гэбэшники. Одним прыжком подскочив к окну, они умело стащили Сергея с подоконника, оставив в глазу Брежнева вместо шевелящегося «зрачка» опустевший стул.

Парад долго не могли наладить, люди взамен трибун продолжали смотреть на сиротливый провал в глазу, хохот демонстрантов перекрывал грохот оркестра. А Параджанов в это время в своей комнате никак «не мог понять», что же именно так разъярило охранников власти.

— Я ни над кем не издеваюсь... — спокойно отвечал он на крики полковников. — Всего лишь смотрю на парад из своей квартиры... но глазом Брежнева. С каких пор это стало преступлением?!

Ответ на подобные вопросы Параджанова власти сообразить с ходу не могли. Не потому, что были настолько глупы. Вовсе нет. Они всегда все прекрасно понимали. Просто Сергей Параджанов не был мелким камешком на их пути, который можно было бы легко затоптать парадным каблуком. И не потому, что он так высоко взлетел в иерархии мирового кино, что не считаться с этим было бы непозволительно для любой власти. Нет. Дело было в самой ауре Параджанова, нечеловеческой, адской смеси всего того, что обычно крупными рассыпано природой в сотнях разных особей, в той критической массе мыслимых и немыслимых атомов бытия, которая

постоянно провоцировала взрыв... один, второй, сотый... один за другим... десять взрывов вместе... целая цепь... постоянная цепь взрывов, вызывающая войну... Он каждый миг объявлял кому-то войну. Себе. Тебе. Опять себе. Капитуляций не признавал. Пленных ненавидел, считал слабаками, издевался над ними и сам никогда в плен не сдавался, чтоб не издевались над ним. Ударная волна его взрыва кого-то разрывала на части, а кого-то возносила на невиданную вершину. Он умел и предавать, даже самых преданных ему, умел покидать того, кто не мог жить без него. Умел унижать самого благородного, обзывать при всем народе «бездарью» самого талантливого. Цинизм его, несдержанность и буйная конфликтность частенько переступали всякие нормы и меры. Но поразительно как раз то, что все это вместе и помогало ему творить вокруг себя удивительный, завораживающий, нескончаемо-увлекательный карнавал, в котором каждому безошибочно определялось свое место: шуту — шутовское, королю — королевское...

Будучи королем шутов, он никогда не был шутом при королях. А еще у него было сверхъестественное дарование: при нем каждый чувствовал себя гением. Наверное, за это тот, кто истинно любил его, не обижался, не уходил, и он не обижался, если кто-то не выдерживал «темпа» его карнавала, не выдерживал натиска его ума, юмора, доброты. У него и доброта не имела предела.

Как-то журналисты спросили его о будущих планах. На полном серьезе он ответил, что приступает к работе над новым фильмом для детей.

— Деньги дает ЮНЕСКО... — важно обвел он взглядом зал пресс-конференции и добавил: — И вообще, мне он понравился. Порядочный и симпатичный молодой человек, этот ЮНЕСКО...

Все переглянулись, перестали записывать его слова. Я наклонился к Параджанову, быстренько шепнул ему на ухо:

— Это не человек, это международная организация!

— Хм! — невозмутимо отреагировал он. — А мне всегда казалось, что это фамилия румынского бизнесмена!

В доме Параджанова я никогда не видел ни радио, ни телевизора, не знаю, читал ли он вообще когда-нибудь газеты и книги, во всяком случае грамотностью, совсем как Маяковский, действительно не отличался. «Нет разницы, какую букву напишу в слове, главное — слово...» — кривил он губы на замечания грамотеев. И всех поражаало его особое чутье на все происходящее: без всяких телевизоров и журналов он умел предсказать то, что еще только зарождалось.

На премьере «Легенды о Сурамской крепости» в Москве, в год, когда ветер перемен только-только начинался и все — весь Советский Союз и остальной мир — с надеждой, но и опаской приглядывались к новому нашему лидеру, зарубежные гости спросили стоящего на сцене Параджанова, как он относится к Горбачеву.

Зал замер в ожидании ответа. В тот момент Горбачева как следует не знали даже в лицо. Очередной Генсек совсем недавно приступил к своим обязанностям, портреты его пока ретушировались в правительственных издательствах. Еще никто ничего не разрешал, тем более, высказываний вслух о деловых качествах вождей. Да еще вот так, на весь переполненный иностранцами зал. Да еще таким вот неуправляемым личностям, как Параджанов, которые вообще никогда ни у кого никаких разрешений не спрашивали.

— Как я отношусь? Прекрасно! — не задумываясь, ответил он. — Это гений! Прекрасный политик и прекрасный актер.

— А что, вы сняли бы его в своем фильме?

— Конечно! Когда он выбежит из Кремля с криком: «Сюда я больше не езду! Карету мне, карету!» — я буду ждать его у здания ГУМа, а потом возьму его за руку и сразу поведу сниматься в моем «Гамлете»! У него прекрасной лепки голова, стройные, сильные ноги. Он мне понравился сразу.

— А Офелией будет Раиса Максимовна?

— Нет. Для нее в мировой драматургии есть другая роль. Роль Корделии. Помните, была такая дочь у Лира? Все карты в государстве спутала, а никто этого и не заметил...

Увы!.. Жаль, что параджановского «Гамлета» уже не будет.

Когда его спрашивали: «О чем вы мечтаете в этой жизни?» — он неизменно отвечал:

— Чтоб у меня в доме был теплый туалет!

Туалет в его тбилисской квартире, в конце балкончика, и вправду был незавидный, сбитый из наспех крашенных досок. В дождливый день крыша протекала, несмотря ни на какие жестяные латки; зимой ветер с тоскливой ощутимостью безжалостно напоминал о зыбкости бытия.

— Когда в Голландии нас повезли во дворец королевы, чтобы вручить мне удостоверение «Маэстро XXI века»... — начал было свой рассказ в монтажной Параджанов, кто-то робко поправил его: «Это в Англии — королева, а в Голландии...»

— Не знаю! — отмахнулся пухлой ладонью Сергей. — Там бегала какая-то... и все кричала: «Я — королева!.. Я — королева!..» Ну, хотела быть королевой, жалко, что ли?!

— Есть там королева, есть! — подтвердил кто-то, и Параджанов благодарно погладил того по голове.

— Говорю же, бегала там одна... Пригласила в свой дворец. Накрыли нам длиннющий стол. Навалили посуду!.. — Он в блаженстве закатил глаза. — Севрский фарфор и дальфтский фаянс! Вы знаете, что такое жрать из дальфтского фаянса?!

Мы все честно пожали плечами.

— Ну конечно! — мгновенно взрывается Параджанов. — Советским рабочникам кино достаточно и алюминиевых мисок!.. Вечная зона!

Разломив любимый картофельный пирожок, вытащенный из пропитанного прогорклым маслом газетного кулька, он аппетитно откусывает пережаренное тесто, щедрым жестом бросает кулек на монтажный стол.

— Присаживаюсь возле псевдокоролевы, а те двое, которых командировали следить за мной от самой Москвы, так и стоят за спинкой моего стула. «Садитесь, — говорю. — Жратвы на всех хватит!» Они даже глазом не моргнули. А у меня после первого же блюда живот как свело! Хорошая, думаю, причина проверить, какой туалет у королев! Похож на мой или нет? Вскидываю, бегу куда показали. И те двое — за мной! У двери спрашиваю: «Вы что, задницу мне подтирать собираетесь?» Совесть хватило, остались у порога. Захожу, а там... Огромный сиреневый зал, весь в мраморе и зеркалах. Напротив каждого зеркала — раковины и писсуары уникальных форм, с золотыми ручками для воды и разных ароматических специй. Бумага тончайшая, для самых нежных задниц, совсем не чувствуешь ее прикосновения, сразу и не разберешь, почистился уже или нет. Полотенца с гербами... И главное — тепло! И тихо... Только музыка где-то... скрипки... фантазии Моцарта... Усаживаюсь на самый оригинальный унитаз, времен Наполеона. Такой теплый! Чувствую, что и он из того же фарфора, что и посуда на столе королевы. Сажу, оглядываюсь... совсем забыл, для чего пришел. Вижу — рядом, на стене, кнопки какие-то. Возле каждой что-то написано. Но я же по-голландски не понимаю! Нажал на всякий случай на первую, думал — кофе принесут, как в самолете. А там что-то щелкнуло, загудело! Какой-то насос включился. Да такой мощный, что меня стало засасывать в наполеоновский унитаз. Пытаюсь отклеиться — упереться не во что! Ноги скользят по мрамору, я уже весь сложился пополам. Хорошо, живот большой, сразу не пролез. Кричать стыдно, не хочется перед гэбэшниками в таком виде... «Ну, — думаю, — маэстро двадцать первого века! В тюрьме не смогли тебя сгноить, так неужели в каком-то королевском унитазе заживо в говне захлебнешься? Ну уж нет!..» Из последних сил дотягиваюсь до второй кнопки, нажимаю, и!.. Что-то обратное сработало!.. Меня выстреливает из унитаза, как ядро Мюнхгаузена! Лбом распахиваю дверь — руки ведь заняты, штаны держу, поднять не успел, — с голым задом мимо охранников пролетаю, тормозить не могу — пол у них спецкоролевской мастикой натерт, как фигуристка скольжу по залу... Гэбэшники ошалело несутся за мной, уже за пистолеты хватаются, а я кричу им: «Да не бойтесь вы! Не сбегу! От теплых туалетов не убегают! Это из голодной страны сбегает маэстры двадцать первого века!..»

На его тбилисском балкончике теплый туалет построили другие. Сын Параджанова продал квартиру отца после смерти Сергея беженцам из Абхазии за копейки. Смерть выгребла отсюда все...

Тбилиси, древний уголок, улица Котэ Месхи, дом семь... Знаменитый на весь мир дом, который после похорон хозяина друзья увидели таким:

«Утлая галерейка, повисшая со стороны двора, как оборванный в маскараде бумажный аксельбант, дверь той квартиры заперта на замок, жилья больше нет, дом Параджанова, где он родился и вырос и доживал последние годы, опустошен, голая кукла висит на перилах балкона, бумажная птица медленно крутится под ветром, как бы озираясь, и безотраден ее обзор. Нет больше прелестного, крошечного, как камея, фонтана внизу. Нет райского оперения жилища — шляп, шалей, ковров, росписей, корзин, фруктов, ламп, кукол, коллажей, тканей, стекла, серебра, бумажных цепей, цветов — всей драгоценной мишуры, в которую он обожал играть и, может быть, единственный из взрослых людей видел в сочетаниях предметов откровения, как умеют видеть только дети, потому что только дети еще помнят душу и меру вещей. Ушел старьевщик, купец и антиквар. Умерли и на глазах истлели вещи. Нижний край синей фрески никнет к раскрытой двери холодной уборной...», — опишет печально в своем «Апокрифе» Алла Боссарт.

Да, никакого музея Сергея Параджанова в Грузии нет. Зато в Ереване есть специально возведенный Дом Параджанова, просторный, светлый, нарядный, в нем собрано все, что было оставлено Сергеем в тбилисской квартире до отъезда во Францию на лечение, незадолго до его кончины. При жизни бы ему хоть часть такого дома...

Армянским друзьям надо отдать должное — они совершили великое дело. Именно они с самоотверженной бережностью сохранили все, что осталось после Сергея. Никто не посмеет укорить их, что они, не спросив в принципе ни у кого разрешения, привезли в его дом специально изготовленные в Ереване большие ящики и, деловито наделив каждую вещь номером, тщательно описав каждую куклолку и каждый коллажик, аккуратно упаковали все как самую большую ценность, не обращая внимания на то, что происходило в то время за стенами дома. А может, как раз и назло происходившему. Потому что за стенами параджановского дома буйствовал беспредел, шла гражданская война, никому не было никакого дела до каких-то там шляп и бумажных цепей, даже если они были сделаны руками гения. Такое уж нашло трагическое затмение на всех. И если бы армяне не сберегли параджановское «состояние», все было бы разграблено, растащено, разгромлено. Приезжая в Ереван или встречая армянских братьев в Тбилиси, я всегда с благодарностью жму им руку за свершенное — мужество этих людей вызывает во мне огромное уважение. Ведь кое-кто из тех, кто на похоронах Параджанова, потеснив всех, шел за гробом в первых рядах траурно-торжественной процессии, во времена опалы режиссера боялся даже шепотом, даже в ближайшем кругу произнести его имя. И в то же время со всех трибун старался перекричать других, отрекаясь от него и его фильмов. Потом, в навалившуюся на нас новую эпоху «честности, правдивости и объективности», они с той же напористостью и убежденностью громогласно запели совсем другие гимны в адрес Сергея.

Сам он все прекрасно понимал.

В письме к Лиле Брик и В.Катаняну из зоны он говорит им:

«Вы, в происшедшей моей переоценке ценностей и людей, оказались удивительными, щедрыми, мудрыми и великими. Вас не одержал тот страх, который овладел близкими моими друзьями...»

Страх... Сам он отвечал за всех именно потому, что был свободен от всякого страха.

Он все понимал... И всегда был готов простить.

Но каждый раз прибавлялась горечь. За страх другого. За неумение другого тоже быть свободным. Он был одинок и в этом. Слишком уж тяжело — быть одиноким в свободе... Наверное, от этой тяжести-то и были у Сергея вечно печальные глаза...

Глаза эти всегда поражали меня удивительным несоответствием: в самые разухабистые моменты параджановского карнавала, когда вселенский хохот заставлял всех хвататься за животы, когда очередной праздник параджановского остроумия достигал апогея и всем вокруг уже верилось, что они действительно гении и жизнь и впрямь бесконечно красива, взгляд Сергея становился особенно печально-мудрым,

повернутым куда-то вглубь, где жила своею, такой непонятной для хохочущих жизнью беззащитно-трепетная душа, которую он с детской наивностью пытался оградить от колючих проволок и шершавых языков целым арсеналом карнавальных масок.

Посмотрите повнимательнее на все его фото в бесчисленных альбомах — при общении он умел обмануть любого своим весельем, а вот фото беспощадно выдает его настоящую суть, суть познавшего истину.

Взгляд не поддается гриму...

Когда я сказал ему в одном из споров, что он так и остался навсегда в своем обожаемом детстве, хотя глаза у него уже очень-очень усталые от этой самой «печальной мудрости», он усмехнулся:

— А кому нужна чья-то мудрость?

— Да хотя бы им... — махнул я рукой в сторону массовки, готовившейся к съемке. — В наше время их может спасти только...

— Мудрость не спасает! — Сергей резко ткнул конец палки, которую держал во время съемок наподобие дирижерской палочки, в окаменелую от жары землю. — Мудрость не в природе человека. Ее нигде не сыщешь, как не сыщешь и самого Человека. Верно сказал чувак: это самый неудачный эксперимент в царстве разума — найти Человека! — Он отошел к дереву, потрогал листочек. Что-то ему не понравилось. Наклонился, обмакнул кисточку в белую краску, прошелся ею по красной коже спелого граната. Откинул голову назад, полюбовался. — Рассвет так и не наступил. Иногда светало, но так и не рассвело...

— А если бы тот... ну, который на вас был похож, — не отставал я, — такой же бородатый, пыльный весь, с таким же животом и тоже мечтавший о теплом туалете...

— Сосед, что ли? — перешел режиссер к другому плоду.

— Не совсем... Он в бочке жил, как вы в своей тбилисской берлоге. Знаменит тем, что даже при самом ярком солнце зажигал фонарь и целыми днями искал кого-то... ну как его звали-то?! — вылетело у меня из головы в самый нужный момент.

— Не помню... — Пальцы Параджанова любовно ласкали гранат. Когда он трогал плоды этого растения, пальцы его всегда дрожали, словно у мальчишки, впервые прикоснувшегося к девичьей груди. — Разве всех упомнишь, бестуалетных... даже самых знаменитых...

— Ну ладно... А если бы он зажег свой фонарь сейчас?

— Результат был бы тот же. — Сергей открыл другую банку, несколькими взмахами обмазал гранат черной краской, переводя взгляд с черного плода на белый, нахмурил лоб, повернулся к сидевшему на стульчике директору группы. — Завтра здесь должны быть два барана! Белый и черный! — крикнул он, затем опять спокойно продолжил раскраску дерева. — Человека по-прежнему нет... и Троя всегда в огне.

— Что еще за «Троя»? — не поспел я за бегом его мысли.

— Город такой... призрак, — терпеливо пояснил он. — То ли есть он, то ли нет. Невеста у меня оттуда была... учились вместе. Пожениться должны были... я даже свадебное платье ей сам сшил... из кружев... и фату из сиреневого тюля.

— А-а, это которую... под поезд? — вырвалось у меня. — Но она же из Стамбула была!

— Разве?.. Нет, она была из Трои. Троя мне больше нравится. Говорят, там недавно показывали мой фильм... в огромном зале, под открытым небом, совсем рядом с ее могилой. Очередь зрителей тянулась через все кладбище. Фильм крутили три ночи напролет!

— И на все кладбище три ночи напролет стоял крик: «Ге-ний! Ге-ний!..» — пошутил я.

— Нет, — всерьез ответил Параджанов. — «Гений» кричали в Португалии. А потом в Венеции...

— А потом в Париже и даже в Нью-Йорке! — подыграл я его самолюбию. — Или Нью-Йорк тоже призрак?

— Нью-Йорк, конечно, потрясающий город, но мне туда не хочется. Мне не нравятся тамешние миллионеры — они пьют из пластмассовых стаканов... Нет, я хочу просто отдохнуть.

— Спокойно порыться на барахолке Берлина, отыскивая кофейную чашку Гитлера?

— А что? Это более полезное занятие, чем ходить по улице в солнечный день с фонарем.

— Ага-а! Вы завидуете ему! Завидуете, что не вы первый придумали прославиться бочкой и фонарем!

Сергей, нахмурившись, окончательно повернулся ко мне спиной, почти всем телом влез в колючие кусты.

— Хм!.. Разве я еще способен завидовать? — ответили мне голосом Параджанова перемазанные краской листья граната. — В жизни я завидовал всего лишь дважды... Дворничихе нашего двора... и собственным ногтям. Там, в зоне.

— Ногтям?!

— Да... В зону один раз в месяц приводили специального парикмахера. Нам запрещалось иметь при себе острые предметы, и он приходил стричь нам ногти. Это был маленький горбун, типичный Квазимодо. Он волочил ногу, обутую в большой валенок... В одной руке держал огромные ножницы, в другой — ржавое ведро, которое скрипело при каждом его шаге... У ведра были помятые бока... Квазимодо сопровождал часовой с карабином, совсем как большого начальника. Представь себе... Горбун ходил в барак, усаживался на специальное возвышение — ножки его не доставали до пола, так и болтались... Сперва он проводил несколько раз дрожащим пальцем по лезвию ножниц, потом важно кивал головой, давая команду. И мимо него конвейером начинала двигаться серая безмолвная толпа заключенных... Квазимодо щелкал своими ножницами-гильотиной, обрезал всем ногти на руках и ногах, и за день обрезанных ногтей набиралось полное ведро...

Сергей отбросил ногой опустевшую банку из-под краски. Я вздрогнул — показалось, что звякнуло то самое ведро...

Параджанов прищурился от яркого солнца, приложил ладошку козырьком к бровям, полюбовался гарцевавшими невдалеке конниками, уже облаченными в пестрые одежды.

— Когда горбун заканчивал работу и уходил с ведром за ворота, все смотрели ему вслед... и над зоной нависала мертвая тишина... как на панихиде. Только ведро поскрипывало, ржаво так. От того скрипа всем было больно... словно резали нам кожу. Мы морщились от боли и завидовали собственным ногтям. Они уплывали на свободу! За воротами, чуть поодаль от колючей проволоки, было странное место. Там совсем не залеживался снег. Большой черный круг, очерченный дьяволом. Горбун шел к центру круга, опрокидывал ведро, высоко поднимал его над головой. Начинал кружиться в каком-то адском вальсе, рассыпая ногти по всему черному кругу... У Малевича — черный квадрат, у меня — вечно черный круг, вот здесь! — Сергей постучал себя кулаком по голове. — Мы не уходили в бараки, пока парикмахер не высыпал последний ноготь. Ветер разносил наши ногти по бесконечному полю, и мы явственно чувствовали, что это кусочки нас самих падают в землю...

Стало жутковато от этих слов. Так четко представилась картина изуверского сева, что я совсем рядом услышал странный звук падения ногтей в горячую, дышащую влажным паром, совсем не зимнюю почву. Какие-то голоса, плач, смех, обрывок мелодии, наигранной на сиреновой скрипке, о которой тоже мечтал Параджанов, шепот женщины, стон, звон бокалов и снова плач, и снова смех: земля в такой миг похожа на родящее чрево. Смотрю под ноги. Пар становится гуще, звонче... Горбун медленно исчезает, растворившись в этом пару... лишь опрокинутое ведро и воткнутое острием в землю огромные ножницы...

— А когда таял снег, — я вздрагиваю от усталого голоса Сергея, — и наступала весна, на том самом месте, где высеивали нас, выросли необычные кусты, веточки которых были похожи на скрюченные пальцы наших рук...

И всадники, и гримеры, и съемочный кран — все куда-то исчезло. Смотрю на дремучее поле за низеньким заборчиком сельского дворика, в котором готовится съемка, и из земли появляются руки со скрюченными пальцами. Длинные, короткие... одна завязана узлом, другая переломлена в нескольких местах, у третьей не

хватает нескольких пальцев, а у той — наоборот, лишний палец... Все руки покачиваются, шевелят, шевелят пальцами, каждая пытается что-то рассказать...

— От этого можно было сойти с ума! Однажды мы возвращались с участка, где валили лес... уже входили в ворота, и тут мой сосед по нарам — я на нижних нарах спал, он наверху — не выдержал, побежал к тем кустам, завел свою бензопилу и стал сечь все под корень!.. Если бы ты слышал, как закричало поле!

О второй зависти, к дворничихе, в тот день Сергей рассказать не успел. Съемка продлилась до самого захода солнца, снималась сцена любви. Если вы когда-нибудь пойдете смотреть фильм «Ашик-Кериб», знайте, что сцена, где Ашик-Кериб сидит со своей возлюбленной у гранатового дерева с белыми и черными плодами, снята была именно в тот день, когда он вспоминал о посеянных ногтях. Как же надо было любить жизнь, чтобы суметь после всех «квазимод» снять столько прекрасных кадров, каждый из которых он «раскрашивал» собственноручно, не жалея ни красок, ни чувств!..

Притчу о дворничихе я услышал позднее...

...В Ереван, на премьеру фильма «Легенда о Сурамской крепости», мы ехали поездом. Всю ночь в купе, как всегда превращенном Параджановым в маленький музей с развешанными по всем крючкам персидскими ковриками, новыми коллажами, предназначенными в подарок ереванским друзьям, гроздьями крупного винограда, свисавшими с полок, и серебряными кувшинами, из которых не уставало литься янтарное вино, не стихал хохот — Сергей был в ударе.

В купе набралось столько зрителей-участников его очередного праздника-шоу, что он не мог не устроить такой вот яростной ночи, каждый миг которой был полон блеска ума, тонкого сарказма и неподражаемой артистичности. Но чем ближе мы подъезжали к Армении, тем чаще Сергей поглядывал в грязноватое окно, тем длиннее становились паузы в его нескончаемых сценках. А когда под самое утро его купе наконец опустело на часок, он вышел в коридор вагона, прислонился к раме и до самой остановки поезда не отрывался от медленно раскрывавшегося в рассветных лучах солнца пейзажа.

Оставшись с собой наедине, Параджанов был печален и тих. Он волновался. Слишком долгой и страшной была разлука его с Арменией, он скрывал волнение печалью, которую в свой черед скрыть уже ничем не мог.

Пейзаж за окном был довольно унылым. Сонным, неприбранным.

Параджанов положил обе руки на железную перекладину окна, уперся подбородком в ладони, широко расставил ноги, перегородив собою весь проход.

Я молча стоял рядом, спать не хотелось и мне.

Сергей, не поднимая головы, не отрываясь от панорамы ереванского пригорода, медленно проплывавшей за окном поскрипывавшего вагона, негромко произнес:

— Видишь тот парк? Там было старое кладбище. Город стал большим, и оно тихо-тихоросло в него. Умники-правители решили убрать кладбище и сделать из него парк.

— Парк?! — поразился я и с новым интересом вгляделся в непогашенные цветные лампы аттракционов. — Где пьют и смеются?! Из кладбища?!

— Это не так трудно, — покачал головой Сергей. — Надо только оставить деревья и аллеи, а могилы и надгробья убрать. Так и сделали... Пригнали бульдозеры и за несколько часов убили древнее кладбище...

Он поднес обе ладони к лицу, прижал их к седой бороде.

— И с тех пор ко мне домой приходят духи... мои предки, потому что они стали бездомными. Они просят убежища...

Когда через несколько лет Параджанов предложил мне работать с ним над фильмом «Исповедь», который он собирался снимать после «Ашик-Кериба», в сценарии я нашел эти мысли, записанные слово в слово, как было сказано у вагонного окна, и дальше было еще и это: «...они стали бездомными, они просят убежища. Мой дед, и моя бабка, и та женщина, что сшила мне первую рубашку, и тот мужчина, который первый купал меня в турецкой бане... В конце я умру у них на руках, и они — мои предки — меня похоронят уже навсегда... уже без улыбок».

К «Исповеди» он так и не дошел.

Их было четверо, великих, кто задумал создать свои «Исповеди». Трое успели...
 Андрей Тарковский — «Зеркало»...
 Федерико Феллини — «Амаркорд»...
 Ингмар Бергман — «Фанни и Александр».

Сергей Параджанов отснял только одну сцену, 200-метровый эпизод. В своем дворе, на своей лестнице, снимал все время сидя — ходить уже было трудно. На стуле даже не сидел, полулежал. Обмякший, предельно усталый от всего, команды вяло подавал руками. Поддерживало его то, что во дворе было много народа — снималась сцена похорон, — все смотрели на него, и он обязан был играть, играть...

Для съемок он заказал два гроба. «Хоронили» актрису в большом гробу, но винтовая лестница была такой узкой и крутой, что пришлось спускать гроб поменьше. Режиссер перед съемками предупредил художников, что гроб должен быть то белым, то черным, и художники, зная характер Параджанова, подстраховались, привезли во двор четыре гроба.

Два черных и два белых. Такое количество гробов потрясло Сергея. Он совершенно серьезно прохрипел: «Это что, для меня?!» И здесь он угадал...

...На перроне Ереванского вокзала нашу группу встречали армянские коллеги, художники, журналисты, тамошние родственники Параджанова, друзья.

Тут же Сергею объявили, что вообще-то основной показ, так называемая «официальная премьера» его фильма, в присутствии всей элиты, с приветствиями, с банкетом и пресс-конференцией, назначен на восемь вечера, но ввиду того интереса, который вызывает сам факт «новоявления» Сергея после всяких там тюрем и зон, Союз кинематографистов и более высокое начальство вынуждено было устроить еще два дневных показа «Легенды...». Первый показ начнется в двенадцать, зрители уже собираются, ждут Параджанова и фильм, который мы привезли с собой.

Пока все целовались на перроне, плакали от радости и выкрикивали друг другу приветствия на разных языках, организаторы помчали фильм в Дом кино, потом и нас повезли туда же, но сперва в самый нижний этаж, в уютный ресторан, где был накрыт щедрый стол, главным украшением которого была целая шеренга разномастных бутылок ароматного коньяка.

Парадом командовали популярнейшие тогда Фрунзик Мкртчян и Буба Кикабидзе (вся страна наслаждалась их дуэтом в только что вышедшем на экраны фильме «Мимино», с ними невозможно было появляться на людях: жизнь немедленно замирала, все смотрели только на них).

Они по очереди произносили тосты; у Сергея несколько раз влажнели глаза. Перекатывая в пухлых пальцах рюмочку, он взволнованно отвечал на какие-то вопросы, его все время кто-то обнимал, голос Сергея стал хриплым, мы с удовольствием пили коньяк, и когда нас пригласили подняться в зал, он попросился на минутку на свежий воздух.

Входная дверь Дома кино, большая, стеклянная, была уже закрыта изнутри, никого больше не впускали — в зале люди и так плотно стояли вдоль стен и во всех проходах.

Сержик и тут остался верен себе. Увидев, что на улице, за стеклянной дверью, осталось еще человек пятьдесят, которых не впустил контролер, он размашистым шагом подошел ко входу, резко отодвинул стальной засов, распахнул обе створки толстого стекла.

— Хотите поглазеть на Параджанова? — крикнул он обделенным судьбой зрителям.

— Да-а! — закричали они в ответ, не подозревая, кто стоит перед ними.

— Входите же! — щедро взмахнул Сергей рукой, впуская всех безбилетников, и толпа чуть не сбила его с ног. Люди, не раздумывая, бросились через коридор к партеру, который и без них готов был лопнуть от перенасыщения.

— Что вы делаете?! — подбежал бледный от возмущения контролер. — Меня же...

— Да ничего не будет, — успокаивающе похлопал его по плечу Параджанов. —

Люди хотят приобщиться к гению... Пусть приобщаются, для них это праздник! Считайте, что вы сегодня им его устроили!.. На том свете зачтется!

Он вышел на улицу. Подставил лицо солнцу. Вдохнул всей грудью свежий воздух. Несколько мгновений смотрел перед собой, затем резко повернулся, мотнул головой:

— Ну!.. Народ заждался!..

Мы поспешили за ним и добрых полчаса не могли добраться до сцены. Прорваться сквозь плотную массу зрителей было невозможно.

Фрунзик Мкртчян махнул нам рукой: «Идите за мной!» и повел нас в коридор, затем через полутемный служебный тоннель мы добрались до лестницы, которая использовалась для сценических эффектов, и при ее помощи наконец появились на сцене.

С обеих сторон висели одинаковые занавеси. Одна отделяла сцену от зрителей, другая — экран от запыления.

То ли от волнения, то ли от немалых градусов коньяка, а может, просто по задумке Параджанова, получилось так, что мы сперва не могли понять, почему занавес перед нами так долго не раздвигается и почему восторженный рев людей и гром аплодисментов вдруг стал доноситься откуда-то сзади.

— Ау-у! Где вы, люди-и!.. — прокричал Параджанов, вглядываясь в запахнутый занавес перед собой. И только через несколько мгновений мы поняли, что «все перепутали» — режиссер поставил нас «неправильно», спиной к зрителям.

— А-а, вот вы где!.. — повернулся наконец он к залу лицом, давая этим команду и нам.

Аплодисменты стали еще неистовее. Сергей слушал их, чуть-чуть выйдя вперед из общей шеренги, но подходить к микрофону не спешил. Выставив живот, откинув назад большую седую голову, он медленно обводил взглядом зал, ряд за рядом, то ли выискивая кого-то, то ли продлевая наслаждение слышать восторг зала.

— Хм!.. — усмехнулся он, оглянувшись на нас. — Совсем как у Пушкина: кричали женщины «ура» и в воздух... лифчики бросали!..

Он шагнул к рампе, наклонился к вскочившему с первого ряда высокому мужчине с гладко зачесанными назад волосами.

— Альберт Григорян!.. Ты ли это? — прохрипел Сергей.

— Да!.. Да!.. — обрадованно ответил мужчина, гордо оглянувшись на зал: Параджанов узнал его после стольких лет!

— Неужели ты мне аплодируешь? — еще ближе подошел к краю сцены Сергей. Григорян поднял сведенные ладони над головой, показывая всем, что он действительно громче всех аплодирует живой легенде. — А где были твои руки, когда я умирал в тюрьме с голоду? Почему они не подали мне кусок хлеба? А?.. — Параджанов выпрямился, взмахнул рукой, призывая зал к тишине. Зал не утихал. Режиссер опять наклонился к Григоряну, с желчью добавил: — Хотя я все равно бы не принял хлеба из руки, которая писала обо мне всякие гадости!.. — И крикнул в зал, показывая на восторженно улыбавшегося Альберта: — Берегитесь таких вот, люди!

Вряд ли кто-нибудь, кроме нас, разобрал эти слова — шум все еще стоял невероятный. Впрочем, через минуту и сам Сергей уже позабыл о несчастном журнальщике; он взял в руку микрофон и целый час с юмором и печалью, серьезно и шутя говорил со своими соплеменниками о разном: о том, как снимал свой новый фильм, благодарил Грузию, которая дала ему возможность работать, расхваливал нас, привычно называя всех гениями. Мы скромно улыбались, радуясь в душе добрым словам, а он не мог наговориться, он так долго мечтал о таких вот днях, когда в любой момент мог бы выйти, без команд и просьб, за любую дверь, чтоб всего лишь глотнуть капельку свежего воздуха. Мечтал так долго... вечность и еще вечность... «Даже горы уже не растут... они остановились...» — сказано в его «Исповеди».

«Куплено — продано... Все продано... Могилы продаются в магазине подарков...»

Эти горькие слова оттуда же — исповедь не бывает сладкой.

Подшучивая вслух над смертью, затаенно он все же думал и о могиле. Познав свое место на земле, он не мог не думать о своем месте в земле.

Тихие вечера на его долю выпадали редко. В один из таких вечеров в комнатке Сергея, на горбатой улочке, нас было трое: он сам, как всегда на постели, в белой широкой рубаше, по-турецки сложив ноги, я и его племянник Александр Джаншиев, своеобразный художник, скромный, добрый, эрудированный парень с глубокими черными глазами, аккуратной смоляной бородой, всеми любимый Алик. Умелый, верный друг, он всегда был рядом с Сергеем, помогал ему и на съемках, и дома, и на выставках, в киноэкспедициях и на прогулках по городским свалкам, помогал без крика, неназойливо. С ним было интересно беседовать на любые темы — о митингах, участвовавших тогда на наших площадях, о кино, о живописи, о друзьях. Говорил он с легким заиканием, с нервом, особенно когда речь шла об Армении, о судьбах нашего поколения. Параджанов снял его в роли Пиросмани в своем маленьком шедевре «Арабески на тему Пиросмани» (Сергей сам придумал имя фильму, ему очень нравилось слово «арабески», хотя сам же потом спрашивал всех: «А что это значит?»). Алик болезненно переживал, что у него нет собственной мастерской, что не имеет возможности приводить к себе друзей, часто испытывал глубокие стрессы от неопределенности нашего будущего. Все знали о его обостренном чувстве ответственности за происходящее вокруг, но почему-то даже самые близкие к нему не догадывались, что он переживает тяжелейший душевный кризис. И в конце концов случилось непоправимое: неожиданно для всех нас он добровольно ушел из жизни. Ушел, как и жил, никого ни в чем не виня, без всяких прощальных записок.

...В тот тихий вечер, когда все еще были живы, Алик шлифовал наждачком старинную изящную рамку, которую беспардонно унес из чьего-то дома Сергей (он не мог равнодушно пройти мимо красивой вещи, без спроса у хозяев мог стащить из дома не только подобную рамочку для коллажа, но и целые дворовые ворота, если только они стоили его взгляда и вкуса. Он так же легко брал, как и отдавал. Однажды на киностудии, завершив съемки в павильоне, он мне и моей жене предложил увезти домой, прямо из декорации, шикарный буфет начала века с хрустальными зеркалами, с изящно инкрустированными дверцами. Манана, ахнув от восхищения, естественно, стала отказываться от бесценного подарка, Сергей еще долго уговаривал нас, предлагал найти машину, грузчиков, уверяя, что будет бесконечно счастлив, если это королевское великолепие, этот «натуральный ренессанс» будет храниться для будущих поколений именно в нашей квартире. Мы, в свою очередь, пытались объяснить ему, что, во-первых, в нашей маленькой квартире просто нет места такому объемистому произведению искусства и, во-вторых, вся остальная наша мебель просто потеряется рядом с ним. Тогда Параджанов так заразительно стал подбивать нас «выбросить на помойку всю остальную мебельную хара-хуру» ради исторического буфета, в котором, оказывается, хранил свою посуду сам турецкий паша, что мы с женой чуть было не дрогнули... На наше счастье, Параджанов куда-то отбежал на минутку. А когда вернулся, заявил нам, что мы можем не волноваться — за эту минуту он отыскал более благодарного «клиента», который без особых раздумий не только успел согласиться на подарок, но уже увез его к себе домой. Честно говоря, целых два дня после этого жена не переставала тихонько вздыхать по несостоявшейся обновке нашей квартирки. «Представляешь, у нас стоял бы буфет самого Параджанова! Пройдет время, и ему цены не будет!» — с грустной улыбкой несколько раз повторила Манана, и мне оставалось только успокаивающе улыбаться ей в ответ. А на третий день в киностудию влетела Кети Долидзе, режиссер и актриса, женщина эффектная, колоритная, натура темпераментная, мгновенно вскипающая самым высоким градусом даже в безобидном деле; она промчалась по главному коридору студии, во весь голос допытываясь у всех встречающих: «Вы не видели, куда Параджанов дел мой буфет, который я одолжила ему для съемки?»

(До сих пор не знаю, отыскала ли она ту драгоценную семейную реликвию, завезенную из Польши еще ее прадедом; одно известно доподлинно: никакой турецкий паша на том буфете не только ни разу не обедал, он даже простой чай на нем не кушал...)

...Закончив шлифовку, Алик Джаншиев стал примерять к рамке картонный задник. Сергей маленькими острыми ножницами увлеченно кромсал цветную бумагу, а

я, раскрыв купленную по дороге сюда тоненькую книжечку стихов, негромко прочел понравившиеся строки:

Как жизнь проста. А наша жизнь убога.
Учиться жить — какая маета.
Зачем нам ум — мы под крылом у Бога,
Зачем нам кров — мы под крылом у Бога,
И речь зачем, когда есть немота...

Алик почему-то перестал работать, покосился на Параджанова. Тот по-прежнему невозмутимо щелкал ножницами. Бросил коротко:

— Откуда это?

— Хм? Неужели забыл? — вместо меня ответил Алик. — Это же любимые стихи твоего любимого ассистента! Он читал нам их наизусть, нежненький весь... — Алик повернулся ко мне и продолжал, нервно заикаясь: — А потом пришли к нему, — он кивнул на Сергея, — дяденьки с револьверами под пиджаками и сразу же нашли в столе порнуху, карточки с голыми тетеньками. Тот ассистентик, оказывается, и подбросил их...

Алик склонился было над рамкой, но тут же вновь резко повернулся к Сергею.

— Неужели и вправду все это забыл?!

Сергей, любуясь бумажным цветком, который оживал в его пальцах, ответил хрипловато:

— Я же простил его... а значит — забыл.

— Но как можно такое прощать?! — передернул плечами Алик, у него даже руки задрожали от волнения. — Ведь вся твоя жизнь с того утра...

— Он прекрасно читал стихи, — не дал ему договорить Сергей, — а у меня под рукой не было ничего, чем я мог бы отблагодарить. Вот я и подарил ему... прощение. Как там?.. «Мы под крылом у Бога»? Видишь? Все мы там... И время все поставит на свои места...

Он приладил цветок к широкополой шляпе, довольно ухмыльнулся.

— Смотрите, какая прелесть!.. Эту шляпу я подарю Алле Демидовой. В Москве ставят «Трех сестер»... На Алле будет сиреневое платье и эта шляпа.

— А может, режиссер не захочет, чтобы на ней было сиреневое платье? — пробурчал Алик.

— Если на ней не будет сиреневого платья... — Сергей выдвинул руку с пышной шляпой подальше от своего лица, покрутил, любуясь со всех сторон, и все так же невозмутимо продолжил: — то спектакль не получится. На одной из сестер обязательно должно быть сиреневое платье. И оно подойдет именно Демидовой... Если режиссер попросит, я к шляпам сделаю и платья. Все три...

Режиссер не попросил. А вот шляпу в Москву, насколько мне известно, Параджанов действительно отослал. Но на сцене, в спектакле, актрисы были в других шляпах.

Кто-то «услужливо» донес Параджанову, что Демидова, получив презент, якобы пожалала плечами и равнодушно сказала, что шляпа эта — дешевый кич...

Не знаю, сказала ли актриса эти слова на самом деле, но Сергей обиделся всерьез. И то, что он прорычал в адрес театра и всех «трех сестер» вместе, я повторить не осмеливаюсь.

Жаль только одного: а почему и вправду нельзя было дать ему возможность одеть героев пьесы так, как он предлагал? Представляете?.. Костюмы «от Сергея Параджанова»!

Кто-то и впрямь счел бы их кичем, кто-то — ренессансом, но одно неопровержимо: в любом случае все было бы неожиданным, в любом случае — ярким, как и все, к чему прикасался этот человек...

Невостребованные московскими «сестрами» шляпы вместе с другими и собрались в тот самый фейерверк «шляп в честь несыгранных ролей Нато Вачнадзе», который сейчас, целиком, украшает Дом Параджанова, экспонат, к которому нельзя прикасаться. За ним ухаживают, он охраняется строгой сигнализацией, внесен в

солидные каталоги... А тогда — а тогда просто сидел человек на своей не совсем свежей простыне, по-детски усердно вырезал из лоскутков выброшенной кем-то бумаги и материи пышные цветы, которые обычно бывают только во снах или в сказках, и по-детски же хотел, чтобы эти цветы и шляпы кому-нибудь подарили радость...

...Вечер оказался бесконечным.

Может, оттого, что было необычно тихо, лишь шорох бумаги и шуршание легкого наждачка в пальцах Алика...

Хорошо думалось. Не хотелось покидать эту тишину.

Я осторожно перевернул страницу.

— Вслух давай... — прохрипел Сергей.

А я не умею читать стихи вслух. Люблю глазами, для себя. Но тут отказаться не посмел — тишина располагала... Да и стих на открытой странице подпал под настрой того вечера.

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть?
А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя...

Фетовские строки в моем прочтении прозвучали довольно-таки коряво, но руки Алика и на этот раз застыли, щека его, заросшая смоляной щетиной, заметно дернулась. Он неподвижно смотрел перед собой, на окно, не видя за ним ни луны, ни соседских огней. Не знаю, о чем он думал в тот момент. Мне показалось, что печаль его просто от стиха, от мысли о «жизни и смерти», о том, что поэт, как всегда, прав — «в ночь уходит все»... а тут и Сергей замер на миг, что-то пробурчав; в нижнем дворе пронзительно простонала железная дверь от толчка запоздалого жильца, шаги его во дворе были гулкими, каблук несколько раз царапнул подковкой по каменному настилу, уложенному руками Сергея, затем неохотно проскрипели и доски крутой лестницы, человек неторопко добрался до второго этажа, и тишина после этого стала такой прозрачной, что мне почудилось даже, будто я слышу дыхание застывшего в углу манекена — «Тарковского». Я невольно глянул на него, потом на Сергея. Он смотрел туда же...

Каждый расслышал в той тишине что-то свое, но ни я, ни Параджанов не могли предположить, что всего через два дня Алик тоже уйдет в вечную ночь...

Стараясь поскорее разогнать жутковатую странность момента, я захлопнул книжицу и задал Параджанову давно мучивший меня вопрос:

— А кто была та дворничиха, которой вы почему-то позавидовали?

— Почему «была»?.. Она и сейчас есть. Часто во дворе у нас крутится, в пестрых юбках, крикливая такая.

Честно говоря, никакой крикливой дворничихи в его дворе я никогда не замечал, наверное, это было в другом дворе и совсем в другом веке. У Параджанова считалось обыденным — путать время и место. Ни одно из этих понятий в его жизненных притчах не было главным.

Главным было вот что:

«...вишня в нашем дворе. Снег еще не сошел, а она расцвела белым цветом. Говорят, такое — к несчастью. И курица возле цветущей вишни прокричала петухом. По тбилисским предрассудкам — это тоже к несчастью. Столько несчастий на один двор из-за белой вишни!..»

Тетка, сестра отца, догоняет черную наседку, прокричавшую петухом...

На белом снегу осталось красное пятно, над которым колыхался и взлетал черный пух.

Потом тетка схватила топор... на балконах стояли соседи и требовали срубить вишню... вот эту!.. посмевавшую зацвести зимой белым цветом...

Теткин муж пытался выхватить у нее топор...»

На соседском балконе, словно специально подгадав, громко зазвенело что-то,

будто колокола всполошились. Я прислушался, оторвавшись от сценария «Исповеди», который зачем-то, вместо ответа о дворничихе, протянул мне Сергей. Захотелось подойти к окну, посмотреть, что там такое случилось, но Параджанов шепотом остановил меня:

— Тс-с... Странные звуки!.. Мы возьмем их в свой фильм. По реке будет плыть саз старого ашуга... мой герой, стройный, красивый, войдет в реку, чтобы достать этот саз, а потом крикнет врагам: «Не убивайте меня, люди! Я всего лишь певец!», и мне хочется, чтобы именно эти звуки... — Сергей протянул руку к окну, но Алик отрезвил его:

— Это у соседа свалились с полок оцинкованные тазы.

Параджанов не обиделся: новая шляпа явно нравилась ему, он с довольным видом рассматривал бумажный цветок.

— Ты какое место читаешь? — спросил меня.

«Тетка проклинала, плакала, захлебывалась в слезах, вырывалась из рук мужа. А потом она рубила ствол вишни и опять проклинала и плакала. Во дворе все сразу оголилось и стало неподвижным. Черную зарезанную курицу никто не трогал. Ее обнюхивали собаки, кто-то бросал в них поленья, и собаки с визгом убегали от черной курицы, прокричавшей петухом. Красная роса ее крови долго не высыхала...»

— Красиво!.. — выдохнул Сергей. — Неужели так и написано?

Кровать протяжно проскрипела под его тушей, он прошлепал босиком к окну, провел белым рукавом по тускловатому стеклу.

— Видишь фонтанчик в центре двора? Там и стояла наша вишня... Пошла на дрова, а я ее в историю... навсегда...

Я тоже прильнул к окну, и вдруг показалось, что это не чистый снег устлал дворик, а кто-то натянул на уголки двора большой экран, и вот упал на него лучик света из параджановского окна, затрещала пленка в проекционной, где-то под крышей, и завертелось новое кино: у искромсанного ствола по-весеннему расцветшей в феврале вишни — два пятна. Красное — от крови. Черное — от пуха курицы...

Сергей стоит босиком, в белых штанах и белой рубаше, на белом экране, его беспокойные руки зачерпывают и кровь, и пух. Подрагивающие пальцы, выросшие на том самом поле, где высеивались ногти, с силой сминают кровь и пух в один красно-черный снежок, руки выбрасывают снежок в открытые ворота, снежок катится по наклону старой улицы по девственному снегу, на котором нет ни следа.

Сергей, сгорбленный, стоит в проеме ворот и смотрит вслед удаляющемуся снежку, который, прихватывая на ходу новые порции снега, становится все больше и больше. И цвет снежка не меняется...

Сергей подносит застывшие ладони к губам, дует на них, пытаясь согреться. За его спиной расцветшая вишня, срубленная под корень, дала новые плоды — вся усеялась кровавыми крупными ягодами.

— Черное и красное... — шепчет Сергей. — Что рождается из столкновения этих цветовых пятен?

— Грохот оцинкованных тазов! — упрямо твердит Алик, нервно подергивая щекой.

«Нет... — нахожу ответ в "Исповеди". — Не грохот... Поезд... Тот самый, который привез меня снова на этот балкон, чтобы я воскрес... После всех тюрем, кладбищ и предательств... И балкон детства родил меня вновь... Я увидел облако, красивую мать, услышал шум ветра, звон колокола, и все это — мне!.. И все это — отсюда, и за все это... надо платить».

— Дворничиха, говоришь?.. — Сергей еще раз потер запотевшее стекло рукавом. Полоска сажи перехлестнула белое полотно. Другой ладонью он потер сажу, усмехнулся. — Повязка почетной траурной команды... Кого-то хоронят где-то... наверное, опять меня... Слышите, даже зурна играет...

— Ночью если кого-нибудь и хоронят, то только тебя... — бурчит Алик.

Сергей, погруженный в свое, не расслышал издевки.

— Я проснулся... а жена стояла вот здесь, на этом самом месте. Окно было открыто, она расчесывала свои золотые волосы... Я смотрел на нее, и в лучах солнца и волосы, и руки, все ее тело были прозрачными. Медленно-медленно ее прозрачные

пальцы сняли с расчески несколько волосинок, смяли их в пучок, и золотой слиток полетел за окно...

На озябшем снежном экране, натянутом на углы ночного двора, эти воспоминания Сергея оживают совсем так, как описал он их в сценарии своего несвершившегося фильма:

«...Прозрачный профиль прекрасной женщины у горящего солнцем окна... и — золотой волос, словно с оживших полотен Боттичелли... но волос реальный, он из косы...»

— Твоей жены! — слышу чей-то злорадный голос, но перо Сергея не сбавляет накала своего восторга перед красотой:

«...из косы возлюбленной Человека!»

— Ты говоришь так, будто вы только-только расстались! — усмехается кто-то.

«Человек обнаружил его во рту спустя десять лет после развода...»

Почему не дают покоя видения рук, выросших на тюремном поле из раскрошенных от морозов ногтей?.. Вот и сейчас, слушаю оду Сергея совсем о другом — о красивом и вечном, а видятся руки, выползшие из дышащей черной земли. На одной из них — золотой волосок, развевающийся от поземки, старающийся поскорее улететь от страшного места... совсем как моя карусельная скамеечка в парке детства...

«Это было во сне... — раскручивается неснятый фильм. — Я встаю. Ищу на голой стенке гвоздь. Я спасаю волос. Я так боюсь его потерять! Наматываю... Наматываю... Сплю...»

Золотой слиток женщины проплыл мимо балконов... все соседи проводили его взглядом, полным зависти...

Во дворе крикливая дворничиха в пестрых атласных юбках подставила руку, и пучок волос мягко лег на ее шершавую ладонь.

После того Сергей всегда целовал эту ладонь, никому ничего не объясняя, и дворничиха никак не могла понять, с чего это вдруг он стал таким вежливым...

«А утром... Утром — голая стена. Торчит заржавленный гвоздь... Голый».

Гнилой гвоздь — и женский волос, полный любви...

Черное и красное — поезд, возвращающий в детство... Совмещающиеся несовместимости...

Откуда такой дар, такая сила?.. Какая похожесть талантливых людей — видеть в пылинке Космос!..

— Что вас поразило больше всего, когда вы вышли из гостиницы на тбилисскую улицу? — спросил я у Тонино Гуэрры в час нашего знакомства, в комнатке Параджанова, ожидая услышать в ответ привычный восторг гостя старинными банями или висячими балконами над Курой.

А он, особо не раздумывая, тихим голосом сказал, что больше всего его поразила высокая деревянная стенка в одном из двориков, мимо которого он проходил по дороге к Сергею. Стенка стояла «лицом» ко входу во двор и была вся беспорядочно забита огромными толстыми гвоздями. Он так и не понял назначения «этого оригинального сооружения», но его очаровали тени от этих таинственных гвоздей. Тени густо перечеркивали плотно сбитые доски, и стенка была похожа на исполосованное розгами голое тело. Тонино Гуэрра долго стоял и смотрел, как менялся «почерк шрамов», солнце уходило от дворика, тени постепенно укорачивались, уползали в точку, где железо впивалось в дерево. В какой-то момент все тени-шрамы исчезли вовсе — и стенка «вздохнула» облегченно, словно сбросила с себя какое-то проклятие...

Вот так... Послушаешь одного, потом другого, и попробуй разберись, чьи подобным образом увиденные гвозди интереснее, Параджанова или Гуэрры?

И еще у Бодлера прочтешь о том же:

«Твои волосы — полмира... Позволь мне долго, долго вдыхать аромат твоих волос, погружать в них все лицо, как жаждущий в струи источника; распустить твои волосы, точно надушенный платок, чтобы в воздухе затрепетали воспоминания».

Затрепетали воспоминания...

Только они и давали Сергею силы выжить. Почти как у Бодлера, строки эти — не из сценария, не из фильма, а из реального письма, посланного из реальной тюрем-

ной зоны реальной женщине, прообразу той, которая расчесывала свои золотые волосы в «Исповеди»:

«Как удивительно, что я тебя видел во сне. На черной подушке лежали ты и Суренчик. Вы поочередно поднимали головы и просили меня не оставлять вас. Но между мною и вами было стекло пластмассовое. И тишина. Скорее, это были два сиреневых бутона. «Сон».

А потом Сергей напишет этой же женщине:

«Вчера меня провели по двору, где цветут "петушки" (ирисы). Это цветы, похожие на тебя. Они бывают лиловые, сиреневые, а тут они желтые — похожие на негатив».

«Там» все теряло свой цвет, все превращалось в разодранный негатив: судьба, мысли, время...

В первой его зоне в длинном бараке заключенные спали на двухъярусных нарах.

Сергея поместили на «первый этаж» — воровское «начальство» барака уступило ему самое почетное место из неподдельного уважения, в барак притащили кинослуховарь, и уголовники с изумлением убедились, что с ними находится человек, известный на весь мир, «живой кинорежиссер», который создал свою школу — Школу Параджанова.

Над ним жил Гриша, получивший четырнадцать лет за убийство из ревности. Приревновал к красавице-жене какого-то пижона и прирезал в ресторане. Нормальная история...

Заключенных каждое утро выводили из зоны в лес, валить деревья. Хорошим, добросовестным работникам сулили досрочное освобождение, поэтому многие были даже рады ходить на эту каторжную работу. А Гриша почему-то никуда не ходил. Лежал молча целыми днями, отвернувшись от всех. Параджанов постепенно сблизился с ним. Разговорил.

Полсрока Гриша, оказывается, уже «отбарабанил», раньше и на лесоповале не ленился, и в зоне старался вести себя так, чтобы побыстрее вырваться к любимой жене, которая тоже ждала его с нетерпением. Верность и нетерпение жены чувствовались в ее письмах, они приходили редко — в зоне часто писать не разрешалось, — но регулярно, женщина не пропускала ни одного удобного случая связаться с ним хоть одним словом.

Рассказывая Параджанову об этом, Гриша достал из-под матраца маленькую подушечку, сшитую им самим. С трех сторон подушечка была аккуратно прошита суровыми нитками, а в четвертом боку припряталась щель, через которую Гриша дрожащими пальцами вытаскивал обрезки человеческих волос.

— В каждом письме она присылала локон со своей головы... У нее красивые волосы. Пышные, блестящие, как свежая смола... За семь лет накопилось вот столько... Но вот в последних письмах... — Он достал из-за пазухи конверт, высыпал на ладонь новую прядь женских волос. Эти волосы были уже седые. Гриша протянул ладонь к Сергею, и у того защемило сердце от горькой безнадежности в глазах соседа.

— Вот во что превратило ее ожидание... — прошептал Гриша. — Я не могу больше заставлять ее... Еще столько же!.. Никакого досрочного освобождения нам не видать. Блеф все! Да если и будет, видишь, она уже совсем седая. Я написал ей...

Он действительно не вышел из зоны. Ни в лес, ни на свободу. Как-то утром просто не проснулся...

Начальство быстренько похоронило его в неостроганном ящике, мало похожем на христианский гроб. Но Параджанов успел положить ему под голову подушечку с волосами жены...

Кому-то, отсюда, может, все это и покажется слишком «театрально-сентиментальным», но там ничего «слишком» не казалось, там всегда был недостаток всего. Кроме жестокости и серой тоски.

Прочтите его письма к бывшей жене («Твой долг ты свершила. Не отвернулась...»), к сыну Сурену, «Суренчику», единственному и любимому, к Лиле Брик и Василию Катаняну, которые делали все возможное и невозможное для скорейшего освобождения Параджанова из заключения («Мы буквально грызем землю, но земля

очень твердая», — в отчаянии за его судьбу пишет Сергею Лиля Брик. А он в ответ: «Как выразить Вам благодарность и восторг за доброту Вашу и нежность. Ваши письма... похожи на сонеты! Вероятно, стоило жить, чтобы ощутить в изоляции, во сне присутствие друзей, их дыхание, и тепло, и запахи...»). Прочтите...

И вы ощутите в груди сквозняк, ощутите полную опустошенность от той безысходности, от того ужаса, который умело, со знанием дела и цели, сеяла власть вокруг таких Человеков.

«Я так красиво жил 50 лет. Любил — болтал — восхищался — что-то познал — мало сделал — но очень многое любил. Людей очень любил и очень им обязан. Был нетерпим к серому. Самый модный цвет».

Такое признание в любви к людям и тут же — стон:

«Это строгий режим — отары прокаженных, татуированных, матерщинников. Страшно!.. Тут я урод, так как ничего не понимаю — ни жаргона, ни правил игры...»

Библию он никогда не упоминал, но заветная молитва у него была. Одна и на всю жизнь. Он называл ее почему-то «молитвой греков».

— Из всех молитв мне больше всех нравится молитва греков! «Да удвоится и утроится все прекрасное!»

— Вы сами это придумали?

— Какая разница... Пусть удвоится... — Сергей прикладывает ладонь к голове. — Потрясающе!.. всю жизнь шепчу эту молитву, и всю жизнь в ответ мне кто-то кричит в затылок: «Заткнись!» И от каждой буковки этой команды — след на затылке, как от пули... Все лысеют со лба, а я начал лысеть с затылка... Все выстрелили насмерть буковки-пули... Я не знаю, в чем я виноват... не та молитва, наверное. Мумии зовут меня сумасшедшим, а сумасшедшие делают из меня дрессированную обезьянку... на коротко-длинном поводочке. И водят... то в тюрьму, то в королевские замки на показ!

— А вдруг все же свершится такое: наступит утро, кто-то постучит в дверь, вы откроете, а там — тот самый, с фонарем. Он поднесет к вашим глазам обгорелый фонарь и вдруг скажет: «Здравствуй, я нашел тебя! Ты — Человек!» Что вы ответите?

— Мне станет жаль его... — устало потирает Сергей затылок, морщась. — Ибо в тот же миг он должен будет умереть... и я, и ты, и вот это все... — обводит он рукой свои шляпы и коллажи. — Потому что если Человека и впрямь найдут — сгорят все мифы... — Он шагнул к манекену — «Тарковскому», поправил на его груди кашне. — Сгорят мгновенно, как в атомном огне... Но ты не бойся. Люди долго еще будут искать... Куда уж им!

— Но почему?!

— А он никому не нужен, тот Человек, найденный днем с огнем... Тогда все остальные поймут, насколько далеки они от него, сколько надо трудиться, чтобы догнать... — Помолчал мгновение, тихо добавил: — Того, кто уже напоминает в сиреновом тумане Человека, легче и проще замуровать рядом с собой в башне Тамерлана.

— Это что-то новое...

— Не новое... Такие башни есть у каждого народа. Только называются они по-разному. Мне нравится «Тамерлан»... — Сергей щелкнул пальцами по деревянным лошадам, стоявшим на подоконнике, они попадали одна за другой, как костяшки домино. Он накрыл их обеими ладонями. — Тот, кто у власти, рано или поздно обязательно выстраивает башню, в которую замуровывают живых рабов... Это очень просто: ряд камней, на них — ряд лежащих на спине рабов, головой наружу... снова ряд камней, потом ряд рабов... Зацементированные, они медленно умирают. И башни получаются высокими! Нетрудно найти нужное число рабов...

— Но вы же не уложились в нашу башню!

— Мне повезло... Иногда и могильщики делают дело невпопад. Мой могильщик, наверное, был левша. Он что-то напутал в рисунке башни, попытался уложить меня не в тот ряд. Не там, где рабы, а там, где камни. — Сергей резким движением поставил одну из лошадок на ноги. — А когда все спохватились, левша стал обвинять не себя. Меня. И поэтому он заново выдумал уголовный кодекс, чтобы переписать на меня все свои смертные грехи... — Уложив две лошадки на ладони, Сергей стал

покачивать ладонями, словно чашами весов. — И воровство, и спекуляцию, и разврат, и изнасилование! И даже совращение старух! Фу, какая гадость! — Параджанов вернул лошадок на место, склонил голову к плечу, любуясь ими. — Кто же после всего этого посмеет прийти к такому, как я, да еще — с фонарем?!

Позднее, в другом месте и с другими собеседниками, он еще раз упоминал о «башне Тамерлана», и в том разговоре выяснилось, что о подобных «башнях» в свое время в дневнике писал его тезка Сергей Эйзенштейн. В его-то доме и прочел Параджанов об этом, но Эйзенштейн называл их как-то по-другому, хотя никакого значения это не имеет.

Главное — они оба, великие режиссеры и великие же страдальцы, одинаково не позволили ни «левшам», ни «правшам» замуровать себя в шеренге рабов...

Продолжая разговор, Параджанов снял с вешалки, похожей на раскидистый куст граната, где вместо плодов висели шляпы, маленькую корону, в которой, как он уверял, были подлинные бриллианты с «диадемы королевы Елизаветы», и приложил к голове.

— На кого я сейчас похож?

— Ну-у... на короля.

— Ага! — довольно ухмыльнулся он. Перевернул корону, развернул ее другим боком, кривовато приладил по самые густые свои брови, чуть-чуть скосил глаза к носу, дурачась. — А сейчас?

— На шута.

— О!.. В этом и весь секрет! Я сам делаю себя и королем, и шутом. Не оставляю другим ничего! Короли не скажут обо мне, что я чей-то шут, а шуты не облают меня королем, потому что я сам, опережая всех,ставляю себя то тем, то другим.

В какой-то период в середине его комнатки на тончайшем сиреневом волоске висел огромный, стариннойковки, весь зеленый от благородной старины ключ причудливой формы. Явно из какой-то сказки Андерсена. Никто в этом не сомневался, так как Параджанов не уставал повторять, что мечтает снять фильм «Чудо в Оденсе», и в роли великого сказочника он видел еще одного гения — Юрия Никулина.

Ключ мешал гостям, люди ударялись о его острые уголки, нить часто обрывалась, ключ грохался на стол, раскалывая посуду, но никто не смел даже спросить — а зачем, собственно, ключ висит в самом неподходящем месте. Убежденность в том, что, если Сергей так сделал, значит, в этом есть какой-то особый смысл, которого простому смертному не понять, была гипнотической.

Ключ этот, как и все остальное, как и «диадему королевы» в том числе, Параджанов нашел на свалке. А повесил на самом видном месте только потому, что считал ключ очень красивым. И еще, чтобы гэбэшники, время от времени для профилактики наведывавшиеся сюда в разных обличьях, оставались в недоумении: «Какой-то ключ... Зачем?»

Сержик же, довольный, посмеивался над их немymi вопросами в шарящих глазах.

— Они верно заметили, сволочи. Это действительно странно... Разве можно выбрасывать на свалку то, что красиво?! Ему очень много лет, он уже был в моей прошлой жизни, и все это время он провалился среди вони и грязи, но не поржавел, не сгнил... Значит, кому-то он нужен, кто-то ищет его, где-то есть, значит, дом, дверь, замок, которые мертвы без этого ключа.

— И вы все еще хотите отыскать тот дом?

— Хочу... И почему — «все еще»?

— Вы же и сами прекрасно знаете, что многие люди на земле имеют ключи от дома, которого нет, ключи от миров, которых больше не существует...

— Тс-с! — приложил палец к губам Сергей. — Опять эти странные голоса... Они напоминают о том, что пришло время читать молитву! — Он протянул ладони к ключу, укрыл его пальцами, поднял над собой, ослабляя усеянную узелками сиреневую нить. — Да удвоится и утроится все прекрасное!.. Да удвоится и утроится... — Покосился на меня хитроватыми глазами: — Ну что же ты?

— Аминь! — ответил я послушно.

— Аминь... — согласился Сергей.

Он не знал, что я освободил-таки зеленую скамеечку, ту самую, с карусели телавского парка...

Я был уже взрослым. Окончил институт, озвучил первые фильмы... Приехав в родной город на творческую встречу с земляками, в свободную минутку зашел в Надиквари, в то самое место, где познакомился с «Калиостро».

Парк опять встретил меня тишиной. Но это была уже какая-то другая тишина. Выхолощенная тишина безысходности...

Надиквари — место уникальное. Любимое место телавцев, место свиданий, дружеских встреч, развлечений. Парком его называть вообще-то не совсем верно, скорее всего это сквер, а то и просто — поляна размером с футбольное поле. Свежая трава, цветники, бодрящий вкусный воздух и поразительно красивый вид на белогорную гряду Кавказских гор в сиреновой дали, уникальный летний кинотеатр, мастерски украшенный резьбой, а над обрывом, окружающим поляну, ресторан, раскидавший свои гостеприимные столы по широкому открытому балкону, рядом — маленькая танцплощадка, на которой никто никогда не танцевал — в грузинской провинции как-то не принято было танцевать в общественных местах, — уютные длинные скамейки вдоль аккуратненьких асфальтовых дорожек — все это привлекало и молодых, и старых, в летние вечера здесь бывало многолюдно и весело.

Но в тот день, перед встречей со зрителями, я не узнал Надиквари. Словно попал в другое место и в другой век... Летнего кинотеатра не существовало. На его месте меня встретило траурное пепелище. Театр, как мне рассказали позже, сгорел, брошенный на произвол наркоманов и бездомных попрошаек, от их костра вспыхнул пожар, который и тушить-то было нечем — в самый нужный момент во всем городе не нашлось воды. На том месте, где была просторная сцена, осталось всего лишь два высоких бетонных столба, на которых во время спектаклей висели театральные задники.

Ресторан также исчез. Его растащили по блокам, по кирпичикам.

Танцплощадку пересекал широкий ров, кто-то по соседству, за забором, строил новый гараж, и именно через **это** место необходимо было проложить канализационную трубу.

Скамейки вдоль тропинок проржавели, прогнулись, перекошились непонятно от чего: то ли их специально вбивали в землю огромными кувалдами, то ли они сами так скрючились от стыда за озверевшее человечество...

И одна лишь карусель, та самая, ничуть не изменившаяся, стояла на своем месте в окружении пышного цветника, и все так же тонко подрагивали цепи, как жилки у застоявшегося жеребца, и даже цвет «моей» скамеечки не изменился — она одна из всех была зеленой.

Подсобка дяди-карусельщика охранялась огромным замком. Я огляделся. До самого обрыва, начинающегося сразу за останками мертвого театра, не было ни души.

Обрыв круто сбегал к дороге, ведущей от старого кладбища вниз, через край города к реке Алазань. А по другую сторону этой дороги была видна Гигос-гора — высокий холм, названный горой в честь какого-то Гиго. У этой «горы» страшная биография. На ней, в сумраке вековых деревьев, сталинские чекисты расстреливали неугодных власти людей. Здесь чудный хвойный лес, но в том лесу никто не гуляет, там даже птицы не вьют гнезд...

Я перешагнул через низенький заборчик, легко снял с крюков зеленую скамеечку и пошел с нею к бывшему театру. По кирпичным выступам влез на бетонный столб, на просторной вершине стал поудобнее и подбросил наконец скамеечку к небу. Она сперва и впрямь полетела вверх, как и мечталось, а затем, согласно всем законам обычного бытия, рухнула в обрыв. Ударившись о камень, с прощальным шумом разлетелась на куски.

Присев на корточки, я еще несколько мгновений смотрел на обломки и лишь теперь поверил, что скамеечки летают только в детстве...

...Отца в судьбе маленького Сержика было мало.

Его тоже время от времени навещали гэбэшники, и отец после этого отправлялся в Сибирь на очередную «посиделку».

«Он слишком чистосердечно доверился блудейке-жизни, надиктовавшей ему что-то обманчивое и сумасбродное... — вспоминал Сергей об отце. — Он всегда поучал: "Знай свое место, перебирай слова, играй стилями, дыши духами и туманами..." А у самого не получилось».

Лишь однажды увидит маленький Сержик отца в тюрьме, в редкий день свиданий.

Длинный коридор, рыжий надзиратель и улыбающийся отец за решеткой. Он подмигивает Сержику и высоко поднимает над головой лошадку, печального коня детства... Кадр из сна или из неснятого фильма... И голос улыбающегося мужчины, которого было так мало в жизни:

— Играй... дыши... духами и туманами!

И голос реального Сергея:

— А действительно, как это прекрасно: туманные духи и душистые туманы! М-м-м!.. Как давно не пахло мокрыми белыми лилиями...

Он любил этот запах, белый мокрый запах. Лилиями пахло от маминой шубы.

— Грустная, мама сидела на ступеньках крыльца, держала на коленях транзистор, а на нее, словно черный ангел из поднебесья, спустилась та котиковая шуба, которую купил у хозяина табачной лавки отец, — рассказывал Сергей своему другу, театральному режиссеру.

Тот усмехнулся:

— Транзисторов тогда еще не было. И если шубу купили в табачной лавке, то она должна была пахнуть табаком, а не лилиями!

Сергей на подобные уличения реагировал спокойно.

— Послушать тебя, так в мировой практике все должно выглядеть так: поднимается занавес, в огромной кровати лежит Кармен, — разводит он руками в стороны, уточняя огромность кровати. — К ней подходит Хозе, чтобы сказать ей о своей любви, но начинает чихать. И Кармен его гонит прочь. Он снова приближается, снова начинает чихать, и опять она отгоняет его. Зачем он ей такой, чихающий?

— А почему он у тебя такой простуженный? — не соображает театральный коллега.

— Так ведь Кармен работает на табачной фабрике и от нее несет табаком за версту, он попадает в нос Хозе, и тот чихает, чихает...

— Ну ладно... Раз тебе так хочется, пусть будут лилии...

— Пусть будут... Их любил отец. Когда его арестовали и к нам стали приходить с обысками, то шубу потому и не нашли, что сыщики не могли предположить, что она пахнет цветами... Их носы были настроены на табак!

Мамину шубу в семье прятали всю жизнь. От сыщиков, от следователей, от КГБ. Шуба была богатой и красивой. Мама надевала ее всего лишь дважды.

Как-то ночью пошел снег, отец разбудил ее и сказал: «Встань, снег идет». Снег в Тбилиси редкость, а мех любит холод.

— Мама встала, как сомнамбула влезла через чердак на крышу и простояла в шубе, надетой на ночную рубашку, до утра. Это первое, что поразило меня в жизни... Мама стоит на крыше в мокрой шубе. Мне отчего-то показалось, что шубу всю ночь жевали буйволы!

Сергей перебирает своими толстенькими пальцами, воочию показывая нам, как перемалывали челюсти буйволов драгоценный мех. И печально добавляет:

— Второй раз мама надела шубу на похороны отца...

В тридцатом — Сержику как раз исполнилось шесть лет — отец вернулся «из очередной отсидки на Беломорканале».

Сержика одели в модную тогда матроску, привели в столовую.

Мама и тетки, с гордостью за то, что они не теряли времени зря в духовном воспитании Сержика, поглядывали на отца, усевшегося на самом почетном месте, и подталкивали смущавшегося мальчика: «Покажи папочке, как ты играешь на скрипке!»

Маленький Сержик в голубой матроске с огромным белоснежным воротником и

кружевными нарукавниками, провел пальчиком по конским волосам — струнам гибкого смычка — обреченно вздохнул.

— Я запиликал что-то невыносимое, очень похожее на скрип дверцы старого буфета. Или сарая... — усмехается Сергей, вспоминая лица тех, кто присутствовал на тогдашнем «отчетном концерте». — Терпение отца лопнуло скоро. «По моим подсчетам, за то время, что я сидел, ты мог бы выучить концерт Вивальди. Прекратить!» На этом моя карьера виртуоза закончилась...

Да, музыкантом он так и не стал. Как не стал танцовщиком, хотя учился и балету. И поэтом не стал, хотя и мечтал сыграть в кино Лермонтова. Даже лермонтовские эпюлеты примерял на себя — Параджанова пробовали на роль поэта в одном из фильмов.

— А что? — с удовольствием вглядывался он в свои лермонтовские фотопробы. — Все говорили, что его эпюлеты мне очень даже шли! Они были под цвет моих глаз...

Параджанов мечтал снять «Демона».

— О-о!.. Как просто и легко Лермонтов превратил лебедя в женщину!

Он тоже хотел написать такую поэму... на экране... «пером, оброненным пролетевшей птицей». Но он не был виноват, что птица та пролетела не над ним, что не успел поймать то перо.

«Майя Плисецкая будет летать птицей над горами в моем «Демоне». У нее будут пышные рыжие волосы — как шлейф, как крылья... Сиреневый ветер будет играть ими, не даст им покоя, они как волны... на фоне снежных вершин!»

Не удалось...

«Ничего не удалось из того, чего мне хотелось и что я мог...»

В детстве у веселого ребенка перемешались апокалипсис и цирк, потом юноша-художник добавил сюда тоску по красивым лицам, прекрасным шляпам и чудесным мифам. А дальше... Найдя наконец ту сферу, где он мог все это лепить своими руками — Кино, в котором есть место всем: и музыкантам, и танцовщикам, и поэтам — и где веселому ребенку под силу править бал, он вдруг взглянул на жизнь с другой стороны девственного полотна, на котором задумал вместить все: и горькую боль перса на фоне Арарата, и прекрасный профиль юноши, замуровавшего себя в стене крепости, чтобы та не рухнула, и все тени незабытых предков, и все мудрые краски тоже бородастого, тоже немытого и тоже бездомного Пиросмани, который ходил по тем же тропинкам, где бегал по жизни веселый ребенок-режиссер... Взглянул... и увидел, что перед ним вместо зрительного зала были морг и сумасшедший дом.

Сперва он ужаснулся, потом развеселился. В морг можно пригласить веселый оркестр, повесить качели и качаться над мумиями всех эпох!

«Из всех молитв мне больше всего нравится молитва греков!» Да удвоится...

...В глубине ночи опять вострепнулся прощальный всплеск зурны.

Сергей потер ладонью стекло поцарапанного временем окна, сдвинул брови, вглядываясь в темень.

— С ума сойти! Эти люди все еще бродят со своим гробом среди окаменелых кипарисов! Несчастные! Им не под силу даже найти готовую могилу, а ты говоришь о мудрости!..

В «Исповеди» есть продолжение. Потрясающий монолог души. Вслух Сергей Параджанов подобные фразы и слова не произносил, монологи свои и мысли он передавал красками, которыми природа других не одарила:

«Несчастные!.. Или это кипарисы пугают их, идущих в ночи?.. Мои кипарисы... И корни кипарисов... Мы с вами в родстве! Вы касались и касаетесь моих предков. Какое-то время мы вместе с вами росли. Вы почернели от времени, я побелел... Мои призраки! Мне с вами лучше, чем с теми, кто живы. Я вас люблю больше, чем тех, кто любит меня!.. В чем я виноват?! Может, в том, что протестую против того, что в церкви стирает женщина в цинковом корыте, похожем на гроб?.. Или в том, что протестую, что в церкви инвалид кормит собаку? И в том виноват, что еще жив... задыхаясь в пыли?! Задыхаюсь и злюсь, что не найдены тот смысл и образ красоты, которые ищет Человек...»

Отец умер в августе.

Стояла страшная жара, но мать во второй, и последний раз надела подаренную мужем шубу.

Так и шла за его гробом по тбилисским улицам, тающим от небывалой жары, в толстой, длинной, до пят, шубе, и все ее соседки, и все тетки Сергея были тогда в черных шубах, «униформе тбилисских вдов»...

— А знаете, Сергей, я не говорил вам, но мы уже встречались с вами... в моем детстве. Мы пытались высвободить скамеечку карусели, чтобы она улетела от своей цепи.

Сергей качнул головой, а я не понял, что он вспомнил — тот день или что-то совсем другое.

— Я все-таки отобрал ее у карусельщика, — продолжал я. — Влез на высокий столб и подбросил ее... Она и вправду улетела!

— Естественно... — не удивился Параджанов. — Она же хотела улететь.

Что-то случилось с зурной, плачущей на ночном кладбище. Она закричала тонко-тонко, и что-то прошелестело по стеклу окна, в которое вглядывался Сергей.

— Какой странный ветер... — поежился я.

— Это не ветер... это знак. Человека похоронили наконец... и он возвращается в новую жизнь сиреневой мелодией.

— Интересно, а мы с вами в каком образе вернемся?

Сергей покосился на меня, борода шевельнулась в улыбке. Он взял с вазы плод граната, ласково провел пальцами по его шершавому боку.

— Граната... Конечно, граната!

Я почему-то чувствовал, что он скажет именно так: к гранату у него всегда было какое-то неестественное, мистическое чувство.

Фильм о гениальном Саят-Нова он назвал именно так: «Цвет граната»; фильм воспел поэта, который воспевал красоту, ту самую, на которую молился и сам Параджанов: «Да удвоится и утроится...»

Великая молитва!

Когда в Ереване устроили большую выставку его коллажей, нас после официального открытия пригласили в ресторан, который находился в двух кварталах от выставки. Было холодно, дул совсем не сиреневый ветер. И организаторы предложили поехать к ресторану на машинах.

Параджанов, взбудораженный, еще не остывший от прекрасно прошедшего праздника, от нескончаемых поздравлений, похвал, объятий друзей, съехавшихся из многих уголков земли, отмахнулся от транспорта, резво зашагал по улице, увлекая всех за собой, не обращая внимания ни на сырость, ни на затянутые ледком лужи. Плащ его развевался, словно знамя атакующей армии, — он никогда не застегивал ни пиджак, ни пальто, и в этом тоже было что-то от его сути, впрочем, и пуговиц на его одежде я что-то не замечал.

Тогда он шагал по холодной улице размашисто, заразительно, мы суетливо еле поспевали за ним, а в руке, перед собой, он нес большой плод граната. И всем казалось, что не уличные фонари освещают нам зимний тротуар, а этот плод... Он и вправду светился изнутри загадочным светом, подпитываемый, вероятно, ладонью Сергея.

В тюрьме ему часто снился один и тот же сон.

Красивый юноша медленно идет по дышащему ожиданием любви весеннему полю. Перед собой он держит на ладонях чашу, наполненную до краев красным вином. Юноша идет долго, долго, и вдруг он спотыкается, чаша падает из его рук, рассеивая вокруг капельки вина. Капельки, упав на стонущую от неги землю, мгновенно превращаются в красные зернышки граната. Одно зернышко, другое, десятое... Целый ковер гранатовых зерен! Красное море по колено юноше. Он зачерпывает целую горсть блестящих зернышек и, счастливо смеясь, сыплет их себе на голову, закрыв от счастья глаза...

— За что вы так любите гранат? Даже обессмертили его своими фильмами...

Сергей одним движением разламывает плод у самого моего лица, капельки сока брызгают мне на щеки.

— Смотри! — Он держит половинки на подрагивающих ладонях, как некую истину на весах очередного судилища. Подзывает и Алика. — И ты смотри! В нем нет лжи, в нем каждое зернышко наполнено жизнью... Эти зернышки — маленькие праздники, которые я так хотел рассыпать среди всех...

Он, словно благословляя, заносит ладони над нашими головами.

— Вы и в новой жизни будете такими вот зернышками. А я — всем остальным. Кожурой, которая будет вас оберегать. Короной, которая не позволит никому надсмеяться над вами. Закрытой для чужих ладоней таинственной планетой, в которой будут с вами жить мои фильмы и мои рисунки... моя память и все бегущие в дыму, живые и мертвые... А когда я больше не выдержу всего этого и взорвусь, перезрев, вы покатитесь дальше и каждый сам станет гранатом... И все начнется сначала!

На могиле Алика Джаншиева каждой весной цветет гранатовое дерево.

Плоды на нем всегда полные, дотронешься — взорвутся сочной краской... Отхожу, и все начинается сначала...

Сиреневый рассвет я все-таки увидел. Всего один только раз за всю свою долгую жизнь.

Это было в другой стороне, в другом веке. Я работал над новым фильмом. Сиреневый цвет вспыхнул лишь на миг, даже не цвет, а что-то... чуть-чуть... как шелест мелодии у окна гения... и ты там... рядом... на миг.

...Гранатовый плод он обязательно давал на дорогу уходящему гостю, не спрашивая — коротка дорога или бесконечна. И все верили в его веру, в то, что каждое зернышко — праздник...

Плисецкая, Высоцкий, Ахмадулина, Мастроянни... Серьезнейшие люди, проглотив это зернышко, рядом с Параджановым вновь и вновь становились детьми, увлекаемыми в нескончаемое детство так и не повзрослевшим Сержиком.

В три часа ночи, распив с ним бутылочку чачи, привезенную мной специально к такому случаю из Кахетии, где эта водка получается особенно ароматной и крепкой, Марчелло Мастроянни с удовольствием побежал с нами по кривой горбатенькой улочке Котэ Месхи, где жил Параджанов, на Мтацминду, святую гору грузин, на то место, откуда начался когда-то наш Тбилиси. Бежал шумно, чему-то громко смеясь, что-то выкрикивая заплетающимся языком, не торопясь больше в свой отель, — Сергей успел перед последней чаркой внушить ему, что в «такую божественную тбилисскую ночь храпеть в гостинице, да еще в одиночестве, грешно». Бежал, готовый к самым невообразимым шалостям, и Сергей, не теряя времени, устроил ему шалость прямо тут же, у окна ближайшей соседки.

Дома в этом старинном районе города маленькие, покосившиеся, все похожи друг на друга, и в то же время у каждого домика — свое лицо. Крошечные окошечки здесь начинаются от самой земли, словно любопытные глаза выглядывают из фундамента, здороваясь с прохожими.

Параджанов остановил нас у одного такого подслеповатого «глазенка», заговорщически приложил палец к губам.

— Тс-с! Ты стань сюда... — показал он место синьору Марчелло у стены возле окошка, а меня поставил у другого края. — Стойте и не высовывайтесь, пока не скажу.

Мы прислонились спинами к стене, а Сергей бесцеремонно постучал кулаком в ставню давно дремавшего дома.

— Эй, Маргуша! — крикнул он на всю Мтацминду.

— Ну что там опять?! — раздался из-под земли сонный женский голос. — Что не спится тебе, Сержик?

— Как можно спать, когда такая красивая ночь над Тбилиси! — мгновенно распаляется Параджанов. — Как можно спать!.. Дура ты, дура!.. Потому и несчастна, что всю жизнь проспала!

Маргуша включает в комнате свет, вплотную подходит к окну. Из своего «укрытия» вижу женщину лет шестидесяти с беспощадно помятым жизнью лицом, с проржавевшими бигудями на голове. Прищурив усталые глаза, она смотрит на Параджанова, машет ему рукой.

— Уходи, ради бога, дай поспать. Завтра рано на работу.

— Какая работа, женщина-а-а! — с душевным надрывом стонет Сергей. — Радуйтесь жизни! Делайте себе праздник! А вы... спите! Дураки!

— Ладно, ладно... — хочет прикрыть ставню Маргуша, привыкшая, видимо, к подобным речам Параджанова, но он знает, когда подать самую эффектную реплику.

— Ты все свои мечты проспала, но сегодня необыкновенная луна над Мтацминдой! Пусть хоть одна мечта исполнится в твоей беспробудной жизни под такой луной, женщина! Ты же всегда мечтала увидеть живого Мастроянни... Мечтала же?!

— Ну и что? — попридержала ставни Маргуша, почувствовав что-то в голосе неугомонного Сержика.

И тот, сделав шаг назад, торжественно развел руки в стороны, приглашая на «арену» кумира ее грез.

— Так пусть хоть одна твоя мечта исполнится, Маргуша! Распахни свои прекрасные глаза пошире, женщина!

Параджанов, не сводя с нее глаз, чтобы сполна насладиться произведенным эффектом, весь сияющий, весь нараспашку, делает клоунский выпад: «Оп-п-ля!» — и перед ошарашенной Маргушей вдруг наяву является мечта всей ее жизни — Марчелло!.. Является точно такой же сияющий, точно такой же весь нараспашку, с таким же «Оп-п-ля!», как у невыносимого соседа, но с настоящим итальянским акцентом.

Трудно передать словами, что произошло с несчастной женщиной. Она словно окаменела, раскрыв рот от изумления, затем засуетилась, инстинктивно стала поправлять на себе засаленный, мятый халат, провела ладонью по лицу, разглаживая морщины, потом, вспомнив, быстренько, одним движением стащила с головы все бигуди разом, а вместе с ними и парик, отбросила его в сторону и, забыв про всякий сон, заверещала в восхищении:

— Марчелло!..

Улица не привыкла к ее подобному крику, мгновенно захлопали ставни соседских окон, в окнах появились головы встревоженных горожан. А потом, разобравшись, в чем дело, все заспешили к Маргушиному окошку, кто с вином, кто с закуской... И надо было видеть счастливое лицо Сергея! Прислонившись к стене поудобнее, уже ни во что не вменяваясь, он с удовольствием наблюдал за тем, как родная улица подхватила его карнавал, не опозорила, не подвела в еще одном празднике... Мастроянни, растроганный, почему-то несколько раз повторил: «Рим!.. Рим!..», утверждая, наверное, что и на его улице, где-то в Риме, умеют так принимать гостей, Параджанов согласно покивал ему и тут же с привычной желчью произнес: «Ну-ну!.. Там нет такой Мтацминды, куда уж вам!..»

...Когда Сергею стало совсем плохо, друзья повезли его во Францию... Надеялись, что там врачи лучше. Но никакие врачи уже не могли ему помочь.

Первой отказала речь. Потом стала гаснуть память...

Даже друга, молодого режиссера, не узнал, когда тот пришел его навестить. А может, узнал, но слова уже все позабылись. Наверное — узнал. Потому что схватил руку земляка и целых четыре часа держал ее с прежней хваткой.

Друг протянул ему спелый гранат... угасающие глаза Маэстро вспыхнули в радости.

Он что-то неслышно попросил. Земляк понял... Подвесил гранат над кроватью, и с того момента Сергей не сводил с граната глаз...

...Летом 90-го года через весь Ереван медленно двигалась похоронная процессия. На вопрос встречных: «Кого хоронят?» кто-то тихо отвечал: «Сергея Параджанова». И встречные скорбно покачивали головой, поверив...

А я не верю...

Я ведь знаю, что все это уже было...

Лия Стуруа

...из Тбилиси в рай — кратчайший путь

С грузинского. Перевод Марии Фарги

Только музыка

Растрепавшийся локон поправишь.
Заломив непомерную цену,
Для тебя ветер сгонит на сцену
Километры мерцающих клавиш.

В тишине нервно скрипка заплачет.
Соло альта протянется к солнцу.
Струны стоном космических лоций
Хрупкость контура плеч обозначат.

И, забытая другом и небом
В жизни, тихо идущей на убыль,
Ты мелодией правишь упрямо.

Ничего не сравнить с этой негой!
Потому тебя музыка любит,
Нерасчетливо, нежно, как мама.

О разных ребрах

Ребро болело. Смесь из розы с ядом
В бокале на невидимом столе,
И время, и пространство одолев,
Учила роль мою — всегда быть рядом.

Ни имени не знать, ни одеянья.
Водить тебя по голубой траве
С венком на непорочной голове.
Но тихо зрело тайное желанье,

Чтоб ты постиг, как плохо без меня,
Взял лук тугой и оседлал коня,
Увидел смерть в глазах у кроткой лани,

Ночь черную, подушки мягкий свет
И утомленный ласками рассвет,
И золотое яблоко познания.

Стуруа Лия — поэт, эссеист, литературовед, основоположник грузинского верлибра. Первый поэтический сборник вышел в 1965 г.. Автор 15 книг стихов и прозы, в т.ч. «Не гасите свет» (1994), «Сто сонетов и другое» (1999), «Счастливая тишина» и «Море закрыто» (обе — 2010). Лауреат премии им. Руставели. Живет в Тбилиси.

Фарги Мария — поэт и переводчик. Автор поэтических сборников «Тбилисская зима» (1999) и «Время потерь» (2009). В переводах М.Фарги опубликованы стихи грузинских поэтов: Галактиона Табидзе, Тициана Табидзе, Паоло Яшвили, Лии Стуруа. Лауреат премии им. Юрия Долгорукого. Живет в Тбилиси и Москве.

Мне странно

Спаслась от смерти. Радуюсь? Не знаю.
Не преступила черную кайму.
Но готику, что вырвалась во тьму,
Я с верой и свечой не догоняю.

Бумажные цветы вокруг. Кому?
Вощеная веревка. Я, босая,
Во сне ступени серые считаю,
И, мертвая, бегу, бегу — к нему!

Меня спасли. Но, видно, сроки вышли.
Мысль странная мне голову томила,
Что из Тбилиси в рай — кратчайший путь.

Глаза открыть, и в этом смысл и суть:
В его руках пригоршня спелой вишни...
Но как проснуться — ведь меня убили.

Ожидание

Всю зиму деревья меня ненавидят.
Напрасно я брежу зеленым теплом.
Одна я. И сахара сладкий апломб
Мне гадок. А соли святое наитье

Царапает горло. И слово гранитом
Надгробным молчит. И пронизан мой дом
Бессрочным туманом и ветреным льдом.
В нем белый шаг мамы над вазой разбитой.

В нем тени другие, забытые мной,
И черного города облик иной:
По узенькой улочке, солнцем облитой,
Идешь ты. И белый миндаль за спиной.

Хочу, чтобы меня сожгли

С душой простилась — гостьей высших сфер.
Без света дом. А впереди — могила.
Плов поминальный, чей-то профиль милый,
Хлеб и вино — из области химер.

Нарядно рдел багряный интерьер.
Последнего спектакля пантомима
Не волновала. И, тоской томима,
Пересекла я огненный барьер.

Сжигало пламя ласково и страстно,
Даруя царство пепельной свободы,
Где боли нет и где не властны годы.

И, как давным-давно, все стало ясно...
В глазах ребенка отразился город
И тень моя — кизилово прекрасна.

Гамлет

Как ветер в окна голову морочил!
Как пели нам цикады до утра...
Все в прошлом. А сейчас — прожектора
Не вырвут из кошмара дня и ночи.

Мне выбрали театр, эпоху, позу,
Отчаяния маску — на века.
Косится зло атласная щека.
И принца речь таит в себе угрозу.

Но я *должна* любить его, пока
Во мне моя наивность не остынет.
Чтоб сорок тысяч братьев нам простили

Безумие мое и яд клинка.
Что скрою я цветочками простыми?
Кто мне поверит — зал или река?

След под дождем

Просыпаюсь — на голову рушится дом.
Паутинные дрязги. Хрустальные горки.
Мой театр конца, мне невысказанно горько,
Умерев, возвращаться в привычный Содом.

Кто меня навестит, нарушая обет?
Кто захочет мой яд, жизнь на горле вулкана,
Болтовней разноцветной прикрытые раны
И несказанным словом горящий обед...

Кому нужен зарезанной курицы зоб?
Ничего не осталось. Лишь легкий озноб,
Когда в сумрачном пепельном смоге

Надо мною твой образ встает, словно рок,
И тоскующий взгляд, и последний упрек —
Роза, выросшая на помойке.

Деревья

Я вас любила больше облаков!
Украсите мне листьями могилу
За то, что вас живой водой поила
Из родника, чтоб вы цвели легко.

Река текла безумно далеко.
К ней вырваться вам не хватало силы.
Вам, летом задохнувшимся от пыли,
Я открывала окна широко.

Я вас любила, лиственных и хвойных,
Цветущих и шуршащих в небе вольном.
Вы мне являли образ мысли чистой.

Нам не хватало воздуха и хлеба.
Но все мы исполняли волю неба:
Я — словом, вы — полетом, птичка — свистом.

Алексей Торк

Я собираюсь в Бейрут

Рассказ

Однажды и неизбежно она окончит жизнь, как несчастная Сюзан Тамим¹. У нее столь же аховая репутация, а также ведьминские — изумруды в молоке — глаза и грудь, вызывающе умеренная для порядочной арабки и при этом не обрезанная в знаменитых бейрутских клиниках, куда в последние годы стекаются табуны соответственных девиц. Из всех окрестных стран.

— На Арабском Востоке сейчас самые популярные пластические операции — на уменьшение, — рассказывал я умирающему соседу. — Арабки пышные и настоячивые. Хирурги работают как проклятые, практически бензопилами. Ка-шы-мар! Ты бы смог, Макбулов?

— Что?

Я стриг пальцами:

— Дзинь- дзинь...

— Да...

— Что бы отрезал?

— Глаза, память...

— А они — ягодицы, груди. Арабки, они, — привстав, я показал какие. — Им не только платья, но и их дома в бедрах тесноваты. Потом носятся по ливанским докторам. Только она необычна...

— Откуда знаешь?

Я совал газету с фотографией:

— Потому что она необычная, поразительная, и я не о груди...

— Ничего... Худая, кажется, только... Не хочу, — Макбулов еле удерживал газету, она билась в его руках, будто на ветру, — умирать здесь, в этом подвале. — Он заплакал, неслышно, слегка клацая зубами. — У меня есть человек в Шаартузе. Позвони, Витя, прошу, по номеру два тридцать один...

— Ерунда, Макбулов, ерунда, — ерзая, удобнее устраиваясь на матрасе, говорил я. — Я не был ее фанатом. Тут вот что, слушай ...

Я не был ее фанатом, не слышал ни одной из ее песен, и все, что я о ней знаю, я вычитал из газет, а они писали только гадости. Преимущественно в разделах, где сообщается о блеющих псах и способных барашках, освоивших буквы арабского алфавита.

Алексей Торк (Алишер Ниязов) родился (1970) в Таджикистане. Работал в таджикских СМИ. С 1996 по 1999 год был корреспондентом ИТАР—ТАСС в Киргизии. Потом корреспондентом агентства РИА Новости в Киргизии и Казахстане. Освещал военные конфликты в Таджикистане и на юге Киргизии. Лауреат первой премии по разделу малой прозы Русской премии—2010 за произведения, опубликованные в «Дружбе народов».

¹ Сюзанна Тамим (1977— 2008) — известная ливанская поп-певица. В июле 2008 г. была обнаружена в Дубае, в апартаментах роскошного района Дубай-Марина, с перерезанным горлом.

«Арестованный полицией за постыдные удовольствия министр звероводства Алжира говорил на следствии об оживших змеях, которые не давали ему в тот вечер выбежать из дома. Они заплетали ноги, сказал министр, скользили шоколадными струями по плечам, животу, шипели парализующие демонские заклинания...»

Он был задержан полицией нравов в момент, когда моя певичка исполняла ему «Девушку, взбивающую масло» — бешеного темпа ливанский танец с восемью шелковыми лентами. В смысле, с одними только лентами.

Когда полиция вломилась в комнату, они были всей ее одеждой.

Два дня спустя начальник алжирской полиции нравов рассказал газетчикам, что, обернувшись джинном Аль-Ахли, задержанная ливанка вылетела в окно его кабинета, прихватив большие служебные деньги...

Предыдущие сто тысяч обвинений, звучавшие в ее адрес в арабских газетах, примерно схожи: ванны с кровью новорожденных ягнят; игры на биржах с использованием интимно добываемых секретов; она еврейка; поедание в третий день солнцестояния страшнейшего приворотного «того-того»; перчатки и кошельки, выделанные из завещанных ей и татуированных ее именем кож самоубивающихся любовников и тому подобное...

Думаю, не все там было правдой.

С какого-то дня я осознал, что подолгу думаю об этой чудной прекрасной ливанке.

Что-то меня смущало в ней, сильно тревожило. В особенности, когда мой мозг оплывался от опия. Я валялся в своем подвале с разъезжающимися газетами на груди, пытался спать и не мог, вперялся в газеты — они отвечали сумасшедшими голосами. Грудным свистом, размашистым, как у голубятника, им вторил мой сосед, который целыми сутками — к вечеру шумно, а к утру тише — умирал: у него были приступы удушья, порой такие, что, вытягиваясь в струну, он сгибался мостиком.

Когда приходил в себя, мы разговаривали. Я читал ему газеты.

Было даже уютно. Я читал мерно. Макбулов, мокрый от недавнего приступа, смотрел на притулившегося в углу Бога. Там шипела «Ригонда», накрытая безруким пальто и парой спецовок, — раньше здесь была бытовка маляров.

Я не помню, откуда взялся этот человек... Он говорил, что его зовут Мирсаид Макбулов и он работал в театре. Работал в Шотландии, вернее, признавался он в другие наши беседы, его однажды приглашали туда.

Вынимал какое-то письмо «из Эдинбурга». Письмо, помню, начиналось так: «Dear m-r McBulof...». После этого резал вены.

Я отворачивался к стене. Он возился, всхлипывая, опираясь то на один, то на другой локоть. Потом откидывался на спину. Разглядывал немощно ободранные в кровь запястья. Подносил их ко рту, по-собачьи вылизывал... Затихал.

Подпирая мокрую стену лбом, я завороченно вычитывал о моей певичке всякую ерунду в дочерна исполосованном каблуками экономическом приложении.

Специалисты компании Arabian Securities, оказывается, еще три года назад предсказали известный обвал вакцинной отрасли в Турции, в Малайзии — сокращение на две трети прямых иностранных инвестиций, правительственный кризис с арестом министра юстиции Катара и многое другое, сверяясь лишь с графиком ее гастрольных выездов и списком приглашающих лиц.

Беру другую газету.

Она заявила о себе в четырнадцать лет, победив с каким-то скандалом в престижном всеарабском телевизионном конкурсе.

Вот еще: на нее покушались два раза. В 97-м, прорвавшись за кулисы, кто-то двинул кулаком в ее алый нервный рот. Потом она лежала в клинике с огнестрельными ранениями в плечо и руку. В стрелявшем, писала газета, многие узнали египетского сенатора, школьного друга племянника президента Мубарака. Поэтому следствие мигом, почти вприпрыжку, зашло в тупик и там исчезло, как монета в грубоватом школьном фокусе.

Ее жалели; там, у себя, ее ненавидели. И те и другие жаждали новых удачных покушений — издержки арабского поэтизма.

В одной из газет — фото. Она сидит на краю сцены, упираясь руками в коленные

чашечки, смотрит в передние ряды. Зал уже — или еще — пуст. На первый взгляд она словно разбита, разорена. Затоптана.

Но вся ее поза... как бы выразиться? — клятва неуклонного ожидания.

У меня полно таких фотографий. С них-то все и началось. Года полтора подряд в полутьме своего подвала я разглядывал ее газетные снимки. Я уверенно ориентируюсь в темноте. На ощупь, почти по Брайлю.

И вот однажды мои слезящиеся глаза наркомана, мои чуткие пальцы карманника открыли ее тайну...

Послушайте-ка: прикажите художнику написать ОЖИДАНИЕ — он напишет ее портрет. Мальчишеская стрижка. Глубокие тени от длинных ресниц, как в расселинах скал в самую ясную солнечную погоду; тревожные глаза, рот подвижный и нервный, как у скрипачки. Иногда улыбается, но растерян и раздражен. Не по-арабски хрупка. На фотографиях всегда напряжена, часто в неуловимом полуобороте... как делают, когда чего-то или кого-то ждут впереди и боятся упустить это за спиной.

Напряженная, разбитая, неуклонная... Она была — воплощение поиска.

— Ты говорил «ожидания», — ловил меня сосед.

— О, это одно и то же. Жду — ищу... Однокоренные слова. Две трети текстов ее песен — это журналисты подсчитали — состоят из этих именно слов. А почему, как думаешь? Ведь прочие арабские звезды в основном пользуются двумя другими: хабиби¹ и кальби². Это канон у них, как ноты, терции-фигерции. А она годами: жду-ищу, жду-ищу... А? Догадываешься, брат?

— Нет, — начинал он уже присвистывать.

— Чего, брат? Да? — переспрашивал я восторженно.

— Нет

— Да?

— Мне плохо, Витя ...

Он умер в первый год войны. Где-то в декабре, когда город штурмовали коммунисты-исламисты, горели горизонты, дома сотрясались, на центр налетали вертолеты — души сожженных накануне танков...

Вошедший Народный фронт принялся строить от угла Путовского базара оборонную зону. Меня выставили из подвала вместе с его давно мертвым телом.

Два фронтовца помогли взвалить на плечо.

Через проходы между домами, окутанные давно не стриженными акацией и лигустрами, я продирался его задом ...

Дошел к утру. Упал. Долго лежал, с хрипом подгребая сальную листву.

Перекрестился: «...прости грехи вольные и невольные...» и, так и не сумев полностью распрямиться, ушел. Оставил его одного, расстроенного — голова на груди — у побеленной стены мечети. С того времени он понимает все.

Там, где понимают все...

Да ведь и я сам приходил к разгадке по Брайлю, постепенно. Много читал. Сверял информацию. Ползал на коленях от одной из раскинутых на полу газет к другой. Здесь верил, там хихикал. В бешенстве угрожал кому-то. Впадал в долгое аналитическое оцепенение...

Часто видел: пока, сошедшие с ума, грохочут барабаны-думбеки с разлетающимися лошадиными гривами, она летит меж рядов, оглядывая мужчин, как листают очередную затертую книгу в поисках сто лет нужного слова. Каждый мужчина при ее приближении встает... раздосадованно садится, мелко оглаживает колени, бросает соседу: «Шлюха».

И так волной по всему сияющему залу: встают-салятся-«шлюха».

Медленно, нехотя, оборачиваясь, она возвращается к сумасшедшему барабанщику, в бессилии опускает мальчишескую голову.

Замирает.

¹ Любимый (арабск.)

² Сердце (арабск.)

«Мир пуст, — говорит ее поза. — Я обыскала все. Я искала даже в шовных складках».

Думает о чем-то. Ее бедра вздрагивают, непроизвольно откликаясь на барабаны...

В зале, конечно, скучают, но никто не возмущается. Все терпеливо ждут. Легендарная Ум Кульсум¹, скажем, исполняла песни продолжительностью свыше часа.

С какого-то мгновения она расходится, ее бедра колеблются все мощней и одновременно все мельче... она дрожит, сотрясается, как авиалайнер на старте. Ее шумно окатывают светом, будто ледяной водой. Она вскидывает голову, поднимает правую руку, другую до предела отводит в сторону, словно несет что-то непосильное на плече и сейчас обрушит это на землю. Делает шаг, другой. Улыбается. Я вижу отметины зубов на ее губах...

Арабы говорят, когда женщина танцует танец живота, то ударные инструменты управляют ее бедрами, струнные управляют ее головой, духовые — руками, а сердцем — дьявол.

Может быть.

Но я, честно говоря, никогда не понимал о женщинах вот этого: сосуд дьявола, уступила в тот день сатане...

— Мутная история-то, — еле разделяя губы, говорил я соседу, еще до его смерти. Закрывал глаза — действовал опий, поднимаясь от кишок. — Она в тот день уступила сатане, а мужчина Адам в тот день уступил женщине. Чье из двух поражений постыдней и обошлось нам дороже, как думаешь, Макбулов?

Он лишь отсвистывался ...

Я продолжал думать. Что-то мне здесь казалось недодуманным. У меня не было знакомых, как у Макбулова, в Шаартузе, не было телефонных номеров, потому что некому звонить. У меня были только мои мысли, в желтых разводах проссанный матрас, и меня увлекало многое. Однажды увлекла мысль о женщинах, и я договаривался до такого:

— Когда, Макбулов, в конце истории, хихикая, Всевышний возгласит: «Колечко, колечко, выйди на крылечко», то, — говорил я, — со своих мест стремительно подымутся не евреи, не поляки и не русские, а женщины. С избранническими камешками в кулаках. Если Бог — абсолютная власть, то всякая на земле абсолютная власть содержит Бога, а это не коммунисты, не доу-джонс, а женщина. Это давно известно, брат... жано ызестно, аниазшь? — Я оттягивал зубами край жгута, активно работая кулаком...

Я всегда здорово увлекался, то пороками, то добродетелями. Иногда третьим — женщинами.

В такие мгновения я был настороженно вежлив с проститутками, подавал всем орливым нищенкам, выросший, побитый и на все теперь согласный Кай, я впивался глазами в каждую снежинку, ожидая возвращения Снежной королевы; разглядывал рекламных женщин на билбордах, как разглядывают объявления о пропаже.

Противоположность счастью — не горе, а когда ничего не происходит. И я ждал, то есть искал. Ну, в смысле, верил.

«Она связник, курьер, — думал я. — Мне объяснят, вручат инструкции...»

Да, это была вера, и, как всякая, моя проходила и высшие пики, и богоборческие падения.

Сотни раз, одухотворенный, я едва не плакал, наблюдая чью-нибудь на женской шее опушенную родинку, что встряхивалась вместе с автобусом и его сволочными пассажирами. Вверх-вниз, верх-вниз...Влево-вправо, влево-вправо...

На колдобинах ныряет в облезлый синий воротник.

Мои глаза будто бы безлично глядят в окно, но мое тело пододвигается все ближе.

И...

¹ Ум Кальсум (1908—1975) — легендарная египетская певица, «звезда Востока», «императрица арабской музыки», исполнительница музыкальной любовной лирики, народных песен и религиозных гимнов, обладавшая небывало сильным и красивым голосом и снискавшая славу во всем арабском мире.

Мгновение — и я махом прижимаюсь к ней, как говорят авиаторы, всей плоскостью крыла. Выпускаю леску с рыболовным крючком. Закидываю ее в сумочку. Уложив подбородок на ее плечо, работаю одними кистевыми мышцами. Крюк, я ощущаю это шестым чувством, оглаживает никелированные замочки.

Раскручивая леску, кошелек рыбкой выпрыгивает из сумки, ныряет за полу моей куртки. Замирает, прижатый фланелью подкладки.

Торопливо схожу, теряюсь в людском потоке. Двигаюсь, качая головой, морщусь, увидев магазин «Снежная королева».

Как оскорбительной шутке, ухмыляюсь женщинам.

И вскоре увлекаюсь чем-нибудь другим, столь же идиотским. Потому что...

Вот это главное: надо страстно верить, и главное здесь слово «страстно». Хотя бы в ерунду. Пусть в злое и глупое. Глупость — одна из кличек затаенного ума, а зло под древним неизбежным наклоном непременно перетекает в добро, поэтому я никогда не делал различий между Аттилой и Франциском Ассизским. Но нельзя человеку во что-то сумасшедше не верить. В особенности карманнику и наркоману.

Теперь я верю в свою ливанку. Уже, наверное, до конца. Сколько мне осталось? Я теряю, уже потерял, чуткость пальцев.

Недавно меня схватил за руку азербайджанец, сделанный из золота и волос, мы вывалились из автобуса и оба поразились: я — длине его ножа, он — тому, как я быстро бегаю.

Я в неплохой еще физической форме, но уже что-то происходит: я стремительно лишаюсь кальция, зубов, у меня болят глаза.

Я часто плачу, вспоминаю запахи, детство. Это щитовидная. Или карающий Бог...

...переваливаю через двухметровую сетку, оказываюсь на вертолетной площадке. Шутовской колпак ветроуказателя указывает мне и ветру направление. Бегу туда. Сильный дождь.

Я хорошо подготовился: исключил за неделю наркотики, сбивая последствия большими дозами финлепсина. Чтобы выспаться, каждый вечер колол болючий, на масле, сибазол. Пил много кетонала. Перед выходом откапал глаза, надел малярскую спецовку и в этой темени ничем не отличаюсь от техников, которые снуют у самолетов на дальних стоянках. Спины и хвосты самолетов теряются в сумерках, но крылья и животы уже подсвечены рассветным розовым.

Еще забор. Бетонка. Не поспевающий за мной ветер пакостно пихается в спину. Прячусь за топливозаправщиком. У терминала гуляют люди в мокрых пиджаках. Встречающие. Они пинают камешки, разговаривают по мобилам. Ветер доносит команды оцепления — кто-то из милицейского начальства орет с непроходимо сельским акцентом. Подходя от дока, я видел курсантов, выстроенных у автобусов. Ухмыляюсь.

Я городской, знаю все скрытые подходы к аэропорту.

Маленькими, мы шастали здесь по перрону, пробирались через кукурузное поле и вертолетную площадку, воровали кабель на свинец, курили кружком. Встречали 628-й. Шестилетние инки, пряча сигареты в кулаках, мы восторженно вылупливались, когда с чемоданчиками появлялись они — спустившиеся с неба четыре сверхчеловека и две богини.

Мы не вырастаем во взрослых — мы болезненно разрастаемся из детей. Я опять здесь и примерно тот же... в чем-то даже улучшился. Скажем, давно не курю. Наркоманы не выносят запаха табачного дыма.

Вслушиваюсь в небо. Прошел уже час или два. Подремяваю с открытыми глазами. Ноют суставы — заканчивается действие кетонала, вдобавок я насквозь промок, пробираясь ночью через кукурузное поле, но это ерунда, ерунда...

Из-за желтой слезящейся задницы ТЗ-32 не видно полосы, но я все угадаю по реакции встречающих.

Кто-то из них получит сигнал. Они засуетятся, собираясь в клин, будут задираТЬ головы, издавать бестолковые звуки... влажно застучит движок автомобиля. Из ночного синего дыма, слепя полосу белыми огнями, сядет самолет, рев — земля борется с небом, земля побеждает... Самолет замедляет ход, ноздри его крыльев мощно фырчат, вздымая водную пыль.

Оглушительно стучит автомобильный движок.

Резко распахиваю глаза. Пока я дремал, уже все произошло: встречающие,

окутанные зонтами, идут в мою сторону, за их спинами ползет правительственный автомобиль.

Отлично. Отлично. Не дергаюсь, жду, прижавшись щекой к ледяной лестнице заправщика.

Я собран, пружинист. Все будет сделано безошибочно, геометрически. Как в шахматах. Амфетамин не все сожрал в моих мозгах.

Жду. Еще... Ливень взбудораженно стучится в цистерну.

Пора.

Двадцать шагов вдоль заправщика, по дорожке воды, стекающей с его китовой туши, затем стремительно поворачиваю под прямым углом направо, выскакиваю ей наперерез.

— Далиль, Далиль! Послушай меня, Далиль Далийя!

Она остановилась, смотрит на меня... Господи! Такая же, как на фотографиях: в черном пальто, хрупкая, напряженная. Растерянно улыбается тревожными губами. Ее лицо залито водой (как и я, она без зонта), ее глаза — зеленоватая галька в ручье...

— Далиль, Далиль!

Один из ее телохранителей обхватывает певичку, оттесняя ее в сторону. Другой, щелкнув в рукаве, пританцовывая влево-вправо, несется ко мне.

Слова вылетают из моего беззубого рта пулеметными очередями — у меня только несколько секунд. Мне надо успеть сказать ей о грозящей опасности, но главное, главное — о том, что я знаю ее — нашу! — тайну.

— Слушай, слушай меня, Далиль! — кричу я. — Тебя собирается убить твой бывший ухажер, саудовский строительный магнат. Он обозлен, он хочет отомстить... Его секретарь встретился недавно с некими двумя иранцами в полдень на дубайском пляже Джумейра и вручил им пятьсот тысяч в бумажном пакете из-под ... это отследили журналисты из «Аль-Мустакбаля». Так что берегись, Далиль Далийя, берегись! И главное...

Сзади слышны топот и крики.

Главное, посмотри на меня, — торопливо кричу я русские слова (и вижу, отлично вижу — она понимает их). Ты...

Телохранитель сбивает меня с ног, я молниеносно перевернут и прижат лицом к бетонке. Мой нос и губы утыкаются в щель, залитую гудроном, но, сдавленно и яростно, я продолжаю кричать:

— Ты ищешь меня, Далиль Далийя. Меня! А я ожидаю тебя... Мы обречены друг на друга... и поэтому, исключительно поэтому, тебя называют... распутной... шлюхой, извини, а меня — вором и наркоманом. Мы должны были ими стать, чтобы встретиться здесь, в душанбинском аэропорту. Вот так, в душанбинском аэропорту! У нас были трудные пути. Разве же мы просто так сами с собой поступили бы?! Покоржили б себя? Это ж можно только намеренно, намеренно... военная хитрость. Так дай руку, Далиль, дай...

Те, что подбегали сзади, бьют меня ногами. По спине, по затылку... разбивая мой лоб в кровь.

Я слышу ее крики.

Выворачиваю голову и вижу, что ее уводят куда-то в сторону. Ее голова, будто голова тонущей, показывается — раз, другой... последний — из-за плеча телохранителя.

Прижимаюсь щекой к бетонке, она гудит...

Не знаю, как прошли ее гастроли.

Ребра срastaются быстро, а с почками я помучился. Когда через неделю меня выпустили — никому не хотелось со мной валандаться, — я пробирався к своему подвалу, закрывая курткой штаны, мокрые от несдерживаемой мочи. Но это ерунда, ерунда. Дело-то не в этом, а в том, что мы соединены. Да. Я жду газет. В ближайших выпусках она даст это понять — намеком, улыбкой. Возможно, прямым текстом. Кого ей опасаться? Некого. Сосредоточенный, смахиваю слезу.

Я собираюсь в Бейрут...

Хамид Исмайлов

Вундеркинд Ержан

Повесть

В 1949—1989 годах на территории Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП) было проведено в общей сложности 468 ядерных взрывов, в том числе 125 атмосферных, 343 под землей. Суммарная мощность ядерных зарядов, испытанных в атмосфере и над землей СИЯП (в населенной местности), в 2,5 тысячи раз превышает мощность бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму в 1945 году.

Парламент Республики Казахстан
24 июня 2005 г.

Эта история началась весьма прозаически. Я ехал поездом по нескончаемой казахской степи: вот уже четвертую ночь путевые обходчики на глухих полустанках постукивали молотками по колесам, матерясь при этом по-казахски, и меня разбирала некая подспудная гордость: я понимал эту речь, разбросанную от края света и до края. Днями же тамбуры и проходы вагонов наполнялись все той же казахской речью, только теперь женской да детской: на каждом полустанке входили все новые и новые продавцы или, вернее, продавщицы то верблюжьей шерсти, то вяленой рыбы, а то и просто сушеных катышков кислого молока — курта.

Давно это, правда, было. Сегодня, может, уже не так, не знаю. Хотя вряд ли.

Итак, я стоял в тамбуре, глядя на скучную и однообразную — вот уже четвертый день — степь, когда в противоположном конце вагона появился мальчишка лет десяти-двенадцати со скрипкой в руках. И вдруг он начал играть на ней, да так удало и умело, что вмиг пораздвигались все двери купе и повысовывались головы заспанных пассажиров. Играл он не какую-нибудь цыганщину или же местный колорит, нет, играл он Брамса, знаменитый «Венгерский танец». Причем играл на ходу, двигаясь вдоль вагона в мою сторону. И вдруг, когда весь вагон поразевал вслед рты, он прервал музыку на полуноте, сбросил скрипку за плечо, как винтовку, чтобы толстым, недетским голосом прокричать: «Местный напиток — полная органика!». Сбросил с другого плеча холщовую сумку и вытащил огромную пластиковую бутылку то ли айрана, то ли кумыса, и я тут же бросился к нему, еще не зная зачем.

— Пацан, — сказал я, — почему твой кумыс?

— Во-первых, кумыс не мой, а лошадиный, потом это не кумыс, а айран, и, наконец, я не пацан! — ответил мальчишка беспримесным русским вызывающе-толстым голосом.

— Ну, не девчонка же ты! — как-то нелепо попытался я разругать нештатную ситуацию.

Хамид Исмайлов родился в 1954 г. в г. Токмак Киргизской ССР. Автор более тридцати книг поэзии, прозы, переводов. Пишет на нескольких языках. Живя последние пятнадцать лет в Лондоне, больше известен в англо- и франкоязычном литературном мире, нежели в России. Роман «Железная дорога» завоевал несколько премий в Британии и США. В «ДН» напечатан его роман «Мбобо» (№ 6, 2009).

— Я не баба, а мужик! Хошь испытать? Снимай рейтузы! — опять огрызнулся подросток на весь вагон.

Я не знал, сердиться ли на его грубость или же пойти на мировую и попытаться понять, отчего он такой ершистый; как бы то ни было — это его земля, здесь он хозяин, и я, смягчив свой тон, сказал:

— Я тебя чем-то обидел? Тогда прости... А Брамса ты играешь, как бог...

— А что меня обижать? Я сам кого хочешь обижу... Никакой я не пацан. Не смотри на мой рост, мне 27 лет. Понял?! — уже снизив голос до полупшепота, произнес он.

И тут я и впрямь опешил...

* * *

Вот такое начало у этой истории. Как я сказал, выглядел он абсолютно нормальным мальчишкой 10—12 лет: никаких аномальных черт, по которым можно различить лилипута или карлика — никакой несоразмерности членов, никаких тебе возрастных морщин на лице, ничего такого.

Разумеется, я поначалу не поверил, и это было видно по моему лицу.

— Ну, на, посмотри мой паспорт, — заученным движением вынул он из внутреннего кармана документ.

Пока он продавал свой айран восхищенным теткам («А где ты научился так играть? А "Очи черные" можешь? А "Катюшу?"»), я как дурак всматривался поочередно то в документ, то в его лицо: все сходилось, с фотографии на меня смотрело неиспорченное детское лицо.

— Как вас зовут? — улучив минутку, растеряннo и беспомощно спросил я.

— Ержан, — бросил он и ткнул пальцем в паспорт.

— Можно и я куплю... твой... то есть айран, — как-то извинительно и нелепо пролепетал я, и он, забирая свой паспорт, ответил:

— Брамс, говоришь? Последняя бутылка, забирай, все продал...

Мы зашли в купе за деньгами, и, поскольку старик напротив меня беспробудно спал, я предложил Ержану присесть: дескать, в ногах правды нет...

— А где она есть? — опять колюче спросил он, причем вопрос, казалось, был обращен не ко мне, а к этому поезду, пилящему по степи, к этой степи, сгорающей на земле, к этой земле, скитающейся среди света и тьмы, к этой тьме, что...

Часть первая

До

Родился Ержан на полустанке Кара-Шаган Восточно-Казахстанской железной дороги в семье своего деда Даулета-темиржола, путевого обходчика, одного из тех, кто по ночам стучат молотками по колесам да тормозным колодкам, а днями — вслед редкому телефонному звонку от диспетчера — выходят передвигать стрелку, когда какой-нибудь усталый товарняк пережидает, пока пронесется через полустанок какой-нибудь скорый или литерный пассажирский поезд наподобие нашего.

Хотя и родился Ержан в семье у своего деда, в метрике его под графой «Отец» стоял жирный прочерк, и значилась одна лишь «Мать» — Канышат — дочь Даулета-Темиржола, жившая тут же — на полустанке, называвшемся всеми почему-то «точкой», в одном из двух железнодорожных домов, в котором кроме деда да матери с Ержаном жила еще и бабка Улбарсын да ее младший сын Кепек-нагаши. Во втором пристанционном доме жила семья сменщика деда Даулета — покойного Нурпеиса, угодившего под внештатный поезд: вдовая бабка Шолпан-шеше, ее сын Шакен с городской невестой Байчичек и их дочь Айсулу, что была на год младше Ержана.

Вот и все население Кара-Шагана, если не считать с полусотни овец, пятков коров, трех ишачков, двух верблюдов да коня Айгыра на обе семьи. Правда, был еще

пес Капты, который жил большей частью у Айсулу, и потому Ержан не держал его за своего, как не принимал он в расчет и выводка пыльных кур с парой горластых петухов, поскольку те размножались и убывали непонятным образом, так что никто из карашаганцев никогда не знал им счета.

Я сказал о размножении непонятным образом. Дело в том, что мать Ержана, Канышат, понесла его бог весть от кого и бог весть как. Отец тогда ее проклял, и все, что знал Ержан со слов своей бабки Улбарсын, — это то, что в шестнадцатилетнем возрасте Канышат побежала в степь за шелковым платком, который сдул ветер, а тот, будто дразня, заманивал ее все дальше и глубже, по направлению к закату солнца, а дальше шло уже нечто сказочное, из чего Ержан никак не мог вывести смысла: вдруг то самое заходящее солнце взмыло обратно в небо, по земле от горизонта пошла дрожь, внезапно свистящий ветер осекся на мгновение и со всего рахмаху пустился обратно, поскольку за ним с небывалым гиком, вздымая степную пыль до небес, несся черный ураган, и когда Канышат, ни жива ни мертва, обнаружила себя на дне оврага, над ней, исцарапанной и окровавленной, стояло некое существо, похожее на пришельца, — в скафандре и неземной одежде.

Словом, тогда и зачала Канышат, и спустя три месяца, когда ее беременность стала явной, Даулет-аке жестоко избил и проклял ее, и если бы не Кепек и Шакен, оттащившие старика от полумертвой дочери, не жить бы на этом свете ни Канышат, ни ее сыну Ержану...

Но с тех пор Канышат не проронила ни слова.

* * *

И хотя мать с тех пор не проронила ни слова, женщинам, и особенно двум бабкам — Улбарсын и Шолпан, как говаривал дед, дай только посудачить. Ержан помнит, как лютыми зимними ночами, когда свистящая поземка прорывалась сквозь все щели в окна, он забирался под верблюжье одеяло к бабке, и та рассказывала свои бесконечные сказки.

— На девятом небе у Тенгри растет священное дерево — Кайын, на ветках которого, словно листик, висит кут.

— А что такое кут? — спрашивал все еще дрожащий Ержан, удивляясь сходству этого слова со словом «кет» — «зад».

— Это счастье, это когда тепло и сытно, — отвечала бабка и продолжала свой нескончаемый шепот: — Когда тебе предстояло родиться, твой кут упал с этого дерева в наш дом через дымоход. Все по воле Тенгри и матери нашей Умай. Кут упал в живот твоей матери и принял в ее утробе вид красного червячка...

— Ты **еро** вычесываешь из моего зада?

Бабка всхлывала и той же морщинистой рукой, которой только что чесала его попу, дабы уберечь мальчика от глистов, шлепала его по щечке:

— Болтун ты маленький, спи, а то Умай-матушка рассердится и отнимет твой кут!

В другую ночь он оставался у бабки Шолпан из-за сладенькой Айсулу, которой он уже надкусил ухо, чтобы впоследствии жениться; теперь уже Шолпан-шеше рассказывала ему о его рождении, вплетая сказку о сыне Тенгри — Гесере.

— Тенгри послал Гесера на землю, в одно степное государство, где не было правителя.

— Это к нам, что ли? — тут же встречал Ержан, но Шолпан-шеше осекала его одним лишь лукаво-страшным взглядом и продолжала.

— Чтобы никто не узнал его, Гесер сошел на землю безобразным сопливым мальчишкой, таким, как ты! — и тут бабка Шолпан ущипывала Ержана за нос. Ержан на это хныкал, и тогда, боясь разбудить спящую в люльке Айсулу, бабка отпускала его нос, приноживалась ласково ко лбу и продолжала свой сказ:

— Только вот Кара-Чотон — такой же дядя, каким тебе приходится Кепек-нагаши, узнал, что Гесер не простой мальчишка, а божественного происхождения, и стал преследовать его, чтобы уничтожить племянника, пока тот не вырос. Но Тенгри всегда спасал Гесера от злых проделок Кара-Чотона. Когда Гесеру исполнилось

двенадцать лет, Тенгри послал ему лучшего на земле скакуна, и Гесер выиграл байгу — скачки за обладание красавицей Урмай-сулу и завоевал трон того степного государства.

— Казахст... — начинал было Ержан, но, увидев острые глаза шеше, тут же смолкал. Та продолжала:

— Но недолго наслаждался храбрый Гесер своим счастьем и покоем. С севера на его страну напал страшный демон Лубсан. Правда, жена людоеда Лубсана — Тумен Джергалан влюбилась в Гесера и выдала тому тайну своего мужа. Гесер воспользовался тайной и убил Лубсана, тогда Тумен Джергалан напоила его напитком забвенья, чтобы привязать Гесера к себе. Гесер выпил напиток, забыл про свою любимую Урмай-сулу и остался у Тумен Джергалан.

Между тем в степном государстве поднимается смута и Кара-Чотон женится насильно на Урмай-сулу. Но Тенгри не оставляет Гесера и избавляет его от наваждения у самого Мертвого озера, где он видит отражение своего волшебного коня. На этом коне он возвращается к себе в степное государство и разбивает Кара-Чотона, освобождая свою Урмай-сулу...

Правда, к этому времени согревшийся за теплой пазухой бабки Шолпан Ержан уже сладко спал, видя окончание этой сказки, рассказывавшей о его предстоящей жизни в своих пушистых детских снах...

* * *

Степные дороги — будь они даже железные — долги, однообразны, и коротать их приходится лишь разговором. Рассказ Ержана тек, как провода в окне поезда — от столба к столбу, от столба к столбу, и, казалось, стук колес придавал его рассказу такт за тактом, такт за тактом. Так и глубокое детство он вспоминал как безостановочную беготню из своего дома к дому Айсулу, нет, не только поглядеть на безъязыкую красавицу, которой он надкусил ухо в знак ранней помолвки, но чаще всего ради блестящих железок Шакена-коке, тех, что он привозил со своей вахты, на которой пропадал месяцами. Работал он где-то в степи, но об этом речь впереди. Как впереди речь и о телевизоре, ради которого Ержан бегал опять же к Шакену-коке, после того, как тот однажды привез из города это чудо, поглотившее их с тех пор навсегда.

* * *

А до того... До того:

— Бабкам дай только помолоть языком! — говаривал дед, привязывая весенними днями малыша пояском к спине и взбираясь на пепельного коня. Они скакали галопом в степь, туда, за железную дорогу, которую дед оставлял на попечение своему сыну Кепеку. Они скакали молча по влажной и разбухающей травой и тюльпанами степи, скакали, казалось, просто так, и ветер, еще холодный по бокам, обжигал трескающиеся щеки Ержана.

Однажды они доскакали до оврага и до холмов, редко рассыпанных за оврагом, и дед только бросил:

— Вот здесь мы тебя и нашли, улым...

А там, за оврагом, с шумной весенней речкой на дне, за деревянным навесным мостом Шайтан-копрюком росла по всей степи колючая проволока, и дед, лишь махнув в ту сторону своей камчой, да осаживая своего распарившегося скакуна, сказал непонятное слово: «Зона!» — и в ушах малыша зазвенела муха, а точнее, овод, что кружится ленивыми днями над их коровами — овод, обернувшийся вдруг звонким именем «Зона»...

Так появился в жизни Ержана этот овод, жужжавший своей непонятностью над его детским воображением. И там, оказывается, работал на своей вахте дядя Шакен.

* * *

И хотя дед Даулет называл бабок болтушками, но та сказка о Гесере запала Ержану в душу не меньше, чем игра деда на домбре, и пока бабка Улбарсын готови-

лась вымыть мальчишке голову кислым молоком, Ержан выпрашивал ее о признаках Гесера: дескать, а как его узнать? Бабка то ли для того, чтобы отвязаться от верткого внука, то ли чтобы успокоить его на час-другой, бросала:

— Когда Гесер был безобразным и сопливым мальчишкой, у него не было шошака — пиписки.

И пока его бабка выщипывала на весеннем солнце всякую мелкую живность, забившуюся в швы его трусов, запомнивший ее слова Ержан убежал за соседний дом к Айсулу, где вместе с этой двухлеткой рассматривал поочередно то свою неисчезающую, но сморщенную пиписку, то завидное отсутствие этой самой пиписки у сопливой Айсулу.

С тем же рвением он следил за своим ленивым дядькой Кепеком-нагаши — не начнет ли тот преследовать его до смерти. Но тот большей частью валялся на единственной во всем доме железной кровати, заменяя ночами своего стареющего отца на стрелке или же на обходе ночных составов с наследственным молоточком.

Иной раз он приходил к утру вдрызг пьяным и начинал ни с того ни с сего переворачивать весь дом с ног на голову, ругаясь и матерясь, и хотя Ержан, разбуженный охающей и ахающей бабкой, был уже готов к коварным преследованиям своего Кара-Чотона, но тот все больше кричал, что уедет отсюда навсегда, что все ему здесь обрыдло, е...ть он хотел эту вонючую жизнь! — и, вскакивая на отцовского пепельного коня, мчался в необъятную степь, где вместе с рассеивающейся тьмой пропадали его голос, фигура, гнев...

* * *

Я сказал, что мальчишке запало в душу не только бабкино сказание, но и дедова домбра. Да настолько, что он без спросу стал снимать ее с высокого гвоздика на стене, пока дед ходил колотить молоточком по своим вагонам, и принимался тренькать, изображая насупленного деда с его хриплым голосом. Очень скоро он начал улавливать какие-то знакомые мелодии, а потом, как отслеживал поведение своего нагаши Кепека, так же стал отслеживать игру своего деда на домбре, и на следующий день в его отсутствие, пока бабка болталась у Шолпан-шеше, рьяно повторял тот самый бег пальцев по шейке домбры. Очень быстро и незаметно он научился чуть ли не всему репертуару деда Даулета, но застукал его за этим делом не дед, да и не бабка, а нагаши Кеpek, опять завалившийся не в свою комнату по пьянке. Как он целовал каждый палец мальчишки, как облизывал их пьяными слюнями: «Ай, кара кюш! Ай кара таус!» — «Ай, неземная сила! Ай, неземной звук!» — качал он своей буйной головой. В тот вечер чуть отрезвевший Кеpek собрал обе семьи перед домом и, вызвав из двери своего племянника-трехлетку, объявил его концерт. Свой первый в жизни концерт Ержан дал, сидя на пороге своего дома.

* * *

Правда, расчувствовавшийся дед тут же перенастроил свою домбру с правой настройки на левую¹, так, чтобы мальчишке было легче петь, и кроме того, каждый вечер стал теперь специально заниматься с Ержаном, вспоминая забытые старинные мелодии и жиры — древние песни. За три месяца Ержан освоил все то, что дед накопил за всю свою жизнь. Мальчишка впитывал всю вековую мудрость казаха, сохраняемую в песнях, как степная земля впитывает весенние дожди, превращая их в зеленый жузгун и терескен, да в алые маки и тюльпаны.

Бийик тауха жарасар
Ыхынан тиген панасы.
Терен сайха жарасар
Тобылгалы саласы.

Высоченной горе идет
Тень, падающая от нее.
Глубокой речке к лицу

¹ С кварты на квинту.

Берег, покрытый таволгой.
Мужественному джигиту идет
Копье, взятое в руки.
Богатому джигиту к лицу
Польза, что он приносит людям.
Аксакалу к лицу
Благословение тех, кто его окружает.
Богачке идет
Ее бурдюк с кумысом.
Невестке к лицу
Ее грудной младенец.
Когда девушка достигает пятнадцати лет,
Сплетен вокруг нее больше, чем у нее косичек.
Единственный, кто виноват в этой лжи, —
Белая ворона средь родни¹.

Слушая эти песни четырехлетнего Ержана, Шакен-коке, любитель повторять одну и ту же фразу: «Мы не только догоним, но и обгоним американцев!» — вдруг привез ему в подарок с очередной вахты не блестящую железку и не стеклянную колбу, а что-то похожее на домбру, но в тысячу раз более аккуратное и блестящее, то, что он назвал неказахским словом «скрипка».

* * *

И струн на ней было не три, а четыре. Первые дни Ержан попробовал играть на ней как на домбре, но звук был какой-то глухой и зажатый. Правда, потом Шакен-коке вынул из своего портфеля еще и палку—не палку, камчу—не камчу, которую назвал «смычком», и вручил ее Ержану, чтобы тот играл себе на здоровье на настоящей скрипке. «Дай, покажу!» — сказал он и стал тереть ту самую палку о струны, но те не издавали никакого звука. Тогда дед рассмеялся и, сказав хитро: «Всему нужна смазка!» — пошел искать в своих закромах эту самую смазку, которая оказалась чем-то вроде засохшего древесного клея или воска. Он взял в руки и скрипку, и смычок, обмазал их, и вдруг, когда прикоснулся смычком к струнам, они и впрямь заскрипели. «Дай! Дай! Коке привез ее мне!» — выхватил скрипку Ержан и стал извлекать звуки изо всех четырех струн. Он извел в тот день всех домочадцев, но, разумеется, никакой музыки у него не получалось. Ближе к вечеру бог весть откуда, напившись, пришел домой Кепек-нагаши и, увидев племянника со скрипкой, вдруг заплакал и сказал: «Я знаю болгарина-скрипача! Правда, он педик! Но завтра же поедем к нему!»

* * *

Не кто иной, как нагаши и усадил на следующий день Ержана с собой на верблюда и двинулся наперерез железной дороге в степь. Они ехали долго, пока не приехали к каким-то вагончикам, экскаваторам, всякой технике. Чем тут люди занимались, не совсем понятно, железной дороги рядом не видно, а всякого железа навалом. Они слезли с верблюда и, привязав его к одинокому кусту тамариска, зашли в один из вагончиков. Там в прокуренном помещении сидело несколько человек, играя в какую-то шумную игру, и видя, как закашлялся Ержан, Кепек-нагаши быстро вызвал оттуда человека и впрямь по имени Петко, чтобы вывести племянника опять наружу. Петко вышел не скоро. Это был невысокий человек с очень быстрыми глазами и блеющим голосом. Кепек-нагаши заговорил с ним на чужом языке, которого Ержан тогда еще не понимал, но несколько раз он произнес слово наподобие «таланы» — дескать, «из степи», указывая на своего «жиена» — племянника. Петко под зорким и неусыпным взглядом Кепека пощупал руки Ержана, его предплечья, плечи, как казахи ощупывают жеребца или ягненка, потом стал что-то невнятное спрашивать. Ержан пытался докопаться или, вернее, догадаться о смысле его слов: «Кокте би захип» — «В небе танец слепца»: — спрашивает ли этот дядя о какой-то песне? Но тут приходил на

¹ Здесь и далее подстрочный перевод автора.

помощь нагаши: «Атын калай?» — «Как тебя зовут?» «Атым Ержан», — отвечал Ержан. Словом, повел Петко Ержана с Кепеком-нагаши в крайний вагончик, взял в руки скрипку, принялся к ней, потом попробовал смычок на язык и, спросив что-то у Кепека, расхохотался. Он хохотал долго, тем временем очищал чем-то едким на запах и струны, и смычок, потом достал нечто похожее на древесную смолу и стал то мелкими кругами, то крупными движениями водить ею по смычку.

Когда он заиграл на скрипке, звук ее был столь чист, что даже слепец увидел бы в синем небе танец чистого воздуха, ясного солнца, белоснежных облаков, радостных птиц...

Это был первый урок.

* * *

Не прошло и пяти занятий (добрейший Петко без особых объяснений играл на своей скрипке, а Ержан лишь повторял его движения да заучивал черных и белых птичек, сидящих на проводах и названных совсем уж немusыкальным Кепеком-нагаши «нотами»), как ревнивый дед Даулет решил взять Ержана с собой и с домброй в город Семей: дескать, покажу его настоящим мастерам-жирау. Ехали они в товарном вагоне, в котором по станциям развозили железнодорожный буханочный хлеб. Друг деда Толеген раздавал на каждом полустанке замерзшие буханки, а они с дедом лежали в глубине вагона на толеновских толстых тулупах, глядя то на лес рук, тянувшихся за хлебом к вагону, то на кружащуюся вокруг них огромным мельничным жерновом степь, по которой сыпалась обильная мука снега.

Там, в дороге, где бежали в обратную сторону столбы и летели по дуге провода, дед с Толегеном опять стали махать руками в направлении степи с колючей проволокой, и Ержан опять слышал то звонкое, забытое звучание: «Зона», и опять жужжащий овод закружил над его сознанием, приснившись ночью роем музыкальных нот и разбудив его утром огромной жужжащей мухой, то кружащей над ним, то сидящей бесстыдно на носу...

Старики уже пили свой чай с сухим молоком, макая в него горбушку последней непроданной буханки. Поезд стучал по мерзлым рельсам. Из чуть приоткрытой двери вагона несло свирепым степным морозом. И вдруг, словно по велению этой огромной мухи, все тени в вагоне резко сдвинулись вбок, потом гул, сильнее, чем жужжание этой мухи в самое ухо, страшнее, чем грохотание вагона и пустых металлических ящиков из-под хлеба, вдавился в ушные перепонки, и весь вагон пошел плясать вместе с рассыпавшимися ящиками. Старики пропали в щели просвета, муха закружила землю под ногами, а вместе с ней и вагон, и то ли ее мохнатые лапы, то ли толстые тулупы дяди Толегена поволокли мальчишку неведомо в какую мохнатую и гремячую темноту...

Зона! — так он запомнил тот мушиный день, когда развороченные ее крыльями вагоны валялись в степи, а дед Даулет и окровавленный дед Толеген, спасшие ребенка из ее мохнатых лап, укутывали его в тулуп и плакали своими скупыми старческими слезами...

Так и не доехали они тогда с дедом до Семей. Видать, не судьба была выучиться у великих мастеров-жирау. На дрезине, напоминающей одновременно и маленький тепловоз, и жилой вагончик, их повезли обратно в Кара-Шаган. Степь на обратном пути была хмурая, как лица людей вокруг них: свинцовые тучи неслись по небу без дождя и снега, какие-то полые — ни гром не гремел в них, ни молния не сверкала. Было странно, как быстро мчатся тучи, тогда как на земле воздух был стоячий, и даже скорость дрезины не раскачивала его.

Через день они были уже дома, без городских подарков, с пустыми руками. Правда, люди с дрезины оставили им несколько буханок железнодорожного хлеба и мешок российской картошки и уехали дальше в степь по своим непонятным делам. Уехать-то они уехали, но небо не светлело после них несколько дней, и никто не выходил на улицу, кроме самого деда на редкий поезд, даже писать все ходили в медный тазик, который изредка выплескивал из своего окна Кепек-нагаши, как всегда матерясь и проклиная всех.

Моча их покраснела, словно бы от стыда, особенно у Ержана. Женщины, как водится, тараторили об «акыр заман» — конце света, дед же, когда не спал, крутил ушко своей маленькой радиолы, ловя то писк, то свист, то шипение, а потом какую-то странную казахскую речь, которая то и дело повторяла непонятное слово, похожее на имя Толеген: «Взрыв, Толигон».

Погиб, что ли, дедовский друг Толеген? Только почему тогда дед не вскочит на своего пепельного коня и не поскачет на его поминки, как он делал всегда, когда умирали люди?

* * *

Просидели они все эти дни в доме без всякого дела, даже музыкой мальчишке не давали заниматься. Наконец, на четвертый день, когда обе семьи опять собрались вместе в одном доме и дед Даулет зарезал на «кудаи» барана, которого тут же разделали, сварили и съели, тот же дед после еды обильно рыгнул и, взяв одну из костей барана, положил ее на колени Байчичек. «А теперь покажи, что ты все еще джигит!» — предложил он Шакену-коке, и тот, встав со своего места, сложил руки за спиной. Дед их связал пояском, и тогда Шакен-байке подошел к своей жене и, не сгибая колен, стал нагибаться под всеобщее улюлюканье, чтобы схватить зубами ту кость. То же самое сделал следом Кепек-нагаши, подняв кость с колен своей молчаливой сестры Канышат. Потом ту же самую кость положили на колени трехлетки Айсулу и заставили под всеобщий смех Ержана нагибаться за этой костью. Нагнуться-то Ержан нагнулся, да, видать, съел слишком много сухого мяса, так что в минуту, когда кость оказалась в его зубах, он оглушительно и продолжительно пукнул на весь дом. Вот было смеху-то!

«Бомба!» — кричал из-под морщин дед. «Атомная!» — добавлял ученый Шакен-коке и прибавлял: «Как пить дать не только догоним, но и обгоним американцев!» «Сейчас и ракета пойдет!» — не упускал своего шанса сострить и Кепек-нагаши.

Так они разделались с тем взрывом.

* * *

Тем летом Ержана как уже выросшего мальчишку Шакен-аке взял на выпас общего стада в пойму реки, куда его самого брал раньше дед. Трава там была все еще зеленой, и скот разбредался по дну широкого оврага во все еще свежее, невыжженное раздолье. По оврагу реял запах прохлады, и после жгучего даже поутру, голого степного солнца тень тамарисков и саксаула прихватывала и остужала капли вязкого пота на их горячих лицах. Пес Капты бегал, высунув свой огненный язык, и сбивал разбредавшееся стадо в управляемую кучу, и потому Шакен-аке с Ержаном, привязав коня к основанию дальнего куста, легли на забыто-прохладную землю.

Через час-другой, оставив стадо на попечение беспокойного пса Капты, они сели на коня и поскакали по стремнине в ту сторону, где степь окружала колючая проволока. Шакен-аке, видать, знал дорогу, оврагами да ярами они оказались в той самой Зоне, которая оводом терзала все эти годы мальчишеское любопытство Ержана. Сидя за спиной дяди Шакена, он озирался со всем рвением по сторонам, но степь была как степь: маленькое, колючее, как гвоздь, солнце в бескрайнем усталом небе, выжженная стерня и неподвижно-гудящий, стоялый воздух между ними. Правда, земля здесь была немного краснее, да пыль под копытами коня чуть толще обычного.

Они скакали долго, Шакен молчал всю дорогу, как будто прислушивался к звукам степи, и только когда солнце осталось за спиной, вдруг сказал: «Караши, газ...» — «Смотри-ка, гусь...» Ержан вытянулся вбок, чтобы увидеть живность, а может быть, и озеро, но впереди из земли тянуло вверх бетонную шею некое странное сооружение, подобное тем, что дед на Толегеновском поезде называл «элеваторами». Поодаль в низких лучах солнца темнели другие, непонятные сооружения.

С полчаса они скакали до того не гуся, но «журавля» — огромной бетонной глыбы, скореженной наполовину, как будто оплывшей набок. Ержан глядел изо всех

глаз, но Шакен-аке не стал задерживаться, а направил коня иноходью к тем, другим строениям, оказавшимся развалинами домов.

Хоть и мал был Ержан, но он видел в степи развалины казахских кочевий и кладбищ: округлых, как будто бы время и природа, жалея, мало-помалу срезали им углы и выступы. Эти же строения будто обломали на ходу, на лету, рамы торчали наперекор стенам, стены вспарывали крышу, крыши вонзались в фундамент. Никогда Ержан не видел ничего более страшного и похожего на то, что его бабка Улбарсын описывала словами «акыр заман» — конец света...

— А Айсулу видела это? — спросил он тогда со страхом у Шакен-аке. Тот помотал головой и добавил, как и всегда: «Если мы не только не догоним, но и не обгоним американцев, весь мир будет таким!»

* * *

Шакен-коке часто обсуждал с дедом Даулетом третью мировую войну, к которой он так усердно готовился на своей вахте. Из-за этих разговоров, неизбежного ли страха перед Зоной или вида последнего мертвого города — Ержану то и дело стала сниться та самая третья мировая война: она, как правило, появлялась с неба, синего и спокойного, — то какие-то самолетчики вдруг начинали атаковать американский бомбардировщик, то ночные звезды врассыпную бегали по ночному небу, но всегда эти сны кончались свинцовым небом, гулом, от которого выла скотина, внезапным ярким сполохом и ядовитым грибом, встающим над землей как албасты¹.

Вот опять: высокое небо и бумажные самолетчики, тянущие за собой овечий пузырь грибовидного облака. Непонятные — через рупор — слова Шакена-коке: «Паника американизма — все с неба — ведь сказано в сказке об акыр замане: и сошествие бомб на землю, как излияние геенны огненной». И дальше Шакен-коке продолжает, как радио: «И только земли нам бояться нечего — отсюда подвоха нет — черная, как мать в трауре, каждого обнимет и внесет в свое чрево — родившее — опустевшее и воспаленное...

Мы путешественники — и над нами небо во вражеских самолетах».

Ержан просыпался и видел, что дед и Шакен-коке так и не закончили своего спора о третьей мировой войне.

* * *

Поезд шел по бесконечной казахской степи, и провода на столбах с их пустельгами да сайками, жаворонками да сизоворонками и еще бог весть с какой летучей живностью плыли вослед от столба к столбу, от столба к столбу, как ноты неведомой музыки от такта к такту, от такта к такту. Разговорившийся мой собеседник плюнул на свои коммерческие обязанности и, договорившись с проводником, ехал уже рядом с нами в свой дальний Семей. И поезд, и вагон жили своей обычной жизнью, я где-то уже описывал эти поезда. Мой сокупейник — старый казах — проснулся, но, не оборачиваясь в нашу сторону, продолжал, побряхтывая, лежать на боку и, видать, тоже вполуха слушал то, что рассказывал о своей жизни Ержан.

Мы выпили по стакану железнодорожного чаю — любезность проводника, заполнившего наличного пассажира в карман, и Ержан продолжил свой рассказ.

* * *

Мальчишка не по дням, а по часам обучался не только музыке, играя уже к лету этюды Крейцера, Мазаса и Роде, но и русскому языку, правда, с неким болгарским привкусом, который сохранился у него до сих пор. Так, время от времени он приговаривал: «Ти що?» — как бы испытывая реакцию слушателя. Кепек-нагаши хоть и замечал, что теперь эти двое вполне обходятся без его переводов, не в лад, не в попад, все же умудрялся вмешиваться: то протянет жиену свой засморканный платочек: дескать, подложи его под подбородок, то выхватит в перерыв смычок из рук Ержана и

¹ Джинн.

оборвет с каким-то особым усердием лопнувший волос. Но как бы то ни было, он никогда не оставлял своего племянша-четырёхлетку с Петко наедине в ПМКовском степном вагончике.

Поначалу Ержан научился понимать лишь музыкальные окрики Петко: «Верхний смычок! Смычок идет вниз! Третий палец! Вторая струна! Сильней звук! Плавное движение!» — эти фразы снились ему вместе со звуками скрипки, округляясь в разноцветные ноты. Никогда его сны не были так веселы, ноты ходили, как человечки — эта толстая и важная, с огромным пузом, эти же — тонконогие и семенящие, они сливались в яркие картины: когда нарочно давишь на глаза, и разноцветная капуста начинает распускаться под кулачками, так же эти картины расплывались перед ним каждую ночь. И чтобы поделиться с Айсулу этими картинками, он подбирался к ней сзади и крепко-крепко давил ей на глаза, приговаривая на непонятном языке: «Какаяэтонота? Звукострее! Пальцыпальцыпальцы! Гдесмычокближекмостику!»

★ ★ ★

Он все лучше и лучше понимал по-русски, а еще и расспрашивал долгой дорогой своего нагаши, который как-никак отслужил в Советской Армии, о том или ином слове, заучивая его наперед, на всякий случай. Правда, как оказалось, язык, выученный Кепеком в армии, был далеко не музыкальным: «Че ты пердишь из жопы?» — говорил он, когда малыш начинал гаммы с четвертой струны, или, заметив в кармане жиена металлическую коробочку канифоли, которую Петко положил перед уходом, он спрашивал: «Зачем спиздил это?» Всякий раз, когда хваткий Ержан пытался употребить заученное дома выражение в разговоре с Петко, тот, любовно взиравший на мальчугана, давился смехом, приговаривая: «Ну, ты даешь, малыш!»

Так и осталась в сознании Ержана эта фраза как высшая, самая веселая похвала, и он точно так же похлопывал по спинке свою Айсулу и восклицал: «Ну, ты даешь, малыш!»

★ ★ ★

Однажды, пользуясь тем, что это все-таки он купил скрипку Ержану, а не Кепек-нагаши (который несколько раз исковерканно повторил это самое имя — Педик, Педик), на урок музыки мальчика повез Шакен-коке. И вместо урока — дескать, ты тут попиликай сам, — они проболтали с Петко чуть ли не три часа, и потом уже, когда Шакен-коке за ужином рассказывал всему семейству, кто же такой на самом деле Петко, Ержан узнал, что тот, оказывается, кончил Московскую консерваторию (еще одно непонятное слово в русско-музыкальный лексикон Ержана) у самого Ойстраха («Ой, страх!» — приговаривала всегда городская женге — невестка Байчичек, когда пугалась чего-либо, и сейчас она не преминула сплунуть себе за пазуху, выкликнув это самое: «Ой, страх!»). «Он тебе не калам-балам!» — заметил тогда Шакен-коке, правда, так и не узнавший, почему же Петко оказался здесь, на ПМК, в семи километрах от Кара-Шагана.

Когда Ержан в следующую поездку рассказал все это Кепеку-нагаши, тот лишь махнул рукой: — Шакен не знает ни хера!» — «Мен билем! — Я знаю!» — но говорить, почему Петко оказался здесь, посреди казахской степи, он не стал.

★ ★ ★

А раз, узнав, что на ПМК есть душ, в дорогу на музыкальный урок собрался и дед Даулет, который все еще ревновал своего внука, изменившего со скрипкой его домбре. Было знойное лето, пот тек по его морщинистой шее и расходился кислым запахом. Все это чуял сидевший за его спиной Ержан. А потому, как только приехали к уже отработавшему свою смену и чисто причесанному Петко, вместо скрипичного урока они полезли сразу же под душ. Там, за брезентовой оградой, дед хоть и не снимал своих подштанников, но пока он тщательно тер голову, сморщенный мешочек коричневых яиц выглянул наружу, и неугомонный Ержан, весь в брызгах дедовского

мыла, тут же спросил: «Ата, неге сенде еките жумуртка?» — «Дед, а почему у тебя два яйца?» Дед сначала растерялся, стал тут же подтягивать подштанники, но все же ответил: «Вот у меня двое детей, поэтому и два яйца». — «А у Шакена что, тогда одно, да?» — воскликнул удивленно малыш. «А у Кепека, получается, нет, да?»

Дед не знал, что ответить, и только брызгал водой...

* * *

Дед так прикипел к Петко тогда, что ранней осенью вызвал его через Кепека на лисью охоту. Дед Даулет, как рассказывал Кеpek-нагаши, прежде держал охотничье-го беркута, который из годовалого балапана выросал в кантубита, тырнека, тастулека, и вплоть до двенадцатилетнего шогела¹. Дед теперь называл Ержана «музбалаком»²; узнав эту историю, Ержан понял, что его прозвище не имеет ничего общего с музыкой: дед использовал имена своего беркута. С рождением внука птица то ли умерла, то ли была отпущена на волю, а может быть, дед попросту счел, что в его семье вылупился новый беркутенок. Словом, ежегодная охота в тех тугаях, где был зачат Ержан, приказала долго жить вместе с пропавшим из дедовской жизни беркутом.

И вот теперь в честь «музбалака» и его учителя дед решил вывести все мужское население Кара-Шагана на лисью охоту. Кеpek рассказывал, как легко они охотились в прежние времена: Капты выгонял лисицу из норы, а беркут хватал ее с воздуха. Но на этот раз дед решил взять лису живьем — старинным способом. Уговор был таков: как только Капты вынюхивает и выгоняет лисицу из норы, а та, чтобы отвлечь собаку от своих еще не окрепших детенышей, побежит, запутывая следы, дед Даулет вместе с Петко и Ержаном-музбалаком станут гнать ее по степи так, чтобы низкое солнце оставалось у них за спиной.

Затем Шакен-коке, который будет поджидать их на расстоянии крика, увидев лисицу, выскочит сбоку и резко развернет погоню в сторону от солнца, то есть даст лисе «калтарыс» — поворот на 90 градусов. Затем его сменит Кеpek, который, увидев лису, тоже выскочит на коне со стороны и развернет погоню еще на 90 градусов, так, что солнце будет теперь светить прямо в глаза хитрой лисице. Тем временем дед, Петко и музбалак с гиканьем и воплями выйдут на этот раз не сбоку, а навстречу, лицом к лицу, и... Ержан с уважением посмотрел на двустолку деда.

Все произошло, как и распланировал дед. Капты с ворчанием выковырял лисицу из норы, она бросилась было в сторону солнца, но дед улюлюкал так, что лисица на мгновение застыла, потом, сообразив, бросилась мимо Капты в обратную сторону и гон начался. Капты летел во всю прыть, не успевая гавкать, зато дед улюлюкал на всю степь. Привязанный поясом, Ержан сидел за его широкой спиной, а то уж точно бы оглох. Петко тоже сверещал на чужом, взятом напрокат коне. Так продолжалось минут пять, пока дед не одернул своего коня, и теперь Ержан не только слышал, но и увидел, как Шакен-коке дал лисе тот самый «калтарыс» — разворот, и та понеслась вбок от них. Растерянный Капты на мгновение было остановился, но дед гаркнул: «Бас!» — «Дави!» — и пес, гавкнув наконец во всю грудь, рванул в новом направлении.

Маленькими точками пересеклись Шакен-коке и Кеpek-нагаши — и тут же исчезли из беркутиных глаз мальчика: дед развернул коня в направлении от солнца. Зато шум погони стал приближаться и нарастать. «Ата, корейши! Ата, корейши!» — «Дед, дай глянуть!» — что было сил закричал Ержан, и тогда дед каким-то неуловимым движением, не снимая пояса, развернул его, усадил прямо перед собой и слегка дернул уздечку, чтобы конь склонил голову набок, открывая Ержану вид на степь. Так, наверное, он обращался со своим беркутом, — не без гордости за деда подумал Ержан.

Лисы в степи он не видел, но видел скачущего с гиком и улюлюканьем Кепека-нагаши, а потом чуть впереди заметил и выцветший клубок Капты. Ближе, еще ближе, еще ближе, и вдруг Ержан углядел пыльную точку, несущуюся в их сторону: «Ата, ата, керши!» — «Дед, смотри!» — сердце его затрепыхало между азартом и жалостью,

¹ На каждый год жизни охотничий беркут имеет свое специальное название.

² Беркут-пятiletка.

сейчас дед достанет ружье, привязанное между путлицем и подпругой, и... Но дед застыл на мгновение и вдруг, хлестнув коня, с оглушительным гиком и улюлюканьем, которые слились с улюлюканьем и гиком и Петко, и Кепека, бросился напрямик навстречу лисе. Сейчас она в страхе бросится прямо на нас, думал испуганный музбалак, но вдруг лиса, запутавшаяся в открытой степи, свалилась и покатилась кубарем под напором собственной скорости. И прежде, чем Капта перегрыз ей горло, дед на лету набросил на нее сеть, да так умело и точно, что лиса, обернув ее вокруг себя два раза, застыла калачиком.

Так они поймали ту лисицу живьем, Ержан видел ее побежденные глаза, полные отчаяния и тоски. Но Петко сказал деду что-то умное, вроде того, что цель — не цель, а дорога к этой цели, — и дед согласился с гостем: отогнав Капты с Кепеком и махнув рукой от досады, отпустил растерянную лисицу обратно в степь.

* * *

Зато вдруг прискакал выпавший на это время из погони Шакен-коке. У него было что-то за пазухой. И он торжествующе вытащил лисенка, так же, как его мать, запутавшегося в сети: вот, будет теперь котенок Айсулу и Ержану! Ержан хоть и перехватил укоризненный взгляд Петко, но, подумав, как обрадуется живому лисенку Айсулу, сделал вид, что ничего не заметил.

Потом дома, когда дед зарезал-таки в честь гостя барана и, освеживав его, приготовил и голову, и бесбармак, и ишек-шабак, после обильного ужина он взял в руки свою домбру и, запев гостевой жыр, стал пояснять Петко, что и здесь, как и на лисьей охоте, за «калтарысом» идет «калтарыс», вплоть до последнего «улуу калтарыса», когда и слушатель, как лиса, попадает в силки жырау:

Достыныз зор,
Дуспанын кор,
Бар тилекке жетсениз,
Сансыз бакыт,
Алтын такыт —
Барша жаннан отсаныз...

Друзья сильны,
Враг унижен,
Когда исполнятся желанья.
Неизмеримое счастье,
Золотой престол, —
Там, в мире теней.
Оставит печаль,
Появится само по себе
Все, что душе угодно.
Где это все?
И какая в том польза? —
Коль не сможете унести с собой и волоса.

«Калтарыс», — вставлял здесь дед и продолжал:

Мир хитер,
Как поток воды,
Мы упали в него соломинками.
Несет нас день за днем,
И мы качаемся,
Умножая свои труды и муки.
Где о камень,
Где о куст
Бьемся.
И от воды,
И от гула
Спасемся, только сойдя на нет.

«Калтарыс!», — восклицал дед и махал рукой Петко,

Мир течет,
Шелестит,
Вливается в вечное озеро.
Одна — рано,
Другая — позже,
Соломинки собираются вместе.
Достигнув озера,
Остановившись,
Все там находят свой покой.

«Улуу калтарыс!», — рычал дед и внезапно притихшим голосом допевал:

Успокоившись,
Умиротворившись,
Поток воды затихает в затоне...

Пока они пели эти песни, лисенок, принесший столько радости Айсулу, незаметно выскользнул из их дома, и его тут же загрыз Капты. Сколько было слез и крика, пока Кепек закапывал маленькое, с котенка, пушистое тело. С тех пор каждую ночь Ержан слышал какой-то вой — и догадывался, что это не Айсулу плачет по лисенку, а отпущенная в степь мать-лисица приходит к их двору, чтобы выпросить обратно своего детеныша. И Капты при этом начинал не лаять, а скулить, как перед атомным взрывом...

* * *

Той осенью по настоянию городской женге Байчичек, Шакен-коке купил в городе радиолу, и настоящее окно в мир открылось для всего двухсемейного населения Кара-Шагана. Вот это была радиолоа так радиолоа! — не чета дедовской охрипшей и осипшей «Стреле». По утрам Шакен-коке врубал на весь полустанок утреннюю зарядку с преподавателем Гордеевым и пианистом Потаповым. Потом наступал черед деда Даулета слушать вместе с Шакеном гимн Советского Союза и «Последние известия», вслед за чем Шакен повторял свое неизменное: «Мы не только догоним, но и обгоним Америку!» Затем, когда дед уходил на свои пути, женщины слушали всякую местную чепуху и радиопостановки по второй казахстанской программе. Когда женщины уходили доить коров или же за хворостом в степь, да если еще Шакен-коке был на вахте, к радиоле прикипал Кепек-нагаши и, втыкая в радиолу всякие провода, вылавливал какую-то бесноватую музыку, под которую он трясся и без выпивки.

Что же до детей, Ержану добрый Петко дал как-то две долгоиграющие пластинки, одну под названием «Лендик кофам»¹, а вторую под непонятным именем «Дин-рит»². Эти две пластинки они крутили бесконечно, пока не приходили взрослые и не отправляли детей спать. На одной играла скрипка, да так красиво, будто Петко решил больше не отвлекаться на замечания Ержану, а просто играть. На другой звучало что-то вроде песен, которые ловил Кепек-нагаши, но и в них была все та же чистота и необыкновенная радость. «Хайуан акеле, хайуан акеле, хайуан акеле...»³ — пел, засыпая у себя дома, Ержан, а в соседнем доме ему вторила незасыпающая Айсулу: «Улу акем баласеней, улу акем баласеней!»⁴

¹ «Лыняное общество», скорее всего, пластинка Леонида Когана (каз.)

² Песни Дина Рида.

³ Приведи зверя, приведи зверя... Видимо, Хава Нагила (каз.)

⁴ «Старший брат — ты ребенок, старший брат, ты ребенок» — та же песня (каз.)

* * *

Тому, кто не жил в степи, трудно понять, как можно существовать среди этой пустоты на все девять сторон. Но те, кто живет здесь веками, знают, как изменчива и богата степь, как текуче и разноцветно небо над ней, как переменчив и подвижен воздух вокруг, как разнообразна и неисчислима степная растительность, как много кругом всякой живности и зверья. То пыльная буря возьмется ниоткуда, то желтый смерч завертит воздух издалика, как женщины вертят в веревки верблюжьей шерсть, то огромное и тяжелое небо нависнет всем своим весом над притихшей и покорной землей...

Взрослея, Ержан стал все чаще присматриваться к дороге, по которой они ехали к Петко, и эта дорога казалась ему музыкой, такой же плавной и разнозвучной. На кустах жужгуна и солянки качались ноты ветра, землеройки и суслики подпевали вторыми и третьими голосами.

Дома суровое и морщинистое лицо деда казалось ему скрипичным концертом Баха, который он только начал разучивать; надоедливая бодрость Шакена-коке — «Венским маршем» Крейслера, за который они решили и вовсе не браться; бестолковые действия Кепека — этюдами Гавинье, а розовощекое личико его Айсулу — почему-то «Зимой» Вивальди, которую с упоением играл посреди позднего казахского лета болгарин Петко.

Только вот женщины, включая и городскую жену Байчикек, все еще ассоциировались у него с однообразными звуками старинной домбры...

* * *

Радость степи, радость музыки, радость детства... На фоне этих безоблачных мотивов почти всегда — то едва слышно, то вдруг, непонятно с чего выступая на первый план, звучала и другая мелодия: ожидание чего-то неминуемого, страшного, безобразного... Это приходило гулом, дрожью, а то и ураганом из Зоны. Шакен-коке, как правило, бывал в это время на вахте, но в тех редких случаях, когда он оказывался дома, дед, Шакен и Кепек, запертые в одной из семей на несколько дней, бесконечно спорили между собой. Шакен, на которого была возложена роль ответчика за все, загорался, как сама степь во время взрыва, и поучал остальных: дескать, мало того, что атомная бомба — это наш, советский ответ на гонку вооружений, но взрывы нужны и для мирных целей, чтобы строить коммунизм! «Мы обязательно должны не только догнать, но и обогнать американцев! На случай третьей мировой войны!» — завершал он пламенную речь своей коронной фразой. «Ты не читай нам агитацию!» — горячился дед, отвоевавший две мировые войны — первую в окопах на тыловых работах, а вторую — дойдя пешком до Эльбы, где он братался с американцами. «Нет на свете ничего, из-за чего стоило бы воевать! Я понимаю — железная дорога: и людей возит, и товары — всем польза! А какая польза от твоего атома-патома?! Всю степь сделали нежилой! Ни песчанки, ни лисы уже не встретишь!»

«У мужиков уже не стоит!» — непонятно вступал Кепек, на что Шакен как-то стыдливо отводил глаза.

Однажды, поздней осенью Шакен съездил в город и привез домой телевизор. «Если не я, пусть он образовывает вас!» — сказал он всем, устанавливая его на самом видном месте в доме.

* * *

С появлением телевизора в доме Шакена-коке радиоло как-то сама по себе переключалась в дом деда Даулета, и Дин Рид запел теперь прямо для Ержана. «Жашуд байлуп жеурикоуа, жеурикоуа, жеурикоуа, жашуд байлуп жеурикоуа бозген замлып на!» — подпевал Ержан по-казахски. «Лиза, лиза, лиза, лизабет», — вторила по-казахски ему и Дину Риду краснощекая Айсулу. Их время теперь четко разделилось на дни и вечера. Дни, которые нужно было пережить — за музыкой, за Дином Ридом, за беготней по степи, за выходом к вагонам на запасном пути — за чем угодно, и вечера, до которых нужно было дожить, чтобы погружаться как в сон в этот маленький телевизор, светящий в скорой осенней темноте синим притягательным светом. Мульт-

тики, концерты, кино, новости, а особенно музыка, которую Шакен-коке по-хозяйски назвал «Время — вперед», музыка, подобная жизни Ержана и Айсулу, — они не пропускали ни одной передачи, пока, обессиленные, не вырубались прямо перед телевизором, валясь на кошму.

А однажды на Новый год в «Голубом огоньке» появился сам Дин Рид, точно такой же, как на обложке своей пластинки, высокий, стройный, красивый, и запел, как по заказу Айсулу, ее любимую песню «Лиза, лиза, лиза, лизабет». С тех пор, едва Ержан брался за скрипку, подбирая то Когана, то Дина Рида, он повязывал на шею материнский шелковый черный платок. Ни дать ни взять — галстук-бабочка. Как у Дина Рида.

Он твердо знал, на кого будет похожим, когда вырастет.

* * *

Ах, как Ержан хотел походить на Дина Рида! — спал и видел себя таким же красавцем с длинными волосами. Да что спал! Он и наяву представлял себя этим американцем, особенно когда смотрел на свою удлинняющуюся тень. Тогда он брал скрипку и, держа ее как гитару, начинал вертеться так, что и тень извивалась по земле в такт звукам: «Шууйуани сектим, сектим, шууйуани уани тем, тайди идоу, у-у, у-у...»¹ Он настолько свыкся с этим образом, что, когда ненароком заглядывал в материнское или бабкино зеркальце, удивлялся: ведь он-то ожидал увидеть там лицо, отпечатанное на конверте долгоиграющей пластинки.

Благодаря деду Даулету Ержан научился в свое время играть на домбре. Благодаря Шакену-коке он заполучил скрипку. Благодаря Кепеку-нагаши он обрел учителя Петко. Благодаря Петко он научился и музыке, и русскому, и даже заполучил Дина Рида. Благодаря Дину Риду он научился читать, поскольку хотел узнать все об этом высоком, красивом и счастливом человеке. Шакен-коке теперь привозил из города то газету, то журнал, то «Ровесник», то «Кругозор», откуда Ержан буковка за буковкой узнавал про жизнь своего кумира. Да и Петко, заслышав, что Ержан напевает со своего верблюда то «Марию, Марию, Марию», то «Ла бамбу», тоже нет-нет да и делился своими познаниями о Дине Риде, которого даже как-то видел на московской телестудии. Но восхищенный этими рассказами Ержан — в вечном присутствии нелепого Кепека — особо вида не подавал, поскольку знал уже, как ревнив был дед к его скрипке. Ведь и Петко, узнай он от Кепека, что Ержан время от времени отбрасывает смычок и хватает скрипку как гитару, тоже наверняка бы стал ревновать.

* * *

Кроме взрывов в Зоне лишь одно мучило Ержана тогда. Понаслышавшись споров о третьей мировой войне и насмотревшись ночных кошмаров, когда серебряные самолетики вдруг превращались в железных беркутов, налетающих на него как на лисенка, Ержан просыпался весь в поту и, боясь шевельнуться, с ужасом думал: а на чьей же стороне его американец Дин Рид?

Кому он мог рассказать про эти ночные страхи? Нет, перед Петко и перед остальными Ержан всерьез разыгрывал роль верного ученика Леонида Когана.

* * *

«Вундеркинд!» — сказал однажды Петко, глядя на мальчика влюбленными глазами, и это прозвище накрепко прицепилось к Ержану. Так теперь его звал Кепек-нагаши, от того быстро и охотно воспринял это слово Шакен-коке, который не только воскликнул: «Теперь мы точно обгоним американцев!», но даже стал объяснять, что это слово означает в переводе с алманского, дескать, «вундер» это чудо, а «киндер» — это ребенок, мол, поэтому правильно будет говорить «вундеркиндер». Так это слово заучил и дед Даулет, правда, бабки быстро okazaшили его, называя своего внука «бултур кимдир» — «этот кто-то». Ержан быстро привык к этой кликухе, тем более что им хвалились при любом удобном случае: когда на раздаточном поезде

¹ На самом деле: «We've got to keep searching, searching, she'll be by my side, following song...»

приезжал друг деда Толеген, когда какой-нибудь пассажирский поезд останавливался на запасном пути, когда на ПМК к Петко приезжал участковый милиционер или окружной врач. В таких случаях кто-то из взрослых кричал: «Вундеркинд!», и Ержан тотчас хватал свою скрипку и мчался на зов, чтобы сыграть им или «Каприз» Паганини, или первый концерт Вивальди из его «Весны».

«Вундеркинд!» — соглашались и праздные пассажиры поезда, и устрашающие милиционер и доктор, и старый, добрый дядя Толеген.

* * *

После таких выступлений больше всех загорался дядя Шакен. «Его надо показать в консерватории! — восклицал он. — Вот возьму отпуск и поеду с ним в Алма-Ату!» Ержан приходил в ужас от этих слов. Прежде всего он думал, что его хотят законсервировать — даром, что ли, «консерватория»? — но даже после того, как Шакен-коке объяснил, что это такое, тот прошлый случай, когда дед Даулет решил взять его в город, а попал в «акырзаман», пугал Ержана еще больше. И казалось, что остальные мужчины были тоже на его стороне. Дед махал рукой: «Вот пойдет в школу — все пройдет!» — как будто речь шла о какой-то простуде. Кепек-нагаши махал рукой с другой стороны: «Да не найдешь ты другого Петки. Твои Серики на домбрушке тренькают, а Петко хоть и Педик, у Ойстраха учился!» — и показывал на играющих в телевизоре: «Смотри, да мой жиен в сто раз лучше каждого из этих охломонов играет! Одна палка, два струна, я хозяин вся страна!» На это уже сердился дед, что, впрочем, мало что меняло.

Правда, в это время Ержана зазывала из соседней комнаты бабка Улбарсын: «Эй, булдур кимдир, келши, безимди басып койши!» — «Эй, вундеркинд, поди, намника мне мои узлы!» Она бы уж точно не отпустила своего любимого массажиста никуда.

* * *

В семь лет Ержан пошел в школу. «Пошел» — это легко сказать. Школа находилась в поселке, что располагался в семи километрах от Кара-Шагана, и «пойти в школу» означало шагать ежедневно семь километров в одну сторону и семь километров обратно. В один из первых же походов дед заставил его навесить на одно плечо домбру, на другое скрипку, и там, в школе, когда учителя собрали всех в спортзале, сыграть и на том, и на другом инструменте. После этого его кличка «Вундеркинд» сама собой перекочевала из Кара-Шагана в школу. Правда, как и во всякой школе, ее укоротили до «Вунда». Теперь, когда в школу приезжали или проверяющие из района, или же собирались родители на собрание, а то и просто по поводу любой торжественной линейки, «Вунда» должен был играть то Курмангазы, то Чайковского.

Зимой, когда по степи зарыскали и завывали голодные волки да шакалы, дед стал возить его в школу на коне, и пока Ержан отогревался в классе, Даулет-Темиржол сидел в железнодорожной столовой. Это быстро ему надоело, и он, оповестив школьного директора, забрал на остаток зимы внука домой, опять оставив его один на один со скрипкой, с тетрадками и карандашами.

Тогда-то, долгими зимними вечерами, пока бабка Улбарсын перебирала под лампой верблюжью шерсть для последующей пряжи, Ержан научился рисовать все, что приходило ему в голову, все, что он успел увидеть за свою короткую пока жизнь. Тогда же он стал обучать грамоте свою Айсулу. И когда следующим летом та пошла в школу, то быстро стала лучшей в классе: ведь она знала то, что другим только предстояло узнать.

Отвозить их в школу на верблюде в тесноте между двух горбов стал дядя Шакен. Когда же он пропадал на своей «вахте», догоняя и обгоняя американцев, дед Даулет сажал их обоих на ишачка и вручал им по засохшему початку кукурузы, чтобы Айсулу время от времени рассыпала зерно по дороге, так, мол, вы не потеряетесь. А потеряетесь — пустим кур по следу, и они вас отыщут, — говорил хитровато дед. Хотя как им было теряться, если вся дорога шла вдоль железной дороги. А потом дед наказал им,

что солнце с утра должно светить им постоянно в лицо с правого глаза, ровно так же, как по возвращении.

Айсулу крепко цеплялась за худые плечи Ержана, и они скакали то по ветру, то против ветра, то сквозь смерч, то сквозь пыльную бурю, разбрасывая на первых порах кукурузные семена понапрасну. Впрочем, степные жаворонки да сизоворонки исправно склевывали всю иссохшую кукурузу. А солнце пряталось за быстрые осенние облака.

* * *

Но однажды, когда они ехали в школу солнечным осенним днем и Айсулу пела прямо в ухо Ержану одну из песен их Дина Рида, ослик подобрал выброшенную из поезда кочерыжку и, вместо того чтобы спокойно пережевать ее, остановившись при этом как будто для справления нужды, решил проглотить ее целиком на ходу и вдруг подавился. Внезапно он стал брыкаться и сбрасывать их со своей спины: сначала свалилась поющая Айсулу, за ней, на другую сторону, Ержан; осел дергался и хрипел, мотая головой из стороны в сторону. Ержан вскочил и бросился на него. Сначала хотел избить осла, но, увидев пену, идущую у него изо рта, не на шутку перепугался. Ослик не подпускал его к себе, брыкался, отбивался хвостом, щерил зубы и страшно хрипел. «Устасенши!» — «Держи!» — крикнул он, и маленькая Айсулу, сбросив на землю портфель, кинулась к удилам, чтобы, схватившись за них, потянуть голову ослика вниз к земле. Ержан тут же разжал ему пасть и всунул руку по локоть, чтобы, вцепившись сквозь пенистую мякоть ногтями в кочерыжку, потянуть ее изо всех сил на себя. Осел взвыл и впился зубами в руку Ержана, но тот, хотя матюкнулся по-взрослому: «Шешенди амина сикейин!»¹ — но кочерыжку не отпустил и вытащил вместе с окровавленной рукой из пасти ишака, чтобы врезать ею ему между глаз! Ослик обиженно, но благодарно завыл: «И-а! И-и-а-а! И-и-а-а-а!» — и Айсулу, как какая-нибудь бабка Шолпан, тоже выругалась: «Олюп кетпейсинба! Хайван! Сахан не дедим?!»² — и без дальнейших причитаний сняла с головы платок, облизала кровь, текущую по руке Ержана из-под задранного рукава и крепко перевязала рану...

В тот день они пропустили школу вместе...

* * *

Из чего вообще состояла их будничная жизнь? Налепить на заднюю стенку домов кизяка — их топлива на зиму. Поохотиться по товарным поездом, передыхающим на запасном пути: то сметешь с вагона, груженного углем, мешок-другой угольной пыли и крошки, а то выбьешь из восьми деревянных распорок, фиксирующих платформу, одну-другую на дрова, на стройматериал... — все это они делали вместе с Айсулу. Но больше всего они любили выносить кипятилок и куртку к случайному пассажирскому поезду, пережидаящему какой-нибудь литерный товарняк, или же выходить к нему с домброй-полушкой... И тогда городские люди из неведомых земель — то золотозубые сарты, то желтоволосые урусы, то краснорубашные цыгане — давали им не только новенькие монетки да бумажные рубли, но кто — конфету, кто — плитку шоколада, кто — какую-нибудь ненужную городскую вещичку. Если заработанные сладости они делили пополам, то вещички Ержан щедро отдавал Айсулу, и у той в коробочках и ящичках их скопилось целая уйма: женская помада, комсомольские и пионерские значки, авторучка, брелок от ключей и даже огромные солнцезащитные очки.

Правда, пассажирские поезда пережидали здесь редко, все больше товарные, то с цементом, то с лесом, с которого можно было сдирать кору, то с песком, то с фарфоровой глиной, которую можно было жевать вместо черной смолы.

Зато с регулярностью, раз в неделю, все эти полустанки, называемые точками, объезжал вагон дяди Толегена, прицепляемый к тому или иному составу, и доставлял

¹ е.. твою мать!

² Чтоб ты сдох! Скотина! Что я тебе говорила?!

им железнодорожный хлеб, изредка муку для лепешек, сахар с солью и плиточный чай. Но к нему выходили уже сами взрослые.

* * *

Теперь и к Петко они ездили вдвоем, накрепко проинструктированные Кепеком, чтоб не расставались ни на минуту. К несчастью, ПМК Петко располагалось совсем в другой стороне, нежели школа: если начертить треугольник между домом, школой и Петко, то Петко находился на самой вершине. Той осенью, после очередной линейки, когда Ержан отыграл вместо горна и барабанов моцартовский марш, они решили не заезжать домой, а проехать неведомым доселе путем прямо к Петко. Тем более, что дедовским способом Ержан быстро рассчитал: если от дома в школу и из школы домой солнце светило им в правый глаз, то теперь, согласно русской приговорке Кепека-нагаши, оно должно светить им прямо в «жопу». Степь их совсем не пугала, особенно же водруженных на ишака — ни змея тебя не ужалит, ни каракурт, ни лиса не приблизится, ни коршун. Степь следила за ними, как широко раскрытый глаз, такой же огромный светлый глаз смотрел и сопровождал их сверху. Редкая могила выпирала из горизонта, черным пятнышком обозначая их путь. Но одна из этих выпирающих из земли точек странно шевелилась, и Ержан быстро понял: это одинокий волк, вышедший на свою предзимнюю охоту. Было видно, что тот поджидает свою добычу, и тогда Ержан сбросил с себя школьную гимнастерку, накрутил на руку и, используя ее вместо камчи, погнал ишака, улюлюкая изо всех сил и лупя гимнастеркой не только выючное животное, но и пустой степной воздух. Айсулу тоже принялась вертеть своим джемпером и лупить ишака, визжа при этом так, что Ержан чуть не оглох. Волк, похоже, такого не ожидал и вдруг бросился наутек. Он бежал в том же направлении, куда и их ишачок, и выглядело это так, будто волк от них убегает, а они стремятся его догнать. Так они проскакали почти полчаса, пока волк внезапно не пропал, а они в конце концов увидели и вагончики, и экскаваторы, словом, благополучно добрались до Петко.

Они не стали рассказывать о своем приключении, а потом, во время долгого урока, ударила такая гроза, что они разом забыли все, что было, и бросились заводить под крышу ишачка, который, от ужаса наложив под себя, дрожал каждой волосинкой своего короткого хвоста.

Дождь и гроза продолжались без остановки, кругом была тьма-тьмущая. В ту ночь они пропустили свой обязательный телевизор и остались ночевать в вагончике у Петко.

* * *

В тот вечер, когда Айсулу уснула в одной кровати с Ержаном, ближе к полуночи, слушая гул ветра и хлещущий по вагончику дождь, Ержан вдруг почувствовал чей-то взгляд на себе и, обернувшись, увидел Петко, стоящего над их кроватью. Тот тоже, видимо, почувствовал на себе взгляд мальчишки и как-то неловко стал поправлять сползающее одеяло. Ержан лежал ни жив ни мертв, не зная, чего ожидать, боясь больше не за себя, а за Айсулу, и слыша, как гулко бьется его сердце. Острый музыкальный слух Петко, видимо, уловил этот гулкий стук детского страха, он присел на край кровати и, проведя ладонью по волосам Ержана, сказал: «Спи, не бойся, я здесь...» Потом прибавил: «Хочешь, я тебе расскажу сказку о Вечном мальчике?» — и, не дожидаясь ответа, стал шептать над кроватью:

«Давным-давно жил мальчик, звали его Вольфганг. Знаешь, что означает это имя? Идущий волк. (Здесь Ержан вздрогнул: уж не послал ли волка в степь сам хитрый Петко?) Был этот мальчик так талантлив, что играл на любом инструменте с завязанными платком глазами. Однажды ночью, когда Вольфганг не спал, а высматривал среди звезд ноты для своей музыки, к нему спустилась с неба серебристая луна и стала, танцуя, увлекать его за собой — на улицу, на речку, на озеро. Музыка была столь завораживающей, что мальчишка шел и шел, совершенно не в силах ни опомниться, ни сопротивляться. Там, на озере, увлекая его и танцем, и песней, луна пошла по воде, и вслед за ней пошел мальчик. Глуше и глуше становилась музыка,

все плотнее обступала его со всех сторон вода. И вот серебряная нить музыки оборвалась. Вечная немота наполнила уши, нутро и тело мальчика, и на последнем издыхании он взвыл по-волчьи...

Его спасли не то люди, не то русалки, не то эльфы. И с тех пор, хоть и жило, и росло его тело, но душа так и осталась в той ночи, на том озере, очарованная навеки луной, ее серебристой дорожкой, полной волшебной музыки... Вот и ты напоминаешь мне того вечного мальчика...», — шептал Петко, или это уже снилось Ержану, и не слова Петко, а, скорее, шорох серебристого дождя за окном досказывал эту сладкую и страшную сказку.

Наутро гроза хоть и прекратилась, но дождь все еще шел, и степь развезло так, что ишачку было не пройти и двух шагов. Поскольку работа Петко по такой погоде тоже стала, они, позавтракав, опять взялись за скрипку и опять стали заниматься то Бомом, то Генделем.

Прошел день, наступил вечер, но дождь не прекращался. Откуда им было знать, что все это время и дед Даулет, оставив на путях своего сына Кепека, и Шакен-коке, чуть не сойдя с ума из-за своей единственной дочери, объезжают кто на верблюде, кто на коне дома одноклассников Ержана и Айсулу и нигде не могут их найти...

Когда на третий день они приехали на бодром, отоспавшемся ишачке, под виноватым солнцем, не в школу, а сразу же домой, на одну кинулись с объятиями, а на второго с кнутом... А Кепек к обоим со странными расспросами...

* * *

После следующей школьной зимы, когда, пропуская уроки в особенно буранные дни, Ержан учил Айсулу музыке, счету и письму дома, он вдруг пришел к мысли, что должен остаться на второй год, чтобы Айсулу нагнала его, и тогда они будут сидеть всю жизнь за одной партой. И хотя Ержан читал, считал, рисовал лучше всех в классе, он стал то оставлять учебники дома, то забывать про домашние задания, то просто ставить кляксы в тетрадь.

Учителя попытались вызвать его родителей, но Ержан записок никому не передавал, не поедут же сами учителя за семь километров туда и семь обратно, чтобы жаловаться на его неуспеваемость. Словом, оставили его на второй год. Дед, узнав об этом, хотел было отхлестать внука все тем же кнутом, но бабка заступилась, сказав, что музыка совсем уж затюкала бедного мальчишку, и на всякий случай прогнала его на несколько дней в соседний дом к Шолпан-шеше. Та поохала, поохала, сказала, что, пока ее зять Шакен на вахте, Ержан побудет мужчиной в их доме, и успокоилась. Надо сказать, что в отсутствие Шакена по хозяйству обычно помогал им Кепек.

Теперь же в этот гремучий зной стал Ержан гонять общее стадо к далекой пойме в оврагах, к высохшей за лето речке. Там стадо выискивало редкие ошипки тас-биюргуна и, переворачивая рогами залежавшиеся валуны, слизывало с обратной стороны оставшуюся влагу.

Безжалостное, голое солнце колотило прямо в темя; ни выжженные, бездыханные кусты тамариска, ни криворукий саксаул уже не укрывали полностью ни лица, ни головы. Ержан повязывал голову майкой, а когда совсем становилось невтерпеж, бережно поливал обгорающую кожу водой из солдатской фляжки Шакена, и тогда или корова, или блаженная овца начинали слизывать шершавым языком влагу с его кожи, тем самым чуть успокаивая зуд.

По вечерам, когда он, обгорелый, возвращался опять в дом Шолпан-шеше, та вместе с внучкой обмазывали то его спину, то грудь кислым молоком, и жизнь возвращалась под маленькими ладошками его Айсулу...

* * *

Второй раз второй класс он начал за одной партой с Айсулу, и они стали учиться, соревнуясь друг с другом в пятерках. Учителя не могли нарадоваться на него, считая,

что шефство, которое взяла над второгодником примерная отличница Айсулу, сработало. Но кто из них знал, что дома шефствовал как раз Ержан: это он делал рисунки в двух экземплярах, отдавая лучший Айсулу, это он решал трудные задачи и подсказывал во время диктантов. Поскольку он был выше и здоровее этой мелкоты на год, то и заступался за нее он, не давая Айсулу никому в обиду.

Однажды на уроке родной речи вдруг задребезжали стекла, парты заходили ходуном, и черная доска с грохотом сорвалась со стены, прихлопнув собой перепуганную учительницу, хромоножку Кымбат. Ержан бросился к ней на помощь и не только вытащил ее из-под доски, чтобы та сумела проковылять, согласно инструкции, под дверной косяк, но и, скомандовав всем забраться под парты, сам выбил все еще дребезжащее стекло и, порезанный, вытащил наружу свою Айсулу.

Гул еще раз прошел по земле, спустя некоторое время проплыла гудящая воздушная волна, сорвавшая со школы всю черепицу, и настала жуткая тишина. Овцы не блеяли, собаки не лаяли, ишаки не орали, и даже вездесущие мухи не жужжали. Одна Айсулу, личиком в пыль, шептала свою бисмиллу...

* * *

Той же осенью отец Айсулу, дядя Шакен, организовал для всего их класса долгую автобусную экскурсию в городок ядерщиков, где он работал на своей «вахте». День они ехали разбитыми и пыльными степными дорогами, на ночь остались ночевать в спортзале местной школы, а с утра их, умытых и очистившихся от пыли, повели на так называемый «опытный реактор». Правда, на сам реактор не пустили, но в красном уголке Ержан и Айсулу отыграли положенные пьесы и даже дуэт. Дальше им показали фильм о мирном освоении атома. Потом дядя Шакен, облаченный, как и другие взрослые, в белый халат и белую шапочку, объявил, что именно здесь они делают все, чтобы не только догнать, но и обогнать Америку, а затем стал объяснять с помощью всяких разноцветных шариков, посаженных на толстую проволоку, то, что он назвал «цепной реакцией». Он брал один шарик из одной грозди и вышибал им такой же из другой, сажая первый на опустевшее место. «Надо же было везти нас так далеко, чтобы рассказывать про пятнашки!» — думал про себя Ержан, зато Айсулу не только смотрела во все глаза, но и задавала отцу вопросы, называя его Шакеном Нурпеисовичем.

Потом им показывали фильм об атомном взрыве и позже, на площадке, даже учили, как вести себя при испытаниях и как пользоваться противогазами. Вот это было веселье! Дети носились по площадке, напялив противогазы и не узнавая друг друга. Но вдруг появился человек не только в противогазе, но и в резиновом комбинезоне и не по-земному направился прямо к Айсулу, чтобы схватить ее своими клешнями-крагами, и когда она закричала, а Ержан кинулся ей на выручку, человек сбросил с лица свой шлем. Это был хохочущий дядя Шакен. Но Ержану вдруг стало не по себе...

* * *

К вечеру дядя Шакен повез их на Мертвое озеро — озеро, образовавшееся от взрыва атомной бомбы, строго запретив пить или прикасаться к так называемой «тяжелой воде». Озеро было сказочным. Посреди ровной степи расстилась изумрудная вода, в которой отражалось редкое залетное облачко. Ни движения, ни волны, ни зыби, ни дрожи — стеклянная, бутылочного цвета поверхность — и лишь осторожные отражения ребятишек, заглядывающих на прибрежное дно: не встретится ли в этой стоячей и плотной воде какая сказочная рыбина или другое чудище...

И в это время дядю Шакена позвал водитель автобуса, вдруг обнаруживший, что проколол в степи колесо. Дядя Шакен назначил Ержана старшим и побежал помогать поднять автобус на домкрат.

Дети остались одни. И тут Ержана охватило невероятное ощущение полноты жизни: бескрайняя степь, безграничное небо, бездонная вода, тихая Айсулу, стоящая рядом и глядящая на все это, его длинная, как Дин Рид, тень... Тогда, чтобы хоть как-то избыть это ощущение, он сбросил с себя футболку и брюки и на глазах у всех

вошел в эту запретную воду, чтобы побарахтаться в ней, и потом, под восхищенно-перепуганное верещание детей, и особенно же Айсулу, вышел из воды, отряхнувшись как ни в чем не бывало, и опять облачился в свои парусиновые брюки и китайскую футболку.

Никто, разумеется, ябедничать не стал, зато все долго и с восхищением вспоминали неожиданную выходку Вундера.

Часть вторая

До-ля

Поезд ехал по степи, как рассказ Ержана — не останавливаясь, не запинаясь, вперед и вперед. От него не исходило, как это бывает в старых поездах, сладкой горечи воспоминаний — бьющей, скажем, прогорклостью дыма в последние вагоны. Нет, тепловоз тащил состав без напряжения, плавно и безостановочно.

Следующие два-три года у Ержана все, казалось бы, шло своим чередом, школьные осени сменялись свирепыми зимами, когда дверь заносило снегом так, что не оставалось ничего иного, как играть день и ночь то на скрипке, то на домбре. Иной же раз приходилось ему выбираться из боковой форточки, чтобы разгрести сугробы единственной железнодорожной лопатой.

Как бы то ни было, после музыкальной зимы приходила не менее музыкальная весна, когда музыка из его нутра, из нутра его комнаты выливалась наружу, и покорные ей, они уезжали с Айсулу на ишачке вместо школы в сторону холмов, где, как зарево качающихся нот, цвели поля алых тюльпанов.

А там незаметно начинало полыхать и лето — слава богу, без школы, но зато опять с музыкой, а еще со стадом и дневной разлукой — ведь не станешь брать с собой в такое пекло тонкокожую Айсулу!

А то, что по-прежнему маячило животным страхом, — оно ведь могло случиться и посреди знойного лета, когда внезапно овцы блеяли, как резанные, и бросались в разные стороны, коровы зарывались рогами в землю, а осел, визжа, начинал кататься в пыли... И тогда мелкий гуд шел по земле, страх поднимался от трясущихся колен к солнечному сплетению и застывал там ноющей тяжестью, пока небо не шарахало над головой и не раскалывалось на куски, сминая всего тебя в прах, в песок, и черный вихрь с диким воем проносился над тобой...

Это случалось и зимой, и ночью, и осенью, и утром, и в музыку и в паузе — безо всякой регулярности и предупреждения.

* * *

Ержану было 12 лет, а Айсулу — 11. Они учились в пятом классе, когда сначала девочки после долгих зимних каникул, а потом и мальчишки их класса стали обгонять Ержана в росте. А ведь он был на год их старше и всегда выглядел и выше, и сильнее. Поначалу это было не очень заметно, ну, вытянулся Серик или Берик, умнее-то от этого не стал! Но когда и Айсулу, его крошка Сулу, его тонкокрылая ласточка Сулу, стала обгонять Ержана в росте, он почувствовал неладное. Тот самый страх, что всегда начинался с дрожи в коленках и застывал ноющей тяжестью в солнечном сплетении, казалось, теперь поднялся выше — до самого горла, до глотки и застрял в ней, не пуская тело дальше...

Ержан тянулся на дверном косяке; зная, что баскетболисты растут выше всех, приколотил ржавый обруч к задней стенке и прыгал, вместо музыки, втайне ото всех, забрасывая в обруч то тряпичный комок, то каток верблюжьей шерсти. Ночами он тянулся в постели, представляя, что к утру проснется Дином Ридом. Но рост его остановился.

И это стали замечать другие. Бабка Улбарсын стала кстати и некстати кормить его печенью весенних новорожденных барашков, дед Даулет начал заказывать свое-

му другу Толегену — развозчику хлеба и продуктов — морковку из города. И даже отец Сулу, дядя Шакен, привез со своей вахты отменную гадость — рыбий жир, который давал лишь вонючую отрыжку, но росту Ержана ни первое, ни второе, ни третье не помогло никак!

Он забросил музыку, тем более что и Петко уехал в свою Болгарию, где будто бы умер кто-то из его близких; он пропадал все лето со своим стадом в тех самых оврагах вблизи зоны, валяясь голым на солнце, но даже солнце не брало его!

А однажды его, полуживого от укуса то ли фаланги, а то ли скорпиона, вывез к дому его верный и послушный ишак...

* * *

Первого сентября того года Ержан не пошел в школу. Дядя Шакен повез нарядную Сулу одну. Второго сентября две бабки уговорили его заменить Шакена, уехавшего срочно на свою вахту. Ладно, пусть не сидит на уроках, пусть просто проводит Сулу туда и обратно. Хотя дед, как водится, отругал его и строго-настрого наказал, чтобы тот не думал сбежать с уроков. Ержан наотрез отказался садиться на своего ослика рядом с высокой Сулу и побрел вслед за ишачком на каком-то расстоянии. В осенней тихой степи Сулу запела не Дина Рида, а грустную песню Абая, жившего когда-то в этих же степях:

Кулахтан кирип бойды алар,
Жахсы эн мен татты куй,
Конилге турлы ой салар,
Энди суйсен менше суй.

Дуние ойдан шыхады,
Озимды-озим умытып.
Конлим энди ухады,
Журегим бойды жылытып.

Входит в уши и охватывает рост
Звук хороший и сладкий напев.
Чувства разные в сердце волнует.
Если полюбишь, люби как я...

Мир из мысли растет тайком,
Я себя надеждами питаю.
Душа моя теперь понимает,
Согревая сердцем всю статью...

Ержан же ловил лишь болезненные слова о росте и стати...

* * *

Он отсидел в тот день все уроки, но за последней партой, в одиночку, не выходя на перемены и притворяясь спящим, когда Сулу подходила к окну. После уроков Ержан опять побрел пешком, правда, теперь впереди осла, не оглядываясь на молчаливую и грустную Айсулу. Сложные чувства обуревали Ержана, ему хотелось то уверенный Сулу, что как бы там ни было и что бы с ним ни случилось, она все равно будет любить только его одного и, как обещала с самого детства, выйдет замуж лишь за него. С другой стороны, он понимал, что она уже чуть ли не на полголовы выше, а если **это** станет продолжаться... Дальше он думать не мог, и это был не привычный страх — настоящий гнев. Он хотел убить себя, убить ее, высоко сидящую на этом дурном и крикливом осле, хотел разнести в пух и прах эту железную дорогу, эту степь, эту землю, это небо...

* * *

В таком состоянии духа он отходил в школу еще две-три недели, каждый день готовясь к чему-то неминуемому, в чем он боялся себе признаться, а дети тем временем росли не по дням, а по часам, и его Айсулу на глазах превращалась в настоящую красавицу. И девчата, и мальчишки вертелись вокруг нее, и лишь один Ержан, лицом как серая земля, сидел в углу на переменах, бросив тяжелую голову на парту и исподлобья высматривая то улыбку на ее лице, то ответную радость какого-нибудь Серика или Берика.

«Убить ее! Убить себя!» — стучали мысли в такт сердцу, и он опять плелся после уроков, погруженный в свои тяжелые сомнения, которые никуда и ни к чему, кроме дома, не вели.

Как-то, сказавшись больным, он не пошел в школу, и Айсулу повез на все том же неустанном осле дядя Ержана — Кепек-нагаши. Весь день Ержан поджаривался на огне своих мыслей, а к вечеру вышел из дому, и первое, что он увидел, — это был его родной дядя, дядя Кепек, везущий Айсулу не за собой на осле, но впереди себя, так, что его руки, держащие поводья, обнимали девушку, а она как ни в чем не бывало напевала одну из своих песен, берущих начало от Дина Рида.

Ержан не пошел к ним, а бросился домой и всю ту ночь горел не в выдуманном, а в настоящем жару «акыр замана»...

* * *

Бабка Улбарсын повезла его к местной знахарке — Керемет-апке. Та пощупала Ержану пульс, помяла косточки на пальцах и завела его за полог, чтобы одним взмахом руки разделить висящий полог ровно надвое, и вдруг стала, сидя рядом с мальчишкой, взывать то к Тенгри, то к пророку Махамбету, то к его периште — ангелу. Она качалась из стороны в сторону, горяча все больше и больше, потом схватила со стены камчу и стала сначала лупить этой плеткой по своим коленям, а потом по плечам и спине мальчишки, приговаривая при этом: «Жин урды! Жин урды!» — «Бес попутал! Бес попутал!» И когда из ее рта пошла пена, она махнула рукой своей дочери, стоявшей у двери: «Апкельши!» — «Неси!» — и та в мгновение ока вернулась с раскаленной бараньей лопаточной костью, которую Керемет-апке облизала шипящим языком и приложила через одежду к спине мальчишки.

Ержан очень скоро освободился от жара, но не вырос ни на палец...

* * *

Он ненавидел свою бабушку, верящую во все это допотопное знахарство, а больше всего ее сказку о сопливом и маленьком Гесере, рассказанную ему в самом детстве; он ненавидел ее за то, что целыми днями они с Шолпан-шеше перемывали теперь ему кости, дескать, что за джинн вселился в него, почему он остался карликом...

Услышав это шушуканье, рассердился и отец Айсулу — Шакен-коке и, обругав обеих старух, повез Ержана в город на рентген. Поезд, в котором они ехали, проезжал по той самой степи, где дядя Шакен показывал ему давным-давно мертвый город, по той степи, где располагалось то самое проклятое Мертвое озеро, из-за которого случилось то, что случилось. Но все было покрыто тонким слоем снега, который носил из стороны в сторону степной пронзительный ветер, пока он не собирался сугробами у снегозаградителей, и от этого на душе становилось еще лютее и тревожней.

Они приехали в город — столпотворение людей, машин и домов, доехали в тесноте до какой-то ведомственной поликлиники, где Ержана завели в комнату, попросили раздеться и встать между каких-то железок и, выключив свет, стали щелкать тем аппаратом, который дядя Шакен назвал рентгеном.

После этого они долго ждали в коридоре, пока не вышел тот самый человек в белом халате и белой шапочке и не показал Шакену-коке какие-то черные листки со светлыми пятнами.

«Видите, кости как кости, — говорил он при этом, — совершенно детские, а зон роста уже нет...»

По тому, как дядя Шакен сначала спорил с ним, потом ругался, потом кричал на всех, поминая через слово то Америку, то Советский Союз, Ержан понимал, что и здесь ему не помогут. И тихо ненавидел не только этих белохалатников, но и самого Шакена-коке со всеми его атомами и рентгенами, с его вечной погоней за Америкой...

* * *

Настал черед и деду Даулету «растянуть кости» внука. Его способ был народным. Втайне от старух и молодежи он забрал Ержана в степь. Там, обернув его брезентовым железнодорожным плащом, аккуратно связал ему руки арканом, подложив под него войлочный платок, и, привязав другой конец аркана к своему поясу, забрался на коня, чтобы, постепенно ускоряя рысцу, скакать по песчанникам, волоча лежащего на земле враспашку внука за собой. Глаза и рот Ержана набились мелким песком, этот песок скрежетал на зубах вечером, руки его ныли от узлов аркана, но росту и это не прибавило.

Дед опять по ночам материл свою непутевую дочь, которая молчала в соседней комнате и плакала над засыпающим сыном. А засыпающий сын, сквозь ресницы глядя на свою бедную и немую мать, тихо ненавидел деда и за его матерщину, и за дневные напрасные муки, и за песок, проникший и в пах, и под копчик, и за соль на губах.

Именно тогда даже Кепек — его злейший враг Кепек-нагаши, уступил жиену свою единственную железную кровать. Он привязывал на ночь руки Ержана к раме в головах, а ноги — к противоположной и оставлял его распятым на ночь. И снилось мальчишке, как он летит по степи Гесером на своем коне, и ковыль разметало в стороны под копытами, и небо, как разрезанное, открывается навстречу, а вместо солнца и луны его встречает лицо Айсулу...

* * *

В ту зиму Ержан хоть и забросил совсем скрипку, зато чуть ли не денно и ночью играл на домбре. Днями, когда дед уходил сбивать снег со своих рельсов, когда Кепек-нагаши увозил Айсулу в школу, а старухи садились с молодайками за пряжу войлока, Ержан оставался один и брал в руки домбру, чтобы из разу в раз играть одну и ту же песню — «Айдан ару нарса жо?», но под тысячу разных мелодий.

Нет ничего чище луны,
Но она лишь ночью, а днем ее нет.
Нет ничего чище солнца,
Но оно днем, а ночью его нет.
Нет ни в ком мусульманства —
Есть на языке, а в сердце нет.
Кочевая судьба, обилие богатств
У кого-то есть, у кого-то нет.
Будешь искать — не найдешь,
Каждому назначено его место,
Если не назначено — его вовсе нет.
Не станешь держаться слов знатока —
Будешь держаться тропы неуча,
И в разгар лета света тебе нет.
Куда ни пойдешь — хулят,
Ступишь ногой — найдут.
Две головы сведя воедино,
В народе двух добрых мужей нет.
При враге восставшего,
Привязав к поясу саблю,
Навесившего на себя много оружия,
Настоящего вояки-мужчины нет.
Не морщащего лоб добряка,

Богача, пожертвовавшего богатством,
Сколько ни ищи, нигде нет.
Уж если так ведется на свете,
Уж если на нет и суда нет,
То пропади пропадом со своими нетями
Среди мыслей, бегущих потоком,
Коровьей лепешкой плюхнувший свет...

Ержан пел эту старинную песню, и ему казалось, что каждое слово ее — о нем, и не песню он поет, а рассказывает свою жизнь. Как сладко все начиналось, как будто весь свет состоял из чистой луны и чистого солнца, из его Айсулу и из него самого. Но песня ведь предупреждала с самого начала, что луна только ночью, а днем ее нет. Почему же Ержан не знал, что и степному солнцу — только день. И только раз в год луна и солнце могут оказаться по двум краям степи, как два огромных, одинаковых круга, или и это как-то приснилось ему?

Кто печется о нем? Все лишь говорят, а особенно эти две бабки, да и остальные: вон дед, вся его забота — хорошо смазанные стрелки, или Шакен-коке с его «трудовой вахтой», где он догоняет и обгоняет Америку. Или Кепек с Айсулу, да и осел вместе с ними! Одному Ержану нет места, один Ержан никак не обозначен в их жизни...

Неучи, неучи, неучи — одна возит к колдунье, другой — четвертует конями заживо, да и тот, который образованный — и тот ничего сделать не может ни своим рентгеном, ни своим реактором!

Куда ему теперь деваться? В школу не пойдешь: все сосунки уже на голову выше его — засмеют. Сидеть среди этой тьмы, где все разом забыли о том, что он надкусил ухо Айсулу как своей нареченной! Нет, не будет им жизни вдвоем ни под луной, ни под солнцем!

И то, что он видит все это и еще многое другое, о чем он не говорит, но что копится в его застывшем мальчишеском теле и стареющей болезненной душе, разве помогает ему, разве возвышает его?!

Всякий раз, когда сквозь дверь, в форточку или из-за стены, где он прячется, Ержан видит в синей тьме Айсулу, Кепека и осла, единственное, чего ему хочется — схватить двустовку деда или кухонный нож бабки, на худой конец железнодорожный молоток самого Кепека, выскочить им навстречу и перестрелять, перерезать, перебить всех троих. Но всякий раз что-то останавливает его. Что это — он не может никак разобраться, мучается ночью до утра, мучается с утра до вечера, но решения не находит, как школьник, потерявший тетрадку.

И опять его бунт откладывается на завтра. Уж если так ведется на свете, то все его мучения, все мысли, бегущие потоком, поземкой, бураном, — разве же не дерьмо небес, и разве же это не жизнь его, а песня?!

* * *

И в то же время не песня, скорее, та самая цепная реакция пошла по жизни Ержана. И не только по его жизни, хотя все началось с его ненависти то к деду, то к бабке, то к Кепеку с ослом, то к Шакену-коке... А может быть, внезапная взрослость, пробивающаяся даже сквозь застывшее мальчишеское тело, стала давать знать о себе таким образом — как бы то ни было, Ержан стал подмечать вещи, которых он не замечал раньше. И не только как, скажем, Кепек сидит на осле, обнимая тело Айсулу (хотя это было больнее всего), нет, он стал замечать, что, когда Шакен-коке уезжает на свою вахту, Кепек-нагаши то и дело пропадает на дому у городской невестки Байчичек, выпроваживая старуху Шолпан под разными предлогами к своей матери Улбарсын. Считается, что он ходит то за солью, то за гвоздем, а то помочь разделить кости — как уж повелось: чуть ли не одно хозяйство! Но чем он там занимается, когда Айсулу прибегает к Ержану рассказать, что происходило в школе, — никто не знает.

Возвращается он оттуда весь покрасневшийся, возбужденный, как будто не кость, а целую корову порубал на куски, потом, схватив свой молоток и насвистывая

ему лишь известную мелодию, уходит, незакутанный и пыхтящий, сменять своего отца на стрелке или на запасном пути.

А однажды сама Айсулу призналась по секрету, что мать ее носила ночью похлебку, дескать, как-никак он рубил эти кости, мерзнет, небось, бедолага, ведь, почитай, чуть ли не брат их дому...

* * *

А что, Шакен-коке, что ли, лучше его?! Однажды, когда и дед, и Кепек-нагаши принимали какой-то особый, литерный поезд, а бабка Улбарсын пошла к бабке Шолпан мыть голову кислым молоком, Ержан услышал осторожный стук в соседнее окно — окно его матери Канышат. Ержан прислушался, в соседней комнате зашуршали шаги, он поначалу подумал, что это птица бьется о стекло от холода, и, чтобы не спугнуть ее своей тенью, незаметно глянул по касательной вдоль своего окна, прячась в угол комнаты. То была не птица, то был Шакен-коке. Почему он не стучится в дверь? — подумал Ержан, но, услышав скрип соседней двери, в страхе оказаться обнаруженным за подглядыванием, вжался спиной в стену. Однако, слава богу, мать не открыла его дверь, а выскользнула наружу, видимо, накидывая на ходу свою верблюжью шаль.

Ержан стоял с колотящимся сердцем, отдающим свои удары прямо в стенку, или это тяжелый литерный поезд застучал по рельсам, откликаясь пульсом в земле? Как бы то ни было, Ержан стоял ни жив ни мертв. Опять то самое ощущение животного страха поднялось из мелко дрожащих колен к солнечному сплетению и заныло горячей тяжестью в животе.

Мать проскользнула мимо, и там, под ее окном, откуда были видны лишь силуэты двух фигур, они стали говорить о чем-то, чего Ержан, весь превратившийся в слух, никак не мог разобрать. О чем они могли говорить там, на белом и твердом снегу, пуская горячий пар изо ртов, Ержан так и не узнал. Да и говорила ли его немая мать или лишь этот пар Ержан принимал за слова — кто его знает. Но этого Ержан не стал рассказывать даже Айсулу.

* * *

А потом и бабка Улбарсын, как-то засыпая и заговариваясь, пока Ержан наминал ей узлы на старческих ногах, стала бормотать о деде, которого не было дома. Мол, все эти ревматические узлы на ее ногах из-за него, что, дескать, в молодости, когда они только приехали в этот Кара-Шаган, мужа Шолпан Нурпеиса вызвали на обучение в город, и что Даулет остался единственным мужиком на обе семьи, и той зимой он снаряжился на свою стрелку, строго наказав Улбарсын не выходить на холод: вон, дескать, воют шакалы, а сам взял свою двустволку да железнодорожный молоток и вышел в пургу.

Долго сидела Улбарсын одна, и ведь скука пуще страха, завернувшись в шаль и пошла к своей подруге Шолпан. Подходит к ее двери, а от снежного ветра навесная металлическая петля так и стучит по двери — так-так-так! Стала и Улбарсын стучаться в дверь, но сочла ли Шолпан это стуком все той же металлической бляшки, никто двери так и не открыл. Тогда она подобралась по сугробам к единственному светящемуся окну и лишь только глянула в просвет между сетчатыми расшитыми занавесками, как увидела там своего мужа. Дух ее захватило от гнева, и, захлебнувшись морозным воздухом, она свалилась без чувств в сугроб.

Поздней ночью ее, промерзшую до костей, нашел Даулет и притащил к себе домой, чтобы материть и плакать одновременно. А объяснил он ей, что к Шолпан забежал за фонарем Нурпеиса. Но если не шрамом недоверия на душе, то уж вот этим ревматизмом в костях и мышцах Улбарсын осталась навсегда та ночь...

* * *

Что было правдой в этих словах, а что выдумкой, Ержан уже не разбирал. То было его внутреннее естество, распирающее самое себя, тогда как тело его застыло раз и навсегда. Он вспоминал тот самый жир, что дед пел в свое время Петко, о полых

соломинках, текущих в потоке, биясь то о камень, то о ветку, склонившуюся над водой. Вот и он — такая же оборванная соломинка: то стукнется о камень, то о травинку, то о былинку, и как бы ни свистела-свиристела душа, а несет его поток к тому самому мертвому затону, где никакой живой травы, один ил. И все, что остается от этого пути — лишь дуновение воздуха сквозь полое нутро, напоминающее слабую, еле слышную песню... Жыр...

Часть третья

Соль ми-фа

Мы отвлеклись на дорожные рассказы, а между тем наступил вечер. Какими словами передать тоскливое чувство степного вечера, одинокого поезда, идущего сквозь него? Как передать слабую песенку воздуха, пронизывающего соломинку? Я пытался вспомнить стихотворение, кажется, Иннокентия Анненского «В вагоне», которое ближе всего передавало эти чувства:

Довольно дел, довольно слов,
Побудем молча, без улыбок,
Снежит из низких облаков,
А горний свет уныл и зыбок.

В непостижимой им борьбе
Мянутся черные ракиты.
«До завтра,— говорю тебе, —
Сегодня мы с тобою квиты».

Хочу, не грезя, не моля,
Пушай безмерно виноватый,
Глядеть на белые поля
Через стекло с налипшей ватой.

А ты красуйся, ты — гори...
Ты уверяй, что ты простила,
Гори полоской той зари,
Вокруг которой все застыло.

Но полоска зари, вокруг которой все застыло, быстро сошла на нет, и мы оказались в темноте, не включая нарочно света в купе. Видя мое оцепенение, Ержан ушел курить в тамбур, да и старик, лежавший на противоположной нижней стороне купе, как-то незаметно пошел умываться в другой конец вагона, а потом, скоро возвратясь, опять улегся, не обронив ни слова и отвернувшись лицом к стене.

Некоторое время спустя вернулся Ержан, но, мне показалось, безо всякой охоты к разговору. Да и я все еще находился в каком-то летаргическом состоянии после степного заката, после стихотворения, извлеченного из черт-те какой глубины.

Я тоже вышел в тамбур, постоял, упершись глазами в сплошную степную темноту, наспех умылся в туалете и вернулся в купе, чтобы застать там обоих моих спутников храпящими.

Тогда я расстелил постель и лег, но сон никак не шел.

* * *

Дневная степь с бесконечными столбами вставала перед моими глазами, как какая-то бесконечная музыка, с нотами, тактами, но смысла ее я никак не мог разобрать. Чем же кончилась эта история, пытался я вообразить, глядя краешком

глаза на верхнюю полку, где, свернувшись калачиком, лежал третий жизнью мальчишка. Ну не обманывал же он меня, потом я видел его паспорт, да и, в конце концов, даже если он и вундеркинд, не может же он быть вундеркиндом во всем — и играть на скрипке как бог, и рассказывать свою жизнь, как степной сказитель, и обманывать меня, как опытный шулер или актер. Слишком много на одно щуплое тело, чтобы все это было розыгрышем.

Так что же произошло между тем, как случилось **то** и сегодняшним днем, а вернее, ночью, в которой я никак не мог уснуть?

Подобно тому, как чертилась линия нашего поезда по степи, я пытался расчертить линию между тем, что я слышал, и тем, чего я не знаю.

* * *

Айсулу росла неудержимо. Она уже чуть ли не сравнялась ростом с Кепеком. И при всем этом она как будто не замечала того, что Ержан остановился в росте, что он ей едва по плечо. После школы она бежала, чтобы рассказать ему о своих успехах, о том, что играла сегодня на скрипке то, что Ержан играл еще три года назад. И это пренебрежение тем, что с ним происходило, бесило Ержана больше всего. Он не слушал ее. Лежал, уставившись в белый потолок, не вставая с кровати, чтобы не выглядеть смехотворно маленьким перед ней, а она, она ничего этого не замечала. Или делала вид, что не замечает.

Откуда было знать Ержану, что и она плачет по ночам, укутавшись с головой в одеяло, что и она мечтает поскорее вырасти, чтобы выучиться на доктора и найти такое средство, которое вытянет ее Ержана.

* * *

Сам Ержан редко теперь спал по ночам — не то чтобы он отсыпался днями, просто сон не шел в глаза. Он ворочался с боку на бок в кругу одних и тех же надоедливых мыслей, которые невозможно было ни побороть, ни принять. Какая-то неразрешимая музыка, запутавшаяся между домброй и скрипкой, пилила его нутро.

«Но недолго наслаждался храбрый Гесер своим счастьем и покоем. С севера на его страну напал страшный демон Лубсан. Правда, жена людоеда Лубсана Тумен Джергалан влюбилась в Гесера и выдала тому тайну своего мужа. Гесер воспользовался тайной и убил Лубсана, тогда Тумен Джергалан напоила его напитком забвенья, чтобы привязать к себе. Гесер выпил напиток, забыл про свою любимую Урмай-сулу и остался у Тумен Джергалан.

Между тем в степном государстве поднимается смута, и Кара-Чотон женится насильно на Урмай-сулу. Но Тенгри не оставляет Гесера и избавляет его от наваждения у самого Мертвого озера, где он видит отражение своего волшебного коня. На этом коне он возвращается к себе в степное государство и разбивает Кара-Чотона, освобождая свою Урмай-сулу...»

Он вспоминал эту стародавнюю сказку из детства и, поскольку твердо знал, кто является Кара-Чотоном в его жизни, пытался разгадать ночами, кто же тогда этот страшный демон Лубсан? Дед Даулет? Но его жена — это бабка Улбарсын. Не может же она быть влюбленной в него! Не получалось и с Петко, поскольку у того и вовсе не было жены! Шакен-коке? Может ли Байчикек быть Тумен Джергалан? А потом, должен ли он убить Шакена? Ну, никак концы не сходились с концами, хотя каким-то шестым чувством Ержан понимал, что эта сказка, как и те жыры, что он проигрывал в своей голове, — о нем и что ему следует разгадать эту тайну, которая вцепилась в него, не отпуская...

* * *

Зона! Зона! — вот страшный демон Лубсан, — думал он другой ночью. Это Зона захватила его в плен. Это она напоила его напитком забвенья. И пока он не достигнет Мертвого озера — того самого озера, в котором он некогда искупался, он никогда не

освободится от наваждения. Ведь говорит сказка, что там, у Мертвого озера, Тенгри избавит его от наваждения и покажет ему собственное отражение и отражение вольного коня, на котором он скакал все свое детство! И тогда он решился.

Той поздней осенью, когда Айсулу стала ездить в школу сама, когда дед спал после ночной смены, а Кепек уходил замещать то Шакена у Байчичек, то своего отца на запасных путях, когда старухи сидели на теплом солнце и грели кости за разговорами, Ержан садился на коня и скакал по степи в сторону того урочища, где начиналась Зона. С самого детства, с тех самых поездок то с Кепоком, то с Шакеном, он знал все входы и выходы, надо лишь следовать вниз по высохшему руслу реки, и она выведет тебя в страшное пространство.

Ержан изучал Зону постепенно, ведь страх, который сидел у него в паху и каждую минуту мог подняться через солнечное сплетение к глотке, был необорим, он пульсировал в его крови, в его дыхании, что-то не давало ему остановиться.

Осень была долгая и солнечная. Ничто не мешало Ержану скакать все дальше и дальше: от того Мертвого города, что он видел когда-то с Шакеном-коке, по сухому и красному руслу реки. Он обнаруживал гигантские кратеры в развороченной степи, как будто Луна или Марс решили увидеть свое отражение, чтобы, как и он, избавиться от наваждения. Он видел остатки каких-то сооружений, торчавших из расплавленной земли, как культ неведомых существ. А как-то он увидел торчащую из земли наискосок бетонную стену, в которую был впечатан обугленный степной карагач с черными птицами. Был ли это рисунок на стене, или же живое дерево с живыми птицами впечатало в эту стену, Ержан так и не разобрал, он скакал все дальше и дальше сквозь марсианский пейзаж.

* * *

Возвращаясь после этих вылазок, Ержан незаметно проникал к себе в комнату и опять ложился в кровать, не прикасаясь ни к давно забытой домбре, ни к пылящейся в стенной нише скрипке. Здесь, среди постоянного гуда то старух, то поездов, то дальнего радио или телевизора, он ощущал, как тиха — до звона в ушах — была Зона, и вдруг понимал, что эта тишина сродни вечному молчанию его матери. А может быть, мать его — молчащая Канышат — и есть разгадка всех его тайн?! Может быть, никакое не Мертвое озеро ему следует искать, а лишь избавить свою мать от ее наваждения, разговорить ее, и тогда чары спадут с его тщедушного тела, и опять конь его детства поскачет наперегонки с его Айсулу?!

Но мать, как и всю его жизнь, лишь заходила тенью в комнату, то принося ужин, то забирая белье в стирку, то просто глядя на уснувшего сына и давясь от молчаливых слез. Не Мертвое ли озеро билось в ней в эти мгновения?

* * *

И хотя Ержан понимал своим враз состарившимся умом, что Мертвое озеро не так уж близко, чтобы доскакать до него за все сокращающийся день на коне, но что-то сильнее страха и острее надежды влекло его день за днем во все более знакомую и родную Зону. И впрямь, какое-то наваждение, забытие охватило все его существо: не только домбру и скрипку забыл он, не только деда, Петко и Дина Рида, но даже и Айсулу. Дорога к Мертвому озеру вдоль русла высохшей реки, дорога к самому сердцу этой молчаливой Зоны, стучала теперь однообразным голым ритмом и скачущего коня, и бьющегося сердца, и пульсирующего виска, и не было в этом ритме места никакой музыке.

Ранним утром 22 ноября лишь только дед вернулся с ночного обхода, Ержан не стал дожидаться появления ни сонного Кепока, ни бодрой Айсулу, а незаметно выскользнул из дома и вскочил на еще теплого, не остывшего после деда коня. То ли от скорой смены грузного всадника, то ли по утреннему часу, но Айгыр скакал так легко, будто не ветер несея ему навстречу, а он своим движением оставлял этот ветер за спиной. Ержан был так опьянен этой скоростью, этим полетом, что только внутри Зоны вдруг обнаружил между подпругой и путлищем забытую дедову двустолку. Но

возвращаться было поздно, и Ержан поскакал дальше, как настоящий джигит чуя икрами металл дула.

Ружье как-то само по себе заставило его вспомнить их лисью охоту, и вдруг страшная мысль, что все **это** случилось оттого, что они отняли у матери-лисы ее детеныша, как взрыв взметнула все его существо; на мгновение показалось, что конь выскальзывает из-под него. Ержан насилу удержался в седле, и тут то самое слово — **калтарыс** ударило в его сознание. Да, вся жизнь его была калтарыс за калтарысом, пока не пришел тот самый **улуу калтарыс** — большой, великий разворот, и вот теперь он валяется нестрелянной тушкой, загнанный со всех сторон...

Мысли его мчались на коне, не отставая от его тела. Внезапно он понял, что и несуществующая, высохшая река виляла из стороны в сторону по законам того же самого **калтарыса**: она протекала от урочища его рождения до мертвого городка, потом резко сворачивала, пока не доходила до лунных кратеров. Здесь она совершала еще один поворот и шла аж до самой бетонной стены с опаленным карагачом и впечатанными птицами. Теперь-то разгоряченный Ержан твердо знал, что на очереди **улуу калтарыс**, и скакал все быстрее и быстрее, хлеща Айгыра плеткой...

* * *

И вот, когда солнце стало отставать в погоне за ним, он вдруг увидел прямо посреди степи маленький выступ. Конь скакал так быстро, что вскоре Ержан понял, что перед ним то ли собака, то ли лиса, а то ли волк. Еще минута скачки — и он знал, что его дожидается одинокий волк, вышедший на свою предзимнюю охоту. Но Ержан не торопился замедлить бег Айгыра, хотя и волк, не шевелясь, выжидал. И тогда Ержан выхватил двустолку из-под подпруги и путлища и, не целясь, а так, чтобы лишь напугать, пальнул из одного ствола в воздух. Волк бросился наутек в том направлении, куда скакал Айгыр, и Ержан невольно пустился в погоню. Он улюлюкал что было сил, волк бежал без оглядки. Так они скакали некоторое время, пока волк внезапно не исчез, как провалился...

Что это было? Мираж, выросший из воспаленного воображения? Соль, сверкающая на осеннем ярком солнце? Затон сгнившей с лета воды? Другой берег того самого Мертвого озера? Он доскакал до места, где волк вдруг пропал, и увидел впереди обрыв. Он осадил коня чуть правее, где берег был пологим, он не дал коню ни скакать по пологому берегу к близкой воде, ни испить ее после долгого и безостановочного бега, а накрепко, двойным узлом привязал узду к расплавленной рельсе, торчащей из-под земли, и, держа в руках ружье со вторым патроном, пошел к воде. Волка не было.

Вода была темно-синей, как будто к голубизне отраженного неба она прибавила и свою голубизну, а потому и Ержан отразился в ней смутным пятном. Или же глаза мальчишки устали от непрерывной скачки, когда лишь желтая степь маячила перед его глазами. Сначала ему захотелось напиться этой густой воды, но он не стал терять времени, не раздеваясь, соскользнул с берега прямо в одежде, с ружьем в руках, ногами вперед. Прохлада обдала его тело, и когда он ожидал уйти под воду с головой, вдруг какая-то сила вытолкнула его тело, и он оказался лежащим на поверхности воды, как лодка. Что это была за сила? Не ружье же держало его на плаву! Ержан читал как-то, что в Мертвом море, существующем между Иорданией и Палестиной, нельзя утонуть, так пересолено оно, и тогда он попробовал воду на язык, но иссохший его язык не опознал соли. Он лежал в этой воде и не соображал — происходит ли это наяву или во сне. Тело его качалось и таяло, и вдруг он ощутил, как оно вытягивается все больше и больше. Так напрягался смычок его скрипки перед игрой, так вытягивались струны при настройке. Сейчас смычок коснется струн, и зазвучит музыка...

И вдруг он вспомнил Петко, и вдруг он вспомнил в этой воде его сказку: «Давным-давно жил мальчик, звали его Вольфганг. Ты знаешь, что означает это имя? Идущий волк. Был этот мальчик так талантлив в музыке, что играл на любом музыкальном инструменте с завязанными платком глазами. Однажды ночью, когда Воль-

фганг не спал, а выглядывал среди звезд ноты для своей музыки, к нему спустилась с неба серебристая луна и стала, танцую, увлекать его за собой на улицу, на речку, на озеро... Мальчика спасли не то люди, не то русалки, не то эльфы. И с тех пор, хоть и жило, и росло его тело, но душа так и осталась в той ночи, на том озере, очарованная навеки луной, ее серебристой дорожкой, полной волшебной музыки и танцев...

Ах, вот о чем оно, это озеро, ах, вот о чем пропавший в нем волк, ах, вот о чем этот заговор... Но душа его была легка и невесома, как будто растаяло в этой горькой воде его маленькое тело, и ему так хотелось сохранить это ощущение, не расплескать его, что он весь превратился в ожидание и в слух. Ах, как легка была душа, и как тело было текуче. Как «Лакримозо» Моцарта, вдруг растекшееся над водой...

* * *

Он скакал на коне обратно по степи, и солнце за спиной все удлиняло его тень, как будто спало с него наваждение и теперь он вернется в тот мир, где его ждет тонкая и статная Айсулу. Он скакал по степи на коне, с ружьем в руке, и чувствовал себя опять Дином Ридом в одном из его фильмов об индейцах, где тот играл ковбоя Джо. Он пел теперь во весь голос, во всю грудь, во всю степь, во все небо:

My love is tall, is tall as mountains,
My love is deep, is deep as a sea...

Моя любовь высока, высока, как горы,
Моя любовь глубока, глубока, как море...

На самом закате, когда его тень, убегающая от солнца, распласталась по степи так, что не было видно ей конца, низкое солнце, оставшееся за спиной, высветило холмы его урочища, и в закатном свете он увидел двух коней, видимо, привязанных к кусту тамариска. Сердце Ержана забилося учащенно, Айгыр, почуяв что-то, перешел на вкрадчивую рысцу. По мере того как Ержан приближался к месту своего рождения, не песня Дина Рида, наполнявшая его легкие до сих пор, а всего два слова — **улуу калтарыс** опять стали стучать в такт сердцу, пульсу, дыханию.

И вдруг он увидел то, что боялся увидеть всю свою жизнь и что предвидел всем своим запуганным нутром: внизу среди песчаника высохшего русла лежала, распластавшись, Айсулу, и над ней то и дело склонялся Кара-Чотон — ненавистный Кепек-нагаши. Ержан осадил коня и, спешившись, обхватил дедовское ружье обеими руками. Не привязывая коня, он лишь махнул рукой и шикнул, и послушный конь молчаливо стал. Как в ковбойских фильмах, перебегая от куста к кусту, Ержан подкрался на расстояние оклика, прицелился и выпустил оставшийся патрон...

Страх, сидевший в нем всю жизнь, встрепенулся, коснулся солнечного сплетения, взлетел и вырвался неистовым детским криком. Кепек рухнул, как мешок, на Айсулу. Ержан бросился к ним — и в последнем ужасе увидел, как бинт, теперь уже в крови его дяди, словно полоска заката, выпал из рук Кепека на белую ногу Айсулу, так и оставшейся перевязанной наполовину...

Айсулу в поисках его сломала ногу...

* * *

Нет, я не стал додумывать эту историю до конца, слишком страшна была она для этой тихой степной ночи, по которой стучал поезд, и в такт которому билось мое сердце. Мальчишка на верхней полке бормотал что-то сквозь сон, старик напротив меня нервно похрапывал, как только что заколотый баран. Что за кошмар?! — подумал я и, свалив свои страхи на спертый воздух купе, встал и приоткрыл дверь. Из тамбура повеяло прохладой. Я решил подождать, пока купе проветрится окончательно, а потому не стал ложиться.

Поезд неутомимо бежал по ночной степи. Редкий огонек, а может быть, пробившаяся сквозь толщу темноты звезда медленно огибала поезд. Когда купе наполнилось остывшим ночным воздухом, я осторожно закрыл дверь, но, будто повинуюсь моему движению, и поезд стал замедлять ход и вдруг с обычным ночным скрежетом остановился на каком-то полустанке. Я прислушался. Издали зашуршали по галечной насыпи чьи-то прерывистые шаги. Они то останавливались, то раздавались все ближе и отчетливей. Наконец где-то под нами сверкнул на мгновение фонарь, раздался стук молотка о колодки, и дребезжащий казахский голос произнес в темноту: «Сондай! Шешенды...» — «Вот так! Мать твою...»

По какому поводу он сказал эти слова, я не понял, но мне внезапно захотелось растолкать Ержана, и я насилу сдержался...

* * *

Ержан спал, как обычно, беспокойным сном. Они только что похоронили бабку Улбарсын, и старухи со всей округи во главе с местной эмчи¹, Керемет-апке, камлали да читали свои молитвы в доме у Шолпан-шеше. Дед, потерявший жену, крепился, крепился во время похорон, но на третий день как-то разом обмяк и слег. Один Шакен-коке, только что вернувшийся с вахты, то рубил дрова для очага под огромным котлом, то бегал на пути, то резал очередного барана на **кудайи**.²

Странно умерла бабка. Поздней осенью узлы на ее ногах стали распухать, и сколько Ержан ни мял эти узлы, они становились все больше и больше. «Эх, булдуким, не вырос ты побольше, не стал потяжелее!» — с каким-то откровенным укором обращалась теперь к нему бабка.

Как и при всяких болезнях, городская Байчичек уговаривала своего мужа Шаке-на свозить старушку Улбарсын в город на тот самый «рентген», но бабка наотрез отказалась и заставила своего мужа везти ее на верблюде к местной знахарке — Керемет-апке. Та пощупала пульс бабки, помяла косточки на пальцах и завела ее за полог, чтобы одним взмахом руки разделить полог ровно надвое, и вдруг начала, сидя рядом с бабкой, взывать то к Тенгри, то к пророку Махамбету, то к его периште — ангелу. Она качалась из стороны в сторону, все больше и больше горячась, потом схватила со стены камчу и принялась сначала лупить этой плеткой по своим коленям, а потом слегка по ногам старушки, приговаривая при этом: «Жин урды! Жин урды!» — «Бес попутал! Бес попутал!» И когда из ее рта пошла пена, она махнула рукой своей дочери, стоявшей у двери: «Апкельши!» — «Неси!» — и та в мгновение ока обернулась с раскаленной бараньей лопаточной костью, которую Керемет-апке облизала шипящим языком и приложила через бархатные штаны к ногам бабки Улбарсын.

«Девять и девять дней корми черного винторогого барана и заколи его на сейсенби!»³ — повелела она. «Обмажешь теплой кровью ноги и будешь скакать, как двухгодовалый джейран!»

Увы, в их отаре не было черного винторогого овна, и дед поскакал в очередной базарный день в районный центр на скотный двор, откуда привез на привязи не барана, а настоящего рогатого шайтана. Он брыкался и бодался, не давался в руки: дед с Шакеном еле справились с ним, привязав узлом не только за шею, но на всякий случай, чтобы тот не перебодал всю отару, и за ноги.

И хоть дед приволок овна в воскресенье, бабка Улбарсын рассчитала, что кормить она должна начать с пятницы, чтобы девять и девять дней выпали на вторник. В следующую пятницу она сама поднялась с постели, в которой лежала, не вставая, почти всю осень, и мелкими шагами пошла сначала к сену, потом к загону, где был привязан этот шайтан, и бросила охапку сена перед ним. Так она делала дважды на дню, и ее ноги крепчали, и шаг становился все увереннее и увереннее.

Овен жирел, бабка здоровела, узлы на ее ногах уменьшались. В ночь на назна-

¹ Знахарка.

² Поминки с жертвоприношением.

³ Вторник — восходит к поверью, что вторник, равно как и число девять — счастливые дни.

ченную сейсенби, откормив сроднившегося с ней шайтана, с которым она теперь подолгу разговаривала, бабка бодро вернулась в дом и затеяла совет с дедом: «Даулет, как ты думаешь, следует ли нам завтра резать этого барана?» — «Неге сурайсын?»¹ — удивился дед. — «Да, вот, подумала, и ноги у меня расходились, и привыкла я к нему как-то...» — «Давай спать. — сказал дед. — Мне выходить на 5.27!»

На следующий день, несмотря на ворчливое сопротивление бабки, все же решили резать барана. Дескать, обмажем теплой кровью не только твои ноги, но и ноги Ержана — как знать, авось поможет. Шакен с дедом Даулетом пошли вязать овна, а бабка села у двери, готовя ноги к процедуре. Ержан сидел чуть поодаль от бабки, глядя на происходящее не столько с надеждой, сколько из досужего любопытства.

И вот когда Шакен снял веревку с шеи овна, чтобы завалить его на бок, окрепший от отменного питания шайтан вдруг, хрипя, взбрыкнул у него в руках, одним движением опрокинул хозяина и бросился из загона что было сил в сторону бабки. Он летел к ней, как дети бегут в смертельном испуге в объятия своей матери, как прирученный беркут летит на руку к охотнику, как детеныш лисицы летит к своей норе...

Со всего разбега этот откормленный винторогий и черный шайтан врезался в старуху и забодал ее насмерть.

Его зарезали в тот же день, но не как предполагалось — на излечение старухи Улбарсын, а, как оказалось, на ее похороны...

* * *

В этой кутерьме с внезапной смертью бабки конечно же забыли смазать теплой кровью ноги Ержана, так и остался он заговоренным. Ну да ладно с ним, он уже привык, а вот дед, который окунул руки по локоть в кровь этого винторогого шайтана, слег на третий день после смерти бабки. «Обессилел!» — говорил он кротким голосом Шакену и Ержану, и вот Шакен стал водить с собой на пути Ержана — то проверить стрелку, то, когда звенел их служебный телефон, поворачивать ее на пережидающий поезд. Ержан слышал, как Шакен регулярно докладывал диспетчеру путей о состоянии здоровья деда и просил себе сменщика.

Нет, дед не умер в тот раз, он встал через девять и девять дней, окрепший, бодрый и сам сходил на могилу к старухе почитать патику². К тому времени Шакен-коке опять уехал в Зону, и Ержан теперь сидел у служебного телефона на случай, если вдруг вызовет диспетчер.

Следующей умерла Шолпан-шеше. Это было ранней весной. То ли долгая зима, проведенная в дому, ей наскучила до смерти, то ли она истосковалась по своей стародавней подруге Улбарсын, но по ранней весне, когда растаял снег и стала подсыхать земля, она принялась ходить вдоль железной дороги в обе стороны. Когда Айсулу была дома, она сопровождала старуху, при этом, правда, занимаясь своими делами: то нарвет маков, чтобы сплести себе венок, то накопает подснежников и принесет их бело-желтыми свечками, торчащими из комочка мягкой глины в ее руке.

В тот день Айсулу была в школе, Шакен-коке — на вахте, Байчикек с Канышат стирали набравшееся за зиму белье, дед спал, приняв с утра на запасной путь тяжелый товарный поезд, что стоял неподвижно вот уже третий час, а Ержан сидел у служебного телефона, ожидая, когда наконец проедет скорый литерный и деду прикажут менять стрелку для отправки товарняка. В то солнечное утро старушка Шолпан пошла на прогулку сама. Маки бились о ее ноги, но она шла, в черном камзоле и зеленом широком платье, как тополь, прямая и статная, заложив руки за спину. «Вот в кого Айсулу!» — подумал с горечью Ержан, мимоходом увидев ее в окно, но фигура тут же пропала.

А случилось вот что: черный петух, намявший с утра кур, полагая, что старуха

¹ Почему спрашиваешь?

² Молитва.

вышла его кормить, бросился за ней. Ничего не подозревавшая старушка шла вдоль железной дороги и вдруг увидела под ногами кусок лепешки, видимо, выброшенный каким-нибудь капиром¹ — не будут же сарты бросаться хлебом — из окна одного из прошедших поездов. Она наклонилась, подобрала хлеб, трижды поцеловала и бросила этот хлеб под стоящий товарный поезд — дескать, уедет поезд, подберет птица. Петух же, увидев это, бросился под стоячий вагон, и еще дальше, за рельсы, клюя размякшую лепешку. Старушка не ожидала такого, потому что никогда не подпускала домашнюю птицу близко к железной дороге. Она оглянулась на стоячий поезд и, согнувшись, нырнула под него, чтобы прогнать петуха назад, но тот был так увлечен поглощением пищи, что лишь мотал головой из стороны в сторону. «Балапанын канатынын астына тыккан кэри тауктай отырмай ол!»² — ворчала она, перелезая из-под вагона на насыпь. А в это время, свистя и гудя, налетел на соседний путь скорый литерный поезд. И хотя расстояние между поездами было достаточным, чтобы уберечься, но широкое зеленое платье Шолпан-шеше мгновенно раздулось от вихря, одна из подножек подцепила ее подол и поволокла бедную старуху вдоль насыпи, пока сатин не изорвался в красные от крови куски...

* * *

Странно, но только после смерти двух старух Ержан стал различать своих домоладцев. До той поры они были все как одно, если Шолпан-шеше ругала, то бабка Улбарсын пошлепывала, если мать Канышат месила тесто, то Байчичек-келин лепила лепешки. А тут вдруг все разлетелось на куски. После смерти Шолпан-шеше, которую похоронили в таком же заново выстроенном мазаре рядом со старухой Улбарсын и ее мужем Нурпеисом, городская Байчичек стала откровенно настраивать Шакена-коке на отъезд в город: дескать, держала тебя здесь мать, но вот и ее теперь нет. А что нам пропадать здесь, на богом забытом полустанке?! Шакен уводил разговор в сторону: то, мол, вот вернусь со следующей вахты, сядем все и поговорим, то, вот проведем годовщину смерти матери, а потом и решим. Но, по словам Айсулу, Байчичек-келин настаивала на своем все больше и больше. И вот тогда Ержан понял, что эти две семьи объединяли старушки — Улбарсын и Шолпан. Теперь его мать Канышат совсем перестала ходить в соседний дом.

Вот тут-то Ержан и пригляделся наконец к своей матери. До сих пор она была для него неким присутствующим отсутствием: растила его вся семья, а более всего — дед да две бабки. Со смертью обеих и дед перестал хорохориться. Только теперь Ержан стал замечать, что мать ни на минуту не прекращает работать: то состригает шерсть с козьей кожи, затем опрыскивает кожу теплой водой, сворачивает в трубочку и кладет к самой печке. Тем временем, пока кожа преет, чтобы волосные корни повылезли из нее, мать начинает вить веревку из только что состриженной шерсти. Закончив это дело, месит тесто. Укутав тесто, приносит надоенное молоко, разливает часть по посуде, в которой к утру образуются сливки, а часть заквашивает на кислом молоке. Потом берет давешнюю трубочку козьей кожи и начинает ее скоблить, затем, высушив над огнем, кладет ее в кислое молоко и оставляет на несколько дней замачиваться. К вечеру она зашивает порванную одежду, варит похлебку, стелит постель — словом, с утра до ночи не прекращает работать...

И если Ержан теперь убивал время тем, что ничего не делал, его мать Канышат, напротив, как бы вытягивала жизнь из своего тела неустанным трудом.

* * *

То ли мать, то ли тоска от предстоящего отъезда семьи Шакена, а более всего выросшей и расцветшей Айсулу, заставила Ержана в один из предлетних дней, когда никого не было вокруг, взять в руки скрипку — и положить ее обратно он уже не смог.

¹ Неверным.

² Сидишь тут, как наседка с цыпленком под крылом, лучше бы ты сдох!

Всю свою тоску, впрессованную в его тщедушное тело, пытался он излить в музыку, но ни тоска не прекращалась, ни музыка не вмещала всего накопившегося. Его обнаружил за игрой только что вернувшийся с вахты Шакен, который с радостью обронил, что видел в городе Петко, и тогда Ержан твердо решил, что на следующий же день поедет к своему учителю. Но на следующий день дед поскакал на коне по делам, оставив его дежурить на телефоне, потом, через день, Шакен поскакал на коне в школу, справиться об экзаменах Айсулу, словом, так и не дождавшись Айгыра, через несколько дней Ержан сел на своего ишака и засеменял на нем в сторону ПМК. Скрипка висела за плечом, как винтовка, и хотя утренняя тень его, семенявшая впереди, все сокращалась, все же на какое-то мгновение он опять почувствовал себя, пусть только в мыслях, ковбоем.

While the men keep on dying
And the women keep on crying
The war keeps on and on... —

пел он о том, что война продолжается. Где-то через час, когда он достиг гусеподобного бетонного строения, торчащего в степи, как балбал¹, и решил передохнуть в его тени, небо вдруг стало темнеть. Оно темнело столь быстро, что Ержан решил, это просто яркий солнечный свет, разлитый по степи, утомил его зрение. Но то чернели будто набежавшие на небо облака. «Смерч!» — догадался Ержан, и небо стало не желтым и пыльным, как при степных смерчах, а совершенно черным. И только солнце сверкало в нем невероятным светом. И внезапно страх, который всегда сидел у него в поджилках, накрепко застрял в солнечном сплетении: мальчишка был один на весь черный свет, если не считать бешено вопящего ишака. Но и голос ишака уже не был слышен. Его поглотили гул и завывание степного ветра. Земля начала трястись, раздалась громовые раскаты. Ветер нес по степи горящие клубки перекасти-поля, и вдруг в небо взметнулось еще одно солнце, и влекомый уже не умом, а инстинктом Ержан бросился в яму, под самый бетон, куда рухнул и его ослик. Скрипка хрустнула, издала последний визг, и свирепый вихрь воздуха с оглушительным гиком пронесся, сбивая все над ними, чтобы серый, пепельный свет встал над миром...

А потом пошел горячий слепой дождь...

Ержан валялся на дне, в грязи, крови и слезах, — ослик его мгновенно облез.

Он доехал таки до ПМК, но от ПМК остались два развороченных, оплавленных трактора и развеянный по степи черный пепел вагончиков... Где-то одиноко выл умирающий волк...

* * *

Когда он вернулся на свой полустанок, первое, что увидел — с Капты слезла вся шерсть, и везде — от железной дороги и до дома — трава за какой-то один день выросла густой и высокой... Трава. Но не он...

Я не стал продолжать эту мысль. Ночь за окном вагона была столь темной, что я сам испытал на себе тот самый страх, что не раз испытывал Ержан, лежавший сейчас умиротворенно на верхней полке купе. Откуда пришел этот страх? Ощущение чего-то неминуемого, скрытого, может быть, здесь, за первым поворотом, засело у меня холодом в животе, и я не нашел ничего лучшего, как перевернуться и зарыться лицом в тощую подушку. Я насильно заставлял себя подумать о чем-нибудь радостном, светлом...

Ержан состарился умом враз: он уже смотрел на красавицу Айсулу, что выросла на голову выше отца, безо всякой горечи — просто любясь. И то, что она вела себя

¹ Каменное изваяние.

так, как будто ничего ни с ним, ни с ней не происходило, уже не обижало его — скорее, радовало.

Люди по-разному **проживают** жизнь, думал он. Вон — дед Даулет, хоть и достиг своих почти восьмидесяти лет, а потерял все, что имел: и жену, и сына, и дочь, и внука, и друга, а теперь еще и семью друга... Или мать Ержана — Канышат. Тоже потеряла все, что имела: и девственность, и возможного мужа, и счастье, и отца, и брата, и мать, и сына... Почему же он, Ержан, должен отличаться от них?! Просто с ним все это случилось быстрее. Может быть, он уже **прожил** отпущенную ему жизнь за эти короткие двенадцать лет, за один мушел¹, ведь все, что дано человеку — и тепло родства, и счастье любви, и влечение надежд, и горечь разочарований, и музыку души, и страх небытия, — все это он уже пережил... Вот и он, как дед, как мать, потерял все, что имел, может быть, весь смысл этой жизни и состоял лишь в том?! Избыл, извел, износил...

Киріде кин жок,
Жаста мін жок,
Кор боп тірі жиргенше,
Кіріп кана кетер ем,
Казулы тирхан кир жок.²

И опять это не утешало его. Почему **все это** случилось с ним?! За что? За то, что был не по годам талантлив? Петко ли уговорил своего таинственного волка Вольфганга увести своими волчьими тропами душу и оставить навечно лишь детское тело? Или лисица-мать, униженная посреди своей степи, а потом еще и лишенная своего дитяти, отомстила ему проклятием?! Или же то была лишь вариация, отзвук того, что произошло с его собственной униженной и оскорбленной матерью посреди его собственной степи?! Домбра ли деда и его жыры околдовали мальчишку, внушая ему **калтарыс** за **калтарысом**, пока тот самый **улуу калтарыс**, великий разворот, не развернул время в обратном направлении, наперекор природе?! Или же цепная реакция Шакена, догоняющего и обгоняющего Америку в этой забытой богом степи, случилась не в реакторе, а по ошибке в мальчишке и взорвалась в нем карликовой звездой?! Бабки ли заговорили его сопливым мальчишкой Гесером, воющим то со своим дядей Кепеком-Чотоном, то со всем миром, а то с самим собой?! Или Айсулу, его единственная **доля** — **До-Ля** — Domini labii — Божии уста...

Тут из-за буйно выросшей дикой травы появилось светлое лицо безудержно росшей Айсулу, его Айсулу — и было в этом что-то пугающее, что-то похожее на внезапный скрежет камня по стеклу...

* * *

Ранним-ранним утром, когда степь сера и прохладна, как едва посветлевшее небо, Ержан проснулся от вкрадчивого стука камешком в окно.

Он пробудился разом и полностью; натренированный за последние дни слух был абсолютен: стучали в соседнее, материнское окно. Может, даже чуть-чуть по нему царапали. Ержан спал все эти дни, не раздеваясь: просто валился в свою постель и под тяжестью мыслей вырубался. Без всякой задней мысли он привстал и глянул в свое окно. Это был Шакен, только что вернувшийся с вахты, — в руках у него был его обычный чемоданчик. Судя по всему, он не заходил еще к себе домой. Без всяких мыслей и чувств Ержан следил за происходящим.

Ни гнев, ни ревность — какое-то досужее и отстраненное любопытство застави-

¹ 12-летний период.

² В старости нет жизни,
В молодости нет изъянов
Чем избывать жизнь в унижении?
Входит в кровь и исходит лекарство,
А вырытой могилы нет...

ло Ержана резко распахнуть окно и высунуться наружу. Было видно, как опешил Шакен-коке, как от неожиданности он уронил чемоданчик, но потом вдруг совладал с собой и замахал рукой Ержану — так, будто в окно Канышат он скребся по ошибке. «Смотри, что я тебе привез...» — выкрикнул он, обернувшись к Ержану. Нагнулся, подобрал чемоданчик и, покопавшись в нем, вытащил газету. Развернул и просунул в окно: «Читай!»

Ержан стал читать вслух: «В июне из столицы ГДР пришла печальная весть. В результате несчастного случая в Берлине погиб известный американский певец и актер Дин Рид. Как часто бывает в таких случаях, известие это вызвало на Западе разного рода инсинуации. Правые газеты пытались разыграть провокационную версию о том, что гибель американского певца якобы связана с "террористической деятельностью спецслужб коммунистического режима ГДР".

Мы позвонили в Берлин вдове американского певца Ренате Блюме... У телефона Рената:

— Любые предположения о том, что моего мужа убили, — самая отвратительная клевета. Такие домыслы только оскорбляют память о Дине, причиняя боль мне и нашей дочери. Мой муж утонул. Его нашли в озере мертвым. В последнее время у Дина резко ухудшилось здоровье: у него было большое сердце. Что касается предположения, что он хотел вернуться в США, — и это абсолютная ложь. Ничего подобного он делать не собирался. Он жил мыслью о новом фильме. Он очень любил нашу дочь. Я считаю подлым иезуитством спекулировать на смерти моего мужа и очень надеюсь, что вы точно передадите мои слова».

* * *

И это было отнято у Ержана. Шакен-коке стоял под окном и смотрел на него. Зачем он привез эту газету из своего города? Зачем он привез из своего города телевизор, в котором однажды назвали Дина Рида «красным Элвисом»? И ведь не знал Ержан никакого Элвиса, а потом и этого самого Элвиса показали — оказался Дин Рид как бы подделкой, но даже этого поддельного, ненастоящего Дина Рида у него теперь отнял Шакен. Так же, как он отнял и рост, и будущее, и любовь, как он отнимает теперь и мать...

Шакен как-то замялся и пошел со своим чемоданчиком в сторону своего дома...

Постой, постой, а что если он любит **его** мать Канышат?! А что если он любил ее всю свою жизнь?! Ведь дед рассказывал, как однажды он связал пьяного Шакена, который приехал с вахты ночью и полез в окно к Канышат... Ну, пьяный, что с него возьмешь? А ведь Ержан не впервые застукал его у окна своей матери... Вот, значит, почему он никак не уедет со своей городской женой Байчичек в ее желанный город...

Стоп! Тогда, перед Мертвым озером, в зоне, на шакеновском опытной участке, где он догонял и обгонял Америку, когда школьники носились в противогазах, именно он, Шакен, появился в так называемом ОЗК¹ — как пришелец из других миров! И не о таком ли пришельце рассказывала всегда его бабка Улбарсын, вспоминая про чудное рождение Ержана на окраине Зоны, в том самом урочище, где река с пересохшим руслом... Так, может стать, Шакен-коке и впрямь его коке — отец!

Ержан бросился в соседнюю комнату. Мать сидела на подоконнике, может быть, впервые без дела, глядя вполоборота в окно, туда, куда удалялся Шакен. «Сен оны суйесенба?!» — «Ты его любишь?!» — выдохнул он из себя весь свой гнев, всю растерянность. Мать не стала оборачиваться к сыну, а лишь провела пальцем по стеклу. «Ол сени суйедиба?!» — «Он тебя любит?!» — не зная, что делать, беспомощно выпалил Ержан. Мать молча развязала косынку, встряхнула пряжей своих волос и опять повязала косынку, глядя на отражение в стекле. «Ол сенин жубайинба?!» — «Он твой муж?!» — продолжал дрожащим голосом Ержан. Мать скрестила руки на груди. В комнате повисла тяжелая тишина. И вдруг голая лампочка под потолком мелко задро-

¹ Общевоинской защитный комплект.

жала, страх, сидящий в щиколотках, пошел вверх своим обычным путем — к солнечному сплетению, задержался холодной тяжестью в животе и медленно пополз к глотке, потом к губам, чтобы выйти то ли шепотом, то ли хрипом, то ли судорогой: «Он менин акемба?!» — «Он мой отец?!»

Мелкий гуд шел уже по полу, комната затряслась, а мать все сидела на подоконнике, впервые в жизни не делая ничего, а лишь глядя в окно, туда, откуда шел то ли очередной поезд, то ли очередной взрыв...

Он бросился из комнаты вон. Бежать, бежать, бежать куда угодно, в открытую степь, через зону за горизонт, за край света... Так, стало быть, Айсулу, его неудержимо растущая, как дикая трава под окнами, его бедная и несчастная Айсулу... И вдруг сознание Ержана, как лисица после **улуу калтарыс** — последнего, великого разворота — рухнуло заживо...

* * *

Айсулу умирала в городской больнице, куда ее привез отец, вызванный на полигон. Первые дни мать была при ней, потом решила съездить к своим престарелым родителям в Семей. В палате с белым потолком Айсулу лежала одна. Глядела на белый потолок и все, что виделось ей на этом белом потолке — степь: дорога от Кара-Шагана до школы. Или обратно. Вот она едет на ишачке вместе с ее пропавшим теперь Ержаном. А вот ослик дергается и хрипит. А вот Ержан сжимает в руке окровавленную кочерыжку.

Кочерыжка... Почему она застряла у нее внутри и растет, растет, доросла уже до самого горла?

Снова степь. Ишачок. Спина Ержана. Куда они держат путь? Ах, да, это они едут на урок музыки. Степь, степь. Редкие точки могил на горизонте. Одна начинает шевелиться. Ну да, это волк. Тот самый. Они тогда от него убежали. Вернее, заставили его убежать от них. А он, оказывается, все эти годы прятался и вот теперь проник к ней вовнутрь и грызет ее душу и тело, такое длинное, что не умещается уже на кровати.

Ах, Ержан! Как он играл на скрипке, как рисовал, как пел Дина Рида, как входил в воду Мертвого озера, как опекал ее... Ей так хотелось стать его женой, рожать ему детей, таких же талантливых, таких же смелых, таких же преданных. Почему это случилось с ним, а не с ней?! Стоп... Но почему же тогда она здесь, в этой степи на потолке? И где ее Ержан? И где она? Что с ней?

Откуда вдруг появился Капты, их верный пес? Он тогда загрыз лисенка, а потом, учуяв лисицу-мать, начинал скулить, как перед взрывом. Вот и сейчас скулит. Скулит...

* * *

Я проснулся от стука в окно. Серое степное утро. Мы стояли на полустанке, и какая-то непомерно рослая казашка махала в окно чем-то завернутым в газету. Сверху, свесив короткие ноги, смотрел на нее Ержан. Я так обрадовался, увидев его живым и невредимым!.. Я попытался связать то, что он рассказывал вчера целый день, с тем, что я понадумал за эту кошмарную ночь. Похоже, я запутался, как та самая лисица в открытой степи. Где здесь то, что он пережил, а где то, что я выдумал?

Вот он сидит надо мной, 27-летний мальчик, застрявший в своем двенадцатилетнем теле. О чем было это все? Время ли, целая эпоха застыла в нем, чтобы вдруг открыться передо мной? Связал ли он собой два мира — мир тел и мир теней, как *Puer aeternus* — *Вечное Дитя*, божественное существо, Гесер или Эрос, которого извечно искушает небо? *О чем он* — этот маленький человек большой страны, которой уже нет?..

В своей утренней растерянности я чуял себя той самой полой соломинкой, а поезд — тем самым потоком, который несет меня по степи. Куда — среди этих

людей, среди их рассказов, среди их страхов и надежд, среди их невысказанных жизней? Какое Мертвое озеро ждет меня, пока я тут пытаюсь разобраться в том, что творится у меня внутри и что реально происходит снаружи?

И хотя я знал умом, что полигон давно закрыт, но то самое ощущение, что описывал Ержан — страх, сидящий в поджилках, — медленно поднимался во мне к солнечному сплетению и выше, выше...

Рослая казашка стучала в окно и размахивала газетой, в которую была завернута то ли рыба горячего копчения, то ли кусок лепешки, то ли катышки курта — высушенного творога. Ержан склонился к окну и, схватившись своими сильными музыкальными пальцами за обе защелки, приоткрыл его: «Саган не керек?» — «Чего тебе надо?»

От оконного скрежета и от шума разговора заворочался вниз и старик-казах, медленно перевернулся с боку на бок — лицом в нашу сторону. Свесившийся с полки Ержан бросил на него быстрый взгляд и вдруг с воплем: «Шакен! Шакен-коке!» — как беркут на лису, кинулся прямо на старика.

Я не на шутку перепугался. Что этот парень сейчас будет делать? Мне померещилось что-то вроде ядерного взрыва: сейчас Ержан задушит этого старика, сил у него точно хватит, и это будет естественный финал всей этой музыкальной какофонии. Но пока я так думал, мои попутчики уже обнимали друг друга. Старик плакал немymi слезами, казашка застыла столбом, не понимая, что происходит внутри купе, а впрочем, и я сам мало что понимал. Разве что чувствовал огромное облегчение — оно, как светло-голубое небо над степью, заполнило меня разом...

* * *

Через час наш поезд остановился передохнуть на каком-то пустом степном полустанке. По тому, как, наспех попрощавшись со мной, Ержан и Шакен (которые до тех пор разговаривали между собой по-казахски, все как-то горестно, со вздохом упоминая одно и то же имя — Айсулу) неожиданно выскочили из поезда со всеми своими пожитками, включая и заплечную скрипку, я понял, что мы стоим *на том самом* Кара-Шагане. Я выглянул в окно. И хотя по двум заброшенным железнодорожным домам нетрудно было догадаться, что это и впрямь был Кара-Шаган, никаких признаков жизни: ни кур, бегающих под карагачом поодаль, ни старика с флажочком, сена, запасенного на зиму, ни даже какой-нибудь коровьей лепешки на степной земле не было видно. Лишь две фигуры — одна согбенно-стариковская, другая порывисто-мальчишеская — удалялись мимо этих заброшенных, нежилых домов в глубь степи, где в мареве встающего, как застывший взрыв, степного солнца виднелось с пяток мазаров-гробниц.

Вот и все.

Айгерим Тажи

По вечной канве

* * *

Голова на плечах. Пелена в голове.
Расшивают кольчуги по вечной канве
переросшие мальчишки, в мокрой траве
разбирают друг друга на лего.

Посмотрите наверх, посмотрите наверх.
Там старик, а вокруг него тихо и свет.
Он давно прячет кролика в рукаве
И зовет на прогулку по небу.

* * *

У бога
полный карман людей
у нищего
полный карман счастья
поделись со мной человек
у меня есть море взамен
большое теплое море
рыба
лодка
и снасти

* * *

медленно обнажаясь
берег уводит к солнцу
в черный и тихий город
копоть на храме божьем
в воздухе стонут люди
плач их — щепотка соли
в воздухе тонут рыбы
падают к лапам кошки
город сгорит а море
жизнью его наполнит
день а на дне ракушка
рак и забытый якорь

Картинка

Рыбаки вышли в море
Рыбачки выбежали за ними вслед
С корабликом в дверях
Стоит мальчик
Его глаза высохли
На глазном дне
Силуэты скелетов
Привязанные к якорям

Идол

а я хочу быть твоей первой
улыбку ногтем процарапывать
вычерчивать чуть удивленные
глаза на розовом лице
лелеять что-то невозможное
в тебе сыром как глина белая
лепить рельефы скалы скулами
сажать цветы и сорняки
дать имя вызревшее в памяти
вручить котомку с сердцем высохшим
от ожидания прекрасного
и утопить на дне реки

* * *

Люди севера
плачут снегом
пахнут инеем
в линиях черных рек
Люди юга —
лепестками
дынями
на солнечный берег
ах
Хочу на запад
со слезами
раскосых глаз
Иду туда
но...
мне дорога на восток
там мой Бог
немой
прячется
плачет
в кругу незрячих
чудак
off

* * *

Когда память не та и руки уже не те
Когда животное просыпается в животе
Меркнет лампочка в голове
То рождается в пустоте
Голос
Того кто мог вырасти из тебя
Да что-то не повезло
Спрашивает
Какое уже число

* * *

Ветер мотает,
путает волосы,
в рот залетает
голосом.
Что-то шепчу я
листьям засушенным,
сердце врачую.
Слушают.
Входит без стука
ветер заплаканный
в парус мой тусклый,
смятый.
Волосом белым
с темени падает
груз переспелых
лет.

* * *

Утро наступает
Тяжелее старости
На горло.
Зачем вы, птицы, встаете так рано?
У птиц во рту язычок.
Птица — колокол.

Темные люди в белых одеждах
Крадутся по городу.
Небо, небо, залей им в уши
Песню олова.

Пусть слышат они только море,
Старое море, новое море.
А мы пока накричимся
и выкричим горе.

Лявас Коварскис

Похороны учительницы танцев

Повесть

С литовского. Перевод Тамары Перуновой

Я стоял на кладбище; хоронили учительницу танцев. Она ушла из жизни довольно молодой, оставила мужа с тремя детьми, младшему исполнилось восемь лет. Рядом с постройкой, напоминавшей часовенку без креста, где был установлен гроб с усопшей, стояли небольшие группки людей, большинство прощавшихся находилось внутри, но все там не поместились. Прощальная церемония явно затягивалась, лица у всех были серьезны, даже у детей. Двое мужчин в кипах (я так и не понял, евреи они или нет) прикатили тележку: два колеса от велосипеда, а два — от детской коляски.

Умом я жалел усопшую и ее семейство, но сердцем не ощущал ничего. Здесь все казалось мне странным. Стоял я прямо, руки старался держать перед собой, хотя это было неудобно и непривычно, временами перебрасывался двумя-тремя словами с женой.

«Мешочки протоплазмы, — думал я, — созданы из грязи и солнечного света. В нашем случае, когда Земля повернулась определенной стороной к Солнцу (я имею в виду пресловутый "рассветный час"), группка мешочков облеклась в солнцезащитную ткань (почти все присутствующие были в черной одежде, у меня одного были светлые брюки, что меня изрядно смущало) и сбилась в стайку на этом вот пятчке. Что ими движет? Вряд ли магнитные и гравитационные силы, каковые в нашей вселенной являются основополагающими. Но как удалось этим силам так расположить атомы и завихрить поля, что все наблюдаемые мешочки почти одинаково морщат свои покровы (грустные лица) и скоро зарюют в землю одного из своих, позавчера переставшего двигаться?»

Видимо, я слишком уж пристально изучал присутствующих, и какой-то мужчина ответил мне прямым взглядом, а потом невесело улыбнулся и едва заметно кивнул мне. Я тоже кивнул ему. Мне было необходимо ехать на одно заседание. Учительница танцев рухнула за смертью позавчера на уроке, следовательно, я не мог предвидеть это заранее. Однако, думал я, похороны — уважительная причина, могу немного и опоздать, все поймут. Надо бы позвать руку вдовцу и детям, посмотреть им в глаза. Хотя — что там увидишь особенного? Я потупился и стал размышлять дальше.

«А если определять точнее, они — даже не протоплазма и не атомы, а так, беспорядочные волновые участки, достоверно существующие единственно потому, что знакомы друг с другом. По крайней мере, так объясняет квантовая физика. Их вроде и нет. Они — всего лишь застывшая вероятность».

Лявас Коварскис родился в 1950 году в Вильнюсе. В 1973 г. окончил медицинский факультет вильнюсского университета и уехал работать в провинциальный городок на юге Литвы. Затем вернулся в Вильнюс, стал психиатром и психотерапевтом. В 1990 г. Л.Коварскис вместе с группой единомышленников отправился в Хельсинки изучать психоанализ. В настоящее время работает в Хельсинки психиатром, психотерапевтом и психоаналитиком. В юности мечтал быть писателем, но этому, по словам самого Л.Коварскиса, «помешало желание исследовать человеческую душу методами науки; потребовалось время, чтобы осознать, что добротная художественная литература отражает ее наиболее полно».

Тут мысль оборвалась, потому что жена обратила мое внимание на знакомую, которую я не узнал. Затем из часовенки неожиданно повалил народ: близился вынос гроба. Лица у большинства были красные (то ли от духоты, то ли от чувств), все вели себя сдержанно, выглядели печально, какие-то женщины плакали, контрастируя с общим беззвучием. Жена сказала: покойницу очень любили, и плачут, вероятно, ее ученицы.

«Так, — думал я, наблюдая за лицом одной плакальщицы, — тут имеется протекание солонатовой жидкости». Я и сам понимал, что наблюдение это — излишне черствое и даже кощунственное. В то же время я размышлял о беспросветной вселенной и цветовых волнах, распространяющихся в пространстве, о дальних звездах и предположительном существовании Бога — того, кто ведает: что, как и зачем существует, — и даже кое-что может переменить. Та плачущая женщина и черная тележка на колесиках, крыша часовни и солнечный свет, и мы с женой, стремительно и нежданно состарившиеся, и наша дочь, которая когда-то ходила к усопшей на занятия, — все было задумано Им и создано под Его наблюдением. Явный всем лишь в неясной тоске, Он океанской волной вздымал наши тела и мысли, и Он знал все.

«Слишком уж много красочности и мистики. Нет ничему доказательств». Дело в том, что я когда-то воображал, будто смогу все это логически безупречно изложить, черным по белому записать так, чтобы ни у кого не возникло сомнений, напротив, всем стало ясно: у жизни есть правда и цель. Я и теперь думал, что это возможно, только времени не хватает. Его отнимает ежедневная служба, добывание денег. Что для такого дела — постижения смысла жизни — не находилось времени, представлялось неубедительным и вызывало дурные депрессивные догадки: я и сам являюсь мешочком из протоплазмы.

Дочка на похороны не пришла. Не пожелала (никогда с покойницей близко не общалась), да и мы с женой не видели в том необходимости. Эта ситуация напомнила мне смерть и похороны бабушки, куда я не пошел (так решила мама), хотя близкие удивлялись, — я уже был подросток, одиннадцать лет. Бабушка долго страдала слабоумием, часто не понимала, где находится, несколько раз испражнялась в комнате, не однажды лежала в психиатрической клинике, где воняло мочой и пудом. Больные в зловонных застиранных пижамах гуляли на пригорке в маленьком дворике, огороженном металлической сеткой, и вели себя совершенно безумно — в конце пятидесятых еще не было психотропных лекарств. Вместе с нашей домработницей я раза два навещал бабушку в больнице (позже задумался: почему не с мамой?). Я был любимым бабушкиным внуком, она меня, можно сказать, вырастила, но временами я ее ненавидел, и, когда она уже тронулась и мы раз-другой оставались одни в комнате, я показывал ей язык и по-всякому издевался. Старушка смотрела, не соображая, почему я так странно себя веду, это я понимал по ее глазам, и (так я ощущал тогда и понимаю сейчас) гадая, все это наяву или только мерещится. Короче, я сводил беднягу с ума в прямом смысле слова.

Все это припомнилось прямо на кладбище, и сжалось от огорчения сердце, и я уже не был способен вместить и освоить ни чувство вины, ни догадки о генах, атомах и прочих волнах вероятностей. Я огляделся по сторонам, чтобы прийти в себя.

— Ждешь Ф.? — поинтересовалась жена.

— Да, — ответил я, потому что действительно глазами отыскивал в толпе Ф.

— Они, наверное, ближе к центру, — сказала жена.

Я и сам полагал, что он и Рб. (девушка Ф., она же подруга моей жены) слушают в часовне надгробные речи, но все равно озирался в поисках, чтобы не думать о бабушке.

Люди все выходили из часовни наружу, и мы с женой посторонились, освобождая место. Члены похоронного общества (существует такое при еврейской общине) выходили с серьезными лицами, озабоченные соблюдением должного порядка. За ними сразу вышла полная заплаканная женщина, как потом выяснилось — лучшая подруга покойной, в эти дни опекавшая осиротевших детей. Тут же в дверном проеме показался гроб, его несли: муж усопшей, старший сын и какие-то неизвестные мне мужчины. Покойная, видимо, обладала приличным весом, была крупной женщиной, из-за чего в свое время ей пришлось уйти из балета. Понятно, почему мужчины шли

полусогнувшись, ремни врезались в черные пиджаки. Я подумал: «Им тяжело нести, это мешает проникнуться трагизмом события, отсюда неловкость, как у меня — из-за светлых брюк». Еще вспомнилось, как много лет назад, когда внезапно умер мой лучший друг, я сказал жене: «Такой-то (я назвал имя и фамилию друга) вчера протянул ноги», — и усмехнулся. Жена тогда не поняла меня. Теперь, наверное, поняла бы.

Я увидел Ф. Они с Рб., подхваченные толпой из часовни, продвигались по кругу и наконец поравнялись с нами. Мы кивнули им крайне сдержанно, это потребовало некоторых усилий, потому что мы были рады друзьям. Видно, и они были рады, иначе не оказались бы к нам так близко. Я взглянул в лицо Ф., желая понять, как ему удастся хранить серьезность. Удавалось отлично, он вообще не был склонен ни к притворству, ни к сильным переживаниям; не знаю, что он действительно думает и чувствует в таких случаях... Я имею в виду: насколько он позволяет себе думать и чувствовать то, что думается и чувствуется. Зато Рб. стояла с откровенно скорбным лицом, но я был уверен: ей не терпится обсудить с моей женой смерть учительницы танцев, ее последние дни, реакцию детей и прочее. Я взглянул на жену. По ее лицу не было видно, что она испытывает, жена казалась напряженной и самоуглубленной. Я сжал ее локоть и посмотрел на процессию. Вдовец был наголо выбрит, но кипа как-то держалась у него на макушке. Дочь — в слезах, старший мальчик серьезен, младший — растерян.

«Как это все может выглядеть в мироздании, — думал я, — сейчас я начну пожимать руки знакомым, буду говорить, переменять гримасы, словом, стану производить всяческие телодвижения, остальные — тоже, и, хоть нашим телам не суждено соприкасаться (исключая рукопожатия), весь этот танец протоплазмы будет выглядеть красиво и гармонично. Эту гармонию создаст не механическое взаимодействие тел и не ритмичные волны (от наших реплик), а чувства и мысли, которые, я надеюсь, мы будем угадывать в жестах и произнесенных словах. А угадывать станем по аналогии: мы бы сами вели себя так, ибо думали именно так и чувствовали (ай да эпистема!). Перемещениями молекул калия, натрия, кальция в наших нейронах вызываются чувства и мысли, концентрация трансмисмиттеров в синапсах, а эти молекулы складываются из атомов, последние — из еще более мелких частиц, которые уже вовсе и не частицы, а волны, по крайней мере, до той поры, пока я не остановлю их собственным знанием, иначе говоря, сам не заставлю их замереть (или кто-то другой не заставит). Тогда эти волны преобразятся в частицы, и мы назовем это жизнью. Но почему она заканчивается?»

Мысль была, в целом, верная, но очень уж длинная, путаная и словно бы «ни о чем». Наблюдая, как черные тела движутся вслед за тележкой с гробом, я спросил у себя, а зачем мне вообще эта мысль, почему я никак не желаю видеть скорбящих людей, прощающихся с покойной? К чему мне все эти атомы? Первое, что пришло на ум — и это было ответом: у меня рак. Этот ответ — на многие подобные вопросы — уже для меня привычен. Теперь мысль о раке очевидно резонировала с похоронами. И все же она пришла неожиданно и несколько потрясла меня. Меня всегда ранила столь тесная связь между страхом смерти и философствованием. Я предположил, что этот страх может быть основой многих философий. Я давно подозревал: тайная цель философов — доказать, будто смерти на самом деле нет. Я не верю в жизнь после смерти, последним доводом стала раковая операция, вернее — наркоз, очнувшись после которого я поинтересовался, скоро ли будут резать. Узнав, что операция состоялась, я подумал: во время нее я мог умереть, незаметно исчезнуть. Однако я не хочу верить, что Все исчезнет. Как пишут современные философы, для меня это контринтуитивно (противоречит интуиции). Они, философы, считают, будто интуиция — ценный инструмент познания, но я в этом сомневаюсь. Вспомните хотя бы интуитивную догадку, что тяжелый предмет падает быстрее легкого. Галилей (или кто-то другой) доказал: это не так. С другой стороны, что бы кто ни доказывал, все знают, — от падающего тяжелого предмета лучше поскорее отскочить, в этом смысле интуиция не обманывает. Но я полагался в своем неверии не только на интуицию (что Все кончится). Вот и теперь я участвовал в очередном эксперименте, доказывавшем, что это не так: учительница умерла, мы ее хороним, я стоял и думал, боялся рака и философствовал — как говорится, *cogito ergo sum*. «Не знает и мудрец», — вспомнил я вывод Экклезиаста. В глубине души я считал себя одним из мудрейших людей и до

сих пор верил, что могу понять, но теперь сомневался в этом. Хотел я в действительности понять или просто желал, чтобы все было как-нибудь иначе, нежели сейчас, — и здесь я не был уверен.

Это желание (чтобы было иначе) напомнило увиденную по телевизору тигрицу. Она попала в западню к охотникам, ее хотели поймать для зоопарка, собирались набросить сетку, а тигрица тем временем думала, что сейчас убьют, и приготовилась к этой участи — начала медленно ложиться на живот и широко раскрытыми глазами смотреть прямо в камеру. Это чувство и мысль «*Все кончено*» (желание, чтобы было иначе) отражалось в ее глазах и придавало ее морде выражение, которое, как мне казалось, всем должно быть понятно. Я думал: охотникам теперь следует уйти восвояси. Я также знал: сама тигрица, встретившись с подобным взглядом косули, не отступила бы, а спокойно и, возможно, даже с удовольствием убила бы ее. И я порой ловлю рыбу только для того, чтобы почувствовать на другом конце лески движения, означающие то же, что выражала морда пойманной в лесу тигрицы.

На похоронах я обычно стою рядом с ямой — хочу получше увидеть обряд, сильнее его прочувствовать. До сих пор я участвовал только в похоронах очень близких людей, поэтому мне само собой доставалось почетное место у могилы. Я даже дважды бросал в яму первую горсть земли. О похоронах и соответствующих обрядах я когда-то собирался написать эссе. Дело в том, что мне было известно: истоки большинства обрядов в мистическом мироощущении, их цель — оградить живых от злобы и мести мертвых. К примеру, громко рыдать следует для того, чтобы убедить умерших: их смерть нас не радует (а по правде, люди часто радуются наследству или тому, что сами остались живы, и т.п.). Рыданий мало — чем ближе ты был к покойному, тем разнообразнее и сильнее твои чувства. Поэтому на могилу требуется взгромоздить камень потяжелее, чтобы покойник не смог подняться. Я еще читал о так называемых рациональных причинах — чтобы звери не съели, болезни не прилипли. Но и от зверей умершего охраняли, чтобы в мир иной он добрался «целехонек». Хорошо бы доставить его туда, не повредив: так живым спокойнее. Рассказ из детства о черной отрезанной руке казался самым страшным. В те давние времена люди воспринимали болезни как месть умерших. И еще: после смерти обычно готовится угощение, и близкие едят все вместе. Говорят, что этот обычай сохранился с тех времен, когда соплеменники сообща съедали умершего, даже после того, как сами его убивали. На время поминок надо поставить у могилы дежурного, видимо, из боязни, что покойник встанет из гроба. Необходимо ходить в трауре хотя бы некоторое время; бытует вера, будто душа покойного в это время беспокойно бродит неподалеку и пристально следит за родными. Если горюешь — ты не должен ничего делать, есть и пить, ты обязан посыпать голову землей или пеплом, рвать на себе одежды. Чтобы уверить покойника: ты собираешься следом за ним, без него тебе жизнь не мила, иными словами, что живым нет смысла завидовать. Можно подумать, что зависть — главная черта мертвецов. Даже близкие (именно они), когда умирают, становятся злыми, завистливыми, мстительными и коварными. Еще есть традиция во время траура занавешивать зеркала в доме. Предполагаю: чтобы ненароком не увидеть отражение собственного веселого лица. Надо подробнее почитать об этом. Все эти обычаи и обряды давно изучены. Я попытался вспомнить, что пишет про это Фрезер в «Золотой ветке», но ничего не вспомнил, очень уж толстая книга.

«Так или иначе, — подумал я, — обычаи — явление монолитное, тут многое объясняется чувствами, взаимоотношениями, настоящее переплетается с прошлым. Анимизм, — вспомнился термин, — нет, не так: панпсихизм — вот это как называется».

«Господи, — пробормотал я молча, — какой же ты зануда!»

— Что ты сказал? — спросила жена, обернувшись.

Мне было нужно спешить: собрание через двадцать минут, примерно столько же отнимает дорога. Я сообщил об этом жене.

— Поезжай, — сказала она, — ритуал надолго.

Я наблюдал за мужем учительницы. Он был не еврей по рождению, принял иудаизм, когда женился на учительнице танцев, а может, гораздо позднее, я точно не знал и не хотел об этом расспрашивать ни жену, ни РБ. Муж делал что-то у края могилы, точнее, быстрым шагом прошел на ее противоположную сторону. Бледное

лицо вдовца, в отличие от других собравшихся, не выражало никаких особенных чувств, лишь деловитость и некую задумчивость. Это вызвало у меня симпатию. Я припомнил, как однажды в гостях (во время еврейского религиозного праздника) он — не в кипе, а в шляпе — очень торопливо и, видимо, на правильном древнееврейском, молился, своевременно и ловко исполнял то, что требовалось по обряду — брал бокал, мыл руки и т.д. Выглядело это немного смешно. В то время я не был с ним знаком. Шляпа, торопливость в движениях и нееврейская внешность не очень сочетались. Он радовался стройной чистоте языка и обряда (если и вправду они чисты, — я совсем не знаю иврита и не принадлежу никакой религии), как хороший футболист, когда он демонстрирует детям искусство владения мячом. Не припомню, его или другого моего знакомого (голландца, банковского сотрудника — тоже принявшего иудаизм) я спросил, почему он это сделал. Он мне ответил, что иудаизм — наиболее последовательная и ясная религия. Я долго обдумывал этот ответ. И наконец пришел к выводу: оба они поменяли религию, потому что этого захотели их жены. «Ах, эти еврейские жены! — подумал я. — *Идише мамес*». При словах *идише мамес* у меня всегда щемило сердце. Это словосочетание звучит как идиома — оно непереводимо для тех, у кого не было такой *маме*. На мгновение я пожалел, что у моей дочери нет *идише маме*. Взглянул краешком глаза на жену, подумал о ее взаимоотношениях с дочкой и глубоко вздохнул: нет, она ничем не напоминает *идише маме*, может, только своим беспокойством о дочери; та, слава богу, растет более здоровой, нежели я.

Моя мать умерла семь лет назад. Я успел прилететь за два часа до ее смерти. Когда я вошел в комнату, она тяжело и хрипло дышала, в легких клокотала мокрота. Навстречу мне бросились две ее сиделки с объяснениями: она уже несколько дней без сознания, а вначале все просилась домой, но когда ее уверяли, что она дома, — трясла головой и продолжала повторять: хочу домой. Уже несколько лет у нее прогрессировало слабоумие, и женщины объясняли: желание оказаться дома — признак деменции. Я слушал их и с нетерпением ждал, когда они уйдут. Мамино желание оказаться дома я не считал слабоумием. Я — единственный наследник, уже много лет жил далеко, маму навещал редко, а она в последние месяцы часто видела во сне своих родителей, брата, дом в Каунасе, где жила до войны, и дом ее детства в Шилале. Наконец, когда женщины вышли, я взял маму за руку и произнес: «Мама, это я, я прилетел». Она глубоко вздохнула, ослабилась, но в ее груди опять заклокотало. Я держал ее руку, что-то говорил, она совсем не реагировала, для меня это было странно и невыносимо тяжело. Когда-то мне сказали, будто очень страшно тонуть, а также умирать от воспаления легких. Глядя на нее, я думал об этом. Потом сварил себе кофе и опять сел у маминой постели. Я думал о праве на эвтаназию и решил — нет, она неправомерна. Мама продолжала хрипеть, в ее груди клокотало, она не обращала на меня ни малейшего внимания. Я наполнил ванну горячей водой и лег в нее. Сквозь закрытые двери ванной комнаты я слышал, как хрипит мама, и думал, что выскочу, если звук переменится. Не понадобилось. Потом я вновь сидел рядом с мамой. Вечером в какой-то момент она перестала дышать.

Я тряхнул головой и огляделся. Над могилой продолжался погребальный обряд, муж покойной, заметно побледнев, смотрел в яму. Рабочие с кипами на макушке слезли с кучи песка и стали опускать гроб в могилу. На сердце навалилась тяжесть, я вспомнил Гомера, который, описывая роскошные похороны Гектора, упоминает о служанках, приставленных рыдать на похоронах. Он пишет, будто бы служанки, оплакивая Гектора, на самом деле оплакивают свою долю. Мне уже тогда, в юности, эта мысль показалась глубокой.

Теперь же, стоя среди строгой толпы и осмысливая сущее надо мной (и подо мной — на противоположной стороне земного шара) небо со всеми звездами, квазарами, черными дырами, видимыми и невидимыми лучами, волнами, пространством времени и т.п., в котором действуют теория Ньютона, теория Копенгагена, теория хаоса, сет-теория и прочие законы физики и математики, я упорно возвращался к мысли о силе, объединявшей мое сдавленное сердце с побледневшим лицом мужа покойной, с ударами комьев земли о крышку гроба, со слезами, текущими по лицам людей, и склоненными головами. Эта сила объединяла рыдавших служанок с Ахиллом, Гомером и мной, который в настоящий момент участвовал в похоронах учитель-

ницы танцев. Я давно уже понял, что абсурдно представлять эту силу иной, чем прочие силы, например, тяготение или электричество. Теперь я начинал подозревать, что она — непостижимым образом — может быть верховной, самой значимой в Мире. Так Рн. предполагает, что в искусстве главное — *растерзанное сердце*. Я придерживался того же мнения.

«Ну вот! — удивился я. — Опять рассуждаю об искусстве!» Меня это раздражало. Мысли о причинных связях, объединяющих физический мир и души людей, непозволительно часто и регулярно вторгались в сферу моих рассуждений.

Дома у меня было много произведений Рн. и Л. Где бы я ни жил, они согревали мой дом, так же, как некогда близкие и друзья придавали теплоту родному городу. Это я понял много лет спустя, когда один город, в котором я жил, так и остался для меня чуждым, а его улицы — холодными, не пробуждающими воспоминаний. Но я до сих пор не ответил себе на вопрос: искусство Рн. и Л. для меня так важно оттого, что в нем есть *растерзанное сердце*, или напротив — меня цепляют воспоминания о прошлом, прожитом совместно с этими художниками? Эту эстетическую загадку я задал, сказав себе, что ответ на эти вопросы — один и тот же. Распадающееся единство (в данном случае — дружба) тоскует по своей целостности — это и есть *растерзанное сердце*. Я гордился этим выводом. «Ох уж эти племенные сновидцы! — думал я. — Сократ был прав: поэты пишут не сами, их рукой водит демон».

Племенными сновидцами я называл художников и писателей. Я полагал: это наиболее чувствительные люди, чья миссия вдохновлять целенаправленно соплеменников на охоту, дорогу, битву. Недостаточно просто осмыслить и выразить общее устремление. Необходимо это устремление представить так, чтобы оно подавило все страхи и сомнения, объединило сородичей с окружавшим их миром, всеми мыслимыми связями соединило их с объектом. Желанную цель нужно было познать, прочувствовать, самому почти стать ею. Только тогда возможно найти к ней путь. На такое способно лишь сновидение чувствительного и, я бы сказал, пугливого человека. Поэтому и возникли племенные сновидцы — художники. Затем, уже став шаманами, они брали за свои сны вознаграждение, с той поры началось вырождение искусства, а продолжилось вплоть до импрессионистов — последних настоящих сновидцев, после чего наступил крах. Это, конечно, только часть истины. Всегда есть чувствительные люди, которые осмеливаются видеть сны публично. Самое плохое: если кто-нибудь изображает, будто видит сон, а на деле рассказывает или рисует то, за что соплеменники больше платят. Они искажают правду о Мире и жажде истины, а это, я думал, может неизвестно чем кончиться. «Расколотое целое трудно воссоздать, — думал я, — нужно искать разрозненные нити правды, а их способно найти лишь истерзанное сердце Рн., трепещущее оборванными жилками».

Ты, читающий теперь эти строки, вероятно, понял: я не думал обо всем этом на похоронах учительницы танцев, а воспользовался погребением как зацепкой, при помощи которой вылавливаю мысли и показываю связующую нас нить, трепещущую жилку, — хочу, чтобы ты ощутил ее подлинность и напряженность. Ты привык владеть своим зрением, но моя жилка приковывает его к этим буквам, ты воображаешь, будто сам поворачиваешь голову, а моя жилка наклоняет ее вперед. Я не трогаю тебя даже пальцем, но воздействую на твои мышцы, трогаю твоими руками вещи! Жаль, я не Достоевский и не Кафка — иначе я привязал бы тебя настолько, чтобы ты уверовал в силу, о которой я говорю.

Муж учительницы танцев, правовед, одно время писал (он мне об этом рассказывал) сериалы для телевидения; в отличие от жены, я о них невысокого мнения. Они, по словам жены, скрашивают жизнь людям, у которых серые будни. Поскольку таких людей в мире все больше и число сериалов растет, напрашивается вывод: людям в жизни очень недостает контактов (тех самых жилочек, не обязательно порванных и кровоточащих). Другой творец сериалов рассказывал, что при написании более сложного сериала он рисует на специальной доске всевозможные кривые — сюжетные линии, как эти линии должны сходить в сериях, чтобы зрителю было интересно... По идее, как он выражался, все должно быть в *клафе*. *Клаф*, насколько я понял, специфическое словечко. В начале каждого эпизода перед камерой ударяют полосатой палочкой о черную досочку. Эта досочка называется *клаф*, звонкий удар являет-

ся импульсом для начала съемки. Говорят, что теперь используют другое приспособление для извлечения подобного звука. Когда снимают много эпизодов, иногда упускают какую-то деталь (к примеру, забывают о картине, которая висела в кадре при съемках первых дублей того же эпизода). В таких случаях говорят: фильм не *в клафе*. Я поинтересовался у писателя: все линии его чертежа исходят из одной точки? Меня занимала графическая выразительность целого. Он сказал: нет, и это меня несколько разочаровало. Я где-то читал, что вселенная, вероятно, возникла оттого, что волна некоего звука всколыхнула материю Высшего разума, собранную в единой точке. Мне казалось: это очень красиво, когда все сюжетные линии вытекают из одной точки, из той, первой, в которой когда-то сфокусировался весь Мир. Это было бы как хлопок *клафа*.

Как продолжать мой рассказ? Описывать похороны я не хочу. Сегодня хороший день, со времени похорон прошло уже больше месяца. И ведь не о похоронах я пишу, а о той силе, которая, может статься, сильнее смерти (тут нельзя позволить мысли растечься — хотя очень заманчиво) и которая собирает на кладбище скорбных людей, из точки рождает вселенную и сводит бабочку-самку с самцом. Я имею в виду опыты с феромонами. Самцы некоторых особей «чуют» самок за многие километры. Я сейчас не припомню, за сколько, но помню, что он, самец, сворачивает по направлению к самке в тот момент, когда в кубическом метре воздуха имеется одна молекула феромона. Для меня это звучит сверхъестественно: эта одна молекула нечаянно попадает самцу в ноздрю, или он как-то иначе получает информацию о наличии самки неподалеку — о ней сообщает какая-то особая волна колебаний или Бог знает что еще? Как бы там ни было, представьте себе: два мешочка протоплазмы разделены десятком километров и движутся навстречу друг другу. Что их сводит, какая сила? Молекула феромона распространяет волну, та достигает усика (или чего-то еще, чем самец чует?), раздражает рецептор и порождает серию импульсов, которые движутся по нервным волокнам в мозг, одобренный половыми гормонами, и возбуждают в нем (здесь, возможно, уже следует употребить слово «самец»?) желание или чувство, т. е. причину, которую, если говорить обо мне, я назвал бы, к примеру, любовью. Возникшие новая волна *электроимпульсов* и серия химических реакций в мозгу самца по нервным волокнам вновь распространяются по всему его телу, действуют на лимфу, заставляют чаще биться его сердце, чаще дышать (у бабочки есть легкие? — я забыл все, что знал по биологии, но это не так уж важно). В этой *каузальной* точке цепи событий уже самец бабочки может назвать свое состояние любовью. Или внешний исследователь отметит изменения в его физиологии. На мой взгляд, самое главное во всем этом — крылья начинают трепетать иначе, он меняет курс, он направляет полет в сторону самки.

Итак — *мой читатель, внимание!* — из-за одной молекулы феромона эти два мешочка окажутся рядом и размножатся, заполнят пространство и, быть может, изменят поверхность Земли. Через молекулу (такую крохотную, единственную в кубическом метре воздуха) проявляется сила, о которой я повествую. Хотя пример с феромоном и свидетельствует о половом инстинкте, который я (неоправданно) красиво назвал любовью, та же сила главенствует и в других наших инстинктах и вообще во всех наших желаниях, даже в так называемых высших нравственных идеалах — в любви к ближнему, к родине, к Богу, в любознательности, жажде или зависти.

Возникает вопрос — очень важный вопрос: где в этой цепи (когда она действует во мне и через меня) я сам? Могу ли я не лететь к самке, не мстить, не есть? Когда импульсы завладевают мозгом, оживляют тело, стучат в сердце, могу я не бить крыльями, думать или решать не так, как они велют? И — это самый важный вопрос: ПОЧЕМУ И КОГДА Я ДЕЙСТВУЮ ПО ВЕЛЕНИЮ ЭТОЙ СИЛЫ ИСТЕРЗАННОГО СЕРДЦА, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ МИР, И ПОЧЕМУ — ПРОТИВ НЕЕ? Когда я буду служить Богу, а когда — черту? Полный абзац, думал я (это выражение было модным в начале восьмидесятых), полный абзац. *Не знает и мудрец*. Но верилось, что я поймаю разгадку, только нужно, не переставая, думать.

Жена не ладила с моей матерью. К счастью, им и не пришлось долго жить рядом, всего лишь (если оборот «всего лишь» тут подходит) несколько лет, когда мы вернулись в Вильнюс из деревни. Открыто они никогда не ссорились, но жена мою мать

недолюбливала, полагаю, что боялась. По всей видимости, ее и следовало бояться, потому что мать была искусным манипулятором, драматизировала происходящее и была искренней притворщицей, кое-кто величал ее стервой. Она умела достигать своей цели, ни с кем не считаясь, она вообще редко с кем считалась, исключая меня и ее брата — известного хирурга. Когда-то она побаивалась свою мать — мою бабушку. Припоминаю, что только после бабушкиной смерти мама закрутила роман с писателем (позднее прославившимся), который ненавидел власть и относился к писательскому делу спустя рукава, но при этом написавшим достаточно много, чтобы прославиться. Из-за политических взглядов его произведения печатали редко, однако и диссидентом он не стал. Жена Твардовского (известного в ту пору поэта) назвала его «мягким диссидентом», и он, обидевшись, спросил у меня и матери: «Она что, считает, мне следует сесть в тюрьму? Как иначе это можно понимать?» Любовник матери был интереснейшей и красивой личностью с романтической жизненной историей: его коснулись коллективизация на Юге России, в 1937 году — зверства ЧК в Москве, он был на войне, в концентрационных лагерях, в партизанах, под следствием в НКВД. К сожалению, больше написать о нем не могу, хотя желание есть. Подозреваю, что они с матерью любили друг друга. Моя мать разошлась с моим отцом, а писатель со своей женой не разошелся из-за любимого сына, которого он не хотел оставить без отца. В Москве у него уже был сын, выросший без отца: он «заделал» его еще до войны, будучи восемнадцатилетним, женщине, на пятнадцать лет старше его. Позже он пытался создать семью из меня, матери и своего любимого сына. Когда его не стало, эта «семья» распалась. Жена увезла останки на его родину, а сама перебралась с детьми в Москву.

Я не держу зла на мать, хотя и сожалею, что, когда вырос, у меня не было «дома». Зол я на то, что она не уважала отца и обманывала его. А я был невольным участником этого обмана. Возможно, поэтому, при всем моем обожествлении Шекспира, я не любил Гамлета. Он всегда казался мне претенциозным пустословом. Осуществляя коварный замысел, он заколол мечом нового короля, убийцу отца, запер в монастыре мать, втянул полкоролевства в свою личную драму. Он морализирует, философствует, убивает невинных людей (чем уж так провинился отец Офелии?), становится виновником смерти своих друзей и любимой девушки и под конец умирает сам. Жалкое ничтожество. Лучше бы отправился куда-нибудь во Францию или Швейцарию.

De mortuis aut bene aut nihil (о мертвых или хорошо, или ничего). На самом деле все бывает наоборот: о мертвых писать просто, они не возмущаются и отношений не прерывают. Живые узнают, что ты о них думаешь, и меняют к тебе отношение. Поэтому, любезный читатель, не жди, будто я ради твоего просвещения стану трепать родные сердца, вытягивать из них жилы и плести сюжетную ткань, которая питает тебя вышеназванной силой. Но без этого — как ты согласишься, если ее не почувствуешь? Вот где зарыт парадокс мудрости, вся хитрость пророков. Как говорится в персидском *Дезатире*: «Если тебя спросят, кто есть пророк, отвечай: тот, кто мне помогает познать мое сердце» (тебе — твое, мой читатель). Или, как говорил когда-то мой первый учитель: можно писать и своей кровью, но если есть выбор, то лучше чужой. Но кто согласится раскрыть перед тобой сердце, если ты ему не раскроешь свое? Говорят, это относится к психотерапии и психоанализу. Возможно. Если б я был настоящим писателем, я бы писал о себе и своих близких, притворяясь, будто пишу о других. Конечно, близкие огорчились бы, но и утешились тем, что другим невдомек, о ком я пишу. Сознание того, что о тебе пишутся книги, тешит самолюбие, как меня тешили записи Рд.

Дело в том, что Рд., познакомившись со мной через нашего общего друга Л. (точнее, наоборот: я познакомился с ним по собственной инициативе), вывел меня в своем произведении под моим настоящим именем, за что я очень на него обозлился. В утешение я вспоминал слова маминого любовника. Он говорил, когда его не печатали: «Вы будете известны лишь потому, что жили в одно время со мной и знали меня» (полагаю, он кого-то цитировал). И я говорил себе (с некоторым стыдом): «Быть может, ты останешься известен лишь потому, что написал обо мне». Однако я намеревался подать на него в суд: он без спроса использовал мое настоящее имя. К

счастью, в то время я надолго уезжал из Литвы, и мои намерения остались неосуществленными, и для меня это стало облегчением. Спустя несколько лет, когда Рд. посетил страну, в которой я жил, и позвонил мне, я пригласил его в гости, потом мы пошли в ресторан есть устриц — Рд. был большим гурманом, а я впервые в жизни попробовал этих устриц. На самом деле я был очень рад встрече с ним (в то время гость из Литвы был редкостью), но считал делом чести выложить, как я зол на него за использование моего имени. Он выслушал меня с суровым видом и ничего не ответил, не извинился. Почему он использовал мое имя, не знаю. В его произведении я — случайный персонаж, полу-ученый, полумистик и вещун. Я так и не понял, то ли в ту пору на него произвело впечатление мое увлечение некоторыми науками, то ли просто мое банальное имя показалось ему подходящим.

Дело в том, что еще задолго до отъезда за границу я размышлял о целостности души и материи. Своего друга Л., который был одновременно художником и физиком, я расспрашивал: как, сочетая закон отбора и сет-теорию, можно объяснить направление развития системы, в которой действует отбор (я собирался доказать, что любой отбор материализует закономерность природы — душу). Л. был одним из главных известных мне эрудитов. Подумав, он ответил, что некомпетентен, но у него есть друг, и тот, вероятно, может высказаться по этому поводу, потому что интересуется всем. Следует напомнить, что в те времена еще не было Интернета, все мы жили в Советском Союзе, который теперь называем *sovietai*, подчеркивая, что они, советы, были навязаны русскими, то есть были «чужие». Научная и художественная мировая литература была для нас почти недоступна. Меня тогда очень впечатлило, что есть человек, который умнее Л. и может что-либо высказать по этому сложному вопросу. Действительно, вскоре позвонил Л. и сообщил, что его друг Рд. посоветовал прочесть одну книгу. Не припомню, где я ее раздобыл, но это была та самая недостающая информация. Я проникся уважением к Рд. и заинтересовался, чем он занимается. Л. отвечал, что тот пишет. Рд. был первым, кому я рассказал про свои размышления о Мировом устройстве и попытках научно связать душу с материей. Он слушал немного угрюмо и, как мне показалось, чуть завистливо.

— Ты полагаешь, твоя профессия может все это охватить? — спросил он.

— Конечно, может, — ответил я, — это очевидно.

Он покачал головой. Стало ясно, что Рд. скептик, но я верил в свою правоту, поэтому его скепсис меня не трогал.

Теперь я состарился, переболел раком, провел много лет в чужой стране, которую так и не понял; вот стою рядом с любимой женой на похоронах учительницы танцев и наблюдаю ее мужа, мельтешащего у края могилы, — и я уже не такой оптимист. Грустные слова Экклезиаста и Рд. «*не знает и мудрец*» звучали и как издевка, и как утешение. Но я был упрям и верил в свою правоту. Возможно, тут ощущался налет мистицизма, видимо, именно это и уловил Рд. Черт с ним, пусть называет персонажа моим именем. Допускаю, что он, возможно, был прав, как был прав Пикассо, сказав о портрете Гертруды Стайн: «Вы такой станете». Одни способны писать чужой кровью, другие только своей. Если написанное не удачно, сочинителя легко высмеять: «...Ну вот и Саул(юс) стал пророком...» Кстати, Саул мне всегда казался человечней Давида. Пастушок пришел, когда все уже было сделано, а государство создал Саул. Давид распевал псалмы, прославлявшие Бога, Саул, в юности пытавшийся проповедовать, воистину искал Бога. Думаю, Бог (возможно, лишь после смерти Урии) понял, что Давид ему льстит, а на самом деле Его не любит, и поэтому не позволил ему строить храм. Тем не менее, Он (Бог) ценил заслуги Давида и восславил его. И все же их отношения были двусмысленны — отчасти поэтому и самому Иисусу предназначено было умереть на кресте.

Я ненавидел мистицизм, он казался мне отрицанием подлинной мудрости, самообманом, паразитирующим на природном чувстве родства и болезненной впечатлительности. При всем моем уважении к Якобу Беме, я, по большому счету, пренебрежительно относился ко всем, кто поддавался влиянию магии и отказывался от здравого смысла в пользу мнимого родства. Продажные люди. Я воспринял детерминистский принцип бритвы Оккама и всесилье науки. Религиозная экзальтация — хлеб для тех, кто не смеет изменять Мир и боится материи. В то время я бравировал

своим бесстрашием, лицемерил, — я ведь знал свои страхи и поэтому презирал себя. Позже склонность к религиозной экзальтации я стал связывать с воздействием мощного магнита на правое полушарие мозга. Дело в том, что исследования доказывали: такое воздействие вызывает во многих людях сильное чувство, будто кто-то чрезвычайно значительный находится рядом и люди в тревоге начинают его искать. Исследователи, помнится мне, этот феномен связывали с религиозным чувством. У темпоральных эпилептиков (думал я), которых матери вскармливали, но не держали в объятиях, не искали их взглядов и не радовались им, развивается недостаточность правого полушария. Моя мать была довольно экзальтированной особой, она полушутя рассказывала, что, кормя меня грудью, пыталась читать, а бабушка ругала ее за это. Мне было неловко слушать этот ее рассказ. Еще она говорила, что я больно кусался, потом стал капризным, но со временем постепенно исправился при соответствующем воспитании.

Отец обожал науку, особенно физику. Он зажигал лампу, стоявшую в углу на расшатанном темном столе, раскрывал книги, испещренные математическими формулами, в которых повторялся красивый значок интеграла и таинственные буквы греческого алфавита, и остро заточенным карандашом рисовал похожие знаки на пожелтевших листах бумаги. Там, в углу, вдохновенно светясь, он был отъединен от нас — от меня, мамы, бабушки, — он погружался в иной, истинный мир. Кеплер, Ньютон, Максвелл, Планк, Бор и Фейнман в сопровождении бильярдиста Кориолиса (разве это имя не звучит сказочно?) и Лапласа (я думал, что он мексиканец) толпились вокруг уютно освещенного стола вместе с ним, всезнающим демоном. Они не требовали ни любви, ни верности, не пытались впихнуть в меня котлету, не звали меня из окна, заставляя краснеть перед друзьями, а только играли радужными призмами в поисках вечной и безмятежной правды. И ни один из них не шепнул отцу, что мама ему не верна и любит другого. Чем очевиднее становились знаки ее влюбленности и неверности, тем острее отец затачивал карандаши, искуснее выписывал интегральные знаки. Отцовская голова все почтительнее и ниже склонялась над волшебными книгами, а над его уютно светящимся уголком сгущалось неясное облако. Какое-то время я, видимо, верил, что научные чары спасут нас от близящейся катастрофы. Но со временем облако превратилось в почти осязаемую мглу, которую постоянно пронизывал победоносный взгляд матери. Надо было выбирать, и я остался по эту сторону.

Несколько дней назад я постиг смысл жизни. Я этим открытием ни перед кем, кроме жены, не похвастал, но оно не произвело на нее большого впечатления. А мою жизнь оно перевернуло с ног на голову. Несложная логика моих умозаключений и универсальные выводы способны, мне кажется, навсегда (если только не будут найдены опровержения) указать людям их место и смысл поступков.

Признайся, читатель, сейчас ты подумал, что я шучу. Если я стану тебя убеждать, что говорю серьезно, ты заподозришь меня в слабоумии или мании величия. Твое право. Не спорю. Но ведь можно потратить часок на размышление: «А если сейчас мне на самом деле откроют смысл жизни, укрепят мое сердце подлинным знанием, ответят на вопрос, кто я и зачем живу?» Ты, видимо, злишься: «Ну говори же, хватит тянуть. Выкладывай все, тогда я пойму, что мне думать». Ты прав, теперь мне следовало бы изложить суть. Но беда в том, что, поняв смысл жизни, я прочитал несколько популярных статей по квантовой физике, которые заставили меня усомниться, не ошибся ли я в самом главном — в вопросе «что есть сознание». Ах, как все запутано! Но если уж начал, не могу отступать, расскажу тебе, мой читатель, что является смыслом жизни.

Итак, *о смысле жизни*.

Думаю, любой из нас (или почти любой) согласится: мы на сто процентов не уверены, есть ли Бог. Это значит: мы не в курсе, есть ли кто-либо, кто мыслит помимо нас, осознает противоречивость и смысл (т.е. обладает сознанием), радуется, горюет, жаждет, мечтает, желает и осуществляет желания. Зато мы знаем: это совершается в каждом человеке. Это Сомнение (пусть оно мизерное) побуждает нас вести себя так, словно наши души — единственное в Мире вместилище и источник чувств, мыслей, решений, а наши тела — единственные орудия сознания. Мы должны ощу-

щать себя единственным во вселенной разумом, единственным сердцем, единственной сознательно действующей рукой. Поэтому, само собой разумеется, мы ответственные за все, что происходит во вселенной, поскольку, возможно, никто, кроме нас, о ней не заботится. Неважно, что она огромна, а мы — малы. Выбора нет: если ты сознателен и остаешься дома один, ты один за него отвечаешь. Галактики крутятся в бесконечности, звезды взрываются и сплющиваются, Мир излучает невероятную мощь и целебный свет. Но, возможно, он безумен и бессердечен, без нас — он бездушен, бессилен, безволен. Вероятно, мы, люди (и животные?), — единственная форма бытия, которой Мир сам себя создает, оценивает и судит. Это и является смыслом наших с ним отношений. Пока не выяснится, что все иначе. Как сказал поэт:

...

Но что я делаю, что излагаю? Где эта пресловутая жилочка *растерзанного сердца* Рн. — я ее утратил? Скорее наоборот, мы сейчас — в самом сердце, внутри него. Потому что я предлагаю нам, мой читатель, место более почетное, чем то, где мы были до открытий Галилея, Дарвина и Фрейда. Я превращаю нас в то, чем мы еще не были, — в зеркало и весы Бытия, возможно даже, в его творцов. И ко всему прочему я пытаюсь идти научным путем, логически, без мистики. Одним росчерком пера (работаю я, естественно, на компьютере) возвращаю нам всем корону. Разве это не заманчиво? Однако существует «но». Ты обратил внимание на «*возможно даже*» («возможно даже, в его творцов»)? Ах! В этом малом «возможно» и скрывается все мое сомнение.

Как говорит мой друг Е. (Рн. проговорился, что Е. — его духовный ученик), деньги надо хранить в протестантской стране, а жить — в католической. Это утверждение, хоть и (по-моему) верное, имеет мало общего с вышеизложенным, просто я никак не могу понять, волнует ли хоть сколько-нибудь Е. смысл жизни. Он безумен много странствует по миру. К примеру, в настоящее время живет в Канаде, а работает на Гаити, иногда посещает Японию и прочие страны. Присылает мне необыкновенно выразительные открытки, которыми переполнен мой альбом. Когда я читаю его письма и иллюстрированные фотографиями «отчеты», приходящие изредка по электронной почте, я чувствую, как будто одновременно наблюдаю фейерверк и кинофильм Феллини. Я как-то сказал ему: если когда-нибудь Землю посетят инопланетяне и захотят узнать, что есть человек, им следует показать письма Е. И все-таки я не улавливаю, волнует ли его смысл жизни и *растерзанное сердце*. Иногда кажется, что да. Однажды, к примеру, он прислал письмо, в котором сообщал, что больно упал и повредил колено. Проходившие мимо канадские старушки жалели его на французском языке, а у него из рук прямо в грязь выпал только что купленный жареный цыпленок, ныло поврежденное колено, он был не в состоянии улыбаться старушкам и хотел в этот момент оказаться в Вильнюсе. В другой раз он написал, что в Китайском море его укусил ядовитый угорь, он попал в больницу и едва не умер. Поскольку мой друг всегда пишет в ироническом тоне, никогда не поймешь, нужно ли ему сочувствие, обычно я отвечаю ему, не задумываясь, подражая его стилю. Отослав письмо, я тогда спохватился, что ему не до шуток, и мне, вероятно, следовало написать иначе. Е., пожалуй, не имеет никакого отношения к похоронам учительницы танцев, просто он мне мил и в моем дворике спел на иврите *Ha Tikva* (гимн Израиля). Зачем литовцу нужно было разучивать *Ha Tikva*, не имею понятия.

С другой стороны, он довольно легко, в том же стиле (что об укусе угря и ушибе коленки) однажды пошутил про доктора Менгеле, в тот момент я почувствовал сухость в горле и холод в животе, примерно у диафрагмы, где, как полагали древние греки, гнездится человеческая душа. Тогда я понял (точнее, просто почувствовал), что я несвободен и, наверное, никогда уже не буду свободен. Я думал, что уже осмыслил и понял события тех прошлых лет, однако это было не так: я был прежним, как и пятьдесят два года тому назад, когда тетя Н., жена вышеупомянутого маминого брата-хирурга, объясняла мне, что я не смогу жениться на литовке, потому что они (литовцы) «убивали нас». Вот такие дела, мой литовский читатель (ведь пишу политовски, значит, в первую очередь для тебя). Мать говорила по-другому: были литовцы, которые спасали евреев под угрозой смерти, а отец добавлял: «Не бери в голову,

все это неважно». Из такого несовпадения мнений я сделал вывод, что у тети Н. по части женитьбы пунктик, к тому же для пяти-, шестилетнего меня это было неактуально. Однако через какое-то время я поссорился во дворе с девочкой, мы обзывали друг друга дураками и еще по-всякому (кстати, девочка мне нравилась), она обругала меня словом «жид». Я до тех пор не слышал этого литовского слова. Дома мы обычно говорили по-русски, поэтому я думал, что я «еврей». Вернувшись домой, я поинтересовался у бабушки, что означает слово «жид» и почему оно ругательное, — могу я этим словом обзывать ту девочку? Тогда произошло что-то невообразимое. Представь себе, мой читатель, что твоя родная бабушка, у которой спросили всего лишь о каком-то слове, поворачивается к окну, грозит кулаком и кричит «будьте вы все прокляты!» (и все это относится к обаятельной девочке и моим дворовым приятелям). Такое поведение бабушки возмутило меня, заставило задуматься о взглядах Н. и будущей женитьбе. В этом новом контексте, который открыла мне бабушка (в то время она еще не страдала слабоумием), Н. отнюдь не выглядела странной.

Мы часто беседуем с женой о том, что для наших родителей военное и предвоенное время было таким же близким, как для нас жизнь в Литве перед отъездом на чужбину. Предвоенное и военное время для родителей, пожалуй, было более реальным, чем жизнь после — так и для нас с женой жизнь «до» реальнее, чем «после». Мы не понимаем родителей, как не понимает нас наша дочь, как вообще дети не понимают родителей. Невозможно почувствовать то, что чувствовали они, как невозможно почувствовать и то, что теперь переживает муж учительницы танцев, хоть я стою рядом с ним и был знаком с учительницей. Когда ты не можешь чувствовать, приходится сочувствовать, но это не одно и то же, потому что сочувствие всегда разбавлено отношением к первичному источнику переживаний. Некоторые современные художники хотят избежать посредника — первичный источник переживаний. Они заставляют нас нюхать и наблюдать выделения, вместо того чтобы познакомиться с тем, чье тело их выделило, а сами при этом удаляются из зала. Если их работа поможет мне проникнуться сочувствием к дедушке моей жены — в тот момент, когда *стрибы*¹ выволакивают его из избы во двор, топят в луже и бьют так, что он остается на всю жизнь парализован, к тому же отбирают всю его землю, часть которой он унаследовал, а другую купил на деньги, заработанные в американской шахте... Так вот, если их искусство поможет мне проникнуться сочувствием к дедушке жены, к *стрибам* и молодому человеку, наблюдавшему экзекуцию из овина, отцу еще не рожденной моей жены, — я соглашусь и выделения нюхать, и в запертом вагончике посидеть часок (Л. рассказывал, что в Италии некий художник таким художественным произведением довел зрителей до клаустрофобии). Но я очень сомневаюсь: нашу породу меняет не кровь, не сперма или моча (я был на выставке, где все это предлагалось нюхать), в противном случае мы давно бы переменились. Подозреваю, что наша порода меняется под влиянием трепещущих жилок *растерзанного сердца*, их тугого переплетения, и благодаря тому (давайте же предельно свободно пофантазируем), что называют культурой. Здесь очень важно, чтобы кончики *разорванных жилок* не переставали трепетать, чтобы их трепет для человека был самым важным в жизни. Только разве это возможно?

Я никогда не был в Освенциме и Дахау. Попади я туда, лучше бы понял свою тетю Н. и бабушкину суровость, и даже отца, так настойчиво повторявшего, что «все это — ерунда». Хотя, полагаю, с годами я стал хорошо их понимать. Впервые «симптомы Менгеле» (сухость в горле и холод под ложечкой) я почувствовал в третьем классе, когда в Вильнюсе возле речки нашли труп убитой девочки, а мой одноклассник и друг Й. поведал, что ее убили жида (после случая во дворе я уже знал, что я жид). Еще Й. рассказывал, что жида шприцем выкачали из нее кровь. Когда его спросили, почему они так делают, он ответил: выкачанную кровь они добавляют в мацу на праздник. Я знал, что такое маца, весной мы ее ели, однажды я даже участвовал в праздновании еврейской пасхи в одном доме. Теперь неожиданно выяснилось, что мои родители, дяди и тети ежегодно убивали литовского ребенка и примешивали его кровь в мацу,

* *stribas* — подручный НКВД из местных; жарг., от русского «истребитель». (Прим. пер.)

которую я ел. Представь себе, мой читатель, ты узнаешь: твои родители каждый год убивают еврейского ребенка и подмешивают его кровь в пасхальную лепешку, которую ты съедаешь. Как тут сердцу не затрепетать от тайного ужаса? Здесь уже и не разберешь, чье сердце терзает: кровь так и брызжет. В наше время боль могут утолить рассуждения о вампирах, мол: «Аа, я принадлежу к семейству вампиров!» После этого вопрос о т.н. идентичности тебя уже не волнует.

(Кстати, именно сейчас, записывая эти строки, я сижу в самолете рядом с женщиной, которая утверждает, будто ее национальная идентичность очень крепка, и она ежедневно *поддерживает* ее особыми методами. Я поинтересовался, что такое в этом случае идентичность, и она, скрывая гордую улыбку, пояснила, что это знание того, кем она является, что ей принадлежит, а что нет. Я не удержался и спросил, почему тогда она ежедневно не *поддерживает* свой мизинец — ведь он является частью ее и сам держится, пока его никто не отрезал, ибо — увы! — он болит, когда его режут. Голова является еще более важным атрибутом идентичности, но и ее человек не особенно *поддерживает*, пока она не начинает болеть. Не является ли идентичность признаком того, что у тебя оторвано или не в порядке нечто, естественно тебе принадлежащее?)

Но тогда, в 1960-х, еще не было фильмов о вампирах, поэтому вопрос об идентичности, как и прочие, повисал в воздухе. Придя домой, я спросил у мамы, правду ли говорит Й., она ответила, что нет. На всякий случай я задал тот же вопрос отцу, он довольно строго подтвердил мамини слова. И все же я поинтересовался: вдруг это правда, а они ничего не знают или пока не решаются говорить, поскольку такое случалось в глубокой древности. Мне показалось, что отец даже побледнел, когда отвечал мне: нет, не сомневаюсь, такого не бывает. Было о чем задуматься, отец никогда не обманывал. На следующий день я заявил Й., что кровь из девочки, может, кто и выкачал, но только в мацу, это точно, евреи ее не клали. Й. таинственно улыбнулся и заявил, что они (жиды) и Христа убили. Я не знал, кто такой Христос, и Й. пояснил, что это Бог. Пришлось опять обращаться за разъяснениями к домашним, и отец чуть раздраженно, словно ему уже надоели мои вопросы, со странной улыбкой и глядя мимо меня, ответил: «Скажи Й., что Иисус был евреем». Я сообщил это на следующий день. Теперь, в свою очередь, несколько побледнел Й. и заявил, что Иисус — литовец, родом из деревни недалеко от Шяуляя. Мир для меня становился странным и непонятным: люди бледнели, говорили строго, я чувствовал, что все *не в себе*, как были не в себе тетя Н. и грозившая дворовым мальчишкам бабушка. Я был полон решимости и предложил Й. спросить учительницу. Вначале он отнекивался, но потом согласился, и в конце урока литовского языка мы вместе с ним подошли и спросили. Учительница ответила, что Христос был евреем, но это не имеет никакого значения, потому что Бога нет. Я был доволен ответом, отец был прав, но Й. сказал, что училка или сама не знает, или ей велено так говорить (тогда я предположил, что велел завуч Б., который вызывал у нас боязливую почтительность). Й. обещал точно разузнать, в какой именно литовской деревне родился Христос. Историю о бочке, утыканной изнутри гвоздями, я услышал лет через двадцать от симпатичной однокурсницы (ну и везет же мне!), которая верила, будто евреи до войны сажали в эти бочки христианских детей и пускали с горки. Моя жена тоже слышала в детстве множество подобных историй. Еще много лет спустя, где-то под Сейрияем, мы наткнулись на камень с надписью, что в этом месте немецкие оккупанты уничтожили 2000 советских граждан. Пожилой и хитроватый мужчина (мы у него снимали комнату) рассказал нам, что и как происходило во время войны в Сейрияе. Еще через несколько лет Л. рассказал мне, как солдаты СС громили дом лесника, а беременная жена лесника прятала возле себя четырехлетнего еврейского мальчика — будущего мужа сестры Л. Из отцовской родни погибла лишь одна тетя, отказавшаяся бежать: думала, что с медсестрами ничего не может произойти. Родственники моей матери из Жемайтии погибли все, я видел предвоенную фотографию, на которой человек двадцать сняты во время какого-то праздника.

Тут уже не разобрать, какие силы воздействуют — это не безотчетные колебания, не феромоны в одном кубическом метре. Сердца разрываются не от искусства, с ними расправляются при помощи кувалды, красное месиво выплескивается в кос-

мическое пространство на квазары и галактики (может, потому и возникло *красное смещение*), вселенная в ужасе застывает, а обнаруженные Рн. жилочки *растерзанного сердца* перестают трепетать. Большая беда искусства: волшебные жилки исчезают среди обычных жилок, метафора сливается с реальностью. Спасают лишь воспоминания о Дане, моей первой чувственной любви, мне было тогда пять или шесть лет, когда на площади Ленина (ныне Лукишкю) я слушал, как бабушка со своими подругами всех обсуждает, в том числе девушку, сидящую напротив. Во время войны ее спас и удочерил известный детский врач. Футляр Даниной скрипки и футляр ее подружки были прислонены к скамейке, видимо, девушки только что вышли из консерватории. Была весна, обе девушки, запрокинув головы, щурились от солнца, болтали и тихо смеялись. Подруга Даны была красивее (позже она вышла замуж за известного музыканта С.), но мне почему-то, возможно, из-за только что услышанной истории, приятнее было смотреть на Дану. Помню, я тогда неожиданно отбросил игрушки, лег на скамейку, откуда был виден мягкий и нежный профиль Даны, и меня охватило такое сладостное волнение, какого я никогда еще не испытывал.

Собрание, куда я опаздывал, должно было состояться в ресторане. За лакомой живописной едой и восхитительными напитками несколько избранных (мы ели и пили на деньги компании) должны были обсудить ближайшее будущее. Мне предлагали интересную работу и почетную должность. Досадно, но меня мало интересовали компания и ее подразделения, где мне предлагалось выполнять эту интересную работу, город, которому наша работа могла принести пользу, и даже страна, в которой я жил. Я надеялся, что окружавшие меня люди не заметят, в какой степени они мне чужды и непонятны. Пока я с ними — разговариваю, улыбаюсь, внимательно слушаю, — еще полбеды: мы вроде бы общаемся. Но едва расстанусь с ними, они для меня исчезают, оказываются в ином пространстве. Очень редко вспоминаю о них просто так, чаще всего — лишь когда возникает деловая необходимость, но и тогда вяло, словно через силу. Можно, конечно, все списать на чужой для меня язык (мне все еще трудно говорить на нем и понимать быстро говорящих) и культуру, с которой почти нет общего контекста. Но я все чаще подумываю, что это старость: жилочка *растерзанного сердца* во мне явно замирает. Уже не хватает сил выпускать новые ростки, не хватает жизненной энергии. Раньше эта жилочка, ищущая связь с оторванной частью, могла пробить асфальт, кровью оросить пустыню и пустить росток в безвоздушном пространстве. Теперь она ищет себе оранжерею. Раньше половинка моего *растерзанного сердца*, опьяненная собственным ритмом пульсации, верила: если и не отыщется вторая половинка, биение будет резонировать со всем миром, из него и сформируется утерянная часть. Ах, это мое глупое полусердце, ах, я тупица! Не знал, что сердце срастается совсем по-иному — в редкие мгновения блеклые жилочки начинают трепетать в одной амплитуде. Не нужно резонировать или звучать в унисон, не нужно дурачить мир. Нужно только отыскать общую, гармонично звучащую, мелодию. Там, где есть мелодическая гармония, Мир становится прозрачным. Жилочки соединяются, наполняются кровью, начинают ветвиться, проникают из одного желудочка сердца в другой и составляют единое целое. Здесь, естественно, кроется опасность, ведь ты можешь утратить часть своего *растерзанного сердца*, если она сильно срастется с другим, ты станешь трепетать не своим трепетом, сердце будет живо, но тебя не будет, кто тогда позаботится о нем и о Мире?

Теперь, мой читатель, ты наверняка думаешь, что я говорю непонятными метафорами, погружаюсь в ненавистный мне самому мистицизм. Тогда спрошу: разве будет проще распознать в себе эти «сердца», «жилочки» и трепет, если я обозначу их терминами *сепарации-индивидуации* и *аттачмента*? Естественно, ты проникнешься ко мне большим уважением и воспримешь сказанное как важную науку. Но разве «*первичная omnipотенция*» важнее, чем *сплющенное сердце*?

Итак, я был готов продать свои знания и время за деньги и гарантию равновесия, но не верил в искреннее понимание. Мир оставался бы неясным, непрозрачным. Мы поступаем, как государства: торгуем, обмениваемся выставками, переводим книги, путешествуем, знакомимся, учреждаем посольства, посылаем разведчиков. Если кто-то с тобой общается, ты можешь не сомневаться: он от тебя что-то получает, а если тебе самому приятно с кем-то проводить время, будь уверен, ты тоже что-то от

него получаешь. Выглядит так, будто у каждого из нас в потайной доле мозга сидит маленький бухгалтер, которого пока не обнаружили ни неврологи, ни психологи. Этот бухгалтер довольно точно подсчитывает оборот и регулярно предоставляет отчет гипоталамусу. У некоторых бухгалтерия жульничает. Припоминаю, как еще в Вильнюсе, когда я работал в одном учреждении, мы, сослуживцы, ходили компанией пить кофе, и обычно кто-то один расплачивался (в стране, где я живу теперь, это исключено, каждый платит сам за себя, и я никак не могу к этому привыкнуть). В Вильнюсе мы обычно платили по очереди, хотя эту очередь никто не соблюдал. Спорить тоже не приходилось, просто ты говорил: «Сегодня плачу я» — и все. Люди в компании менялись, и всегда отыскивался такой, кто никогда не вызывался платить или вечно объяснял причину, почему не платит. Однажды, когда он в очередной раз объявил о забытом кошельке, кто-то поинтересовался: «А у тебя он вообще имеется, может, скинемся и купим?» Мне было неловко, я подумал, что так нельзя и потом упрекнул любопытного. «А что, — ответил тот, — мне вечно за него платить?» Меня заинтриговала эта *психозкономика*, и я подсчитал, кто сколько раз платил. Оказалось, решающей цифрой было четыре. Нечеткость статистического анализа (разнобой данных о численности группы, ее демографическом составе и репрезентативности, цене кофе и пр.) подрывает ценность обобщения, однако я заметил: если в большой компании кто-то трижды почувствовал, что *X* должен платить, но не платит, — на четвертый раз этот кто-то не стерпит и выскажет здравое замечание.

Внутренние бухгалтеры работают цепко, могут и кредит рассчитать. И, как я убедился, всегда вытребуют для себя то, что им причитается (иногда самыми невероятными способами, даже разрушив жизнь тому, на кого работают). Некая С. вышла замуж за алкоголика. У того есть еще одна женщина, к тому же он иногда бьет С. С. — женщина умная, в прошлом красавица, могла бы найти себе десять непьющих. Дети стыдятся отца: на автобусной остановке он, весь в блевотине, цепляется к прохожим. Зарабатывает немного; маловероятно, что в постели они бывают вместе, но раньше, когда бывали (однажды она об этом проговорилась), муж ее не удовлетворял. Здесь можно усомниться во всей теории *психозкономики*: что С. со всего этого имеет? Я решил было отказаться от спорной теории, и тут С. неожиданно поведала мне, что ее отец ушел из дома из-за придираков матери. С. тогда было три с половиной года, но в памяти запечатлелась картина: отец в желтой рубашке уходит, не оглядываясь, по улице. Эту картину, по ее словам, всегда сопровождает «физическое желание»: пусть он обернется и посмотрит на нее. Жизнь сложилась так, что они никогда больше не встретились. Уже будучи взрослой, С. собралась к отцу в другую страну, но именно в это время он умер. Я не успел уяснить, чей долг и кому платит бухгалтер С., только понял, что в этом балансе все запутано несколько поколений назад.

Как бы там ни было, одни готовы многим пожертвовать ради славы, другие — ради денег, третьи — ради секса, попадаютсся и такие, как С., — жертвующие ради любви. Этого делать не нужно. Если я когда-нибудь напишу учебник по *душеэкономии*, подчеркну: любовь не конвертируется, и ее баланс необходимо подсчитывать с особой ответственностью. Если твой бухгалтер тебе говорит, что ты ее получаешь мало, — немедленно требуй компенсацию; если чужой бухгалтер считает тебя должником, тут же производи у себя аудит. Секс тоже плохо конвертируется, возможно, из-за того, что тесно связан с любовью — или сам ее вызывает, или воспаляется от нее; поэтому, полагаю, и проституция — профессия не уважаемая.

Чувствую, мой читатель, ты все еще не понимаешь, почему история о похоронах учительницы танцев и трактат о силе, движущей протоплазму, соседствуют с описанием стран и валют.

Представь себе, в Латвии извергается огромный вулкан (хотел написать «в России», но где взять вулкан, который ее накрыл бы), и через секунду вся Латвия пропадает. Что тогда происходит в Литве? Некая семья отдыхала в Юрмале, и Собес готов оплатить латвийские лекарства, однако денег Литва не получит. Литовское представительство в Латвии исчезло, многие инвестировали средства в какой-нибудь латвийский бизнес — эти средства тоже пропали, в наши банки и промышленные предприятия вложены латвийские деньги — что с ними делать, кому они теперь принадлежат? Что будут делать люди, знающие латышский язык, откуда мы будем

брать шпроты, по каким дорогам поедет в Эстонию и Финляндию, как будут смотреть на Прибалтику США и ЕС после извержения вулкана, если одна из трех стран исчезла? А самое главное — будет ли что-то расти на этой сожженной земле, вернутся ли туда люди? То же самое и с учительницей танцев; для меня, слава богу, она вроде Монако: я был там дважды, видел казино, жалею, что не посетил океанический музей Жака Кусто, и только. Но для детей и мужа она — как Латвия.

Литва после исчезновения Латвии, надо полагать, выкарабкается, одолеет нахлынувшую невзгоду, страх, смятение, нехватку товаров и последствия переворота на рынке. Не без досады и злости, хотя сердиться вроде бы не на кого. В конце концов Литва наверняка подсчитает все пропавшие поезда, деньги и лекарства, помянет умерших, поддержит сирот, отстоит минуту молчания. Однако в Литве останется посольство Латвии! Чем оно будет заниматься? Без своей страны и своих денег оно никому не нужно. Поначалу сотрудники еще будут чувствовать свою нужность — участвовать в различных церемониях, объяснять, что и как случилось, носить траур. А что потом? Кто они и зачем? Еще один очень важный момент в размышлениях: если они почувствуют себя главными представителями бывших и здравствующих латышей, бывшей страны и народа, они вправе обратиться к литовскому правительству за поддержкой и помощью. Литва согласилась бы предоставить помощь, но какую? Соорудить памятник соседнему государству? Но члены правительства скоро смекнут: «Памятник установили, сочувствие выразили, однако у них неплохое посольское здание, могли бы куда-нибудь переселиться, и вообще, что с ними дальше делать?» Латвийского посла и других посольских работников все реже зовут на приемы и национальные праздники, им надо искать другую работу, говорить по-латышски нет смысла, их дети становятся литовцами или едут в чужие края, скорее всего в Америку. Кстати, с Америкой связан вариант № 2: Америка, не желая, чтобы пустую землю заполнили русские, открывает латвийское посольство в Вашингтоне, печатает латвийские паспорта, учреждает латвийское телевидение и радио в Интернете (это стоило бы недорого).

Воспользуюсь случаем и похвалюсь: у меня есть литовский паспорт, полученный в ту пору, когда у Литвы еще не было паспортов, все пользовались советскими. В 1991 году его подписал в Нью-Йорке Генеральный консул Аницетас Симутис и выслал его мне по месту жительства. Если кто не знает, поясню: Литовское консульство сохранилось в Америке с довоенных лет. Иногда я думаю, что воображение — как математика: в математике нет раздела, которому рано или поздно не найдется соответствия в физике. Так и воображение — слабее грядущей реальности.

Третий вариант: литовское правительство решает открыть музей Латвии, а день извержения объявить Днем Латвии. Литовские граждане ежегодно его отмечают, приглашают спасшихся латышей и выпивают за их здоровье.

Прости, мой читатель! Я знаю, что воображенная мною картина и смежные рассуждения — нетактичны, даже обидны для граждан четырех стран (особенно Латвии). Но пойми, это лишь пример, ничего более, сравнение, которое, я надеюсь, подействует на обоим лучше понять события на похоронах учительницы танцев.

Первый из трех сценариев означает полное забвение Латвии. Замены не происходит, нет никакой рациональной основы для ее существования, она исчезает навсегда. Так случается с человеком, который не был значим для нас. Второй сценарий — о человеке, который был для многих особенно значим, после смерти стал символом и работает на живых. Такое произошло с Христом, Магометом и Лениным. И только третий сценарий (сознательно хранимая память) бережет Латвию — как дорогого умершего человека. Сохраняет примерно таким, каким он и был. Что же является мотивом сохранения? Кому нужна Латвия без товаров, железной дороги и порта? Для кого и ради чего она может быть важной? Напрашивается красивый ответ: для любви. Понимаешь, только любви важно сохранить память, в особенности о том, что мы называем душой. Употребив слово «психика», мы подчеркнем научность исследования, но дело в том, что «душа» связывается, как правило, с божественными началами, а «психика» — с материалистическими (в этом случае некоторые предпочитают слово «ум»).

Уфф! Мне самому странно: я подобрался к той точке, где все — Латвия, человек,

дерево, дом, пейзаж и т.д. — существуют как бы двумя способами.словно две части одного существа живут порознь и удаляются друг от друга (недаром «судьба» и «доля» — синонимы). Но судьба в обеих метаморфозах имеет нечто общее с любовью (в голову лезет Овидий, всякие чудеса, когда мысли лопаются, будто почки на весенних ветвях, или я нездоров?). Не подумай, читатель, что я не слышал о дуализме, о репрезентативности, просто мысли мои из данной плоскости устремляются к господину Лейбницу. Я обещал поставить тебя в центр Вселенной — и доказать, что ты есть монада, организующая весь Мир. И докажу. Отведаешь подлинного монизма.

Посмотри: что такое Латвия или (оставим же наконец латышей в покое) Литва? Лоскуток земли? Было время, когда поляки забрали Вильнюс, а сегодня Калининградская область, которую мы называли Малой Литвой, не относится к этой пяди Земли, но Литва существует. Люди? Вот меня, к примеру, там нет, а она есть. Каждый день там что-то меняется, что-то разрушается, строится, но имя все то же — Литва. И не только имя, сам знаешь. Если бы наша учительница никогда не плясала, не учила детей танцевать, — чьи бы похороны я сейчас описывал? Да и ты, мой читатель... Я лишь теперь спохватился, что обращаюсь к тебе фамильярно: мой читатель, милый читатель — на самом деле ты мне совсем не знаком. Нет! Ошибаюсь. Ты не можешь быть не знаком: ты ведь уже прочитал все до этого места, разве мы не делились мыслью и чувством? Я не знал бы тебя, не уважал, не ценил, прерви ты чтение или вообще не возьми в руки эти листки, но, к счастью... Если в этот момент (прямо сейчас!) ты не читаешь, — значит, ты не читатель и я не к тебе обращаюсь.

Однако продолжу мысль: я буду примером. Представим, что мы были знакомы лет десять назад, и я не сильно изменился, немного поправился и облысел, но легко узнаваем. Ты воскликнешь: «Ла, — или, — Ло (так я тогда прозывался)! Привет, как дела?» И я отвечу: «Привет!» Но если подумать: почему ты здороваешься, а я тебе отвечаю? Ведь за эти многие годы все наши атомы переменились, явились новые. От меня прежнего, которого ты обнимал десять лет назад, (прими это к сведению) ничего не осталось. Кого же ты во мне опознал? И кого я узнал в тебе?

Соотношение, друг мой, или взаиморасположение — все это чистая математика. Взаиморасположение лба и волос, глаз и губ, ушей и носа. Как в детективном фильме, когда свидетеля просят нарисовать словесный портрет преступника, так твой фоторобот воспроизводит меня. В его аналоговой, цифровой или химической картотеке детально зафиксирован я — душа и облик. Мой портрет, сохраненный в тебе, для меня очень важен, важнее, чем мои собственные атомы и молекулы. Ибо: если я вообще хочу *быть* (а ведь я хочу), скопление моих атомов и молекул должно быть распознаваемо. Мной самим и другими. Даже если атомы и молекулы будут блуждать внутри моей оболочки, но при этом ни я, ни ты, ни кто-то другой со мной не знакомы, — какое мне дело до этих перемещений? Узнавание (или воссоздание, когда вспоминаешь то, что тобой уже познано) — вот содержание всей нашей жизни и всего Бытия. Только в других (даже если эти другие — во мне самом) мы живы для восприятия и любви, ей одной дано сохранить эти восприятия. Любовь является непосредственным знанием и убежденностью в том, что другой — это часть меня или когда-то был частью меня, или станет ею, как стали частью меня спасенная Дана, Л., Рн., Рд., тетя Н., бабушка, мама, отец, одноклассник Й., Аницетас Симутис, Вильнюс, Литва и (наконец) страна, в которой ныне живу. Даже люди, о которых пишу, будто они мне неинтересны, — ведь я так пишу из зависти: знаю, им-то их родина мила и понятна так же, как мне когда-то была понятна Литва (невзирая на то, что для большинства ее жителей Христос является Богом).

Теперь ты почувствовал, мой читатель, как неуклонно сгущается сила, объединяющая *мешочки протоплазмы* и добывающая из нас солоноватую влагу? Это боль *растерзанного сердца* (обязательная в художественном сочинении, которое является формой, требующей восприятия, узнавания или признания), идентичность (пространство взаимосвязей), любовь (непосредственное знание) и пытливость выкладывают единую мозаику. Ты постигаешь, что все это разные стороны утерянного единства — тоска по нему, его поиски.

Эти внутренние фотороботы иногда предельно точны и живут своей жизнью, как некие големы. Отец рассказывал: в дальних плаваниях, когда требуется определить

местонахождение корабля, надо знать время и на ином меридиане другого конца Земли. Поэтому в давние времена, до изобретения радио, был выбран условный пунктир, рассекающий городишко Гринвич, а на всех кораблях имелись хронометры, и они всегда показывали время «по Гринвичу». Ежедневно в полдень показания этих часов сопоставлялись с положением солнца над горизонтом. Судьба корабля и команды зависела от точности этих часов. Так же важны и наши внутренние фотороботы. Верю, что до болезни матери я точно знал, насколько она стосковалась по мне, я точно знал, когда ей следует позвонить. Иногда я тянул до последней минуты (дело в том, что здесь у нас был один телефон на три семьи, и к тому же звонить за границу было накладно). В трубке я часто слышал: «Как хорошо, что ты позвонил, я как раз набирала твой номер». Наши часы работали синхронно, ее голем (фоторобот, посольство ее страны) жил во мне в зависимости от движений ее души. Верю: я почти достоверно знал, что именно и почему она ощущает и думает. Помню, только однажды произошло непредвиденное; я отдыхал в Паланге с упомянутой тетей Н. и ее сыном (моим двоюродным братом, который два года назад умер в Америке) и не думал увидеть маму, вдруг рядом остановилась машина, а из нее вышла мама: они с братом (мужем тети Н.) решили устроить сюрприз. Помню, мое лицо запылало, сердце заколотилось, и дядя воскликнул: «Гляди, как он покраснел, он тебя любит». Трудно вообразить большую бестактность, но таковы они были, мои близкие, мама и ее брат.

Теперь у нашей семьи три мобильных телефона, я с гордостью увековечиваю сей факт золотыми красками на постаменте создаваемого шедевра. По воспоминанию о «Тысяча и одной ночи», где халиф постоянно велит что-либо запечатлеть золотыми буквами в уголке глаза (меня всегда поражало это высказывание). Мы ежедневно звоним друг другу.

У меня даже есть лодка, правда, старая и обшарпанная, но большая, с дизельным двигателем, каютой и настоящим штурвалом. Я выхожу в море и (порой) мысленно беседую с отцом. Он, мой отец, был романтик: его глаза иногда оказывались на мокром месте (кстати, как и мои) — поводом могла быть серенада Шуберта «Песнь моя летит с мольбой тихо в час ночной...», стихи Гейне, рассказы Мопассана, мужество золотоискателей Клондайка, вальсы Шопена в исполнении мамы, подвиг автора Марсельезы Руже де Лилля, внезапное вдохновение («Гений одной ночи» Стефана Цвейга), но чаще всего радио «Коль Израэль» (голос Израиля). Приемник стоял в родительской спальне, и когда отец в ней запирался, вскоре оттуда слышалось тихое тархтение, треск, и на коротких волнах (31, 33, 41 и 49 м) по спальне распространялась чуть грустная и торжественная мелодия — *ла-ла-ла-лааа-лааа-ла-ла-лааа*. В это время, как я уже говорил, отцовские глаза увлажнялись, он растерянно улыбался и спрашивал невпопад: «Ну что?» А потом утешал сам себя: «Ну что, в самом деле, какая все это ерунда». Двойная коммуникация, как сказал бы психолог.

Я тут упоминал лодку и море. Отец почти десять лет мастерил лодку. Расстилал на полу большие листы миллиметровой бумаги, остро заточенным карандашом с невероятным тщанием вычерчивал корпус лодки. Когда листы множились, он их складывал, пока не формировался борт. Отец деловито рассматривал чертежи и заявлял, что судно не годится для моря — маловато, а для Тракайских озер и Куршского залива в самый раз. Когда отец умер, я узнал от его второй жены, что он смастерил (или купил) какую-то лодку и даже плавал на ней по Тракайским озерам с ее племянником. Позже, когда денег не стало, ее пришлось продать. Об этой лодке сам отец мне никогда не рассказывал. Этот племянник жил в России, в Поволжье, позже он спятил, но успел купить лодку, и родственники не знали, куда ее деть. Уже перед самой смертью, сидя у изголовья и желая отвлечь отца от ужасной боли, я ему рассказал, что в стране, где теперь живу, продается резиновая лодка с мотором *yamaha* (тогдашняя моя мечта). Я не думал, что он вообще меня слышит: сознание то покидало его, то возвращалось. Но он внезапно открыл глаза и улыбнулся:

— Я тебе купил бы ее, если б мог.

— Что? — удивился я.

— Я тебе купил бы ее, если б мог, — отчетливо повторил отец и закрыл глаза.

Последние годы он жил в бедности, после восстановления независимости в

Литве было трудно. Бросив профессию и учебники Фейнмана, отец работал переводчиком у знакомого бизнесмена, ездил с ним вместе по заграницам, Они ночевали в кабине на площадках бензocolонок, но отец не разбогател. Денег едва хватило на билет в Израиль. Там он навестил братьев. Все братья уехали после восстановления независимости, а он остался в Вильнюсе. Так вот у нас получилось.

Мой уважаемый и дорогой читатель, я бы мог рассказать еще много занятных историй, но вдруг ощутил, что пора завершать рассказ — «время разбрасывать камни и время собирать их». Если ты дочитал до этого места, значит, жилка, связующая Гомера, прилежных плакальщиц, семью покойной учительницы, меня, маму, отца, друзей, спятившего племянника мачехи, маминого любовника и всех других упомянутых мною лиц (да еще и хмурое осеннее небо в день похорон, могильщиков, тележку с дурацкими колесами, всю страну, в которой живу), — эта вот жилка вплетена теперь и в твою душу. Надеюсь, у тебя было время обдумать и понять, что она такое и как действует.

На всякий случай — пусть это и лишнее — поясню еще. Жилка, проводящая силу, которая склоняет тебя к этим буквам и собирает людей на кладбище, есть тайное знание отдельных частичек целостного пространства, где океан раскачивает хронометры, и времени, когда в лодке беседуют с отцом. Тайное, поскольку предполагается: часы давно не показывают никакого Гринвича, да и отец в последние годы так изменился, что наша беседа уже не та. Тайное знание делается общественным достоянием, а предугаданное становится явью только тогда, когда они тебе кровно знакомы, когда они — твоя жизнь и судьба. Познание предугадания превращает волну в цепочку *каузалитета* — если не веришь, спроси у физиков.

Если ты, мой читатель, ждешь доказательств, вот одно из них: признайся, теперь ты хотел бы меня увидеть, побольше узнать обо мне — как мое настоящее имя, в какой стране я живу, что в этом тексте правда, а что — нет. И я хотел бы тебя увидеть — кто ты такой, как выглядишь, чем живешь? Между нами проскочил *стринг*, острое мгновение, искорка. Разожжем очаг или станем швырять головешки в глухую вечность — неясно. Но мы уже вылепили из хаоса бытие, оклик, душу, проясняющую наше с тобой сознание, *эпистему*. Эта связь, этот оклик — первичны, они — начало начал. Физики это уже определили (*интерпретация Копенгагена и теория стрингов*), математики вычислили (*сет-теория и пространство Банаха*), а психоаналитики этим кормятся, но ни те, ни другие не поняли, что это и есть начало Бытия, его суть. Один только я это понял, ибо все время об этом думал, теперь и тебе рассказал, знай себе на здоровье.

Признаюсь, я покинул похороны, не найдя сочувственных слов для семьи покойной. Я продирался сквозь траурную толпу, не зная, полагается ли кивать. Я был раздерган, расстроен непониманием: что они думают о таком моем поведении. Я вышел за кладбищенскую ограду и направился к машине. Напоследок оглянувшись, издали увидел скопление черных фигур, спину мужа покойной и кружочек кипы на его макушке. На мгновение вспомнил маму, отца и свою болезнь, захотел оказаться близко к жене, быть рядом с нею и всей толпой там, на кладбище, — но сел за руль и повернул ключ в замке зажигания.

Акоб Мовсес

Первопричина

* * *

Есть миг, и никто не причастен к нему:
вдруг уединенно заплачут свирели,
и неумолимо вплетется во тьму
Двенадцати скорбь, безутешнее трели.

Разверзнется бездна предвестьем беды,
как по мановенью волшебного жезла,
и суша исчезнет в пучине воды,
как если бы рана, всосавшись, исчезла.

Поймите, ей больше не хочется быть,
являть нам свой норов свирепый и милость,
а хочет она бытие — прекратить,
дабы что ни есть — все в ничто превратилось.

Вселенское око в тот миг соберет
лучи, что везде и повсюду сияли,
нет, не распахнется, но наоборот —
замкнется, закроется, словно вначале.

И в воздухе высей, пустом изнутри,
не станет ни слова, ни света, ни сини,
и — зеркало вдребезги (бей, не робей),
и ты прикоснешься, что ни говори,
к навеки раскрывшейся первопричине
щемящих мучительных слез и скорбей.

Снова на охоту я иду

Я охотник, чтоб вы ни сказали,
кто бы головою ни качал.
Поглядите на мои сандалии
и на полный стрелами колчан!

Не нашел я дичи ни за лугом
в роще, ни в лесу, ни на пруду.
Следственно, вооружившись луком,
снова на охоту я иду.

Я охрип от крика, связки сели,
кто меня толкнул, я не пойму —
потому все стрелы мимо цели
пролетели, только потому.

(Свыше наставленье прозвучало:
«Дичь на волю отпусти; да, так,
Чтобы подстрелить ее, сначала
сердцем улови особый знак.

Кубатьян Георгий Иосифович — поэт, переводчик, литературовед. Родился в 1946 году в Уфе. Окончил Горьковский университет. Автор поэтических сборников: «Имя», «Зона заплыва». Переводит армянскую прозу и поэзию. Лауреат премии журнала «Дружба народов» за 2010 год. Живет в Ереване.

Мовсес Акоб — поэт, переводчик. Родился в 1952 году. Окончил Ереванский педагогический институт. Автор поэтических сборников «Небо полетов», «Песнопения» и др. В переводе А.Мовсеса изданы книги Гельдерлина, Ницше, Рильке, Бобровского. Живет в Ереване.

Славный ты охотник!» — голос лился
и стезю указывал, и звал.
Только почему ж Он прослезился
и меня в глаза поцеловал?)

Почему сбежал олень в долине
и ни разу не попался лось,
почему мне никого доныне
подстрелить, увы, не удалось?

Дичь я упустил, остались тени,
дичь была в горах, да вся сплыла:
навсегда фазаны улетели,
скрылись навсегда перепела.

Может, снова все впустую, Боже?
Может, промахнусь опять? Прости.
Птицы все же хороши до дрожи,
и я знаю, где мне их найти.

Всюду звенит жизнь

Воздух уже напоен ароматами флоры. Потрескивают стручки бобовых.
Юнец творенья берется за маску, и перед нами предстает лучшее лицо Анонима,
и тот по темной лестнице добирается из подвала до царской веранды с колышущим-
ся черным сукном
и до затерянных в горних сферах этажей безмолвия
и мановением руки достает из-за пазухи перл своего одиночества — дамасскую розу
Сириуса.

* * *

Исполняя обет Света, он достигает отдаленнейших пажитей мироздания.
Повсюду звенит жизнь, как звенит бубенец на шее козьего жожака,
который задумчиво трусит вслед за Богом.
— Господь раздроблен уже до такой степени, что не в силах исчислить сам себя.

И стал свет...

Читали ли вы первое державное веление, слышали ли первое Господне слово?
Итак, в излиянии Творца излился также Свет... Итак, в излучении Творца и Свет
излучился...
— Золотой агнец Божий, льнущий к Его пятам и питающийся из десяти перстов Его,
сойдя в мир, убережешь ли ты для нас в своих глазах память
о младенческих яслях первого рассвета?

* * *

— И стал свет. Божий лик исходил милосердием. Жуткие пространства отрясались от
мощи броска, которым Ангел заарканил время. Служители царствия сгребали кучка-
ми в закуток мрачные отходы творения.

* * *

Закупоренный рот, искаженный страстной жаждою речи... Божий первенец! Живот-
ворная влага мироздания!
(— Однако говоришь ли ты про то, что видел сам, или слышал это от кого-то?
— Слово достойно веры не в минуту, когда повествует о виденном или, точь-в-точь
пальцы Фомы,
вложено в рану,
но когда, подобно бальзаму, изливается из сосуда восхищения.
— Верьте ранам моим!

* * *

Верьте мне, одинокому. Я вовсе здесь и не чаю
поведать вам о наилучшем; оно припасено для словотворцев,
которым я не чета.
Моя — надежда, и я истово мечтаю —
коль скоро ей не суждено сбыться, ее хотя бы заметят.)

Меружан

Из бездны

От переводчика

Разговор о поэте — это, конечно, разговор о стихах. Остальному следовало бы уместиться в короткой биографической справке, в комментариях и сносках. Однако в случае с Меружаном этим правилом надо пренебречь и начать именно с биографии.

Меружан (Меружан Ованесян) родился в 1940 году в Эчмиадзине.

При коммунистах он был инакомыслящим, убежденным и, с позволения сказать, наследственным. Одного его деда большевики расстреляли в 1922 году, на заре советской власти в Армении, другой, о. Адам, священник ошаканской церкви св. Месропа, погиб в 37-м. Тогда же погибли два его дяди, братья матери, а отец, арестованный в 39-м, оказался счастливым и через год вышел на волю.

Арестантская одиссея самого Меружана началась, когда ему только-только стукнуло восемнадцать. Отсидка продлилась год, и вот уже Меружан — студент филологического факультета в Ереванском университете. Но вместе с шестью товарищами он создаёт Армянский молодёжный союз, пишет статьи и листовки, требуя возвратить Нагорный Карабах и Нахичевань. В конце 63-го подпольщиков арестовали; последовало «дело семи», и Меружан получил пять лет. И отсидел от звонка до звонка — в Мордовии, в лагере, и во Владимире, в том самом централье. С кем только не встречался Меружан за колючей проволокой — Андрей Синявский, Анатолий Марченко, Эдуард Кузнецов. Особенно близко он сошелся с Юлием Даниэлем, оказавшим на него заметное влияние. Меружан и сегодня говорит о нём исключительно в превосходных степенях.

Он не писал просьб о помиловании; напротив, отличался строптивостью, многократно стоившей ему карцера. По возвращении в Армению Меружану добавили год гласного надзора, а сверх того — пожизненный волчий билет. Окончить университет ему не позволили, печататься под своим именем он не мог; изредка публиковался под псевдонимами, сочинял рефераты для слушателей Эчмиадзинской духовной семинарии, работал на стройках. И лишь изредка по недосмотру компетентных органов ему удавалось тиснуть — и под собственным именем! — стихи. Впрочем, чтобы подсчитать эти случившиеся за полтора десятилетия недосмотры, с лихвой хватит пальцев одной руки.

Зато когда в Армению приезжал из-за границы визитер, чьи контакты с эчмиадзинским отщепенцем были бы нежелательны, Меружана на недельку-другую сажали в кутузку «за хулиганство». В конце концов, он надоел гебешникам; от него надумали избавиться всерьез. И в 1983-м — очередной арест. Дело фабриковали долго, без малого три года; Меружан дожидался своей участи в тюрьме. Приговор грянул уже в 86-м — четырнадцать лет лишения свободы! Вдумайтесь, объявлена перестройка, через полгода выпускают академика Сахарова, следом вернутся домой почти все «политические», кто дожил до свободы.

Меружан не был знаменит. О нём, похоже, забыли. Но когда он очутился близ Красноярска, его навещал Виктор Астафьев. Он сидел в Норильске, в лагере для особо неблагонадежных; окрест бушевали не ветры гласности, но заполярные метели. Вспомнили про Меружана только в 92-м, когда власти, с которой он боролся, наконец-то, не стало.

Читая стихи Меружана, понимаешь: этот упрямый и заскорузлый диссидент отнюдь не человек из железа. Его стихи горькие, сумрачные, а лагерный цикл горек вдвойне. На каждом шагу поминается смерть, ожидание смерти, движение к смерти.

Чему тут удивляться; вот и Варлам Шаламов, описывая свои состояния в неволе, сравнивал себя с мертвецом — это во-первых, а во-вторых: «И не смены, а смерти я жду». Чему тут удивляться; вот и Анатолий Жигулин, куда более сдержанный, нежели Меружан, относительно невольничьей своей судьбы, болезненно сетовал в «Полярных цветах»: «Земля, земля! Отдай обратно мое здоровье и тепло!» Вот и Юлий Даниэль без экивоков признавался бумаге: «Всё кончено. Сейчас мне очень плохо» — и задумывался о самоубийстве.

Я не случайно привожу здесь русские имена. Меружан открывает для армянской поэзии лагерную тему. Она существует в армянской прозе — у Гургена Маари, у Мкртыча Армена, — но стихотворцы покамест ее не касались.

Меружан автор десятка книг стихов, мемуарной прозы и публицистики.

* * *

Здесь январь двенадцать месяцев в году.
Беспреданно снег клубится — вроде гнуса.
У всего, что ешь, ни запаха, ни вкуса.
Ветер, точно на коньках, скользит по льду.

Как тоскую я — коварен сатана! —
по жаре армянской долгой и бездонной,
потому что быть на севере бездомной
сиротиною душа осуждена.

Здесь, где муке нет конца, несут свой крест
с одинаковым отчаяньем покорным
те, кто вырван из семьи и дома с корнем,
и бродяги, одинокие как перст.

Кто же адово решение — ГУЛАГ —
написал им на челе, как пулей срезав?
Огнедышащей рукою красных бесов
крови жаждущий великий вурдалак.

Сироты

Красные дороги и красный прах,
красный горизонт и красные реки.
Часовые красные в красных лагерях
и в геенне огненной грешники-зеки.

Идут по степи, идут по лесам
и лая не слышат, душой не оттаяв, —
и чего им надо, черным этим псам,
правопреемникам красных хозяев?

Идут бесконечно, возврата нет,
без любви, надежды, мысли о Боге,
сколько лет выпало, столько лет
идут к закату по красной дороге.

* * *

Мне видится, как елочки дурманят
самих себя и зимний холод пьют;
солдаты в красных масках шаг чеканят
и черный марш гибели поют.

О, многих ли в погожую погоду
или в ненастье проклятых ночей
еще подвергнут в этот лес приводу
и сколько поколений палачей?

Избавь меня, мой Боже, от видений —
я этой ноши больше не снесу, —
от красных палачей, от их радений,
от марша смерти в девственном лесу.

На севере

Здесь, на дальнем севере, ныне
ветры, ветры — шальная рать,
и медведям белым на льдине
время в игры свои играть.

Опускаются звезды, чтобы
запропасть меж снегов и льдин;
для тревоги, тем паче злобы,
нет ни повода, ни причин.

Так доверься собакам. Сани
заскользят, и в ледовый сон
из узилища в два касанья
будешь ты навек унесен.

* * *

Ряды колючей проволоки колют
иголками глаза, и страшно лечь —
мне спать виденья смерти не позволят,
их здесь полным-полно, им не перечь.

Шипами душу кровенят ознобы.
Ей холодно. И вот в закатный час
мы руки простираем к небу, чтобы
оно спасло из этой бойни нас.

Когда же звезды темь озолотили,
тогда видений нрав кровав и груб,
и палачи с глазами налитыми
тебя, живого, превращают в труп.

Павел Антипов

Дача

Рассказ

Мама попросила Игоря съездить на дачу. Там среди всякого хлама, разбросанного отцом по двум комнатам, нужно было отыскать электросамовар, который двадцать лет назад купила бабушка. Игорь, сколько мог, откладывал эту поездку, но мама настаивала, мол, память всё-таки.

И вот в один из выходных Игорь медленно выехал из двора, миновал бульвар и свернул на улицу, которая за городом расширится, потом сузится, повернёт и доведёт его прямо до дачи. По левой стороне он видел остановки пригородных автобусов. Вот на этой раньше садились они с папой, за ней — небольшой скверик, а на следующей — их сосед по даче, иконами промышлял. Мама говорит, что звонил зимой: какая-то ветка, какое-то окно. Конец апреля был тёплым, от солнца под козырьками остановок прятались пенсионеры и пенсионерки со своими тележками, выцветшими клетчатými сумками, полиэтиленом для парников, прутиками чего-то, что они собирались посадить. Этих пассажиров Игорь помнил с детства. Теперь это были, конечно, неотличимые от них дети, которые переехали на дачи, потому что их родители переехали на гораздо меньшие участки земли.

Да-да, род проходит и род приходит, восходит солнце, и что те, что эти суетно суетятся: возят рассаду, натягивают полиэтилен на теплицы, стоят на карачках, сажают, сажают, пропалывают. Надо же чем-то занимать время. Только прополот все грядки — глядь, уж снова сорняки. Не соскучишься до конца жизни. Осенью собираешь урожай, много урожая. Надо закатыть, засолить, засахарить, заготовить, чтобы самым долгим зимним вечером сварить картошечки, открыть соленье и поучить внука: видишь, как хорошо, как вкусно, вот для чего нужна дача, вот как труд облагораживает наш стол. Ради этого давишься в автобусе, оттяпываешь у соседа лишний сантиметр земли, изучаешь лунный календарь, ползаешь, ползаешь на карачках, совсем уже к старости падаешь в погреб и ломаешь шейку бедра — живёшь.

Папа тогда оформил то ли целую военную часть, то ли гимназию, нарисовал кучу школьных или армейских плакатов, получил много денег и купил дачу.

В начале лета сонный Игорь, который никогда ещё не вставал так рано, с рюкзачком и самоваром семенит рядом с папой. Папа же набрал столько рам, сколько мог унести: он ведь был художник и собирался им оставаться даже на даче, а точнее — именно на даче он собирался им быть. Этим летом ему исполнялось тридцать три, пора было поработать на вечность, а не на художественный комбинат.

На остановке Игорь с папой здорово отличались от остальных пассажиров этими своими рамами и самоваром. Пенсионного в основном возраста люди тащили на дачу совсем простые и хозяйственные вещи: кусок проволоки, рулон полиэтилена, мешок с удобрениями, велосипедное колесо, лопату и множество сумок, набитых

Павел Антипов родился в 1981 году в Минске, учился в Экономическом университете и на Высших литературных курсах. Работал аранжировщиком, главным бухгалтером, курьером, журналистом. Рассказы напечатаны в журналах «Дзеяслоў», «Паміж», «Студия», «День и ночь», «Монолог», сборниках: «Групавы партрэт з бабай Броняй», «Новые писатели» и др. Участник Форума молодых писателей в Липках. Живет в Минске.

чёрт знает чем. Папа закурил, а маленький Игорь в сквере за остановкой нашёл горку с одуванчиками в некошеной траве и стал сбегать с неё. Вся остановка всматривалась туда, откуда должен был прийти автобус.

За пять минут до автобуса нервы у ожидающих стали сдавать, и они выстроились в очередь, упирающуюся в столб с расписанием. Папа не уловил начало этого процесса, занял место в конце и крикнул Игоря. Тот в последний раз забрался на горку, но, сбегая к остановке, споткнулся и грохнулся на асфальт. «Я же говорил тебе, не бегай», — поднял его папа. «Не говорил», — отвечал Игорь, осматривая ладони и колени, удивляясь тому, что нигде не проступило крови. Очередь на мгновение забыла об автобусе и умилилась семейной идиллией.

— Ай-яй-яй.

— Надо слушаться папу.

— Носится, как угорелый.

Тут на дороге показался пыльный и накренившийся на левую сторону «ЛАЗ». У столба с расписанием скрипнули створки передних дверей — и очередь стала медленно уменьшаться.

«Куда торопишься?! Молодой, а туда же — лезет!» — «А куда же мне лезть?» — «Старших пропусти, потом лезь!» — «Маладыя людзи, прапусьцице, прапусьцице, — подбежала запоздавшая бабка, — у мяне праязны, прапусьцице». Очередь дрогнула, ругнулась, но пропустила.

Игорь и папа еле впились со своими рамами. Впрочем, Игорю повезло больше, чем отцу. Его взял на руки какой-то дед, сидевший у окна. «Иди сюда, герой! Как тебя звать?». И Игорь смотрел, как кончается город и начинаются поля, леса, линии электропередачи, — пригородные деревеньки, а когда надоедало, то разглядывал огромную бородавку на лице сидящей напротив бабки с проездным.

Автобус медленно разгружался, и под конец пути они смогли сесть рядом с папой.

— А зачем этот знак? — показал Игорь на пронёсшуюся навстречу перечёркнутую цифру 60.

— Значит, что тут можно ездить только тем автобусам, в которых меньше шестидесяти человек, — отвечал папа.

— Ой, смотри, а там олень нарисован? — тыкал Игорь в следующий знак.

— Ну да, олень или лось.

— А здесь есть лоси?

— И лоси, и зайцы, и волки.

Да, определённо дача Игорю нравилась. Вот бы ещё мама поскорее приехала.

Выходили на предпоследней остановке. Перешли дорогу, направились через ворота в «Садовое товарищество “Овощевод”» — так было написано разноцветными буквами на щите сверху.

За воротами на них с лаем бросилась огромных размеров дворняга с чёрно-белой шерстью. Игорь вздрогнул и спрятался за папу.

— Не бойся, она на цепи. Скоро она тебя запомнит и перестанет лаять.

Игорь выглянул из-за папиной ноги. И правда, собака была совсем не страшная, смешно лохматая, только лаяла громко.

— Лёня! — слышалось с другой стороны.

К папе шёл мужик с красным лицом.

— Здорово! — пожал папе руку. — Сын твой? Как тебя зовут?

Игорь не отвечал.

Папа перекинулся парой слов с мужиком и повёл Игоря между участками.

— Пап, а кто это?

— Да так, алкоголик местный. Саша Малиновский — малиновая рожа.

Забор их дачи был деревянный, что отличало её от большинства других, которые были обтянуты металлической сеткой. «Легко запомнить, — объяснял папа, — идёшь по первой улице до первого деревянного забора». Действительно, в этих участках можно было запутаться, как на кладбище, если точно не знаешь, где нужная могила.

На участке, кроме домика, обложенного кирпичом, был ещё деревянный сарай с

ржавыми инструментами, а рядом с сараем — такой же деревянный туалет. Папа пошёл в глубь участка, включил воду, которой можно было только поливать и мыть посуду. За питьевой они пошли на родник.

Десять минут ходьбы между одноэтажными домиками, теплицами, копающимися в грядках людьми — и они подошли к границе посёлка. Дальше спустились по чёрной вязкой земле к сооружению, похожему на собачью будку. Туда с боку была вставлена труба, через которую на камни лилась прозрачная холодная вода. Ручеёк родника через пару метров впадал в узкую речку. Папа подставил ведро под струю и посмотрел за речку. Там был луг, в центре которого рос старый узловатый дуб.

— Ему, наверно, лет триста.

Под дубом прогнали стадо коз.

Ме-е-е.

Вернулись на дачу. Папа налил воды в самовар, включил его в розетку. Пока вода закипала, он сходил в магазин за твёрдыми прошлогодними пряниками, которые нужно было бросать в чашку и ждать несколько минут, пока хотя бы верхний слой размокнет. Тогда их можно было есть.

Вечером нашли в сарае качели, оставшиеся от предыдущих хозяев. Две верёвки и доска. Папа прикрепил их на толстый яблоневый сук. Пришёл знакомиться мужчина с соседнего участка. Оказалось, что он тоже художник и рисует иконы. Товар хорошо расходился по церквям. Сосед тихонько показывал Игоря на качелях и задавал свои глупые вопросы про то, как зовут, сколько лет, кем хочешь стать, когда вырастешь. А Игорь подумал-подумал, да и понял, что вырастать совсем не хочется. Хочется всегда вот этой дачи, собаки у входа, ходить на родник, греть воду в самоваре, есть каменные пряники и качаться на качелях под яблоней.

— Я хочу, чтобы мне всегда было шесть лет. Не хочу расти.

И лето действительно длилось бесконечно. Время остановилось, и Игорю всегда было шесть лет. Какое-то постоянное солнце и каждый день занят чем-то новым. Он рыхлил тяпкой землю, сажал клубнику, ходил за берёзовым соком и увяз в болоте. Отец грунтовал холсты, вставал рано-рано. Пока Игорь спал, успевал сбежать к пруду и искупаться. Покупал парное молоко и кое-какие продукты, которые привозили местные из ближайшей деревни, готовил завтрак. Будил Игоря: «Рота, подъём!». Накладывал огромную порцию жареной картошки, наливал из трёхлитровой банки густого немагазинного вкуса молока. Пока Игорь ковырялся в тарелке, отец съедал свою порцию, шёл к себе в комнату, освещённую солнцем из двух окон, и рисовал. Какие-то цветы и пейзажи на продажу. Изредка на маленьких прямоугольных листочках, разлинейных на двухсантиметровые клетки, папа карандашом набрасывал дуб, похожий на тот, что рос у родника.

Игорь бегал на соседнюю улицу к появившимся друзьям. Шёл дождь — Игорь промокал насквозь. Папа спохватывался только вечером, топил печь, кутал Игоря в одеяло. Рассказывал про армию.

— Пап, а что значат цифры на значках у солдат?

— Какие?

— Один, два.

— Это у водителей. Один — значит, может ездить с одним закрытым глазом, два — со вторым.

— А три?

— С двумя закрытыми глазами.

Посадили грядку лука. Ходили в лес, пилили дрова. Приезжала мама, гуляли втроём.

Где-то тут повернуть надо. Теперь ещё километров десять. По краям сосны. Ага, вот знак «60», а вот и «лось». И тут настоящий лось выскочил из леса, намереваясь перебежать дорогу. Ехавший перед Игорем джип начал резко тормозить, Игорь тоже нажал на тормоз. Бампер, капельки крови на лобовом стекле, лось сполз на дорогу. Еле поднялся, дошёл до кювета, упал, перевернувшись копытами вверх. Игорь включил аварийку и подбежал к джипу. Из него вышел парень лет двадцати, руки трясутся, на лице неравномерный румянец.

Сзади остановилась ещё машина, из неё выскочили двое мужчин.

— Во долбанул!

— Молодец!

Парень попросил у Игоря закурить, тот протянул ему пачку.

— ГАИ, наверно, надо вызвать, — сказал Игорь.

Парень молчал, курил и смотрел на лобовое.

— погоди, — сказал один из мужчин, сбегал в машину за ножом, спустился в кювет и стал вырезать из задних ног лося куски мяса.

— Изумительный шашлык выйдет, тебе отрезать?

Игорь не ответил, сел в машину, объехал джип, мёртвого лося, медленно поехал дальше.

— пей, лёнька, пей, не каждый до тридцати трёх доживает, а кто доживает, тот на хрен зачем не знает, а у тебя такой сын, такой пацан!

— И жена.

— И жена!

Мама забрала Игоря в город. Надо было делать справку к школе. В день рождения папы резко похолодало, пошёл дождь. Игорь с мамой везли в переполненном автобусе торт: специально выбирал, чтоб было побольше крема. Игорь не мог дожидаться, когда он будет объедать этот крем, а бисквит оставит.

В доме было накурено. Кроме знакомого Игорю Малиновского тут сидели ещё два каких-то мужика. Все троём о чём-то спорили, а отец сидел, молчал и улыбался. На полу валялись пустые бутылки, из самовара на подоконнике вырывались клубы пара, но никто не обращал на это внимания.

Мама шваркнула торт на стол, немного покричала для порядка, выключила самовар. Мужики примолкли, но не уходили.

— стыдно и гадко, думал Нехлюдов, стыдно и гадко, — только и смог сказать папа.

Игорь заглянул в свою комнату, на его кровати спал ещё один незнакомый мужик.

Мама потянула Игоря за собой. Ещё можно было успеть на автобус. За забором стоял сосед-иконописец. «Третью неделю бушуют, — пожаловался он. — Надо что-то делать». Мама не ответила. Лето кончилось.

Папа выпивал и раньше. Всегда «в последний раз», который повторялся снова и снова. Ещё несколько каникул Игорь проводил на даче. Бывало почти как тем летом. Но в глубине памяти всегда прятался тот день рождения. Игорь знал, что в любой момент это может начаться опять. Надо будет вернуться в город. Оставить отца одного, пусть подумает, с кем ему лучше — с тем дядькой, у которого малиновая рожа, или с Игорем. А папа всё никак не мог решить.

Скандалы между папой и мамой стали обычным делом. Отец старался бывать дома как можно реже. Последнюю стадию опьянения можно было определить по фразе «стыдно и гадко...». Как-то на Новый год Игорь загадал, чтобы родители перестали ссориться. После боя курантов папа крепко обнял сына, уколол детскую щёку своими усами. В его дыхании чувствовались те сто грамм, которые он выпил в магазине, когда ходил за майонезом. Потом Игорь заснул. Родители снова поссорились. Папа уехал на дачу.

Всё в снегу. Короткие дни, длинные ночи. Дорожка протоптана только к домику сторожа и к одной из дач. У сторожа фамилия Малиновский. То он ходит к художнику, то художник — к нему. Иногда кто-нибудь из них ездит в деревенский магазин за хлебом, паштетом и «чернилом». Все окна на даче затянуты полиэтиленовой плёнкой: так теплее. Печка чадит. Полиэтилен покрылся чёрной копотью. Но так теплее. Время от времени в посёлке появляются разные мужики. Они напиваются вместе со сторожем и художником, они живут на даче. Очень холодная зима. Пока дойдешь до леса, обморозишь все ноги и руки. А ещё надо возвращаться. На растопку сначала идёт сарай. Потом постепенно, доска за доской, в печке исчезает деревянный забор. Так дачу тоже легко найти. Деньги кончаются. Еды нет никакой. Кто-то привозит ящик водки. Неделю можно жить. Он и живёт в бывшей комнате Игоря. К концу ящика водки его сердце не выдерживает. Покойник лежит на Игорева кровати. Художник вызывает скорую. Была ли ещё такая холодная зима? Совсем нет еды. Гав-гав-гав. Собаке

тоже нечего жрать. Лёнь, сегодня у нас мясо. Художник и сторож допивают ящик. Собака больше не лает. Иногда он звонит домой.

— Игорь, ну как дела у вас?

— Все хорошо, спасибо.

— Как в институте?

— Надоело, пап.

— Да ну, брось ты.

— Вот скоро и брошу.

— Закончи сначала.

— Много ты институтов закончил.

— А я уже некоторое утро просыпаюсь — бок болит. Еле-еле двигаюсь, как старый дряхлый больной дед.

— Ты уже и есть дед.

— Да брось ты. Я, может, заеду скоро, мне надо забрать вещи там, краски и кое-какие картины.

...

— Игорь, ты у меня такой умница.

— Напился снова, что ли?

— Ну, ладно-ладно. Ещё рано.

— Чего рано?

— Мы поговорим с тобой ещё.

— О чём нам говорить, протрезвей сначала.

— Да-да, ты уже скоро поймёшь, серьёзно поговорим. Стыдно и гадко...

Провал во времени, потеря двух недель. Всё оставляю между строк. Что было в предыдущей жизни, всё растерял: и друзей, и остальное прочее. Поставлен под ноль в 51 год. 350 р. — билет, 750 р. — молоко, 500 р. — творог. Осталось 5 р. Купил молоко у учителя. Сегодня грунтовка и только завтра приступаю. Вот так из месяца почти 10 дней ушло на подготовку. Достал свои работы, вот где непочатый край. Начал переводить. По сути, только с сегодняшнего дня приступил к работе. Перевёл Рейнолдса «Болото». Проснулся в 5:10, сходил за молоком, деньги кончились. Купить — скипидар, холст, гвоздики, желатин, кисти, стронций, белила, жёлтый средний. Работал весь день. 21 — работа. 22 — работа. 23, среда — полная апатия. Через силу заставил себя поработать часа четыре. Вечером ходил к Виктору и Саше, взял кусок хлеба и три яйца. Всё это точилово, вся эта мелкота выматывает, делаешь-делаешь, а воз как будто на месте.

Своя работа. В кои-то веки. «Души друидов». Эск. 39 см — 50 см.

Сегодня у Игоря последний день занятий в школе. Я принял решение насчёт работы. «Не отступать ни на шаг. Наперекор всему — до конца, до конца». Заклинание.

Починил самовар. Билет — уже 680 р. Заработал за месяц ноль.

Полное ощущение жизни. Энергия через край.

Звонил Ване, он сообщил, что умер Лёня Давиденко, умер в мастерской 12 дней назад.

Умер Витя Качан.

Умер Метлицкий — скульптор.

Билет — уже больше 1000 р. Купил 6 литров молока. Грунтовал и клеил холсты.

Перед Пасхой у Бори Казакова умер сын, 28 лет, Ванечка.

Позавчера было 9 дней, как умер Лёня Порох, страшные слова и банальные. Поминальная молитва в Фаниполе, отец Владимир. Високосный год унёс маму, Юру Полякова, Сашу Путейко, Володю Кудрявцева. Отморозил мне ноги и душу.

Игорь въехал под вывеску «Садовое товарищество «Овощевод»». Вывеска всё та же, только буквы ещё больше выцвели. Вон и собака в будке. Другая, конечно: собаки так долго не живут. Игорь миновал несколько ухоженных участков и подъехал к даче без забора. Легко найти. Участок был весь в зарослях молодых деревьев. Яблоневые ветви тёрлись о дом, одна из них выбила зимой окно на чердаке. Дальше был настоящий сливовый лес, за которым в зарослях ежевики прятался туалет. Сарая не было,

вместо него — всё та же ежевика. Повсюду набросаны пакеты, обёртки от мороженого, пластиковые бутылки. К тыльной стороне дома прислонено три ржавых матраса.

На даче никто не жил уже лет пять. Игорь попытался пройти в глубь участка. Около сливовых деревьев были свалены чьи-то кости. Чьи угодно могут быть. Говорят, тут зимой даже собак ели. Туалет совсем покосился. Его, наверно, уже и чистить не надо.

Достал ключи, открыл дверь. В доме всё было примерно так же, как и на участке. Банки-склянки, разбросанные ботинки, куча веток у печки, грязная посуда повсюду. В бывшей комнате Игоря на кровати свалены какие-то полушубки — может, того мужика? Комната отца завалена неоконченными картинами, подрамниками, холстами. Окна затянуты закопченным полиэтиленом.

Игорь с остервенением стал освобождать папину комнату. Весь хлам он переносил в бывшую свою, заполняя её доверху. Стол, кресла, подрамники, мольберт, кастрюли, пепельницы, пустые бутылки. Стал собирать в пакеты мусор. Оставил в комнате только картины. На одной из них на фиолетовом фоне — четыре условные человеческие фигуры, нарисованные белым, переходили одна в одну. Какой-то нереальный безличный хоровод, где ноги одних становятся руками других, всё это в безвоздушном фиолетовом пространстве. А вот «Саваоф». Отец ему рассказывал про него. Лицо чем-то похоже на отцовское, волосы так же зачёсаны. «Он из трёх лиц состоит и головы птицы. Смотри, это клюв». За Саваофом горизонтальными рядами нелогично шёл лес. Деревья с круглыми листьями, ёлки, как рыбы скелеты, — всё состоит из мелких штришков карандаша. Последняя картина похожа чем-то на «Саваофа». Тоже графика. Только лес там растёт более натурально и хаотично, а в центре — огромный дуб, но тоже с круглыми листьями. Огромный дуб в хаосе леса. Игорь смотрел на картину несколько минут, пока не почувствовал, что она его затягивает. Из него как будто сливали по капле всю кровь. Он развернул картину к стене и вышел из дому. Несколько детей с криком бросились вверх по улице. Ну, конечно, дом с привидениями.

Игорь по памяти пошёл искать родник. Посёлок трудился, стучал, жёг костры, вскапывал землю, карачки, какие-то бабки с подозрением смотрели на Игоря, который был одет явно не по-дачному, плёночки-плёночки, натягиваем на парник плёночки, помидорчики там взрастут, огурчики, чтоб зимою было чем, ах хороши малосольные. Жизнь не зря, есть гордиться чем, сын, учись, будь как отец, дурью не майся, сажай, копай, копи, машина, дача, дача, дача, дача, дача. Всё в дом, всё на дачу, дачу, дачу.

Ноги сами привели Игоря к роднику. Вот она хлюпает, чёрная земля. Вокруг растут синие и белые апрельские цветочки, в них нехотя прячется битая плитка, старый жёлтый весь в язвах поролон, обёртки, пластик. Игорь подставил ладони под струю, глотнул воды с явным привкусом железа. Решил пойти в лес через луг. Далеко-далеко, на лугу пасутся ко. Рядом с козами сидит мужик-пастух, седой, с малиновой рожей. Парень, не скажешь сколько времени? Полтретьего. Ни спасибо, ни пожалуйста. В самом центре луга стоит дуб. Старый, высокий, широкий. Да, это он. Без листьев ещё. Вырастут — будут круглыми. Овальными. Посмотрел на дуб. Затягивает. Перешёл бревенчатый мостик через холодную речку. Пошёл по лесу. Вокруг сосны-ели-рыбы-скелеты. Спустился в низину, речка дальше течёт. Снова перешёл ее по поваленному дереву. Отец так всю жизнь и проходил в этом лесу.

Игорь отыскал дорогу, которая привела его к посёлку. Поболтался немного мимо дач, нашёл свой участок. Легко: такой один тут. Там уже сосед поджидает.

— Да, мусора у вас много скопилось.

— Будем убирать потихоньку.

— Сложно вам придётся. Тут не один год всё захламлялось.

— Ну, что же...

— Я вашему отцу ещё говорил, вы тоже подумайте. У меня вон скоро внуки уже будут, надо расширяться.

— Ну.

— Продайте вы мне эту дачу, у меня уже внуки скоро будут. Места не хватает.

— У отца тоже внуки.

У отца внуков нет.

— А то подумайте.

— Да, я подумаю, спасибо.

— У вашей мамы должен быть телефон. Это я вам звонил, когда окно на чердаке разбилось.

— Спасибо-спасибо, обязательно позвоню.

Где тут этот самовар? Продам на хрен, действительно.

Самовар стоял в углу за холодильником. Под ним лежала тетрадка А4 в серой замызанной обложке. Обложка вся в полукружиях чайной заварки, каплях белой и синей краски. Тетрадь распирало от фотографий. Маленький папа на руках у бабушки, папа и брат совершенно остриженные, только чубы торчат, папа с дедушкой на юге, фотографии родственников по папиной линии, чёрно-белые, совсем расплывшиеся и чёткие-чёткие, наклеенные на картон, согнутые пополам. В самой тетради записи отца разных лет — тех, что он провёл на даче.

Проснулся в четыре утра пошёл купаться впервые на небе пол-луны перед восходом солнца. Делал уборку красил полы «троицу» не трогал.

Проснулся без пятнадцати пять. Пошёл искупался. Козье молоко и сметана.

Ходил в лес за соком и дровами грунтовал и клеил холсты.

Приезжали Марина с Игорем.

Полное ощущение жизни. Энергия через край. Плясал под музыку «Маяка». Приступаю к работе.

Приехал Игорь, долго купался.

С утра ходили с Игорем в лес за дровами. Игорь с утра до позднего вечера гоняет с новыми друзьями по соседней улице. Вчера промок насквозь, но ещё часа три болтался как поплавок на улице. Думал, что заболевает. Вечером протопили печку.

Проснулся в четыре. Позавтракал. Сходил в лес, в эту божью благодать, вместо зарядки пилил дрова.

Приезжала Марина с Игорем. Посадили грядку севка. Ходили в лес, пилили дрова, собирали цветы. Игорь изрядно потрудился, перевёз два мешка цемента, собрал спиленные ветки. Он молодец и здоровяк. Сажали с Игорем клубнику, 12 кустиков, надо расширять плантацию.

1. Натюрморт «Цветы, бабочки»

размер холста — 56 см x 76 см — 1 штука

2. Натюрморт «Виноград, яблоки, кувшин»

разм холста — 30 см x 40 см — 2 шт, 18\$

3. Пейзаж. Рейнолдс. «Болото»

размер. 71 см x 94 см — 3 шт

...

10. «Голова друида, или Саваоф»

либо 48 см x 59 см

или 58 см x 65 см

И где-то в самом начале:

Собирать материалы для пейзажей, основательно трясти шелуху деталей, выделять немного главное, одна две детали отобранных, выверенных нутром, душой. Вкус, вкус в каждом сантиметре.

Глаза широко открытые, душа томится невысказанным. Пора!

Алексей Малашенко

Заметки о пространстве, именуемом постсоветским, и о том, что там делает Россия

Однажды в Останкино перед началом телешоу тогда еще не уехавшего на Украину Савика Шустера, на чаепитии участников, я присел рядом с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Я спросил у него:

— Вы, когда в 1991 году подписывали договор в Беловежской Пуще, предполагали, что Советский Союз распадется раз и навсегда и что в итоге получится то, что получилось?

— Нет, — ответил Леонид Маркович, — чтоб так оказалось, мы не думали.

Что будет именно так, в 1991-м, пожалуй, не думал никто.

(Но вина за распад СССР лежит не на беловежских сидельцах. В первую очередь виновата Грузия. Вспомните, именно тбилисское «Динамо» еще в 1990-м вышло из чемпионата СССР по футболу. Возможно, из-за обиды на то, что тбилисцы всего два раза становились чемпионами. Хотя это не первая грузинская фронда. Еще в 1956-м, после доклада Хрущева на XX съезде КПСС, в Тбилиси на демонстрациях в защиту Сталина несли лозунги, призывавшие к отделению Грузии от СССР, а заодно и избранию В.М.Молотова генеральным секретарем ЦК КПСС. Впрочем, все это — шутка).

В году 1957-м мне было 6 лет. Жили мы в коммунальной квартире на Третьей Тверской-Ямской. На коленках примостившись у обеденного стола, я любил разглядывать подаренный мне папой Атлас мира. Он не был столь многоцветен, как ныне: французское сиреневое, английское (включая Канаду) зеленое, небольшие пятна серого португальского, полукруглый желтый Китай, большая ржавого цвета Америка и мы, СССР, — огромные, розовые, неизмеримо большие, чем соседняя разноцветная «мелочь»: слева — Европа и внизу — ирано-афгано-монгольская Азия.

Много лет спустя, в 2010 году, в Вашингтоне на воскресном базаре я купил карту мира 1901 года. Там вообще было только пять цветов. Российская империя на ней — с Польшей и Финляндией — выглядела еще солиднее. Карту я повесил над письменным столом. Не по причине великорусского шовинизма, тем более, имперскости — просто у нее эстетичная цветовая гамма.

Коммунистов я разлюбил рано, но очень долго благодаря кино — «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918-м году», «Рассказы о Ленине», «Котовский», «Чапаев», «Коммунист», «Хождение по мукам» и др.-др.-др. — уважал большевиков. Их всегда играли талантливые, убедительные актеры.

И любовался картой с СССР: нравилось быть самым большим, пусть несатым и неухоженным, но Гулливером. То, что это розовое, похожее на скачущую беременную лошадь без головы, может исчезнуть, я не мог и помыслить.

Малашенко Алексей Всеволодович (род. в 1951 г.), в 1974 г. окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В.Ломоносова. Председатель программы «Религия, общество, безопасность» Московского центра Карнеги. Доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики, автор 15 книг и множества статей.

Кроме Андрея Амальрика, этого вообще никто не представлял. Есть легенда, что еще в 1963-м Шарль де Голль изрек: «Оставьте русских в покое, они сами развалятся», но текстуального подтверждения этой сентенции мне не попадалось. Привыкнув навсегда к советской карте, душой не воспринимая постсоветские границы. Не по политическим соображениям, а из-за того, что в голове, как на жестком диске, навечно запечатлен тот самый «файл детства». И до сих пор с трудом и легким омерзением их пересекаю.

1992 год — Алма-Ата, старый, еще не сгоревший аэропорт. Ранний утренний рейс, луна, горы в тумане, ночной джип с собутельниками-коллегам по конференции. И вдруг вопрос: паспорт. «Чего тебе, — заскрежетал я, — какой еще паспорт?!» — и гордо, как и положено советскому человеку, проследовал вперед, «не поворотив головы кочан», в сторону тогда еще робких, бедно одетых казахстанских пограничников.

1993-й — лечу из «Домодедова» (советского, не перестроенного) в только что переименованный из Фрунзе Бишкек. Рейс опаздывает. Холодно, голодно. Захожу в самолет: грязный ковер, с потолка свешиваются провода. Сажусь, взлетаем, паренек в домашнем пиджаке приносит вареное яйцо в скорлупе и кусок черного хлеба.

— А соль?

— Сейчас.

И приносит крупную соль в баночке с надписью «Сметана».

Садимся в Бишкеке, но не в том «Манасе», где сегодня и ночью можно выпить хорошего коньяку «Кыргызстан» (очень рекомендую) и где кучкуются летящие в Афганистан серые американские транспорты, но в том, «постсоветском». Приземлились. Во всем аэропорту вырублен свет. Несвежий лайнер Ту-154 откатывается на край взлетного поля, освещается зенитным прожектором, и при его свете на землю вышвыривают багаж. Бери, что хочешь.

— А!.. — слышу я свой возмущенный голос. — Да у меня там... — Но тут, слава богу, под ноги мне выпадает мой черный чемодан (его спусти три года уперли между Тель-Авивом и Миланом), и я утаскиваю куда-то вбок свою добычу.

В Бишкек было трудно влететь. Из столицы Азербайджана Баку в 1995 году — вылететь. И дело даже не в том, что там был бардак и из старого аэропорта «Бина» делали новый, получивший в 2004 году гордое имя Гейдара Алиева, а в том, что в этой стране уже почти всю шуршала местная валюта — манаты, водянистого цвета дензнаки. Баксы, по тогдашнему закону, можно было вывозить в количестве пятисот штук (хотя, может, и целой тысячи). Получив на конференции гонорарище в 200 ам. долл., я честно вписал их в декларацию. Прочитав ее, толстый пограничный майор велел обменять их на манаты. Состоялся краткий диалог.

— Но ведь по закону можно.

— Здесь закон — я.

Но... «у меня с собою было». Был мой хороший товарищ Рафик, на очень хорошем посту и входивший, так сказать, «в ближайший круг». Рафик дожидался, когда я пройду все формальности.

— Сейчас я уйду, — сказал я «закону», — потом вернусь, но тебя здесь после этого больше не будет никогда.

Тот посмотрел на меня, сразу все учуяв, встал и молча удалился. Так я сохранил свои доллары, а он — честь и достоинство азербайджанского пограничника.

В тбилисском «Лочини» в 2000-м проблем было меньше. И были они какие-то жалостливые. На прощанье ребята осчастливили меня чачей — двумя литрами в пластиковых бутылках. Сдавать мягкую тару было опасно, и я открыто потащил бутылки через таможеню. (Это было до Бен Ладена — запрет на провоз жидкостей в салоне самолета еще не ввели.)

— Запрещено в домашней таре, — сказала симпатичная пограничница лет сорока.

— Давайте поделимся, — предложил советский я. — Одну — вам, одну — мне.

— У меня таких у самой полно.

— Тогда забирайте обе, — обозлился я.

— Да пронесите вы, только хоть один доллар дайте.

Но не дал я бедной красивой грузинке и одного доллара. Из принципа не дал, и до сих пор стыдно.

В «Шереметьево» таможня действовала не так, как «робкая грузинка». Мы летели в Бишкек проводить конференцию. Конференция стоит немало — тут и билеты, и переводчики, и помещение, и много еще чего. Платить приходится наличными, которые организаторы вынуждены таскать на себе. Не пояс шахида, но тоже неприятно. Уже заползаем в лайнер, и тут мою спутницу Марину — хват! Она везла дозволенную по старому закону сумму, а уже вышел новый, по которому нельзя вывозить через суверенную границу 10 тыс. баксов. В общем, тормознули нашу Марину. Отнеси, гряд, деньги в банк, а то вообще дело на тебя заведем. Выхода у нас нет. Без денег, что у нее на руках, никакой международной, год готовившейся конференции не быть. Не стану описывать, как я выскочил из уже взвывшего моторами аэробуса, как допрашивали нас в похожем на сортир закутке, не опишу физиономии стражей (один был длинный, другой — короткий) таможенного порядка. Цитаты из диалога.

Он. Как будем договариваться, по-русски?

Я. ?

Он. По-русски или как?

Я. Сколько?

Он. Две с половиной.

Я. Полторы.

Он. Две.

Я. Хрен с тобой.

Цена русского национального таможенного пути развития в тот раз обошлась в 2 тыс. баксов.

«Дешево вы отделались», — утешили меня сведущие коллеги.

В 1997 г. в ашхабадском аэропорту нейтрального Туркменистана охранители границы вели себя тоже незастенчиво. Правда, руководствовались они не финансовыми, но идеологическими причинами. В Ашхабаде по прибытии у меня отобрали мою же книжку «Исламское возрождение в современной России». Когда в 1979 г. в столице Ливии Триполи конфисковали советский журнал «Крокодил», это было хоть как-то понятно — дескать, коммунистическая пропаганда. А здесь... Я уже и не пытался отстоять свое произведение. Но тут вмешался мой спутник, корреспондент журнала «Тайм» Юра Зарахович.

— Да вы знаете, кто он? Да вы знаете, кто я? — И задрожали от Юриного рыка туркменские погоны. Таможенник не стал больше полемизировать: американский корреспондент на постсоветском пространстве более весомый аргумент, чем российский ученый. Так мы и прошли, так пронес я свой безобидный для туркменистанского суверенитета труд.

В душанбинском аэропорту особых приключений не помню. Тем более там, не знаю уже по какой традиции, меня всегда ждет VIP с чашкой чаю. Однажды, впрочем, случилось. И не приключение, а эпизод — тягостный и потому запомнившийся.

Тогда я улетал не VIP'ом, а как простой трудящийся. Обычный зал вылета, который вечно перестраивался и где вместо пола были положены грязные доски. Теснота была, как на перроне индийского вокзала в городе Ахмадабад. Едва я вошел, объявили посадку, и публика рванула к одной-единственной двери, открытой прямо на летное поле. Привыкший к бережному отношению, я замешкался, и тут ко мне подошли два милиционера, встали по обе стороны тела российского гражданина и, расталкивая, слегка стуча палками по своим соотечественникам, повели меня к выходу. Люди расступались. Я почувствовал, как на голове у меня вырастает пробковый колониальный шлем, а в руке вот-вот появится хлыст.

Самолет наполнялся людьми-гастарбайтерами, среди которых легко угадывались инженерские, студенческие и учительские лица. Сколько таких полубездомных таджиков работает по России? Говорят о 400—800 тысячах, о полумиллионе-миллионе узбеков.

Замечено, на душанбинских рейсах почему-то хочется курить особенно сильно. Курить теперь запрещено, и потому многие, направляющиеся в Россию за длинным

рублем, делают это в туалете. А где же еще? Я, человек законопослушный, себе этого ни за что не позволю.

Но вот однажды летим мы с профессором Ирой Звягельской в Душанбе. Хорошо летим, душевно. И вдруг нам обоим, не сговариваясь, захотелось перекурить. Ну, очень захотелось. И мы осторожно спросили у стюардессы, что нам делать. Посмотрев на наши ученые лица (на рейсе Москва—Душанбе и обратно — самые красивые стюардессы), девчонка кивнула и провела нас почти в святая святых, где возле полуоткрытой кабины пилотов мы стояли, глядели в маленький иллюминатор и целых пять минут блаженствовали.

Однако с аэропортами да самолетами я несколько увлекся. Теперь два слова о границах на железной дороге. Их приходилось в начале 1990-х пересекать реже. Но вспомнить тоже есть что. На российско-украинской границе, кажется, в Макеевке, пограничники прицепились к ножу (именно ножу, а не ножу), которым я, сидя с семьей в купе, резал сыр. Восприняв их претензии как шутку, я засмеялся, и они ушли. Шедший вослед им милиционер тихо сказал: а ведь могли бы вынуть из поезда за хранение холодного оружия. На обратном пути из Феодосии мы пользовались только пластмассовыми вилками.

На российско-белорусской границе пограничников сопровождали непредсказуемого вида псы, а весь проход по вагонному коридору напоминал средней руки антитеррористическую операцию. Году так в двухтысячном на той же границе местная таможня устроила обыск моей семье. У дочки обнаружили целых 30 лишних долларов и стали угрожать ссадить с поезда. Столь пристальное внимание, как потом выяснилось (в неофициальном порядке), было объяснено тем, что проводница по ошибке «капнула», что у этих-де есть что-то, чем можно поживиться.

И все же, мало-помалу, российско-эсэньговские границы устаканились. Конечно же можно утомить байками о прибытии в Астрахань эшелона из Душанбе или о пересечении сухопутной границы между Астраханской или Оренбургской областями и Казахстаном, но не буду. Впрочем, два словечка, дабы озадачить презирующего раскосого азиата русского националиста, скажу. Значит, так, мужики, когда из русской Астрахани попадаешь в «отсталый» Казахстан, то ощущение, будто ты из Крыжополя переехал в почти Финляндию. Это о качестве ихних шоссе. Так что, может, сориентировать первую российскую беду, то есть нас, дураков, на избавление от беды второй — плохих дорог? А им, казахам, узбекам, киргизам, украинцам, кавказцам с неграми и китайцам, будем бить морду потом, а?

Но в целом, повторяю, *официальные* российско-постсоветские границы обретают почти пристойный вид. Нормальной границы после войны 2008 года нет только с Грузией. Теперь в Тбилиси нужно летать через Киев или Стамбул.

Да вот еще при вылете из Еревана почему-то отнимают 30 долларов. Предположим, что это налог за независимость Нагорного Карабаха (Арцах по-армянски). Но я-то здесь при чем?

Зато границы между некоторыми бывшими советскими республиками — все еще тоска зеленая. Про армяно-азербайджанскую, она теперь азербайджано-карабахская, говорить не приходится — ее нет и, наверно, при моей жизни уже не будет. Вместо границы — линия фронта. Написано про нее много. Лично мне нравятся записки стрингера, оператора Юрия Романова «Я снимаю войну...» (Москва, 2001). Может, оттого, что я, несмотря на подуставший возраст, все еще завидую людям, проживающим такие адреналиновые ситуации.

Мои ситуации не такие страшные, они скорее занимательные.

Вот граница в Кара-Су — между Киргизией и Узбекистаном.

Когда на конференциях полощут мозги по поводу борьбы с наркотиками, я всегда вспоминаю эту границу. За полчаса я ее перешагнул туда и обратно раз десять. Раза два совсем немного заплатил, а потом уж совсем бесплатно толкался среди осликов с тележками, тюков и людей с неподъемными сумками.

Поэтому вы, у себя в ООН, ШОС, ОБСЕ, СНГ, НКВД, НАТО, ЦРУ, ДДТ, ФБР, а также вы, глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, думайте, думайте над проблемами наркотрафика, но если возникнут личные трудности, — позвоните, и я вас всех за умеренную плату переведу туда и обратно через любые

центрально-азиатские границы, только не забудьте взять с собой пару ваших деклараций о борьбе с наркотиками и их количестве.

Узбекистан заминировал свои границы с Таджикистаном, а частично и с Казахстаном. На минах время от времени подрываются коровы и дети, их пасущие.

Границы в Центральной Азии вообще странные. Они какие-то подвижные, и не всегда понятно, где они пролегают. Возле узбекско-киргизской границы на территории Киргизии существует несколько узбекских анклавов, крупнейшие из которых Сох и Шахимардон, где проживают несколько десятков тысяч узбеков. Споры, по чьей земле чей скот гуляет и где чья вода течет, оборачиваются конфликтами, в ходе которых могут и убить. Там из Киргизии в Киргизию можно проехать только через Узбекистан, то есть через две границы со шлагбаумами и людьми в форме. Хорошо, когда тебя везет глава местной киргизской администрации, который приятельствует с главой местной узбекской администрации. Если нет, то пограничный досмотр может затянуться надолго и стать мучительным.

Этот досмотр, кстати, долг и нахален везде. На границе между Казахстаном и Киргизией в Кордае часами отдыхаешь в толпе разнокалиберных машин, а мимо тебя постоянно протискиваются легковушки и грузовички родственников, приятелей местных погранцов и таможенников или просто людей, готовых выложить лишние киргизские сомы или казахстанские тенге.

Вот что теперь здорово, так что наличие молельных комнат для мусульман. Быстрее от молитвы не становится, но успокоение в стрессовой ситуации она принести может. Не подумать ли и Московскому патриархату о развитии миссионерства на погранпунктах?

Зато после Кордая — прекрасное шоссе, усталое раздавленными галками, которые неосторожно склевывали с асфальта просыпавшееся из кузовов зерно и прочие съедобности. Пулей проносишься до Алма-Аты, чтобы там, уже при въезде, упереться в почти московские пробки. После Бишкека экономические успехи Республики Казахстан особенно наглядны.

Между Киргизией и Казахстаном есть другая, короткая дорога — через хребет Кюнгей Ала-Тоо. На казахской территории назвать ее дорогой можно лишь условно. Это скорее автомобильная тропа, возьмет которую не всякий джип. Но я уговорил на эту авантюру моего друга Сабита Жусупова, известного ученого из Алматы, славного человека (увы, покойного), он погрызлся, но согласился. Предлог для поездки я придумал изумительный: могут ли эти места быть использованы террористами для организации своих баз и лагерей. На дворе стоял 2002 год, так что время было самое подходящее. Меньше ста километров преодолевали часов восемь, госграницу пересекли незаметно — кому охота сторожить ее на пустынной трассе, где с уставшего и озлобленного путника мало что соскребешь?

Но вот до границы мы попались, как говаривал один чеховский персонаж, «в запендю».

Там, у них в Казахстане, задолго до границы есть таможня — белый четырех-оконный домик, шлагбаум между двумя огромными валунами, объехать которые на машине не позволяет жутко корявая местность. Шлагбаум — на замке, типа того, которыми в средневековой Европе запирали средней величины города. Рядом на земле — разбитый ламповый приемник. Перед шлагбаумом пяток машин, пассажиры которых обсуждают вопрос, куда пропал таможенник. Выдвигалось две версии: ускакал на лошади и пошел за водкой. Возможно, и то, и другое.

Прошло полчаса, прошел и час. Таможенника не было, и я решил открыть замчище самостоятельно. Выдернул из приемника какие-то проволоки, скрутил и пошел открывать. Через три минуты дверь в домике распахнулась, и ко мне устремился мужичок лет пятидесяти в серой куртке и растоптанных кроссовках. Видом своим он напомнил персонажа известной поэмы Баркова Луку Му-ва — «не пьян, но водкою разит». Отогнав меня от шлагбаума народным русским выражением, он отомкнул замок, затем, с достоинством и не торопясь, собрал мзду уже с полутора десятка машин и поднял символ закона и порядка.

К чему столь долгая история? К тому, что фамилия таможенника была Верецагин. Вспомнили «Белое солнце пустыни»? Дальше думайте, как хотите.

Любопытна граница Киргизии с Таджикистаном. Она там тоже в постоянном движении. Иногда киргизские пограничники переставляют пограничные столбы в свою пользу, иногда то же проделывают таджики, но уже в обратном направлении. Рассказывают, как однажды, сдвинув границу, киргизские служивые поймали на завоеванной территории корову и съели ее. Получился международный конфликт. Потом киргизы оправдывались тем, что давно не получали жалованья, а есть хотелось. Я в такие истории верю.

Однажды в хорошей компании я оказался совсем близко от киргизско-таджикской границы — на Алайском хребте, на посту наркоконтроля. Было нас пятеро — главный американский знаток Центральной Азии Марта Олкотт с помощницей, всегда оптимистичной высокой Наташей, мой коллега по Московскому Центру Карнеги Илья (ныне священник в московской церкви) и Кубан Мамбеталиев, известный журналист, который в те времена был едва ли не самым уважаемым человеком в республике. Президенты раскрывали ему объятия, а министры, когда он входил, вставали. Потом Кубан уехал работать послом Киргизии в Англию.

Чистый, ухоженный дом, приветливые люди. Старший — майор с мудрыми глазами. Принимали нас замечательно. Угостили бульоном из мяса архара (это такой круторогий баран), на хлеб мы намазывали масло, приготовленное из молока яка. Кто не ел — советую попробовать.

Повели показывать и рассказывать. Показали задержанный грузовичок типа военной полуторки, с наркогрузом. Мы поохали. А майор сказал:

— Оружия у нас нет. (В те времена оно почему-то не полагалось.) Конечно, — говорит, — для самообороны кое-что имеется. Но они, — он кивнул на задержанный грузовичок, — имеют больше.

— А как же вы этих поймали?

— Ехали дураки мимо нас. До сих пор не понимаю, почему. Вот мы их и остановили. Вообще только эту дорогу и стережем. А они ходят во-он там, — майор кивнул на невысокую (не забывайте, что разговор шел на высоте за 4 500 метров над уровнем моря) горку. — Они знают, что мы стоим здесь. Хотите туда подняться?

Честно говоря, мы хотели бы, но ни времени, ни сил, ни... стволов у нас не было.

Такие вот у нас постсоветские границы в этой, как ее, Евразии.

Кстати, что это такое Евразия, на просторах которой, как замечают некоторые аналитики и даже политики, Россия должна вернуть свое влияние?

Наше многостраничное, многотомное и неудобоваримое неоевразийство все еще остается одной из идеологием российской политики на постсоветском пространстве. Хотя эти фолианты перестают перелистывать даже занудливые стэнфордские и джорджтаунские аспиранты.

Вот отрывок из евразийской идеологии: «Геополитическая доминанта "военно-стратегическое сдерживание" в контексте евразийской интеграции может найти свое выражение в усилении интеграции в сфере военного сотрудничества, а впоследствии в создании единых механизмов военного строительства и управления. — Простите, но я продолжаю цитату: — Объединение военных потенциалов стран СНГ и других заинтересованных евразийских держав (это кто? — А.М.) создаст для России и ее партнеров гарантии соблюдения их прав и законных интересов на международной арене, обеспечив возможность адекватного военного ответа любым угрозам»¹. Слоноподобность только что процитированного — автора называть не обязательно — можно хоть как-то оправдать только тем, что текст опубликован в 2001 году, когда российская внешняя политика не была еще столь прагматична. Жутко пафосно и название статьи — «Геополитические доминанты национальной безопасности России в XXI веке и евразийская интеграция», и сборника, в котором она была опубликована — «Евразийство — будущее России: диалог культур и цивилизаций». Практика показывает: чем больше выпренного штиля, тем меньше здравого смысла.

Первых евразийцев, даже если их втихаря вдохновлял Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), можно понять и простить. Они искренне верили в то, что писали и говорили. В далеких 20—30-х евразийство выглядело романтическим.

Тогдашняя наивность и красивость выродились в нынешнюю бездарность и

политпрохиндейство. Время от времени евразийскую карту разыгрывали политики третьего-четвертого эшелона, рассчитывавшие на благосклонность вышестоящих товарищей и стремившиеся стать к ним поближе.

Весной 2001 г. в России возникло сразу две почти одноименные конторы — евразийская партия России «Рефах» («Благоденствие») и общероссийское политическое общественное движение «Евразия». Главной задачей и тех, и этих было стремление хорошенько подкормиться возле власти. Дивидендов, однако, они не снискали. В 2003 г. «Рефах» сменил свое название на «Великую Россию — Евразийский блок», собрал под своей эгидой букет знаменитостей — популярного на Северном Кавказе Руслана Аушева, бывшего управляющего делами президента РФ Павла Бородина, Чингиза Айтматова и Иосифа Кобзона — и попытал удачу на парламентских выборах. Блок собрал 0,28% голосов... Эклектическая «Евразия», составленная из Центрального Духовного управления мусульман и главы Международного Евразийского движения Александра Дугина, выродилась в скромный «клуб» единомышленников, в котором можно уютно порассуждать на привычные бесполезные темы.

Так что ничего основательного, «долгоиграющего» с евразийством не получилось. Не принимать же всерьез «молодых евразийцев», несколько лет тому назад обвинивших директора Института этнологии и антропологии Валерия Тишкова в шпионаже в пользу США.

В начале 2000-х власть смотрела на евразийцев с благожелательной снисходительностью. Дескать, толку от них мало, но при необходимости ими всегда можно попользоваться. Эту публику пустили по телеканалам, где они под присмотром ведущих увлеченно излагали свои идеи в рамках полной лояльности и преданности Кремлю. По степени занудства они походили на ортодоксальных профессоров из теле-«Университета марксизма-ленинизма» 70-х.

Вот русский этнонационализм, который 11 декабря 2010 года на Манежной площади в Москве, а заодно в десятке других российских городов припугнул власть, выглядит куда внушительнее. Рассуждения о том, что там буйствовали некие таинственные люди в масках, среди которых оказался один по сей день не разъясненный армянин, выглядят смешно и глуповато.

Национализм непослушен. Если он встанет на ноги, или, как принято выражаться, «с колен», то управлять им будет куда как трудно. Тогда проблем у России на «постсоветском пространстве», не говоря уж о пространстве собственном, значительно прибавится.

Но вернемся к евразийству как идеологии российского доминирования на пространстве от Балтики до Тихого океана.

Был ли шанс на реализацию у евразийской идеи еще до ее появления, то есть тогда, когда формировалась полноценная Российская империя, странная, не похожая ни на Британскую, ни тем более на Австро-Венгерскую? Наверно, был. Наша недоделанная, разбросанная Империя могла скрепить самые разные земли и народы, создать управляемое ею долгосрочное евразийское пространство. Как впоследствии в михалковском гимне пелось, «...сплотила навеки великая Русь». Советский Союз оказался на это неспособен. Какое уж там «навечно». Получился сталинско-брежневско-черненко-хрущевский державшийся только силой «компот», как только силенок стало меньше, прокисший и расплескавшийся.

Нужно ли теперь это евразийское пространство? Например, болельщику «Спартак» или «Зенита»? Народ вон от Северного Кавказа отказывается. Чуть ли не 60% населения выступает за его отделение от Федерации. После событий на Манежке, по результатам проведенного в конце декабря 2010 г. газетой «Новый регион» опроса, свыше 70% высказалось за то, чтобы вывести из Федерации Дагестан, Ингушетию и Чечню. Говорят — этот опрос не репрезентативный, заказной. Хоть бы и так. Но мне после выступлений в больших и малых аудиториях в коридоре слишком часто приходится отвечать на вопрос уже не о том, отделять или не отделять Кавказ, а как его отделять.

Люди в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Урюпинске хотят быть европейцами. Пусть хреновыми, но европейцами. А тут евразийство. Евро-азиатцем быть невозможно. Даже при очень большом желании, даже после пятой под ириску. Националист

вам все объяснит на пальцах: я — русский, как француз, как немец; Россия — для русских.

Перед распадом СССР писатель Солженицын в статье «Как нам обустроить Россию» предлагал сбросить неславянские республики, как засохшие листья: «Надо безотложно, громко, четко объявить: три прибалтийские республики, три закавказские республики, четыре среднеазиатские, да и Молдавия... эти одиннадцать — непременно и бесповоротно будут отделены». Далее классиком предлагалось отпустить и Казахстан, предварительно отрезав от него в пользу России юг Сибири и южное Приуралье. Он, конечно, сочинитель. Ему можно. Но ведь все по нему и случилось. Вот только Казахстан не уловили.

Егор Гайдар тоже думал, что многие беды от того, что у России слишком много лишнего. В начале 90-х за Центральной Азией укрепилось обидное прозвище «отцепленный вагон». Полностью «отцепить вагон» оказалось не так просто. Вообще проблема «отцепленности» или «прицепленности» к России всеми бывшими совреспубликами до конца так и не решена.

Почти ни в одной из стран Евразии о евразийстве никто не говорит. Редко когда упоминали его в Узбекистане и нейтральном Туркменистане, не слышали про него в Таджикистане, на Кавказе. Об Украине и батке Лукашенко вообще молчок.

Есть только одно-единственное место на материке, где евразийская даже не идея, а евразийское самоощущение оправдано бытием. Это — Казахстан, «странное» (см. Солженицына) государственное образование, составленное из казахских кочевников трех — малого, среднего и старшего — жузов, русских крестьян, советских целинников, искушенных партработников, уйгуров, узбеков. Государство, которое последние 20 лет пытается сформулировать свою национальную идентичность и найти место в мире. Место в мире найти получается. Во всяком случае, стареющий казахстанский президент Нурсултан Назарбаев успешно отыскал его место в мировой политике. Для Назарбаева обращение к евразийству естественно, ибо его страна, пожалуй, единственная, навечно застрявшая между Европой и Азией во всех — политическом, культурном и прочих — смыслах.

Есть еще и Кыргызстан, который по своей промежуточности похож на большого северного соседа. Но его евразийство какое-то невразумительное. Местные политики вспоминают о нем, только когда хотя бы понравится России и, конечно, Казахстану. От Киргизии ждешь неожиданностей. Брошенное кем-то выраженьице «народная киргизская забава — революция» решительно отличает Киргизию от Казахстана.

Так кого караулит двуглавый византийский орел? Ему давно пора бы перекалифицироваться в пушкинского «Золотого петушка», который вертел головой при приближении супостата из ваххабитской Шемахи с ее непристойно по шариатским меркам одетой царицей.

«Станет ли Россия евразийским тигром?» — с грустью вопрошает известный востоковед и мой хороший товарищ Юрий Александров. Нет, Юра, не станет, и ты сам ответил на этот вопрос в своей последней книге².

Я не против Евразии как желто-коричнево-зеленого мазка на географической карте. Континент такой существует. Но вот Евразия в контексте геополитики... Да и есть ли в природе эта геополитика? Комитет по геополитике в Думе есть, глава его — Жириновский — тоже. А вот сама геополитика... Будем считать, что это дело вкуса.

С другой стороны, евразизмом хоть как-то можно пользоваться для обоснования российского присутствия на постсоветском пространстве. При ближайшем рассмотрении он здесь тоже мало убедителен и по-школьному примитивен, но тем не менее... «Для российских корпораций оптимальным стало бы использование "евразийского" формата интеграции, основанного на сотрудничестве постсоветских стран, Европейского союза и, потенциально, стран Восточной Азии», — надеется в статье «Оптимальное пространство евразийской интеграции» экономист, очевидно, сторонник евразийства, Александр Либман³. Что ж, надежды нас всегда питали и питают, особенно теперь, когда России становится все труднее удерживать в своей орбите бывшие советские республики.

Места для каких-нибудь интеграционных, тем более архаичных идеологий на постсоветском пространстве становится все меньше. И сообразить привлекатель-

ную, простите за выражение, *инновационную* идею на... десяток советских обломков уже невозможно, да и неинтересно.

В 2008 году в Концепции внешней политики России постсоветское пространство названо «приоритетным направлением», а заодно отмечено, что оно развивается на двусторонней и многосторонней основе. Заметьте, что слово «двусторонняя» стоит на первом месте. И это не пустячок.

Легкомысленный стиль изложения серьезных сюжетов позволяет многое. Например, задать детский вопрос: насколько России вообще нужно постсоветское пространство? Заметьте, я спрашиваю не *нужно ли*, но — *насколько* нужно? Вопрос может быть поставлен иначе, а именно: нужна ли России на постсоветском пространстве интеграция? Академик В.В.Ивантер в связи с этим пишет: «Если Россия ставит перед собой задачу получить экономическую выгоду от интеграции, то ей это не удастся. Если она стремится к реинтеграции, тогда это будет возможно»⁴. Не станем вдаваться в различия между интеграцией и реинтеграцией. Ясно одно — придумать, как всем вместе взаимно интегрироваться, не удастся никому — ни Богу, ни царю и не герою.

Не сложилось в России здоровой, эффективной концепции совместного проживания. Нет таковой и у соседей в ближнем зарубежье. Зато тянется с былых времен пыльный шлейф взаимных обвинений. Самые же занудливые и злопамятные наследники советского счастья все еще решают вопрос, кто кого кормил при коммунистической власти — Москва республики или республики Москву.

Понятно, что Россия хотела бы доминировать на постсоветском пространстве в экономическом отношении, например, создать систему совместного управления энергоресурсами, продвигать российский бизнес, упростить таможенные отношения... Не прекращаются разговоры о создании «единого экономического пространства», хотя, что это такое, так никто толком и не объяснил.

Ну, и остаются чаяния стать если не политическим лидером, так уж хотя бы координатором усилий по поддержанию безопасности и отражению внешних угроз. Планы — наполеоновские, но складывается ощущение, что они остались сладким утренним сном и никакого отношения к реальной жизни не имеют.

Причины того, что российские амбиции на б/советском пространстве ограничены, столь очевидны, что не хочется вдаваться в подробности. Тем не менее упомянуть о них необходимо, хотя бы потому, что сложившаяся ситуация не случайна и растянется на поколения, то есть навсегда. Первая и самая простая причина — российские национальные интересы далеко не всегда совпадают с интересами бывших советских республик. Их политика многовекторна, и эти самые векторы и вектористики, подобно солнечным лучам, разбегаются во все стороны света. На одном направлении гипотетическому Стану из Центральной Азии или какой-нибудь братской славянской республике удобнее работать с Россией, а на другом — с Китаем, Америкой, да хоть с Венесуэлой.

Разные векторы-интересы есть и у России, которую тянет не только на постсоветское пространство. Она живет в газовую обнимку с Европой, тянется к Китаю, Индии, запускает (но это уже чисто по геополитической глупости) боевые самолеты в Латинскую Америку. Москва обожает вести переговоры с Вашингтоном, именно в эти моменты российские вожди и их свита вновь ощущают себя посланцами сверхдержавы, на равных говорящими с другой сверхдержавой. Правда, обе беседующие стороны понимают, политроссияне паразитируют на советских военных достижениях, и по большому счету их воспринимают как «бывших», как потомков. Но все равно приятно.

Вторая причина тоже очевидна: постепенная утрата Россией ее привлекательности.

Что было раньше? Были рубли из союзного бюджета. Вообще, других денег, кроме зеленых трешек, красноватых червонцев, сиреневых четвертных, никто (ну, почти никто) не видел. Пределом мечтаний были Московский и Ленинградский госуниверситеты. Настоящая карьера выстраивалась не в кишлаке, не в ауле и не на хуторе близ Диканьки, а там, возле Кремля. Если и был телевизор, то свой советский «Темп», холодильник — то свой «ЗИЛ», автомобиль — полутальянский, но и полусо-

ветский «жигуленок». Для особо продвинутых «волга». Помните из «армянского радио»: «Может ли грузин купить "волгу"?» — «Может, но зачем ему столько воды?» Было чувство принадлежности к великой державе, к космосу, Большому театру и атомной бомбе. Даже победа в последней войне, хотя, по мнению тов. Сталина, и была прежде всего заслугой русского народа, все же на самом деле распределялась по плечам «младших братьев». Была вера, что наряду с Нью-Йорком, Парижем, Лондоном Москва есть настоящий пуп Земли.

Была метрополия.

Когда люди увидели другие деньги, другие университеты, а «волга» перестала котироваться и даже производиться, привлекательность бывшей метрополии увяла и уж как минимум видоизменилась.

Да, есть мигранты, для которых Россия хороша уже тем, что в нее можно поехать подзаработать — помахать метлой, положить асфальт, прибить пару гвоздей и возвести кирпичную стенку. Обидная, унижительная привлекательность. В 2003 г. в узбекском городе Маргиллан один местный парень сказал мне, что его мечта — готовить плов на ВДНХ, по-нынешнему — во Всероссийском выставочном центре (помнят-то в Маргиллане советскую ВДНХ).

Но вот те, кто не ездят дворничать и пилить, а размышляют над тем, как дальше строить свои страны, то есть люди политической и бизнес-элит (что на постсоветском пространстве одно и то же), поневоле задаются вопросом Владимира Владимировича, в смысле Маяковского: «делать жизнь с кого?». И тут выясняется, что по индексу человеческого развития (есть, оказывается, такой) Россия занимает в мире 65-е место, по качеству жизни — 105-е, по уровню миролюбия — 136-е (аукнулась-таки война с грузинами), по индексу социального развития — 75-е. 71-е — по уровню привлекательности для жизни людей и, как апофеоз, — 172-е по «индексу счастья». Это, заметьте, из 178 стран⁵.

Еще один любопытный психологический аспект. СССР с его без малого тремястами миллионами был неотрицаемо велик. А теперь — подумайте, граждане — населения в России (по последней переписи 142 млн) меньше, чем в Пакистане (176 млн), да что там в Пакистане, в Бангладеш — это такая оранжевая «клякса» на карте между Индией и Бирмой — и то больше — 156 млн.

Россия не может обеспечить постсоветское пространство новейшей продвинутой технологией, которую оно получит от Америки, Европы, Японии, а теперь еще и Китая. Россия не способна обеспечить стабильность — сама в 2008 г. воевала с Грузией, не вмешалась в ошскую резню в Киргизии в 2010-м.

Конечно, Москва продолжает посредничать в карабахском конфликте, велик ее вклад в подписание в 1997 г. «Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане». Но таджикское соглашение относится уже к былым заслугам, а медиаторство на Южном Кавказе между армянами и азербайджанцами — процесс бесконечный, впрочем, как и конфликт между ними. Вот и в молдавско-приднестровском противостоянии только забрезжит свет в конце тоннеля, только-только начнет казаться, что российское посредничество успешно, как тут же происходит сбой, хотя бы и не по вине Москвы.

Какое-то время в бывших советских республиках по инерции видели в российском Кремле некую высшую инстанцию, но это вскоре прошло, и новые элиты легко позабыли о временах советского патернализма. Россию на постсоветском пространстве не считают полноценным, тем более справедливым судьей. Сказать по правде, она им никогда и не была: российские начальники судили конфликты на некогда подшефных ей землях, исходя из своих интересов.

Восприятие России очень противоречиво. Оно зависит и от того, о какой республике идет речь, и от возраста респондента, и от его социального статуса — министр скажет одно, его шофер — другое, и от момента, в который вопрос о любви и ненависти задан. И от того, о ком спрашивают — о русских или о России, причем, какой России — официальной, чиновной или иной...

Политическая же заинтересованность ближнего зарубежья в России определяется следующими обстоятельствами.

Во-первых, ее близостью: она ведь через дорогу, за рекой, вон за той горой. А,

как известно, за хорошего соседа при продаже дома берут дополнительную плату. Вот у Грузии отношения с соседом не сложились и что получилось?

Во-вторых, «российский фактор» во внешней политике некоторых стран есть некий инструмент, который можно использовать, выстраивая отношения с другими партнерами, например, с Америкой или Китаем. Всегда, дескать, есть альтернатива — не заладилась что-то со Штатами, можно намекнуть: у меня, мол, есть выбор между тобой и еще кем-то, и я, если захочу, уйду в другую песочницу.

Классикой такого подхода стала изворотливость бывшего киргизского президента Курманбека Бакиева, который многократно обещал России убрать базу ВВС США из Манаса, а американцам — ее оставить. В конце концов это надоело и Москве, и Вашингтону, и никто не помог изворотливому киргизу, когда его в 2010 г. свергали бывшие соратники. Несколько раз перебежал с российской стороны на американскую и Узбекистан. После 11 сентября 2001 г., когда президент Ислам Каримов позиционировал себя как главного борца против терроризма и предоставил американцам военно-воздушную базу в Ханабаде, местные чиновники уверяли, что вот-вот на них прольется финансовый поток в размере 8 млрд долларов. Почему 8, а не 7 или 9, сказать никто не мог, зато на лицах светилось выражение, схожее с выражением рембрандтовской Данаи, лежащей на диване и с блаженной улыбкой ожидающей, когда — в виде золотого дождика — прокапаются на нее Зевс-олимпиец.

После мятежа 2005 г. в Андижане, который был подавлен весьма и весьма жестоко, «цена» России в узбекской политике подросла, и в течение нескольких лет не прощенный Западом Ташкент тянулся к Москве. Потом про Андижан в Америке и Европе подзабыли, списав его на «особенности национальной политики», и Россию вновь слегка отодвинули в сторону.

Искусству шантажа научились все. Даже такой уникум, как Александр Лукашенко, который то обещает России вечную дружбу, то вдруг вспоминает, что Белоруссия тоже европейская страна. Конечно, его, как ливийского вождя Каддафи, в приличном обществе уже не принимают. Но нервов он России попортил достаточно. Символом шизофрении московско-минских отношений стало Российско-белорусское союзное государство, которое, заметьте, рассматривается Александром Дугиным «в контексте создания евразийского полюса»⁶. Вся евразийскость Лукашенко состоит в том, что он хочет меньше платить Москве за газ. В прошлом, 2010 году Белоруссия в одностороннем порядке отказалась платить за газ новую цену — 174 доллара за тысячу кубов, продолжая платить старую — 150 долларов. Да и задолжала братская республика 192 млн долларов. В результате «Газпром» решил ограничить несговорчивому соседу поставки газа (казус повторился и в нынешнем году). Журнал «Коммерсантъ Власть» недавно пошутил, что в 2000-е годы «у Александра Лукашенко время от времени случаются приступы любви к Западу, которые удивительным образом совпадают с охлаждением отношений с Кремлем»⁷. Такой вот «евразийский полюс».

Правда, по мере углубления экономического кризиса (бензин и гречка в Белоруссии весной 2011 г. стоили даже больше, чем в России) Лукашенко хотя и поигрывает в многовекторность, но все теснее прижимается к Москве, тем более что после загадочного теракта в минском метро в апреле 2011-го у него «практически нет возможности не выделить обещанные 3 млрд долларов» на щадящих условиях⁸.

Украина — не Белоруссия. Она — независимая, и у нее возможностей покрутиться между Россией и Европейским сообществом побольше. При удачном раскладе Украину — понятно, не так скоро — ожидает будущее европейской державы, достойное ее величины. Посмотрите на Польшу, начинавшую после распада соцлагеря как бедная младшая сестра, а потом, спустя 20 лет, ощутившую себя приобщенной к европейским западным грандам.

Киевский политолог Вадим Карасев элегантно определяет внешний курс Украины после избрания в 2010 г. ее президентом Виктора Януковича не как «многовекторную политику», а как «многовекторную защиту, как от давления России, так и от предупреждений ЕС». «Но с каждым днем возможностей для таких маневров все меньше, потому что условия становятся жестче, а лавировать — труднее. Пора выбирать вектор и двигаться», — констатирует Карасев⁹.

Попроше высказался весной 2011 г. бывший президент Украины Леонид Кучма, по мнению которого у Украины и России «на сегодняшний день нет доверия друг к другу». Москва, по его мнению, «смотрит на Украину с позиции "я сказал — ты сделал"». «А я хочу, — продолжает Кучма, — чтобы мы друг с другом разговаривали на вы»¹⁰.

Охарактеризовать интригу отношений между Украиной и Россией одним, даже двумя-тремя словами невозможно. Это и сотрудничество, и желание России доминировать в украинской внешней политике, и попытки Киева установить с ней равноправные отношения. Не надо забывать и то, что украинская власть, несмотря на старания Москвы, может поменяться, стать иной, менее пророссийской. Движение Украины в Европу будет продолжаться. Возможно, она будет протискиваться туда реактивно, отталкиваясь от России.

Украина обречена на балансирование между Европой и Россией, которая, между прочим, вопреки евразийству, также ассоциирует себя с Европой, а не со степью. Это балансирование, которое часто вызывает раздражение и на Западе, и на Востоке, при известном дипломатическом остроумии приносит Украине свои плоды. Европа не хочет отдавать Украину России, а Россия злится, когда Украина излишне тянется в Европу.

А в целом многие постсоветские политики временами ведут себя как парубки на деревенских танцуйках, которые жмутся к одной дивчине, а, улучив момент, подмигивают другой. Российская же барышня хоть и ревнует, но относится к такому поведению с пониманием. Хотя иногда и вспыхивает, как Владимир Путин, которого во время его апрельского 2011 года визита на Украину очень раздражал одновременный флирт Киева и с ВТО, и с Таможенным союзом России, Казахстана и Белоруссии.

В-третьих, российско-постсоветские отношения в некоторых случаях облегчают схожесть политических режимов. У России здесь гандикап перед Западом. В России, Белоруссии, Азербайджане, в Центральной Азии они, хотя и в разной степени, авторитарны. Выборы в них похожи, как похожи правящие партии. В Таджикистане почти все места принадлежат правящей Народно-демократической партии, в узбекистанском Меджлисе также безраздельно властвует партия с точно таким же названием Народно-демократическая, в Азербайджане — Ени Азербайджан, ручной парламент в Белоруссии и России, хотя в нашей Думе, помимо «Единой России», еще целых три. Законодательная ветвь власти повсюду сникла под ветвью исполнительной. В парламенте же Казахстана после выборов в 2011 году вообще осталась одна единственная партия — «Нур Отан».

У Путина с Медведевым нет нужды обсуждать с вождями стран постсоветского пространства скользкую тему демократии, гражданского общества. Можете вы себе представить президента Таджикистана Эмомали Рахмона расспрашивающим Путина о расследовании убийства Анны Политковской или самого Путина вопрошающим о положении в узбекских тюрьмах заключенных, арестованных по делу Хизб ат-Тахрир? Не волнуют Москву и судьбы оппозиции в Азербайджане. Лукашенко не интересуется Ходорковским, а самого его не спрашивают, как он разобрался со своими соперниками на выборах 2010 года. Конечно, про него можно снять и запустить на всех российских каналах злобный пасквиль «Батяка». Но ведь это не оттого, что Москве не нравится форма его правления, а оттого, что он порой дерзит московским товарищам.

Кстати, на (в) Украине, в Молдавии, в Армении не принято задавать Москве скользкие вопросы о выборах, о правах человека. Хотя этим странам уже сама Москва, не стесняясь, выражает свое «фэ» относительно некоторых политических поступков, ущемляющих российские интересы.

Сходятся вожди и в том, что у каждой страны есть свой особый, любимый путь развития, в который не надо совать свой чужой нос. Насколько искренне верят в эту самую самобытность Путин, Каримов, Назарбаев, Бердымухаммедов (матом-то все по-русски ругаются), сказать трудно, но что она для них в первую очередь — инструмент самосохранения, это уж точно.

«Россия, — считает историк и политолог Игорь Яковенко, — все время стремится стать ядром притяжения стран, отстающих в процессах модернизации, с тем

чтобы создать второй центр силы и играть на этом»¹¹. Однако духовная, душевная близость постсоветских авторитаристов и их московских единомышленников не означает безоговорочного взаимного доверия и тотального желания остаться в российской орбите. Ключевым словом при принятии и тактических, и стратегических решений остается «многовекторность».

Что касается интереса к постсоветскому пространству основных мировых игроков, он может нарастать, но может и ослабевать. Аналитики из Института мировой экономики и международных отношений полагают, что «нормализация или улучшение отношений России с ключевыми западными партнерами... в целом работает на политически корректное, не вызывающее серьезных отклонений или откатов в общей позитивной динамике разрешение споров и разногласий, связанных с постсоветским пространством». Одновременно ими же высказывается вполне обоснованное суждение, что «сотрудничество с Россией отчасти компенсирует отсутствие интереса со стороны ЕС к странам СНГ»¹².

Доводилось мне общаться с иностранными бизнесменами, явившимися в Казахстан, в Таджикистан, Киргизию, Россию, чтобы открыть, развернуть там свое дело. Жалуются «заморские гости». Первым словом, которое им пришлось выучить, было слово «откат». В общем, «там повсюду немцу слезы...». Впрочем, российские бизнесмены «тоже плачут», когда обнаруживают, что коррупция в ближнем зарубежье не меньше, а то и больше российской, да и законы там, в Центральной Азии или на Южном Кавказе, работают, а точнее, не работают, как и здесь, на родине.

Дружить России с родственниками из СНГ нелегко. И им общаться с Россией непросто. Но друг от друга деваться некуда. А ведь как иногда хочется! Так что остается дружить, несмотря на всю нашу многовекторность.

Дружить можно по-всякому: можно на двусторонней основе, а можно и «чохом», то есть посредством международных организаций, которые Москва создавала для поддержания своего влияния.

Но прежде чем посудачить о методах российской политики, еще чуть-чуть памяти о моем, о нашем самом первом ощущении от новорожденного постсоветского пространства (само это слово выговаривалось с трудом), об ощущении от нас самих, ставших вдруг его обитателями. В первые месяцы, даже в первые два года после случившегося мы не чувствовали, что *нашей страны* больше нет. Не критикую и не хвалю СССР, я просто констатирую, что была такая страна и пропала. Задним числом готов поговорить об обреченности Советского Союза. Но тогда его исчезновение казалось абсурдом.

1992 год, Голландия, город Утрехт. Конференция на тему — что-то там после СССР. Пригласили ребят из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, кажется, из Молдавии, еще откуда-то. Журналисты посматривают, как мы относимся друг к другу, особенно, как относятся ко мне, представителю России. А я на пару ярких, с птичками, гульденов (евро еще не было) богаче и могу купить сигареты, могу даже выпить рюмку-другую. Подходит Нурбулат Масанов, казахский историк, специалист по кочевникам, впоследствии известный оппозиционный политик (однажды Нурсултан Назарбаев скажет: у меня два врага — Солженицын и Масанов):

— Эй, метрополия, дай закурить.

Так с его легкой руки и прозвали меня коллеги «метрополией», лихо расстреливая сигареты.

Голландский журналист:

— А как вы относитесь к тому, что вас называют «метрополией»?

Я не нахожу, что ответить.

За меня, ухмыляясь, отвечает Нурбулат:

— Так ему и надо, пусть содержит бывшие республики.

То, что европейские коллеги наблюдали за нами, веселило. Кто-то даже предложил разыграть перед хозяевами небольшой скандалчик. От этой идеи отказались, да и вряд ли это получилось бы натурально. Ругаться, тогда во всяком случае, мы не умели. Наш адрес действительно был Советский Союз, и, думаю, подсознательно

существовала вера, что каким-то неведомым образом у нас опять будут общие паспорта, пусть даже молоткасто-серпастые. Мы были своими.

1993 год, Чимкент, ныне Шимкент, на юге Казахстана. Еще одна конференция — и все о том же. Конференция камерная, человек на двадцать с разных концов бывшей необъятной родины. Собралась публика, которая еще совсем недавно считалась красой и гордостью советской ориенталистики, в юности завсегда и лихих научных мероприятий под названием «школа молодого востоковеда». Принимали нас на славу. После банкета, на десерт, перед нами выступали студентки местного балетного училища, а после концерта были запланированы танцы с будущими балеринами.

И что же мы? Мы вежливо, по-английски, удалились в чей-то самый большой номер и стали распевать песни — то советские, то почему-то украинские. (Был среди нас и бывший посол Монголии, который, не врубившись в ситуацию, исполнил длинную, но очень впечатляющую «песнь Чингисхана».) Пели не потому, что выпили, а потому, что чувствовали: видется будем все реже. Что время (а нам тогда было всего-то вокруг сорока), в котором мы жили, исчерпано и что-то начинает нас разделять, я бы даже сказал, оттаскивать друг от друга. Как пел Юрий Визбор, «уходит наше поколение рудиментом в нынешних мирах»...

Становилось рудиментом постсоветское пространство, а значит, заведомо рудиментарными оказывались пристроившиеся на нем постсоветские международные организации, созданные и действующие под эгидой России, для которой они — символ былого контроля над ближним зарубежьем, символ надежд (беспочвенных), что Россия все еще остается мини-подобием сверхдержавы.

Прости, читатель, за мешанину из «мемуаров» и простенькой «аналитики», но ведь жанр заметок рассыпчат, как гречка, обжаренная в подсолнечном масле. Определим его как эмоционально-политологический.

В официальной внешнеполитической концепции РФ прописано, что «отношение России к субрегиональным организациям... на пространстве СНГ определяется, исходя из оценки их реального вклада в обеспечение добрососедства и стабильности, их готовности на деле учитывать законные российские интересы...». Организаций таких целых три — Содружество независимых государств (СНГ), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

К СНГ вполне можно применить определение «пресловутое», ибо оно давно превратилось в «клуб президентов без галстуков» (или в галстуках — какая разница!).

Содружество было образовано Белорусской Советской Социалистической Республикой, Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой, а также Украинской Советской тоже Социалистической Республикой в 1991 году в тысячу раз проклятом месте — в Беловежской Пуще сразу после прекращения существования Союза ССР. В том же году, уже в Алма-Ате, лидеры одиннадцати бывших советских республик подписали Декларацию, в которой СНГ было заявлено как формируемый на паритетной основе координирующий институт, не являющийся «надгосударственным образованием». Понятное дело, из Балтии никто не приехал. Не приехали и из Грузии: в Тбилиси всегда осторожничали, словно предвидя, что грузинам придется расставаться с СНГ раньше других. 12 августа 2008-го, в последний день войны с Россией, президент Михаил Саакашвили заявил, что его страна покидает содружество. (На его месте так поступил бы каждый.)

Создано СНГ было для расставания, иногда говорят, для развода, то есть для плавного перетекания из «была замужем за СССР» в «теперь совсем свободная». Словом, распался «советский гарем». В свое время «Московский комсомолец» завел посвященную постсоветскому пространству спецрубрику, простодушно назвав ее «Эсэнговия». Слышится в этом созвучии что-то такое разлагающееся.

Отсутствие у СНГ креативного потенциала было очевидно с самого начала. На всем протяжении своей скучной истории оно так и не достигло зрелости, впав в политический климакс. Из сотен принимаемых на его совещаниях решений работают, да и то условно, единицы (говорят, 12%). Не все обыватели эсэнгэшного пространства могут расшифровать эту трехбуквенную аббревиатуру (лично провел блиц-опрос среди соседей).

Из тех действующих политических мастодонтов, которые стояли у истоков СНГ, осталось только два — Ислам Абдуганиевич (Узбекистан) и Нурсултан Абишевич (Казахстан). Все остальные мальчики — Саша, Витя, Вова, Гурбангулы, Дима, Ильхам, Серж, Эмомали и одна девочка — Роза этот рыхлый мемориал *унаследовали*. (Ильхам, тот вообще от своего отца Гейдара Алиевича Алиева унаследовал целое государство — Азербайджан.) По большому счету отношение их к СНГ — как к дедушкину продавленному дивану, на котором, конечно, еще можно посидеть и порезвиться, но который обречен на свалку. Да, они родились в СССР, но как политики сформировались уже на иных подмостках.

Нет такого понятия — «эсэнгэшный» политик, нет понятия «эсэнгэшные» интересы, не существует «эсэнгэшного человека» (советский-то был). Тем не менее, слава богу, что СНГ не упразднили. Причем не потому, что оно приносит ощутимую пользу, а потому, что не мешает. Впрочем, скромная польза от него случается: ну где еще могут приватно встретиться, перекинуться словом по-русски Армения и Азербайджан?

А так СНГ вяло и необязательно, кто что в этом содружестве делает — неясно.

Зато есть одна более заметная структура по имени Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Чем заметна ОДКБ — погонями, совместными маневрами, частыми разговорами на тему о безопасности. Раньше как было? НАТО, а супротив — Варшавский пакт. Когда последний исчез, стало как-то муторно на кремлевской душе. Надо было что-то придумать не взамен, что было невозможно, но как компенсацию, пусть и хилую. Вот и был подписан 15 мая 1992 г. Арменией, Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном Договор о коллективной безопасности. В 1993 году к нему присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. В 1999-м только шесть стран — Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан — подписали протокол о продлении срока его действия на следующий пятилетний период. Азербайджан, Грузия и Узбекистан подписывать его отказались. Это, однако, не помешало России в 2002 году добавить к Договору букву «О», превратив его во внешне солидную международную Организацию договора о коллективной безопасности. Узбекистан подумал-подумал, посопел-посопел и в 2006 году к ОДКБ присоединился.

Если ты, читатель, даже внимательно прочел предыдущий абзац, то все равно наверняка запутался в том, кто, когда и зачем входил в эту ОДКБ и почему выходил из нее, а следовательно, не сообразил, какие такие цели она преследует. Попробую внести ясность: зыбкость своего экономического авторитета Россия пытается компенсировать активностью в военной и военно-политической сфере. По замыслу Москвы, ОДКБ — структура, способная поддерживать ее военно-политическое влияние. Когда в Кремле хотят выразиться более отстраненно и дипломатично, то говорят о необходимости поддерживать на постсоветском пространстве безопасность, а заодно и стабильность.

Это сладкое слово «безопасность»! Сколь оно амбивалентно! Например, война с Грузией велась именно во имя стабильности, безопасности, а также под предлогом «принуждения ее к миру». Отдадим должное отечественным политтехнологам на государственном жалованьи — такое придумать не каждому под силу.

Функции ОДКБ более чем многоплановы: тут и упрочение безопасности, и отражение внешней агрессии, и борьба с терроризмом (кто же против него не борется?), и отпор наркомафии. Вот только, как в действительности против всего этого бороться, остается непонятным.

Как сказал Владимир Путин, «члены ОДКБ будут получать российское вооружение и специальную технику по внутренним российским ценам». Вот где, как говаривал еще М.С.Горбачев, «собака порыта». Действительно, вооружать свои армии по бросовым ценам весьма соблазнительно. К тому же оружие это просто в обращении, да и переучиваться не надо. Вот только старовато. Руководитель Центра военного прогнозирования, доцент МГУ полковник Анатолий Цыганок в любопытнейшей, посвященной войне 2008 г. книге «Россия на южном Кавказе» обронил печально: «Не дай бог снова вступить в боевые действия с тем, что имеем»¹³. Реклама, что и говорить, не самая лучшая.

Против кого может быть использовано советско-российское оружие? Против Китая? Брр, не приведи господь. Против НАТО, которого в середине 2000-х некоторые политики и военачальники прочили чуть ли не в противники ОДКБ? Тоже брр, да еще какой. Или, может, вообще друг против друга? Специалисты полагают, что полностью исключать военные конфликты между странами СНГ не следует. Кстати, и Армения, и Азербайджан в основном оснащены советским и российским оружием. В Баку, правда, стремятся разнообразить его иным, более современным. В Казахстане тоже не собираются вечно довольствоваться российскими пушками и танками. Так что в плане военно-технической помощи Россия со временем может лишиться монополии, что отнюдь не способствует притягательности ОДКБ.

ОДКБ можно считать и «крышей» российских военных объектов. А они у России есть: в Армении это Гюмри, где стоят вполне серьезные (потому их так и не продали Ирану) зенитно-ракетные комплексы С-300 и где базируются пусть устаревшие, но все еще летающие МиГ-29; в Казахстане — славный Байконур и кое-что еще, например, испытательный полигон стратегических противовоздушных и противоракетных войск в Сары-Шагане; в Киргизии — база ВВС в Канте и испытательная база торпедного оружия в Караколе, что стоит на потрясающе красивом курортном озере Иссык-Куль. В Таджикистане — 4-я военная база и оптико-волоконный комплекс «Окно», есть РЛС в Белоруссии. В то же время некоторые военные вопросы Россия успешно решает и помимо ОДКБ: в Габале, в Азербайджане, который в ОДКБ не входит, действует радиолокационная станция «Дарьял». Да и вопрос о российском флоте в Севастополе тоже решился в приватном порядке.

В 2009 г. члены ОДКБ приняли решение о создании Коллективных сил оперативного развертывания (КСОР), задача которых — отражать внешнюю агрессию, бороться с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком, ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. Беларусь, которая в то время цапалась с Москвой, поначалу подписывать документы о КСОР не хотела, но сделала это позже. Узбекистан же их вообще не подписал.

Общая численность личного состава коллективных сил — около четырех тысяч человек. Авиационная составляющая (10 самолетов и 14 вертолетов) находится на российской авиабазе в Киргизии.

На бумаге с КСОР, вообще с ОДКБ, все выглядит прозрачно. Но все же на вопрос, в каких целях могут быть использованы ее ударные силы, ответа нет. Против террористов — вряд ли. Здесь в первую очередь требуется агентурная работа, умение наносить точечные удары. В 1996 году, когда талибы пришли к власти в Афганистане, некоторые специалисты считали, что они вот-вот хлынут на север и, прорезав насквозь Центральную Азию, доберутся до Казани. Помню, в одной из московских газет появился замечательный коллаж: талибы, в полном талибском облачении, с автоматами, гранатометами, босые, возлежат на Красной площади на фоне Мавзолея. Появился термин — «талибанизация». Но, поверьте, талибы в массовом порядке никуда не рванут. Как-то автор этих строк в одном своем интервью пошутил: «Не дойдут талибы ни до Москвы, ни до Казани. Замерзнут по дороге».

Талибы останутся у себя на родине решать свои внутренние дела. Вот проникать к соседям идеологически, политически, «по-исламски» — сколько угодно. Но тут никакая ОДКБ не поможет. Тут требуется тонкая политика местных властей, тут нужно ликвидировать социальные причины, по которым талибы, вообще радикальный ислам востребованы в центрально-азиатском регионе. (Чуть не забыл, Белоруссии никакие талибы, как и вообще любые внешние агрессоры, не угрожают даже теоретически.)

Предположить, что ОДКБ может быть задействована во внутриафганском конфликте? Но это — только теоретически. Представить казахстанских, белорусских и армянских солдат на перевале Саланг очень трудно. Российских наследников шурави — тем более.

Остаются внутренние «баламуты», то есть оппозиция — в Узбекистане ли, в Киргизии, в Таджикистане, но подавление ее есть вмешательство во внутренние дела. Да и — по аналогии с Афганистаном — в кошмарном сне не вообразить узбекских миротворцев в Таджикистане, российско-казахских в Узбекистане и киргизских

где бы то ни было. Весной 2010 года, когда началась межэтническая резня с применением оружия в полумиллионном Оше и Жалалабаде, новая киргизская власть буквально взывала о помощи. Но не дрогнула ОДКБ, впрочем, как не дрогнула и Россия. Никаких миротворцев, которые могли бы встать между дерущимися узбеками и киргизами, направлено не было. Больше всех по поводу «трусости» ОДКБ возмущался тогда Лукашенко, которому из белорусского далека было конечно же все виднее.

Хорошо это или плохо, правильно или нет — не о том речь. Речь о том, что главная международная отвечающая за стабильность организация не вмешалась в экстремальную, кровавую ситуацию. Москва здесь и проиграла, и выиграла. Проиграла потому, что признала свою несостоятельность как «стабилизатора», выиграла потому, что ее вмешательство не обязательно привело бы к немедленному миру, более того, Россия могла оказаться втянутой в чужую гражданскую войну. Так что подвести общий баланс, сами понимаете, очень трудно.

А уж что делать в случае возникновения межгосударственного конфликта — и думать не хочется. Случись такое, ОДКБ просто тихо скончается.

Тем не менее, несмотря на импотентность ОДКБ, Россия видит в ее существовании очень конкретный смысл. Во-первых, Москва, положа руку на ОДКБ, решительным образом заявляет, что не намерена отказываться от борьбы за центрально-азиатский политический плацдарм.

Во-вторых, демонстрирует претензию оставаться центром притяжения для своих соседей, своего рода «организатором» евразийского пространства. В Кремле верят, что это вынудит западных и прочих партнеров относиться к нему с большим уважением (и опаской).

В-третьих, это намек дружественному Пекину, что не единой Шанхайской организацией сотрудничества жива Центральная Азия и что Россия не «младшая сестра» Китая, но сила, способная принимать самостоятельные решения.

Кроме почти виртуальной ОДКБ есть еще Евразийское экономическое сообщество, странная организация, страдающая от импотенции, но все-таки с какой-то, пусть и неясной, перспективой. ЕврАзЭС слепили еще 2000 году Россия, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан. В качестве наблюдателей к ней стали присматриваться Армения, Украина, Молдавия. Узбекистан со свойственной ему непоследовательностью то входил в ЕврАзЭС, то выходил из него.

Задач перед ЕврАзЭС поставлено немерено — от «формирования общих финансового и энергетического рынков» и «согласования принципов и условий перехода на единую валюту» до «сближения и гармонизации национальных законодательств». Дух захватывает, ну почти Европейский союз. Если вчитаться внимательнее, то заглавная цель Сообщества состоит в формировании единого экономического пространства (ЕЭП). На трехчасовом саммите ЕврАзЭС в Душанбе (октябрь 2007 г.) возникла странная формулировка: «...работа по формированию правовой базы Единого экономического пространства будет продолжена, и о ее итогах будет доложено на очередном заседании Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав государств». Дебаты по поводу ЕЭП не стихают, однако толку от них мало. Изумление нарастает, когда выясняется, что оно фактически создается без Украины. Кажется, общего экономического пространства соседи России опасаются потому, что это намек на пространство общеполитическое, а уж этого не хочет ни одна правящая национальная элита, даже лукашенковцы. Наверно, это главная причина, по которой с течением лет ЕЭП обретает черты мифа.

Весной 2011 г. много и обстоятельно говорилось российскими политиками и писалось прокремлевскими экспертами о создании — наконец-то — Единого таможенного союза в составе России, Казахстана и Белоруссии. Его контуры на первый взгляд просматриваются более четко, чем прежде. Но энергоносители из этого соглашения выведены, а ведь они главное достояние российской и казахстанской республик. Украина вступить в таможенный союз желанием не горит, хотя ее туда подталкивает Москва. Без Украины таможенный союз смотрится куце. К тому же он не очень-то монтируется со Всемирной торговой организацией, вступить в которую

рано или поздно придется и, скорее всего, каждому по отдельности, а не российско-казахстано-белорусским «хором» фактически под эгидой России.

Думается, что эффективное взаимовыгодное партнерство России со странами «ближнего зарубежья», которое постепенно в восприятии сравнивается с зарубежьем дальним, так сказать, «полноценным зарубежьем», в будущем будет строиться преимущественно на двусторонней основе. Это уже и сейчас происходит. По философскому наблюдению директора Института мировой экономики и международных отношений Александра Дынкина Россия как «страна, которая с подозрением относится к своим ближним и дальним соседям, постоянно ожидает от них каких-то пакостей, конечно, не может обладать ни устойчивой политической системой, ни открытой экономикой»¹⁴. Грустно, конечно, это звучит, но так и есть на самом деле. Дынкинское замечание применимо и к отношениям со многими нашими соседями. К сожалению, Россия и партнеры за два прошедших десятилетия действительно успели вдоволь накушаться пакостей друг от друга.

Я обрываю свои заметки на полуслове. Остались за кадром двусторонние отношения, экономика, русские и русскоязычные, мигранты... Тема «мы и то, что осталось от умершей страны», необъятна, интересна и болезненна со всех точек зрения. Говоря о ней, мы очень часто «режем по живому», по людским судьбам. Но не надо полагать, что правильно и честно разобраться в ней, осмыслить все происшедшее, способно только наше поколение, прожившее полжизни там, а ныне очутившееся здесь. Да и распад Советского Союза полностью не завершен, и, честно говоря, я не знаю, чем и когда он закончится.

Не стану прописывать никаких заключений, ибо мы живем в процессе, и российско-украинские, российско-узбекистанские и прочие российско-с-кем-то отношения меняются постоянно, порой и непредсказуемо. Очевидно, эта переменчивость, а также *обоюдная многовекторность* и есть главная тенденция на том пространстве, которое по инерции и по привычке зовется постсоветским.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Вавилов А.Н. Геополитические доминанты национальной безопасности России в XXI веке и евразийская интеграция. В: Евразийство — будущее России: диалог культур и цивилизаций. М., 2001, с. 201.

² Александров Ю.Г. Может ли Россия стать Евразийским тигром? Москва, 2007.

³ Либман Александр. Оптимальное пространство евразийской интеграции. — Россия и новые государства Евразии. 2010, IV, с. 5.

⁴ Стратегические интересы России на постсоветском пространстве (по материалам ученого совета ИМЭМО). Россия и новые государства Евразии. № III, 2010, с. 11.

⁵ Кива Алексей. Россия: путь к катастрофе или модернизации? СоцИс: социологические исследования. М., 2010, №11, с. 134.

⁶ Дугин Александр. Российско-белорусское союзное государство в контексте евразийства. Известия белорусских предпринимателей. Ноябрь-декабрь 2004.

⁷ Многовекторная политика Александра Лукашенко. Коммерсантъ ВЛАСТЬ, 18 апреля 2011, с. 40.

⁸ Муртазин Ирек. Признаться трудно поверить. Новая газета, 15 апреля 2011, с. 5.

⁹ Путин провалил визит на Украину. Україна сьогодні. 14 апреля 2011.

¹⁰ Ивженко Татьяна. Нелегкий выбор Киева. Независимая газета. 17 марта 2011.

¹¹ Яковенко Игорь. Конечная остановка: «Москва — Третий Рим». Новая газета, 11 апреля 2011 г., с. 19.

¹² 2011. Россия и мир. Ежегодный прогноз. Москва, 2010, с. 130, 132.

¹³ Цыганок Анатолий. Россия на южном Кавказе. Москва, 2010 г., с. 217.

¹⁴ Россия XXI века: образ желаемого завтра. Библиотека Института современного развития, Москва, 2010, с. 151.

Алексей Устименко

Остаются, чтобы уйти...

/

Из хаоса фактов выстраивается космос истории. Факты же рождаются и существуют в ареале обитания живых людей, и никак не иначе. Люди же эти подчас бывают странны и композиционно незавершенны.

Но, уж какие есть...

Именно такие и собрались под обложкой недавно вышедшей книги, составленной из документальных очерков Рубена Назарьяна, «Самаркандская старина»¹.

Внутренне ничем не соединяемые.

Да и внешне существующие в таком разрыве пространства, в таком различии обыденного существования, что следует поднапрячь воображение, чтобы соединить, связать, соотнести их друг с другом. Чтобы в итоге сложилась картина, объединяющая всех героев в некое, несомненно, единое целое.

Вот сам Жюль Верн оглядывается на непредставимые даже им, писателем-фантастом, Закаспийские пустыни, чтобы описать их в своем очередном романе «Клодиус Бомбарнак».

Вот одержимый идеей поиска исчезнувшей во времена обсерватории Улугбека ученый-археолог Василий Вяткин стаскивает в свой самаркандский двор обкатанные водой и веками надмогильные камни — кайраки, чтобы вычитать на их испещренных арабскими надписями боках еще одну подсказку, годную для поиска обсерватории.

Вот крепкорослый, известный всему городу извозчик по прозвищу Вековой (и то сказать, по слухам, прожил он 120 лет) отмахивается от надоедливых просьб интеллигентных русскоязычных горожан рассказать о своем знаменитом хозяине, у которого он состоял в крепостных, нездешнем, не азиатском писателе Иване Сергеевиче Тургеневе.

Вот лопухий и невзрачный человечиска, преподающий математику в местном финансово-экономическом техникуме, обитающий в Самарканде без семьи и домашнего уюта, тихо поживает, когда ему приходится называться по имени и фамилии:

— Аркадий Васильевич... Рахманинов.

Впрочем, это еще и лучший фехтовальщик города, тонкий знаток сверкающего холодного оружия, оживавший для настоящей жизни только тогда, когда его рука сжимала рукоять рапиры, а не когда приходилось называться фамилией своего старшего брата, изменившего советской России своей зарубежной эмиграцией.

И вот, наконец, по уже пыльным — даже и весною — самаркандским улицам торопливо и в малолюдстве проносят дешевый гроб спившегося — обыкновенное

Устименко Алексей Петрович — журналист, писатель. Родился в 1948 году в Новосибирске. Окончил Ташкентский государственный университет. Был собственным корреспондентом по Средней Азии ряда московских изданий, главным редактором журнала «Звезда Востока». Автор нескольких книг прозы. Живет в Ташкенте.

¹ Назарьян Рубен. «Самаркандская старина». Документальные очерки. Книга первая. Изд. Нестор-История. Санкт-Петербург, 2010 г.

дело! — здешнего мелкого литератора, о коем чуть позже российская газета обмолвится слезливо-сочувственным некрологом:

«27 мая в самаркандском военном госпитале, вдали от родных, скончался от крупозного воспаления легких и белой горячки 34 лет от роду Иван Иванович Лажечников, сын знаменитого историка-романиста. Покойный сотрудничал в самаркандской «Окраине», где помещал свои стихи и стихотворения и некоторое время был секретарем редакции. Иван Лажечников умер в крайней нужде и нищете, всеми покинутый, часто голодавший, проводивший не одну ночь под кустами городского парка.

А наше апатичное общество равнодушно смотрело, как сгорает этот молодой талант, и не стыдилось в теплой участливости к погибающему человеку отрываться пятками, на которые покойный заливал свое горе»¹.

Эти странные люди, живущие подчас странными жизнями и умирающие незаметными смертями, даже и не сталкиваясь между собою (хотя в «русском» допереворотном пространстве их было так мало, что не столкнуться они не могли), даже и при этом — мозаикой — создавали ту единую картину, на которую в удивлении глядело все исконное население здешнего туркестанского края. Глядело, не задаваясь вопросом — подражать или не подражать, перенимать или не перенимать образ жизни этих, сюда пришедших и здесь прижившихся колонизаторов. Этим русских. На что — в глубине души — те самоуверенно надеялись.

Глядело, любопытствуя.

Так ходят в театр или кино, чтобы увидеть непохожий мир в общем-то со стороны. Без соприкосновения.

Так ходят на зрелища, оставаясь собою без изменений.

Можно было бы даже сказать, что эти, не для них, а как будто бы для себя пришедшие люди были случайными людьми, случайно оказавшимися в случайном для них пространстве. Так они не вписывались в здешнюю нищую и богатую азиатскую сказочность.

Можно было бы...

Если б они не прорастали здесь многодесятилетними, а по сегодняшнему дню — и столетними корнями.

Вот почему это извлечение имен и фактов из небытия, эта реставрация выцветших судеб, это по сути случайное вызволение малозначимых имен вообще характерно для некоторых книг, так или иначе написанных в реальном (или же метафорическом, салтыково-щедринском) Ташкенте. Так или иначе связанных со Средней Азией «колониального», «советского» и — отчасти — нынешнего «постсоветского» независимого пространства.

Иногда даже кажется, что так подскребают последние зерна русско-туркестанской культуры, чтобы их тоже бросить в общий котел на пользу России хотя бы последней памятью о том, что было и чему уже не быть.

Так смахивают в ладонь последние хлебные крошки с некогда общего государственного стола, чтобы не пропали — грешно! — но все-таки сделались пищею для желяющих изучать тему «Русские в Туркестане».

Вот книги только последних лет, последнего времени. Справочное издание «Россияне в Узбекистане»²; Светлана Горшенина. «Галина Пугаченкова»; Борис Голлендер. «Окно в прошлое», «Мои господа ташкентцы». И даже — что из того, что издана в Москве! — книга Натальи Громовой «Все в чужое глядят окно».

И это вот сейчас торопливо происходящее «русское» копание в истории, как накачивание спасительного спасательного круга — чтобы не утонуть в иной, вытесняющей их, русских, культуре. Естественной для этой земли и неестественной для них.

Так, уходя с поля боя, уносят с собою своих раненых.

Потому с великою гордостью и упоминается в этих книгах уже не «общесовременное нечто», непрошеное, однако разом привнесенное в здешнее многотыся-

¹ Газета «Новое время», № 6926, 1895 г.

² Составитель — В.Костецкий.

четелнее существование, но что-то действительно стоящее, пусть и незаметно мелкое, чем вполне можно погордиться и до сих пор.

Например, тем же неотъемлемым от всех нынешних пловов Узбекистана, возведенных не меньше обсерватории Улугбека, хлопковым маслом. Казалось бы, исконным продуктом Центральной Азии.

Ан, нет.

Открытием — особенно для коренных жителей края — должны стать те страницы книги Рубена Назарьяна, где неторопливо поведано о том, что лишь на рубеже между XIX и XX столетиями оно необратимо вошло в хозяйственный быт Туркестана, неторопливо же заменив собою действительно как бы национальные масла, использовавшиеся до того столетиями: кунжут мойи — масло кунжутное и зигир мойи — масло льняное.

До той поры извлекавшееся вручную из семян хлопчатника хлопковое шло, что называется, на технические нужды, а уж совсем не в пищу. Тем паче — ни в коем случае не на изготовление золотисто-царского узбекского плова.

Отсчет следует вести всего лишь с 1884 года — с получения на маслобойном заводе Лахтина в городе Коканде первой коммерческой партии этого пищевого чуда.

Впрочем, еще долго-долго местное население все-таки пренебрегало «русской» колониальной новинкой.

А строительство — опять же непрошеной — Закаспийской железной дороги?

Само по себе дело и для нашего-то времени вполне фантастическое (то-то оно так заинтересовало фантаста Жюль Верна) — попробуй-ка протяни от Каспия до Самарканда через безводье пустынь, каменные осыпи и то и дело подступающие к насыпи склоны гор непрерывную линию из туго натянутых рельсовых струн, изготавливаемых за тысячи верст, в кажущемся отсюда эфемерном пространстве России.

Так ведь протянули!

А дальше уже можно и на статистику сослаться:

«Уже через год после ее появления, в 1889 году, в Самарканд было ввезено около 22 тысяч пудов чая, 117 тысяч пудов сахара, 165 тысяч пудов соли, 13,5 тысячи пудов табака, 33,6 тысячи пудов фруктов и ягод, 43 тысячи пудов орехов, 25 тысяч пудов угля, 48 тысяч пудов керосина...

В том же году из Самарканда в различные регионы империи вывезли 200 тысяч пудов хлеба (в зерне), 166,5 тысячи пудов хлопка, 530 тысяч пудов муки и круп, 433,5 тысячи пудов риса, 23 тысячи пудов овощей, 94 тысячи пудов фруктов и ягод, 118 тысяч бутылок вина и водки, 33,5 тысячи пудов саксаульного угля...

А уже в следующем, 1890-м, в приложении к всеподданнейшему отчету военного губернатора Самаркандской области сообщалось, что общая сумма вывозимых из Туркестанского края в Россию и за ее пределы товаров составила около 22 миллионов рублей, из которой на долю Самарканда приходилось 26,6%, или около 5,5 миллиона...

В то же время ввоз товаров из России и других стран составил чуть большую сумму — 21,5 миллиона рублей...»¹

Впрочем, самолюбованию русских можно и не верить, если уж очень не хочется.

Но вот как писал о том же самом Армий Вамбери, венгерский ориенталист, некогда, таясь от смерти при разоблачении, дервишем пропутешествовавший от Европы до Бухары:

«Закаспийская железная дорога не принадлежит к тем гигантским сооружениям, которыми обогатилась цивилизация последнего времени; она не охватывает колоссального пространства, как тихоокеанская дорога, не прошла сквозь сердцевину гор, как дорога сен-готардского туннеля. Но по своему стратегическому, торговому и культурному значению она смело может соперничать с величайшими путями сообщения Европы и Америки».

Далее же в книге — об именах, совсем мало кому известных.

¹ Назарьян Рубен. «Самаркандская старина». С. 67—68.

Впрочем, для «русской» истории Средней Азии, по-своему тоже кое-что, несомненно, сделавших.

О самоучке Алексее Мирошниченко, не только наладившем производство макарон в Самарканде, но и пустившем в работу водяное железное колесо для приведения в действие динамо-машины под электрический свет, то есть создавшем «двигатель для добывания этого света».

О некоем майоре Борзенкове, который по распоряжению начальника Зарафшанского округа генерал-майора А.К.Абрамова силами веселых солдат из самаркандских военных частей взялся за археологические раскопки древнего Афрасиаба.

//

Когда-то, сведя многие тома своего творчества к одной-единственной, все объясняющей метафоре — «красное колесо», Александр Солженицын, повторяя и повторяя ее во всех своих книгах, сумел убедить читателей, что неисчезающие беды российской страны происходят от того, что по ней смертельно проехала эта овеществленная метафора.

Проехалась она в свое время, к слову сказать, и по провинциальным ташкентским писателям, не дав многим из них возможности войти в литературу чем-либо литературно не провинциальным.

Пусть и совсем-совсем по другой причине, но они «не проросли». Так и остались не проросшим зерном.

Хотя и были тогда здесь, в Ташкенте, вроде бы дома. Только писать все равно не могли — метафора предлагала кривить душой. Тот же, кто не смог проникнуться ее социальным смыслом, как правило, начинал пить, подставив себя этим под колесо чуть поменьше. Наверное, чтобы убить в себе мешающего жить в такой ситуации писателя.

И это им легко удалось.

Красное колесо проехалось. Малое только лишь прокатилось, но тоже смертельно для здешней литературы.

Кто, кроме последних русских ташкентцев, знает хоть что-нибудь про других «малых сих», вспоминаемых в еще одной подобной же ностальгической книге, на этот раз из плеяды советско-писательской. О Льве Белове и Михаиле Ушакове, о Виталии Качаеве и Александре Панове, о Борисе Царине и Роберте Мнацаканове?

Уверен — никто.

И тихо болеющий сейчас, последний, быть может, из той, из несостоявшейся когорты писателей, Сухроб Мухамедов, понимая это, все-таки тоже отдает им дань, оживляя — просто, чтоб помнили — их в своей мемуарной повести «И в снах мелодии Джангоха»¹.

Закономерность появления книг о фигурах, говоря безусловно, второго ряда — всего лишь знак того, что весь первый ряд использован максимально.

Что тема первых — внешне — практически исчерпана.

Что уже все сказано, рассказано, пересказано и до минут изучено.

И о краткосрочном пребывании Сергея Есенина в Ташкенте и Самарканде. И об эвакуационном пребывании здесь же Анны Андреевны Ахматовой. И о том, каково влияние больниц ТашМИ (Ташкентского медицинского института) на роман Александра Исаевича Солженицына «Раковый корпус» и на все его творчество вообще («Правая кисть»). И о том, как, несмотря на все запреты местных властей, святитель Лука (Войно-Ясенецкий) в этих же корпусах, правда, несколько раньше, проводил свои уникальные хирургические операции под иконой, которую он отказался снять со стены. И о том наконец, как — прежде, чем уехать в Россию, чтобы там доучиваться и позже возглавить Временное правительство, — в стенах здешней мужской гимназии

¹ Джангох — место в Ташкенте, где, по рассказам стариков, некогда отмечали праздники и торжества.

лучшим актером самодеятельного театра был некий Александр Керенский, мальчишка, впрочем, заносчивый и высокомерный.

Окончательная и полная вычерпанность — именно так! — всех мало-мальски обозначившихся на среднеазиатском фоне «русских» фигур, по-видимому, не за горами. Если уже не произошла. Источник иссяк. Следовательно, подобным книгам если и появляться, то — в некой инвариантности.

А вот иным русскоязычным литературным открытиям на здешней земле теперь вряд ли и быть...

Пока же — еще «в разработке», но тоже уже не без повторений и биографических пересказов — ученые-ориенталисты Н.Г.Маллицкий, Н.П.Остроумов, М.Е.Массон и Г.А.Пугаченкова.

Нечто вроде изучения изучающих.

///

На одном из недавних, время от времени все-таки проводимых семинаров молодых писателей Узбекистана, пишущих на русском, я был атакован чередой их вопросов, сводящихся к одному: будут ли у них здесь в будущем читатели? Вопрос риторический, но для них ничуть не меньший другого, столь же безответного — в чем смысл жизни? Тем не менее, представляя из себя опытное старшее поколение, я отвечал с должным оптимизмом, что — несомненно. Будут.

Что интерес к русской литературе неувядаем.

Что через нее есть великие выходы всякому отдаленному читателю на международные, не замкнутые горизонты. И это понимаемо всеми.

Что, в конце концов, нет такой талантливой и интересной книги, которая не была бы однажды выхвачена с налету вечно голодным на талант и литературную — сюжет, фабула — интересность этим самым читателем...

Так что — пишите, да обрящете...

Только потом, оставшись наедине с их текстами, я стал думать не о читателе, популяция которого хотя и сокращается, но вряд ли подвергнется полному вымиранию и всегда и везде обнаружит себя. Подумал о них самих, здесь живущих и здесь же еще пишущих, — будут ли они здесь, эти пишущие по-русски писатели?

С одной стороны, я уже говорил как-то, что Средняя Азия — это нечто вроде сундука с драгоценными камнями, по метафоре прекрасного узбекского писателя Шукрулло. Только запускай ладони, только черпай, перебирай, любуйся, радуйся и пиши об этой неповторимой восточно-сказочной радости.

С другой стороны, литература — не одно лишь использование всего прежде накопленного, всех этих сокровищ, но и перевод дней современности, мыслей современности в состояние тех самых вневременных драгоценных камней, без прибавления которых будущая сокровищница всенепременно истощится.

То есть, говоря без узоров, хотя еще возможно появление в Средней Азии, в том же Узбекистане, писателей-историков, писателей-этнографов, пишущих в стилистике Сергея Бородина, Мориса Симашко или Явдата Ильясова, однако иных, пишущих на русском языке о скрытой современности нынешней Средней Азии и того же Ташкента, боюсь, очень и очень скоро будет уже не сыскать.

Писательство «со стороны» невозможно.

Писательство изнутри, что называется, с полным проникновением в души и ситуации, возможно лишь у авторов, числящихся среди этих душ и живущих внутри ситуаций.

Впрочем, если появление нового Сергея Бородина или нового Явдата Ильясова, то есть литераторов, работающих на материале прошлого, пожалуй, вполне еще реально и для современной среднеазиатской литературы, то появление Чингиза Айтматова, на мой взгляд, слегка сомнительно.

Вроде бы двуязычный Чингиз Айтматов, писавший по-киргизски и сам себя

переводивший на русский, поднимал такую своей работой как бы частный свой язык на ступень общего тогда для всех русского языка.

Кто ныне способен на это? Да и кто поймет сразу, что все это нужно?

Здесь вполне можно провести параллель: новые русскоязычные писатели, ныне пошедшие в рост в новых же независимых странах, отпочковавшихся от бывшего Союза, и писатели эмиграции первой, а тем паче не второй волны, но некоего между ними промежутка, в какой-то мере — на новом историческом витке — так же совпадают в своих литературных судьбах...

В той, первой, например, общепризнанно существует тот же Гайто Газданов. Парижский писатель, вроде бы из первой волны, влившийся в нее пятнадцати с половиной лет от роду солдатом бронепоезда отступающей белой Добровольческой армии. По сути, совсем еще мальчишкой. Без великого груза, уносимого с собой из России всяким старшим по возрасту. Без опыта жизни в ней, без ее ощущения. Он-то ведь и писателем сделался не в России, но только лишь в обретенном им навсегда зарубежье. То есть он никогда не был, не мог быть российским писателем, но обреченно взялся нести свой талант, которым Бог наградил его, взялся, как тому и положено быть, по-библейски, не закапывая. Да он и не мог от него уйти, пусть даже работая таксистом, как не уйти от преследования тебя стерегущей судьбы на какой-либо бандитской узенькой улочке.

Так родился писатель Гайто Газданов, признанный классиком эмигрантской литературы, но классиком русской не могущий стать по определению.

Тексты о Франции от русского писателя?

Кому интересно?

Французам? Но у них уже есть Андре Жид и Жан Жироду, Жан Кокто и Поль Валери. У них уже был Марсель Пруст. И многие еще будут. Хотя бы пусть понятный для всех Жорж Сименон.

Русским? Но они все здесь в прошлом. В Иване Бунине, Михаиле Осоргине, Марке Алданове. В Алексее Ремизове наконец.

Кому сможет быть необходим он? Кому сгодятся его тексты, ничуть не годные для успокоения тоскующей внутренней жизни, безысходно обволокевшей уставшую ото всего стареющую эмиграцию?

Ровесникам, уже вовсю говорящим по-французски, еще живущим в ностальгии, но уже и не без надежды избыть ее на новой — так уж сложилось! — для себя земле?

Да, талант есть. Он не дает покоя. Мучает. И тогда рождается «Вечер у Клэр». Нечто великолепно переходное между Францией — явный Пруст — и Россией, в живой парижской жизни русский все еще язык, или — нет — всего только лишь тень того языка, что остался где-то за границами безвозвратно ушедшего времени.

Далее — уже явное скольжение вниз — едва ли не чистейшая литературщина романа «Пробуждение». Литературное чудо как порождение талантливого ума.

Весь Гайто Газданов — одно лишь личностное начало. Талант без жизненной родины. Цветок без запаха.

В нем еще существуют воспоминания о российской метели («Вечер у Клэр»), но России за «белым дымом и ветром и шорохом воздуха» ему уже не дано разглядеть:

«...мне часто снился сон, будто я иду по нашему городу и прохожу мимо здания, в котором живу, и непременно прохожу мимо, а зайти туда не могу, так как мне нужно двигаться дальше» (там же).

Точно такая же обреченность обрушилась вдруг на всех русско-азиатских (если возможно так сказать) писателей.

Они еще долго будут способны писать про желтый и песчаный дым пустыни, жгущий ветер-афганец и шорох застывающего после дневной расплавленности ночного воздуха Азии.

Но уже исчерпанность их существования просматривается без всякого напряжения глаз. Но уже, повторюсь, вычерпанность литературной тематики видна не только при чтении книги Рубена Назарьяна «Самаркандская старина», с обзора

которой мы начали эти литературные заметки, а и немногих других, даже уже и не документальных, а просто — художественных...

Одинокие здешние авторы еще могут стать на ступень своего литературного восхождения талантом, помноженным на собственное личностное начало. Но породят ли они неповторимость, очень условно говоря, русскоязычных «азиатских» книг?

Это тоже — зерна и семена, приткнувшиеся на поверхности.

Даже если и прорастут, останутся нежизнеспособными. Проживут лишь до первого ветра, сметущего их с азиатского движущегося песка. Здесь надобно быть не травой-емшан, не перекасти-полем. Здесь следует быть естественным для жаркой земли, для ее гор и песков, неторопливо перетекающих из века в век, каким-нибудь саксаулом, состоящим едва ли не из одного только своего многометрового корня...

IV

К слову сказать, если упоминаемые «малые» люди всегда все-таки связаны друг с другом живыми своими жизнями и этой связью создают свой, для нас до сих пор интересный мир, то добавленные автором явно для утяжеления веса книги, даже и не безынтересные, надо сказать, статистические исследования о русском языке «...в полиэтническом пространстве Самарканда» не обогащают, но — композиционно — обедняют книгу, рассеивая нашу читательскую сосредоточенность.

А может, я ошибаюсь? И именно эта часть самая главная во всей книге?

То есть автор нам говорит, что уже не судьбами этих заброшенных в Среднюю Азию русских людей должны озабочиваться мы, не исчерпанностью литературных тем, но политическими и внелитературными размышлениями — сохраниться ли вообще «великому и могучему» языку на здешнем, нами исторически все-таки оставляемом пространстве?

Ведь все эти имена, кстати и некстати здесь упомянутые, хотя еще и остаются как сюжеты, но все-таки остаются... чтобы уйти.

То есть история, какая она ни на есть, какая она ни была, на некоторое время все-таки остается.

Как воспоминание.

Однако неужели всего лишь?.. Не верится.

Саодат Олимова, Музаффар Олимов

Человеческий капитал в Таджикистане

Итоги двадцати лет независимости

Как изменился бывший «советский народ» за последние двадцать лет, что он строит в каждой отдельно взятой части бывшего СССР, как представляет себя и свое будущее? Эти вопросы занимали нас, когда мы приступали к исследованию, с результатами которого вам предстоит познакомиться. В работе использованы данные официальной статистики, результаты ранее проведенных исследований и публикации в открытой печати. Кроме того, мы провели два опроса общественного мнения, экспертный опрос и две фокус-групповые дискуссии. В этой статье мы разбираем проблемы образования, обучения, приобретения профессиональных знаний и навыков и их применения на рынке труда.

«Благо длительного пользования»

Экономический термин «человеческий капитал» вошел в нашу жизнь сравнительно недавно. Впервые он появился в работах Теодора Шульца, экономиста, получившего Нобелевскую премию в 1979 году. Изучая положение слаборазвитых стран, он заявлял, что улучшение благосостояния бедных зависит не от недр, которыми располагает страна, не от технической оснащенности или усилий их правительств, а скорее от знаний, которыми обладают люди, населяющие эту страну. Иначе, от способности общества накапливать, производить и трансформировать знания отдельных личностей и коллективов в общественное благосостояние¹.

Шульц дал такое определение нового понятия: «Все человеческие способности являются или врожденными, или приобретенными. Каждый человек рождается с индивидуальным комплексом генов, определяющим его врожденные способности. Приобретенные человеком способности или ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими вложениями, мы называем человеческим капиталом».

Сочетание слов «человеческий» и «капитал», вероятно, прозвучит дико для многих читателей. Может возникнуть впечатление, что человек уподобляется некоему неодушевленному продукту или счету в банке. И здесь точное, наш взгляд, разъяснение приводит Ростислав Капелюшников: «Аналогию между человеческим и "обычным" капиталом нельзя считать полной. Во-первых, в современном обществе человек — в отличие от станка или пакета акций — не может быть предметом купли-

Олимова Саодат Кузиевна — философ, социолог, руководитель научно-исследовательского центра «ШАРК» (Таджикистан).

Олимов Музаффар Абдуваккосович — историк, социолог, доктор исторических наук. В «ДН» публиковалось их исследование «Мигранты в зоне кризиса» (2010, № 7).

¹ Градировский С. Человеческое развитие — вызов России. В сб. Человеческий капитал России и стран Центральной Азии: состояние и прогнозы. — М.: 2009. С. 17.

продажи (такое возможно лишь в рабовладельческой экономике). Как следствие, на рынке устанавливаются только цены за "аренду" человеческого капитала (в виде ставок заработной платы), тогда как цены на его активы отсутствуют... Во-вторых, человеческий капитал способен повышать эффективность деятельности как в рыночном, так и вне рыночного секторе, и доход от него может принимать как денежную, так и неденежную форму. В результате потребительские аспекты вложений в человека оказываются не менее важны, чем производственные. Тем не менее в главном человеческий капитал подобен физическому: он представляет собой благо длительного пользования; требует расходов по ремонту и содержанию; может устаревать еще до того, как произойдет его физический износ»¹.

Надо сказать, что различные авторы трактуют понятие «человеческий капитал» по-разному. Наше определение в данной статье: это знания, навыки, способности, мотивации, которые могут быть использованы человеком в процессе труда и которые вносят вклад в социально-экономическое развитие страны. При этом важной составляющей является образование, в которое входят также и тренинги, производственная и другие формы обучения.

Таджикистану, как и другим бывшим союзным республикам, достался в наследство от СССР весьма высокий уровень человеческого капитала. И когда в стране начались преобразования, именно на это богатство прежде всего и рассчитывали идеологи реформ. Они были убеждены: уж с такими-то людьми мы быстро построим независимое национальное государство с демократической формой правления и рыночной экономикой — вторую Швейцарию.

Что же произошло в действительности?

Ко всем общим бедам, от которых после распада Советского Союза пострадали новые независимые государства, в Таджикистане добавилась кровопролитная гражданская война 1992—97 годов. Этот конфликт и его последствия глубоко травмировали население республики, оказавшейся в тотальном экономическом кризисе. Затем на страну обрушились потрясения, связанные с переходом к рыночной экономике: резкое сокращение производства, обнищание населения, формирование бедности и попытки выйти из нее... Таков был фон, на котором шли политические, экономические, социальные, культурные, религиозные преобразования. Весь этот клубок сложных и болезненных процессов глубоко повлиял на человеческий капитал. Оказалась затронута и его основа — демографический состав населения.

Странности экономического поведения

За годы независимости численность населения Таджикистана заметно выросла — с чуть более пяти миллионов человек в 1989 году до семи с половиной миллионов в 2010-м. Произошло это за счет естественного прироста населения, который хотя и снизился за последние двадцать лет, но, тем не менее, остается достаточно высоким. Снижение прироста произошло прежде всего из-за падения рождаемости. Правда, при этом уменьшилась и смертность.

В последнее десятилетие перед распадом СССР рождаемость была высокой, а потому население современного Таджикистана молодо — его средний возраст составляет 24—25 лет. Соответственно выросло число работников. Доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения увеличилась с 47 процентов в 1991 году до почти 60 процентов в 2008-м. Тем не менее экономическая активность населения Таджикистана падает. В 2008 году количество экономически активных работников составляло лишь третью часть общей численности трудовых ресурсов. Причина — в том, что женщины заняты в приусадебных хозяйствах, а мужчины — в трудовой миграции за пределами родины. Однако государственная статистика слабо регистрирует занятость подобного рода. Потому-то столь велика разница между

¹ Капелюшников Р.И. Теория человеческого капитала. — <http://creativeconomy.ru/library/prd28.php>.

официально объявленным уровнем безработицы и данными многочисленных обследований. Так, по данным Государственного комитета статистики, уровень безработицы в 2008 году составил всего лишь 2,2 процента, но в действительности он колебался в пределах от 15 до 33 процентов в зависимости от сезона года¹.

Прежде чем продолжить разговор о странности «экономического поведения» основной массы населения постсоветского Таджикистана, следует пояснить, что подразумевается под этим громоздким термином. Экономическое поведение — это «образ, способ, характер экономических действий граждан, работников, руководителей, производственных коллективов в тех или иных складывающихся условиях экономической деятельности, жизни»². И надо сказать, что условия эти складывались в последние годы далеко не благоприятно. Распад Советского Союза разорвал межотраслевые связи, многие предприятия закрылись, люди потеряли работу. Если в 1991 году в промышленном производстве был занят 21 процент всех трудоспособных, то в 2003-м всего 8 процентов. Большинство новых безработных нашли работу в сельском хозяйстве, розничной торговле, сфере услуг, домашнем производстве или перестали искать работу вообще.

Деиндустриализация сопровождалась обширным и мгновенным обесцениванием человеческого капитала, накопленного в предыдущую эпоху. Оказалось, что знания, мастерство, опыт, производственные традиции попросту не востребованы. Промышленное производство, требующее квалифицированного труда, сократилось более чем на 50 процентов. В то же время почти утроился объем торговли, бурно развиваются строительство и сфера услуг — иными словами, области, в которых человеку не требуется столь высокая квалификация, как в промышленности. Все это привело к изменениям качества работников на рынке труда. Упал спрос на квалифицированную рабочую силу, зато работники с малой квалификацией — в цене. Правда, в последние пять лет что-то сдвинулось. В ходе нашего опроса руководителей фирм около трети старших менеджеров жаловались, что их сотрудникам не хватает знаний и опыта, а места, требующие высокой квалификации, пустуют. Серьезная ситуация с дефицитом специалистов сложилась в промышленности, строительстве, ЖКХ, здравоохранении и связи...

Меняется и состав населения. Снижается количество горожан, растет число сельских жителей — то есть, происходит так называемая дезурбанизация. Если в 1989 году в городах проживала треть населения Таджикистана, то в 2010-м — чуть больше четверти, 26,4 процента. Следует отметить, что процесс дезурбанизации начался еще в советское время. Доля городского населения неуклонно снижалась с 1975 года, когда она составляла чуть более 37 процентов. Соответственно повышалась занятость в сельском хозяйстве, и особенно в приусадебном производстве продовольствия для собственного потребления. Одновременно резко выросла временная трудовая эмиграция, которая захватила огромные массы людей, не нашедших работы на родине. Разрастание натурального хозяйства и трудовая эмиграция поглощают все больше людей, переставших выходить на внутренний рынок труда. Огромное количество семей опустилось за черту бедности и едва сводили концы с концами. И одновременно, как и повсюду на постсоветском пространстве, возник тонкий слой людей богатых и сверхбогатых. Произошло социальное расслоение, сформировалось заметное социально-экономическое неравенство.

Все это не могло не сказаться на человеческом капитале. За годы гражданской войны значительно ухудшилась система образования. Страна заплатила за реформы чрезмерно высокую социальную цену. Значительная часть наиболее образованных людей покинула родину. И все же, несмотря на тяжелые потрясения, сопровож-

¹ Стратегия снижения бедности в РТ на 2007—2009 годы. Душанбе, 2007.

² Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 1999. С. 479.

давшие переходный период, Таджикистан сохранил довольно высокий уровень грамотности населения и охвата его образованием.

Тем не менее, как ни печально, человеческий капитал в стране медленно и последовательно ухудшается. Молодые люди менее образованны, чем их родители, качество образования заметно упало, растет неравенство в доступе к образованию. Если в советское время образованием были охвачены все дети, то в настоящее время ситуация изменилась. В стране появились неграмотные, и произошло это довольно быстро. Так, переписи, проведенные в 1989 и 2000 годах, еще отмечали поголовную грамотность. Прошло совсем немного времени. В 2007 году среди людей старше пятнадцати лет нашлись те, кто сообщили, что никогда не посещали школу и не владеют грамотой. Они составили 0,7 процента населения Таджикистана¹. Сократилась и доля людей с высшим и средним профессиональным образованием.

Современный работник, как правило, окончил лишь 9—11 классов. Среднее образование имеет около половины экономически активного населения, и только треть всех людей, участвующих в трудовой деятельности, получили профессиональное и высшее образование. Уровень экономической активности людей с профессиональным или высшим образованием значительно выше, чем у тех, кто имеет только среднее образование.

Что способствовало ухудшению человеческого капитала? Изучая различные факторы, мы выделили три основных: ухудшение системы образования, влияние структурной перестройки экономики и воздействие масштабной трудовой миграции.

Лучше быть мальчиком, чем девочкой

Почему молодые люди бросают школу, не доучившись? Ответить на этот вопрос поможет рассказ одного из наших респондентов, юноши по имени Сино. Приводим его интервью в нашем пересказе.

Сино живет в Душанбе, ему семнадцать лет. Отец умер, когда Сино было два года. Юноша живет с матерью, с четырнадцатилетним братом (учится в 8-м классе) и девятилетней сестрой (учится в 3-м классе). Сино — главный кормилец в семье. Им также помогает дядя — брат матери.

Три года назад Сино оставил школу. У него не было возможности платить за учебу. Он решил работать, чтобы помогать матери. Сначала занимался мелкой уличной торговлей, а потом дядя взял его в авторемонтную мастерскую, где он под дядиным руководством чинит автомобили. Рабочий день Сино длится с 8:00 до 19:00 часов вечера. Его ежемесячный заработок составляет 60 сомони (20 долларов). Из них 50 сомони (17 долларов) он отдает маме. Оставшиеся деньги откладывает.

Сино считает свою работу доходной, но хочет продолжить учебу — мечтает поступить в техникум, но для этого нужны деньги, которых у него пока нет. Он считает, что образование является самым важным источником как духовного, так и материального богатства и для мальчиков, и для девочек: «Нельзя считать богатым необразованного богача, потому что в любой момент у него могут отнять все его имущество. Знания отнять у человека невозможно». Сино решил, что брат и сестра должны учиться. Он говорит: «Им пока необходимо учиться, стать грамотными, а работать успеют. Одновременно учиться и работать — это непосильная нагрузка и ни к чему хорошему не приведет».

Читателя наверняка удивило упоминание о том, что у юноши «не было возможности платить за учебу». Конституция Республики Таджикистан гарантирует всеобщее и бесплатное образование. Однако в действительности платить приходится, и платить, по меркам бедных семей, немало. В школах Душанбе, как и в школах других

¹ Обследование уровня жизни в Таджикистане. — Душанбе: Госкомстат РТ-ЮНИСЕФ, 2009.

регионов, начиная с первого и кончая выпускным классом с каждого ученика взимается неофициальная плата. Мзда зависит от престижа школы и составляет от 15 до 35 сомони (5—9 долларов) в месяц. Деньги идут на прибавку к зарплате учителей. Кроме того, с родителей собирают деньги на ремонт школы, покупку оборудования, на проведение школьных мероприятий и другие расходы. Происходит это на добровольно-принудительных началах, в нарушение конституционных норм. При этом дети в городах находятся в относительно благополучном положении. Наши опросы показали, что сельские жители в два раза чаще, чем городские, бросают обучение из-за высокой оплаты школьного образования и почти в три раза чаще — из-за необходимости начать работу...

Но вот ребенок заканчивает школу, однако поборы, если он решил продолжать учебу, на этом не заканчиваются. Дополнительные платежи вошли в практику как школьного, так и профессионально-технического и высшего образования. Их масштаб настолько велик, что в Национальной стратегии развития образования Республики Таджикистан на 2009—2018 годы ставится вопрос о легализации платы за обучение. Предполагается, что эта вынужденная мера поможет наладить учет и контроль за тем, как используются «побочные» деньги.

Однако независимо от того, станет ли плата законной или останется нелегальной, она по-прежнему будет лежать тяжким грузом на семьях с низкими доходами. Неравенство богатых и бедных в доступе к образованию останется. Чтобы снять эту проблему, в 2007 году было принято постановление правительства «О выплате денежных пособий малообеспеченным семьям, имеющим детей, обучающихся в общеобразовательных школах РТ». К сожалению, денег у государства недостаточно, и пособие получают два раза в год только 15 процентов наиболее нуждающихся семей. Проблема все еще ждет своего решения.

Справедливости ради следует сказать, что нынешние школьные поборы, какова бы ни была их моральная сторона, — мера вынужденная. Вызвана она, с одной стороны, плохим материально-техническим оснащением учебных заведений. Вот один только показатель: в сельских местностях школьные классы нередко закрываются на зимний период из-за отсутствия отопления. Где уж тут мечтать обо всем прочем, без чего немыслима современная школа!

С другой стороны, самих учителей можно без преувеличения включить в число бедных. Их зарплаты чрезвычайно низки. По этой причине в одном только 2008 году с работы уволилось около 11 тысяч учителей. Уходят прежде всего наиболее квалифицированные. В 2008—2009 годах в Таджикистане работало около 100 тысяч учителей. Из них только 61 процент имел законченное высшее образование.

Но не только безденежье гонит учителя из школы. Чаще всего пустуют учительские вакансии в горных, отдаленных и труднодоступных селениях. Ухудшение общественного транспорта, разрушение сети местных дорог, повышение платы за проезд сделало труднодоступными многие селения в горах и предгорьях. И это сразу же привело к оттоку учителей из местных школ.

Итог всего перечисленного — очень низкое качество образования в целом по стране. Правда, полученные нами в ходе опросов данные показали, что с 2002 года школьная инфраструктура стала улучшаться. Наибольшие улучшения произошли в столице и регионах с высоким уровнем жизни. Однако на селе и в бедных районах положение ухудшилось.

Более всего экономическое и социальное неравенство затронуло сельских женщин с низкими доходами. У них — самые ограниченные возможности получить образование. Вот как описывает ситуацию активистка исламской партии Таджикистана Зарафамо Рахмонова: *«Сегодня мы поднимаем вопрос о политической грамотности женщин, однако на деле мы должны признать, что речь идет уже об элементарной неграмотности. В ряде труднодоступных кишлаков женщины не умеют ни писать, ни читать. Они даже не знакомы с грамотой. Учиться не могут, потому что нет возможно-*

сти, не хватает денег. Детей нечем кормить, их не во что одеть. Мужья на заработках, и часто они тоже не могут помочь своим семьям из-за кризиса»¹.

Анора Саркорова, в статье которой приведено это высказывание, отмечает, что семьи с низкими доходами предпочитают вкладывать деньги в образование мальчиков, но не девочек... Образование может помочь мальчикам найти работу в Таджикистане и за рубежом, с тем чтобы они поддерживали пожилых членов семьи в будущем. Родители не видят пользы в образовании девочек, так как традиционно дочери выходят замуж в молодом возрасте, обеспечивают жизнедеятельность домохозяйства мужа и не выходят на рынок труда. Эта практика особенно распространена в сельских районах. В начальной школе неравенства между мальчиками и девочками нет. Но уже в 7-м классе на 10 мальчиков приходится 8 девочек. Мальчики имеют больше вероятности получить общее среднее образование, чем девочки, которые чаще бросают школу после 4-го класса. Образованию девочек часто препятствует их загруженность домашней работой и уходом за младшими братьями и сестрами. Исследования детского труда в Таджикистане показывают, что девочки, особенно в возрасте 13—15 лет, тратят на домашний труд значительно больше времени, чем мальчики.

В итоге это приводит к общему низкому уровню образования у подрастающего поколения, так как малообразованные женщины не поощряют своих детей учиться и получать профессиональные знания. Низкая степень образованности матерей влияет не только на посещаемость, но и на успеваемость учащихся — успехи ребенка в школе гораздо больше зависят от матерей, чем от отцов.

Ухудшению образования детей способствует и трудовая миграция мужчин. В мигрантских домохозяйствах дети учатся хуже и пропускают школьные занятия чаще, чем в семьях без мигрантов. Они начинают работать раньше и работают больше, чем сверстники, особенно старшие сыновья, которые пытаются заменить отцов. Когда отцы по какой-то причине не присылают переводов, многие дети мигрантов перестают ходить в школу. Домохозяйство, пытаясь справиться с финансовыми трудностями, использует стратегии выживания, экономит на школьных расходах и увеличивает трудовую нагрузку на всех членов семьи, в том числе и на детей.

Мы беседовали с двенадцатилетней девочкой Мадиной, которая бросила школу два года назад, когда отец уехал на заработки в Россию и пропал. В семье кроме Мадины — сестра пятнадцати лет (она не учится и торгует на улице вареной кукурузой) и брат. Ему десять лет и он учится в четвертом классе. Мать Мадины занимается уличной мелкой торговлей рядом со школой, продает жвачку, шоколад и газированные напитки. Раз в месяц Мадина вместе с сестрой покупает оптом семечки. Дома жарит их и продает стаканчиками. Ее рабочее место на тротуаре около школы рядом с мамой.

Утром Мадина встает в 6 часов, убирает дом, завтракает и в 9 часов идет работать. Обедает с мамой, покупая пирожки на улице. В 15:00 часов она идет домой. Ее рабочий день длится от 5 до 8 часов. Когда она училась, одноклассники дразнили девочку тем, что ее мама — уличная торговка. Сейчас бывшие соученики и знакомые дети продолжают над ней насмехаться.

В свободное время Мадина помогает матери убирать дом, играет с братом. На вопрос, хотела бы она не работать, а продолжить учебу, она ответила: «Надо работать, чтобы помочь маме». Ее мать не имеет патента на уличную торговлю, так как он слишком дорог для нее. Поэтому милиционеры не разрешают им торговать на улице. «Когда нас гонят с улицы, мы с мамой убегаем с товаром и прячемся в школе. Когда милиционеры уходят, мы опять садимся на тротуаре торговать», — рассказывает Мадина. Она мечтает, чтобы папа приехал из России, чтобы родители были здоровы, был мир, чтобы все дружно жили и не было бы злых милиционеров. Она еще не решила, кем стать. Вот ее мама отлично училась в школе, а теперь не имеет работы. Мадина думает, что лучше быть мальчиком, чем девочкой. Мужчины больше зарабатывают.

¹ Цит. по: Саркорова А. Почему в Таджикистане девочки бросают школу? http://www.bbc.co.uk/russian/international/2011/03/110303_tajik_girls_education.shtml.

Поможет ли образование найти работу?

Ситуация с высшим образованием в общих чертах повторяет школьную с тем лишь добавлением, что барьеры здесь выше и для малоимущей молодежи, и для женщин. Стоимость обучения высока, и потому пути к высшему образованию для бедных слоев населения оказываются, как правило, недоступными. Есть, правда, регионы, где плата за образование ниже, — в них и охват молодежи высшим образованием пошире, но это не меняет общую картину.

Парадоксальная закономерность: студенты из богатых семей значительно чаще учатся бесплатно или получают государственную стипендию, чем студенты из неимущих семей. Почти половина вузовских студентов учится в «бюджетных» группах, то есть не платит за обучение. Разгадка парадокса проста. Для того чтобы получить государственное финансирование, молодому человеку необходимо поступить в вуз. Однако поступление зачастую связано с коррупционными платежами, на которые у бедного абитуриента нет средств. А нет денег на поступление — не можешь учиться бесплатно. Порочный круг.

Аналогичная ситуация — в средних специальных учебных заведениях. Однако в настоящее время потребность в профессионально-техническом образовании значительно снизилась, а привлекательность высшего возросла. Главное, что определяет выбор учебного заведения и будущей профессии, — возможность найти работу после окончания обучения. Профессионально-технические колледжи и ПТУ такой уверенности не дают. Тем не менее часть молодых людей продолжает надеяться на то, что диплом поможет им трудоустроиться если не на родине, то за рубежом. Так, чуть выше 60 процентов опрошенных мужчин и около 45 процентов женщин сообщили, что выбрали профессию из-за перспективы получить работу за границей. Такой подход распространен главным образом среди сельских жителей, которые мигрируют чаще, чем горожане.

Мы попытались выяснить, насколько образование повышает благосостояние семьи. Оказалось, что среднее специальное образование способно значительно увеличить ежемесячный доход, но оно не приводит к обеспеченности, зажиточности и тем более к богатству. Университетское образование главы семьи способствует повышению семейных доходов от крайне низкого до среднего уровня, а также может сделать их чрезвычайно высокими. Таким образом, высшее образование — это средство выхода из нищеты. Но чтобы добиться настоящего благополучия, необходимы дополнительные условия — социальный капитал, в который входят связи, происхождение и прочее в этом же роде. Затраты на получение высшего образования женщинами, выходцами из бедных семей, сельчан не окупаются.

Негативный опыт миграции

В различных странах был проведен целый ряд исследований, в которых рассматривалось влияние миграции на человеческий капитал. Большинство из них показало, что гастарбайтеры в ходе работы за рубежом получают дополнительные знания и навыки. Кроме того, считается, что миграция оказывает положительное воздействие на человеческий капитал. Уменьшается крайняя бедность, за счет денежных переводов увеличиваются доходы оставшихся на родине семей, которые могут теперь выделять больше средств на образование детей. Это подтверждает опыт таких «миграционных» стран, как Турция, Иордания, Пакистан, Мексика...

Однако опыт Таджикистана свидетельствует, как ни печально, об обратном. Собранные нами данные показали, что как среди мигрантов, так и в их семьях уровень образования постепенно снижается. Пример тому — таджикская трудовая миграция в России, которая за последние восемнадцать лет стала заметно менее образованной.

В чем причина? Связано ли снижение уровня образования мигрантов с общим ухудшением человеческого капитала в Таджикистане? Или же виной тому негативные последствия трудовой эмиграции?

Начнем с того, что опыт таджикской трудовой миграции заметно отличается от опыта других «миграционных» стран, где на заработки за рубеж отправлялись представители средних и низкостатусных слоев населения. Дома их не удовлетворяли низкие зарплаты или положение в обществе. В Таджикистане же трудовая миграция развивалась в рамках процесса структурной трансформации рынка труда. Она вовлекла в свою орбиту высококвалифицированных работников и специалистов, занятых прежде в советском народном хозяйстве и оставшихся без работы с его распадом. Поэтому в первое десятилетие за рубеж отправилось непропорционально большое количество мигрантов из высокостатусных групп населения и высококвалифицированных профессионалов. Большинство из них устраивалось простыми рабочими, поскольку в ходе структурной перестройки рынка труда в России, как и в других постсоветских странах, выросла потребность в тяжелом малоквалифицированном труде. Наш информант Бозор (52 года) родом из города Курган-тюбе рассказывает:

«В Россию на заработки я поехал оттого, что потерял работу. Остановился завод, где я работал инженером. Восстановить производство было невозможно. Плюс ко всему росли дети, им многое нужно. Пришлось в 1998 году ехать в трудовую миграцию. Другого выбора не было — день ото дня жить становилось все труднее. Работал сначала на рынке — тележки таскал. Потом осмотрелся и нанялся на стройку. К сожалению, в первый год я заболел — простудился на стройке. Не работал почти четыре месяца — воспаление легких с осложнениями. Ничего не высылал жене. Старшим детям пришлось бросить школу и пойти работать. Потом все наладилось, но старший сын в школу не вернулся. Сейчас вместе со мной работает штукатуром на стройке в Одинцово. Образования он так и не получил. Средний сын закончил пединститут, проработал два года в школе, женился и поехал вместе с нами работать в Россию. На учительскую зарплату не проживешь и тем более не прокормишь жену и детей».

Из-за нерегулируемого правового статуса многие таджикские мигранты жили и продолжают жить в условиях, когда образование не нужно и неуместно. Этот коллективный опыт препятствует улучшению образовательного уровня молодых мигрантов. Работники из Таджикистана не особенно заинтересованы в приобретении профессионального или технического образования, поскольку большинство из них работает в секторах, потребляющих малоквалифицированную рабочую силу. Это строительство, инфраструктура торговли, коммунальное и сельское хозяйство. Здесь нет достаточных стимулов для приобретения профессиональных или технических навыков, превосходящих уровень базовой грамотности. В то же время имеющаяся у мигрантов квалификация не востребована на рынке труда России. Правда, те, у кого за плечами институт или университет, отправляют деньги домой чаще и больше, чем мигранты с более низким уровнем образования, но так как им редко удается работать по специальности, то их прежние знания, как правило, обесцениваются.

И все же многие трудовые мигранты во время работы за рубежом приобретают умения и навыки, которые повышают их производительность и человеческий капитал. Около двух третей таджикских гастарбайтеров выучили русский язык и те или иные профессиональные навыки, что редко бывает подтверждено документально. Сертификаты получают лишь единицы.

Казалось бы, эти специалисты, обретшие опыт и знания, должны быть востребованы дома, в своей стране. Однако на самом деле это происходит лишь в малой степени. Ежегодно 9 процентов мигрантов возвращаются навсегда в Таджикистан. Но лишь 40 процентам этих людей квалификация, полученная за рубежом, помогла устроиться на работу. Остальным новые знания не помогли или даже ухудшили шансы на трудоустройство. Здесь, на родине, их компетенцию и опыт чаще всего отказываются признавать из-за отсутствия подтверждающей их бумажки. И это весьма острая проблема.

В целом же воздействие вернувшихся мигрантов на технологическое развитие страны незначительно. Причин тому несколько. Из-за технологического отставания Таджикистана репатрианты не могут применить новые знания и навыки на крупных государственных предприятиях или предприятиях, требующих значительных инвестиций. А потому они предпочитают работать в малом бизнесе. Их инновационное влияние сказывается только в отраслях, в которых сосредоточены главным образом малые предприятия. Это сфера бытовых услуг, строительство, производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, где редко используются продвинутые технологии. Только здесь репатрианты помогают внедрять новые техники, инструменты, методы...

Необходимость радикальных изменений

Низкий уровень человеческого капитала в Таджикистане явился следствием объективных закономерностей переходного периода. В Таджикистане с 2000 года наблюдается высокий экономический рост — почти по 10 процентов ежегодно в докризисный период. За восемь последних лет число бедных сократилось с 87 до 47 процентов населения. Дальнейшему развитию препятствует неудовлетворительный уровень человеческого капитала. Страна остро ощущает дефицит высококвалифицированных профессионалов в различных отраслях экономики, в государственном управлении, образовании, медицине, науке. Именно это, как полагают многие эксперты, препятствует эффективному проведению в стране реформ.

Эта проблема постоянно находится в центре общественных дискуссий. С 2005 года по настоящее время принято десять государственных программ, пять национальных планов и ряд проектов в области образования, реализация которых предусмотрена в ближайшие пять-десять лет. Идет реформа финансирования школ и пересмотр учебных программ. Большое внимание в последние годы уделялось строительству и ремонту школьных зданий.

Восстанавливать и совершенствовать систему образования правительство Таджикистана начало в период постконфликтной реконструкции, то есть после окончания гражданской войны и примирения с оппозицией. С 2000 по 2009 год были приняты ключевые законодательно-правовые документы, ставшие основой государственной политики в области образования. Направлены они на обеспечение равного доступа к образованию, снижение дискриминации по полу, повышение качества образования, снижение бедности посредством повышения уровня образованности населения. Инвестиции в человеческий капитал стали стратегической задачей правительства Таджикистана. Однако общий объем расходов на образование по-прежнему сравнительно невелик. В 2008 году он составлял лишь 4,1 процента от ВВП (для сравнения: в 1991 году — 9,7 процента). Недостаток инвестиций в образование особенно ощутим на фоне быстрого прироста детей и молодежи. А неравенство в доступе к образованию, как мы уже говорили выше, все еще остается острой проблемой.

Сошлемся на мнение независимого эксперта Наргиз Халимовой: «Правительство Республики Таджикистан продолжает проводить социальную политику, выстроенную как система прямой помощи населению, — патернализм, который предполагает отношение к человеку как к пассиву, на который государство должно тратить деньги. В конечном счете неважно, насколько эти траты эффективны, нужны людям, действительно ли выделенные средства помогают людям или нет — общество должно это принимать и быть благодарным государству. Такая социальная политика, проводимая экономически слабым государством в отношении своего населения, вызывает у последнего только раздражение и неуважение к власти.

Государство должно осознать необходимость радикальных изменений в социальной политике, которая бы основывалась на отношении к человеку как к активу, в который государство вкладывает деньги. Пока в стране нет ясного представления, как перевести этот капитал из пассива в актив»¹.

Нельзя сказать, что власти вовсе не замечают значения проблемы. Напротив, в последние годы растет понимание важности человеческого капитала для развития страны. Однако необходимо сделать следующий шаг и признать этот фактор *первоочередным*.

Природные ископаемые, источники энергии, производственные мощности, банковские капиталы, сверхсовременные технологии — все эти ресурсы мертвы, пока их не оживит рука человека. Не что иное, как человеческий капитал, определяет ныне основную долю национального богатства. Ядро этого капитала — люди. Только образованный, инициативный, обеспеченный всем необходимым для счастливой жизни и творчества народ способен заставить инертные ресурсы работать и двинуть страну вперед.

¹ Халимова Н. Человеческий капитал Республики Таджикистан. В сб. Человеческий капитал России и стран Центральной Азии: состояние и прогнозы. — М.: 2009. С. 152—153.

Роберт Кондахсазов

Незаконченные тетради

Фрагменты из книги воспоминаний

У меня есть живопись, но нет биографии.

Тбилиси и тбилисцы

Тбилиси, я имею в виду старые районы, обладает одним уникальным качеством. У него очень выверенный человеческий масштаб. Вы никогда не чувствуете себя в Тбилиси, даже на улице, одиноким и незащищенным. До всего можно дотянуться рукой, до всех можно достучаться — и тебе окажут помощь, даже не спрашивая, кто ты такой. В Тбилиси, если за кем-то бежал милиционер, все, не давая себе отчета, помогали убегающему. Если в учреждении решался вопрос о том, кому повысить зарплату, во внимание принималось не то, как работает тот или иной сотрудник, а то, какая у него семья и сколько у него детей. Хорошо это или плохо? Не знаю. Для дела, наверное, плохо, но зато человечно. Поэтому для истинных тбилисцев высшая ценность не идеология, не политика, не социальные катаклизмы, а человеческая жизнь. О сегодняшнем Тбилиси и сегодняшних тбилисцах я не сужу, уже несколько лет я не живу в родном мне городе, в доме, где до меня жили три поколения моих предков (это мне известно наверняка, я не поддаюсь соблазну домысливать то, что мне рассказывали старые люди).

Не могу не рассказать об одном, на мой взгляд, довольно любопытном случае. Двадцать лет назад мне надо было купить детскую ванночку. Задача оказалась не из легких, я тщетно обошел несколько магазинов и наконец оказался у метрополитена в центральной части города, у входа в универмаг. Скорее автоматически, ни на что не надеясь, я поднялся на третий этаж в хозяйственный отдел, где оказывается, только что получили столь дефицитный товар. С покупкой я вышел на улицу и оказался среди возбужденной толпы, которая наблюдала за тем, как по проспекту везли на переплавку памятник Серго Орджоникидзе (его считали главным виновником событий 1921 года). Народ, выкрикивая какие-то лозунги, ликовал, мальчишки, взобравшись на грузовик, смеясь и скандируя что-то, прыгали на животе пламенного революционера. Кто-то из толпы, оглянувшись, увидел меня с ванночкой, пробрался ко мне и поинтересовался, где я купил этот тазик, и буквально через минуту перед универмагом толпа поредела, люди ринулись за покупкой. Про Орджоникидзе забыли. Уже в тиши-

Роберт Абгарович Кондахсазов (1937—2010) родился в Тбилиси в семье врача. После окончания школы поступил в Тбилисскую академию художеств на факультет живописи. После окончания академии художник решил не выставлять свои работы, чтобы уберечь их от идеологии и конъюнктуры. Выставляться стал с 1964 года. Кроме живописи занимался дизайном, книжной графикой, сценографией. Заслуженный художник Грузии. Работы находятся в частных собраниях России, Армении, Грузии, Великобритании, США, Франции, Бельгии, Голландии, Израиля, Австралии.

не его везли доживать свою бесславную жизнь. Хорошо это или плохо? Судя по всему, для людей все же существуют вечные ценности, и купель младенца — всего дороже.

У меня сложилась абсолютная уверенность, что грузины изобрели уникальную формулу взаимоотношения с властью. Я имею в виду коммунистический режим. Они научились жить с властью параллельно, не пересекаясь с ней. Власть играла в свои абсурдные игры, а народ делал вид, что поддерживает этот спектакль, иногда, когда было необходимо, даже аплодировал решениям власти, но сам умудрялся жить так, как считал нужным. И удивительно, но добивался всего, чего хотел. Были сняты почти все фильмы, которые хотелось снять, поставлены все спектакли, нарисованы все картины, изданы все книги. Я говорю это с уверенностью, потому что мне хорошо была знакома эта сторона жизни. Когда в России наконец-то стали печатать запрещенную литературу, в Грузии таковой просто не оказалось, даже Григол Робакидзе был опубликован не только на грузинском языке, но и в переводе на русский язык. Более того, в Грузии благодаря журналу «Литературная Грузия» печатались русские поэты и прозаики, которых не печатали на родине. Но об этом журнале чуть позже, он заслуживает более обстоятельного разговора.

А пока мне хочется рассказать об одном доме в старой части города. На мой взгляд, пристройки к старому дому говорят о многом в характере тбилисцев. Меня в старом городе мало интересовали дома, сохранившие свой первозданный облик. Они, безусловно, представляют интерес для туристов и гостей города, но меня интересовали те дома, которые в силу определенных социально-бытовых условий были частично перестроены. Удивительно, но от переделок, достроек и перестроек красота этих домов не исчезала, а, скорее, подчеркивалась. Жесткая функциональность (а ведь там все было сделано в силу необходимости) придавала домам более живой, естественный вид.

Я не мог проходить равнодушно мимо таких домов, вероятно, и потому, что все это больше походило на театральные декорации. Жизнь обитателей таких домов была живой и интересной, потому что была на виду. Итак, о доме, привлекавшем мое внимание. Это был старинный двухэтажный дом с балконами. Видимо, прежде во двор спускались через крайний балкон на первом этаже, площадь которого для чего-то понадобилась хозяину, и он решил пристроить к дому наружную лестницу. Но вот невезение — как раз в том месте, где должна была быть лестничная площадка, росло большое гранатовое дерево. Ну не срубить же его — рука не поднимется. Выход был найден. Площадку построили вокруг дерева, а уже к площадке пристроили лестницу. Входя во двор, не сразу замечаешь часть ствола под площадкой, и создается впечатление, что дерево с красочными плодами растет прямо на лестничной клетке. Вот такая декорация. В Тбилиси с театром встречаешься на каждом шагу.

Я часто спускался на Майдан, в район серных бань, самый центр старого города у подножия крепости Нарикала, побродить по кривым улочкам этого удивительного места. Там жили люди с простыми человеческими страстями и желаниями. Время, казалось, там остановилось. Я говорю о советском периоде. Даже внешний вид этого района не имел признаков современного города. Наконец я увидел нечто, свидетельствующее о том, что на дворе XX век, — газетный киоск. Было раннее утро. Обычно у всех газетных киосков в это время собиралась очередь, а у этого киоска никого не было. Я подошел поближе, чтобы убедиться, что пресса получена. Поставив некоторое время в недоумении, я услышал, как киоскер подозвал проходящего мимо мужчину и протянул ему газету со словами: «Здесь то, что тебя интересует». Стали подходить покупатели, и он протягивал каждому именно ту газету, которая была бы интересна именно ему. С некоторыми он заводил беседу, с некоторыми перекидывался несколькими словами, у других интересовался, как дела в семье, у кого-то спрашивал, успел ли он починить крышу, у женщины, которая подошла к киоску, поинтересовался здоровьем детей. И так все время... Он что-то спрашивал, ему отвечали, и вдруг я почувствовал, что нахожусь в театре и смотрю интересный спектакль. Я вспомнил, что как-то С.Параджанову предложили поставить спектакль в Тбилисском армянском театре. Он сказал, что не надо ставить спектакль, надо принести несколько садовых скамеек из Александровского театра, пригласить стариков, коротающих там время,

посадить их на скамейки на сцене и просто послушать, о чем они говорят. Он уверял, что это будет лучшим спектаклем.

В Тбилиси жил (дай Бог, чтоб он был жив и сегодня) замечательный человек, которого все очень любили, в том числе и я. В чем были магнетизм и обаяние этого человека, объяснить невозможно, но это было так. По профессии он был журналистом, спортивным обозревателем, и жил в старинном доме с балконом, на который выходили все комнаты дома. Обитатели дома были у всех на виду, все друг друга знали, как говорится, с пеленок. И биографию твоих предков лучше тебя самого. Словом, жили одной семьей. Стоило к кому-нибудь прийти гостю, как каждый считал своим долгом занести какую-нибудь еду или вино и вообще проявлять к хозяину и его гостю всяческое уважение. Наш знакомый со своей матерью всецело подчинялись неписаным правилам поведения жильцов этого дома. Журналистом он был хорошим, его заметили и назначили спецкором центральной спортивной газеты. Телефона в доме ни у кого не было, журналисту решили срочно установить персональный телефон для передачи корреспонденций. Пришли мастера, чтоб установить телефон в его комнате, но, к удивлению мастеров, журналист попросил поставить телефон на балконе, и они были вынуждены подчиниться ему. Таким образом дом получил телефон и пользовались им все соседи, а старушки, знавшие нашего героя с самого детства, проводившие большую часть времени дома, даже отвечали на звонки из столицы и затем передавали ему информацию. Вот такая тбилисская история. Я поведал эту историю, чтоб было понятно, что в Тбилиси у соседа был особый статус. Он значительно выше по значимости, чем статус родственника, потому что и в минуту радости, и в минуту горя первым делом рядом оказывался сосед.

...Я ученик седьмого или восьмого класса. Еду в школу. Она была недалеко от дома, всего в двух небольших остановках, и обычно я ходил пешком. Но в тот день я опаздывал и сел в автобус. В кармане у меня три рубля, по тем временам для школьника большие деньги. Вдруг почувствовал, что кто-то залез в карман. Осторожно оглянувшись, заметил молодого мужчину и, не знаю почему, но подумал, что мои три рубля у него. Я промолчал, мы уже проехали школу. Я дождался, когда он выйдет, и сошел вслед за ним. Все происходило, казалось, вопреки моей воле. Я догоняю его, хлопаю по плечу. Он оглянулся. Я протянул руку, давая понять, что хорошо бы вернуть украденное. Он окинул меня взглядом, от которого у меня зашевелились волосы. Я ясно ощутил, что стоило ему просто толкнуть меня, и мне пришлось бы долго лежать в больнице. Стало не по себе, но отступать было уже поздно. Неожиданно он улыбнулся, протянул мне деньги, похлопал по щеке и сказал: «Молодец». Я тоже улыбнулся ему — от радости, что все обошлось. И мы разошлись. Уже позже, вспоминая этот случай, я догадался, почему он так поступил. В то время даже среди воров были определенные правила поведения, своеобразный кодекс чести. Думаю, что он, во-первых, оценил то, что я не стал поднимать шум в автобусе, а во-вторых, на мой взгляд, он был недоволен качеством своей «работы» — я не должен был почувствовать, как у меня вытащили деньги. Вот такое «благородство», вот такая воровская этика.

Авлабар

Это старейший район Тбилиси. До XI века здесь, в той его части, которая известна как Метехское плато, было кладбище. И сегодня в этом уже густо населенном месте стоят стройные кипарисы, чудом уцелевшие. Интенсивная застройка Авлабара началась после того, как сюда была перенесена резиденция грузинских царей. Фрагмент резиденции — круглый балкон — и по сей день украшает «плачущую» отвесную скалу, на которой и стоял дворец. Говорят, что вода эта целебная, во всяком случае, там часто можно встретить людей, умывающихся этой водой. Слово «авлабар», вернее «хавлабар», по одной из версий, арабского происхождения и означает «окрестность дворца». Так это или не так, но кладбище здесь было, и сегодня, если покопать поглубже, можно обнаружить кости или череп.

Несмотря на месторасположение, Авлабар — очень веселый и жизнерадостный

район и, мягко выражаясь, весьма своеобразный. У него своя особая мораль и своя особая эстетика. К примеру, знаете ли вы, что на Авлабаре авторитет мужчины зависит от величины его живота, а красота женщины — от величины ее зада? Знаете ли вы, что на Авлабаре, если муж разговаривает с женой, то говорят они так, чтобы их никто не слышал или же чтоб слышала вся округа? Знаете ли вы, что на Авлабаре сыр с хлебом едят в комнате, а клубнику у всех на виду? Знаете ли вы, что на Авлабаре наступление зимы определяется не по погоде, а по тому, когда жена Сагателова наденет пальто? Знаете ли вы, что сидящие на пороге своего дома кумушки способны просвечивать вашу сумку с провизией эффективнее любой самой современной таможни? И знаете ли вы, что, если женщина прогуливается перед своим домом в накинута на плечи мужском пиджаке, это означает, что к ней вернулся муж, которого, кстати, она сама же отправила в тюрьму за хулиганство?

А дело было так. Жили они довольно дружно, он был музыкантом ансамбля народных инструментов, играл на барабанах и, естественно, пел (как правило, в таких ансамблях поет играющий на барабанах, остальные музыканты исполняют свои сольные партии на восточных музыкальных духовых инструментах). Ансамбль исполнял музыку на свадьбах и похоронах. Должен заметить, что мелодии, которые исполняются на подобных мероприятиях, очень красивые, мелодичные и трогают до глубины души. Жена гордилась талантом мужа и потому часто включала на полную мощность магнитофон, открывала настежь окна и, слушая магнитофонные записи с песнями, которые исполнял муж, время от времени очень громко, чтобы слышали соседи, выкрикивала: «Молодец, мой дорогой, молодец!» Но вот случилось то, чего она никак не ожидала. У мужа появилась любовница. Она ее вычислила, узнала, что разлучница работает продавщицей в гастрономе (понятно, откуда он приносил дефицитные продукты), устроила там скандал, обозвала соперницу всеми подходящими случаю словами и, не довольствуясь этим, в кровь расцарапала ей лицо. Теперь наступил черед возмутиться мужу. Придя домой, он молча, без криков разнес вдребезги святая святых любой авлабарской квартиры — горку с хрусталем. Она предпочла бы, чтоб он избил ее. Сердце ее не выдержало такого оскорбления, и она попросила соседей, плотным кольцом окруживших место действия, вызвать милицию. Как ни странно, милиционеры очень быстро приехали на мотоцикле с коляской. Когда мужа привели (а надо сказать, что вел он себя очень достойно), он галантным жестом пригласил милиционеров сесть в его старый «Москвич». Они не оценили его галантности, усадили его в коляску, но не успели они отъехать, как жена, высунувшись из окна, не менее выразительно, чем в индийском фильме, крикнула мужу вдогонку: «Дорогой, в последний раз на свои окошки посмотри!» Прошел день, другой — и наша соседка уже разгуливала перед домом в накинута на плечи мужнином пиджаке. Они простили друг друга, и все закончилось миром. Я рассказал об этом случае потому, что уж больно все происшедшее напоминало театр. Казалось, что драма разыгрывалась для других, для публики. Ведь в Тбилиси, в том числе на Авлабаре, мы все живем с оглядкой на публику и на себя, краем глаза мы всегда видим себя, то есть постоянно чувствуем себя на сцене. Может быть, поэтому Тбилиси всегда был и будет великой театральной столицей?

Прошли годы. Начались социальные и политические катаклизмы. Грузия, казалось бы, обрела независимость, но потеряла очень многое. Наступило время холода и голода. Проблемой стал хлеб. Его не хватало, продавался он по старой доступной цене. Выстраивались огромные очереди, вставать утром приходилось часов в пять, чтобы занять такое место в очереди, которое не гарантировало, но по крайней мере не лишало надежды получить хлеб. Хлеб возле нашего дома продавался в двух местах — на Метехской улице и на Винном подъеме. На Метехской улице продавали грузинский хлеб, пекли его там же. Но для этого необходимо было, чтобы вовремя завезли муку и чтобы было электричество, которое приводило в движение все агрегаты, а также вода и газ. Все это одновременно бывало редко. На Винном подъеме так называемый «круглый хлеб» получали прямо с завода, но никогда никто, в том числе и продавец, не знал, привезут хлеб или нет.

Была поздняя осень, моросил холодный дождь, и вся очередь укрылась под длинным балконом над магазином. Еще не рассвело. Слышу какое-то оживление.

Несколько мужчин раздобыли где-то, а может быть, и свалили деревянный электрический столб, притащили его поближе к магазину и стали его разжигать. С трудом, но столб стал гореть. Люди сгрудились вокруг импровизированного костра. В это время будто что-то или кто-то заставил меня оглянуться. По спуску очень медленно ехал «Москвич» с привязанным к багажнику на крыше покойником, обернутым во что-то белое. Картина была жуткая, безысходная. Куда везли покойника? В те дни в Тбилиси ни одна служба не работала, даже ритуальная. Это в Грузии-то, где издревле почитали ритуальные традиции.

А очередь волновалась, хлеб все не привозили. Чуть пониже магазина была большая мусорная свалка (мусор не вывозился), в которой копались собаки. И вот я вижу, как к свалке подошла женщина с двумя полиэтиленовыми пакетами. Я видел ее со спины, она была без обуви. Собаки стали лаять и кидаться на нее, видимо, считая свалку своей собственностью. Женщина как могла отбивалась от них, одновременно что-то выбирая из мусора и складывая в пакеты по непонятному мне признаку. Закончив работу, она выпрямилась и обернулась. Я обомлел. Все лицо ее покрывала маска из белой плотной бумаги с двумя узкими прорезями для глаз. Тотчас вспомнились фильмы ужасов, которые довелось когда-то видеть. Все эти фильмы померкли, показались мне фальшивыми мультиками для детей. Зачем она надела маску? От стыда? Чтобы ее не узнали? Или она была безумной? Но знаю точно, что никогда этого не забуду, потому что я вновь увидел театр, но уже настоящий — театр великой трагедии. Хлеб так и не привезли.

Времена и нравы

Знаете ли вы, что на Авлабаре у очереди за хлебом было два крыла — мужчины и женщины стояли в очереди порознь. Почему — не знаю, скорее всего, общая очередь не соответствовала представлению жителей Авлабара о целомудрии и нравственности. Но сегодня в обстановке гражданской войны, разрухи и голода не до этих понятий, сегодня надо выживать.

Лето. Пять часов утра. Я иду занимать очередь за хлебом. Кроме меня идти некому, дома остаются больные мама и брат. Недалеко от дома пекут и продают грузинский хлеб. Надо успеть купить хлеб до часа дня, пока можно стоять в тени перед магазином, а с часа дня под палящим солнцем здесь укрыться негде. Это, собственно, даже не магазин, существовавшее ранее малюсенькое помещение магазина заколочено, хлеб выдают через амбразуру в бетонной стене. Рядом зарешеченная дверь, через нее доставляется мука и проходят пекари. Чтобы купить хлеб, нужно, чтобы вовремя была завезена мука, чтобы в кране шла вода, чтобы были газ и было электричество. Все этого одновременно бывает редко. Подходя ближе, слышу привычный гул. Судя по шуму, в очереди уже человек тридцать-сорок. Да, так и есть. Но я знаю, что к этому количеству людей следует добавить человек десять—пятнадцать. Это уважающие себя мужчины, которые не могут себе позволить стоять в очереди. Они сгруппировались неподалеку, все как один в синих спортивных костюмах, в которых они обычно щеголяют дома. Они стоят подбоченясь, выставив вперед ногу и живот, и курят, высоко задрав голову и подняв локоть, с сигаретой в руке. Делают вид, что никакого отношения к очереди они не имеют, они просто вышли покурить и насладиться утренней свежестью.

Часам к десяти привозят муку. Пекари на месте, есть вода, свет и газ. Процесс выпекания хлеба достаточно долгий, но в очереди уже приятное оживление, кое-кто даже позволяет себе шутить по поводу очередей. Самое сильное впечатление на побывавших в Москве соотечественников оказывали не достопримечательности города, а очереди, особенно очередь в Мавзолей. Был популярен такой анекдот: возвращается из поездки в Москву грузин и рассказывает, что он видел Ленина. Его удивленно спрашивают, неужели он выстоял такую огромную очередь, и тот отвечает: «Разве я похож на человека, который будет стоять в очереди? Я заплатил ребятам из почетного караула, они вынесли гроб с телом вождя, показали его мне и занесли обратно». Подобные анекдоты ходили в народе в советское время, в условиях несво-

боды, а теперь все чаще можно было слышать, что хотели свободы и независимости, а получили очереди. А ведь совсем в недалеком прошлом тбилисец с друзьями запросто летал в Москву на футбольный матч любимой команды или же в компании друзей «пообедать» в открывшемся недавно «Макдоналдсе».

Но вот открылась амбразура, стали продавать хлеб. Старушка в черном попыталась пролезть без очереди, но ее оттолкнули, началась словесная перепалка. Когда весь словесный арсенал был исчерпан, старушка решила плюнуть всем в лицо и вместе со слюной выплюнула зубные протезы. Она стала вопить: «Зубы, мои зубы!» Но никто не обращал на нее внимания, зубы были безжалостно растоптаны. Спустя несколько минут вышел похожий на привидение, весь в белом и обсыпанный мукой пекарь и сообщил, что вырубил свет, но газ есть и, если есть желающие все-таки получить хлеб, то они могут вручную крутить колесо конвейера, доставляющего тесто в печь. Я не мог вернуться домой без хлеба и потому чуть ли не первым откликнулся на это предложение. То, что я увидел, ошеломило меня. Передо мной была похожая на дракона пышущая жаром и огнем машина с огромным колесом и металлическим конвейером, который исчезал где-то в горле этого чудовища. Невольно всплыли в памяти кадры из фильма Чаплина, где маленький человечек вертится среди огромных механизмов. Я уже пожалел о своем необдуманном поступке и повернулся, чтоб уйти, но властный голос пекаря остановил меня. Он ткнул пальцем в колесо и приказал: «Крути!» Я схватился за ручку — колесо не сдвинулось с места. «Сильнее!» — услышал я новый приказ. С огромным трудом мне удалось сдвинуть колесо с места. По спине у меня струился пот, а за спиной кричал «работодатель»: «Быстрее, а то хлеб сгорит!» Уже тогда у меня были серьезные проблемы с сердцем, я почувствовал, что теряю сознание, и остановился. Видя, как я тяжело дышу, пекарь поинтересовался, сколько мне нужно хлеба. Обычно я покупал хлеба как можно больше, чтоб реже стоять в очередях, тем более что мы научились хранить хлеб так, чтоб он не плесневел, но тут я поскромничал и попросил всего три хлеба. Пекарь вспыхнул, сказал, что за такую работу мне ничего не положено, швырнул мне один хлеб и приказал поскорее убираться. Я так и сделал, поблагодарил его, расплатился и вышел.

Сергей Параджанов

Мистификатор и пророк,
Неистошимый византиец,
Создал сам мало, но помог
Чужим присвоить свой венок.

Я слышал о Сергее Параджанове с самого раннего детства. Они были с моей двоюродной сестрой однолетки, учились в одном классе и жили по соседству. Я часто бывал в доме у своей сестры и слышал его имя, сопровождаемое не очень лестными эпитетами. Его никак не могли отучить от «вторжения» в дом сестры через окно. Он никогда не приходил как все, позвонив в дверь, а возникал неожиданно, как призрак, пугая хозяев дома. Но к выходкам подобного рода все привыкли и реагировали в основном так: «Это же Сержик, ну что ты с ним поделаешь?» Познакомившись с ним поближе, я убедился в его безграничном обаянии и думаю, что этот его дар зачастую спасал его от последствий его шалостей, а порой и от непристойностей. Разница в возрасте между нами была в тринадцать лет, он меня помнил лучше, чем я его, но особенно он запомнил мою мать и впоследствии, когда мы стали чаще встречаться, он говорил мне: «У тебя мама была очень красивая». Он повторял это так часто, что я догадался: наверное, он был неравнодушен к ней. Параджанов боготворил красоту, и потому каждый раз возникает желание воскликнуть: «Ну зачем ему Бог, когда есть красота!» Прости, Господи, и меня, и его! А может быть, Бог и красота это одно и то же? Не знаю.

Ну так вот. Мы знали друг о друге, но стали встречаться только в восьмидесятых годах. Так уж получилось. В этом виноват я, точнее — моя нелюбимость. Надо было просто взять какой-нибудь красивый букет и пойти к нему. Правда, он был человек

непредсказуемый. Все, кто был вхож к нему, рассказывали о нем всевозможные байки, которые, признаться, не производили на меня особого впечатления, и я не буду их пересказывать, потому что все эти истории были сыграны или спровоцированы для определенного контингента тбилисского бомонда с определенной целью и сильно пахивали мистификацией. Я мистификаторов не люблю. Мне милее мистики, и потому я считаю, что лучше быть посредственным мистиком, чем гениальным мистификатором. На мой взгляд, мистификация вообще противопоказана искусству, особенно искусству живописи. А где-то в театре или кино, может быть, она даже необходима. Однако это — не моя сфера. Но за живопись без мистификации я готов сражаться до конца. Живописи нужны мистики. Сегодня я догадываюсь, что, может быть, самой важной причиной того, что я не спешил записаться в близкие друзья Параджанова, было то, что он в моем представлении являлся олицетворением мистификатора. Каждый раз, когда я приходил к нему, мне очень хотелось увидеть и услышать его таким, каким он был на самом деле. Но его всегда окружала свита или компания непонятных мне людей, и спектакль продолжался до тех пор, пока последний посетитель не догадывался, что пора уходить.

Ему очень нравился мой дом — старинный трехэтажный особняк с мансардой и балконом, и многим своим гостям он его демонстрировал. Находясь у себя в мастерской, я, бывало, слышал, как, проходя мимо нашего дома, он подчеркнуто громко говорил: «Посмотрите, какой красивый дом, здесь живет художник Робик». Я выбегал на балкон, чтоб позвать его к себе, но он успевал зайти за угол дома. Была ли это игра? Но каждый раз я почему-то вспоминал его влезания через окно в комнату моей двоюродной сестры. Так мы и жили, не пересекаясь. Но все чаще и чаще до меня доходили слухи, что Параджанов хочет со мной познакомиться. Я простодушно отвечал, что буду счастлив, если он придет ко мне и я смогу показать ему свои работы. В своем простодушии я не понимал, что маэстро привык к тому, что обычно все приходило к нему на поклон, и вдруг кто-то не спешит засвидетельствовать ему свое почтение. Наконец мне было прямо сказано, что Параджанов велел втолковать мне, что он старше меня и хотя бы поэтому я должен прийти к нему первым. Что за проблема? С удовольствием, тем более, что это походило на приглашение. В назначенный день за мной пришел наш общий знакомый, и мы отправились к Параджанову. Он конечно же сразу начал говорить со мной на «ты» и посетовал, почему я так долго не хотел знакомиться с самым интересным и самым обаятельным человеком — имея в виду конечно же себя. И еще он напомнил мне как бы вскользь, что помнит меня еще мальчишкой, когда я приходил к сестре. Я попытался невнятно оправдаться. Обмен любезностями был окончен. Наш общий знакомый покинул нас.

Мы остались наедине друг с другом. Я оглядел комнату. Не буду ее описывать, о ней знают все, кто бывал там, и даже те, кто никогда там не был. Атмосфера комнаты, ее неправдоподобная изысканность и красота производили ошеломляющее впечатление, хотя я предпочитаю нечто совершенно противоположное. Когда мы вошли, Параджанов сидел за столом и нарезал ножницами на небольшие кусочки лепестки фиолетовых ирисов. Что он собирался из этого сотворить? Мне показалось, что он сидит в белых кальсонах с отрезанными штрипками. Он отложил в сторону ножницы и сказал: «Сейчас будут хоронить очень известного вора в законе, моего соседа, хочешь, пойдем со мной, я тебя познакомлю с его друзьями. Это очень интересно». Никакого желания знакомиться с этими людьми у меня не было, и тогда он велел мне дожидаться его. Он пошел на похороны в тех же штанах. А может быть, я не разбираюсь в одежде и это было нечто очень стильное? Он вернулся очень скоро и спросил, чем меня угостить, может, чаем с лимоном? Я взглянул на посуду на столе, которая не мылась, вероятно, очень давно. И вежливо отказался. А он стал извиняться, что ложки к чаю не серебряные, а пластмассовые, что серебряные все украли, вернее, позаимствовали на память, впрочем, исчезают и пластмассовые, вот совсем недавно он слышал из соседней комнаты, как одна «великосветская» дама говорила другой, что хорошо бы прихватить с собой по ложке: «У него простых не может быть, это, наверное, слоновая кость». Сочинял? Скорее всего. Но я почувствовал, что он постепенно начал разыгрывать спектакль с явной целью прощупать меня. Он ведь практически не знал меня, я был не словоохотлив, больше слушал, а ему необходимо

было понять, с кем он имеет дело. Следующим номером программы была трехлитровая стеклянная банка, наполовину наполненная жидкостью неопределенного цвета, которую он торжественно достал из холодильника и предложил мне попробовать чудесный напиток. Он сказал, что сливает в эту банку остатки вина из бокалов гостей, разбавляет водой и получает очень вкусный напиток. Он конечно же был уверен, что я откажусь, налил себе половину чайного стакана и с удовольствием выпил. Это был спектакль или он вообще так жил? Не знаю. Похоже, что, когда пишешь о Параджанове, придется очень часто повторять фразу «Не знаю». Вся его жизнь, все, что он делал и в быту и в искусстве, представляло собой такую изощренную смесь мистификации и правды, что разматывать этот сложный клубок просто не имеет смысла. Он сделал очередную попытку расшевелить меня и пригласил в соседнюю комнату, где у него хранились просто уникальные вещи. Первая комната, где он обычно принимал гостей, по сравнению с этой выглядела очень красивой, выполненной с безудержной фантазией и изысканным вкусом хозяина фантастической декорацией. Он подвел меня к шкафу, показал стоящий на нем восточный кувшин неопишущей красоты, весь усыпанный крупной бирюзой, и предложил мне купить его. Дело в том, что я знал, откуда у него этот кувшин и как он сумел его заполучить, и сразу же предупредил, что я вообще не покупатель, что я пришел к нему только потому, что он интересен мне как человек и как художник. Чтобы не покидать комнату без излияния восторга, я обратил внимание на абажур от керосиновой лампы, который мне понравился. Видимо, он понял, с кем он имеет дело, и стал вести себя совершенно иначе. Вспомнил мою двоюродную сестру и сказал, что не может простить ей того, что она так и не подарила ему фотографию, где они были сняты детьми, а он так хотел иметь этот снимок. Постепенно стали приходить гости, он знакомил их со мной как с «гениальным художником» и почему-то каждому сообщал, что мне понравился абажур от лампы. Скорее всего, он называл меня «гениальным», чтоб придать веса моим словам. Опять не знаю. Я почувствовал себя не в своей тарелке и предпочел откланяться. Временами я навещал его, и он всегда был очень любезен, а наши общие знакомые очень тому удивлялись. Я понимал, что Параджанов и ханжеская бытовая этика — вещи несопоставимые, казалось, все расхожие нормы этики и нравственности созданы не для него. Он был самый свободный человек из всех, кого я знал. И очень щедр. Самую большую радость доставляла ему возможность сделать кому-то подарок.

Однажды я зашел к нему с дочерью. Он был очень внимателен и даже галантен, сразу оценил красоту ее платья и добавил, что к нему необходимы гранатовые бусы, бросился к своим ящикам, долго в них копался, не нашел того, что искал, и очень расстроился. Я вспомнил другой случай, о котором рассказала подруга моей дочери. Ее познакомили с Параджановым, и он вдруг отдернул свою протянутую руку, чтоб даже не коснуться кольца на ее пальце, которое повергло его в ужас. Он не преминул сказать ей, что носить такое украшение просто неприлично, велел снять его с пальца и, не прощаясь, убежал прочь. Вот такой эстет. А может быть, это не эстетика, а проявление просто хорошего вкуса? Не знаю, опять не знаю! По-моему, эстетика — категория скорее философская.

Я временами захаживал к нему и заставлял его в самых неожиданных состояниях. Однажды, когда я пришел к нему, он лежал на кровати, обернувшись лицом к стене. Женщина, которая присматривала за ним, шепотом сообщила мне, что так он лежит уже целую неделю, что он посмотрел фильм Пазолини «Царь Эдип» и до сих пор не может оправиться от испытанного шока. Когда я вошел, он даже не шелохнулся. Может, спал. Женщина сказала, что он не реагирует на приход гостей. Мне ничего не оставалось, как уйти. А однажды я застал его в прекрасном расположении духа, он очень обрадовался мне и сразу начал хвастать, говорил, что он гений, показал мне итальянскую газету, где его фильм «Тени забытых предков» значился наряду с фильмами Чаплина и Эйзенштейна среди десяти лучших фильмов, снятых за всю историю кино. Итальянского языка я не знаю, удостоверить не могу, но фото кадра из фильма было.

Потом он решил показать письмо от Сергея Катаняна, которое начиналось словами «Сережа, ты подлец!» Я читать не стал, о чем сейчас сожалею. Потом он сказал, что к нему обратилась известная балерина с просьбой снять ее в фильме

«Демон» (он как раз собирался снимать этот фильм) и что он, скорее всего, возьмет ее в фильм, накинёт на нее черную тюль — это может быть очень выразительно. В тот день он очень часто повторял, что он гений, причем весьма убежденно. Судя по всему, он окончательно пришел в себя после просмотра фильма Пазолини. Наверное, осознал, что в фильме Пазолини есть великое чудо, но ему это не нужно, он просто другой человек и будет снимать другое кино.

Как-то я зашел к нему и увидел очень красиво накрытый стол, уставленный вазами с фруктами и цветами, дорогой посудой, хрустальными бокалами и всякими другими предметами, назначения которых я не знал. Все выглядело очень изысканно и одновременно пышно и плотно, как на картинах Рубенса или Снайдерса. В то же время во всем этом великолепии было нечто ирреальное. Я не сразу осознал почему, но, присмотревшись, увидел, что все это великолепие лежит не на скатерти, а на огромном, величиной в стол, зеркале! Насладившись моим замешательством, удивлением и восторгом, Сергей Иосифович сказал как бы между прочим, что ждет в гости, не помню, то ли Майю Плисецкую, то ли Беллу Ахмадулину.

Почему-то мне вспомнился день, когда я пришел на панихиду по сестре Сергея Параджанова. В комнате с усопшей тоже было очень изысканно, но аскетично и даже сурово. Только белые каллы в узких старинных вазах и горящие свечи у изголовья покойницы, много свечей. Люди, пришедшие на панихиду, забывали, зачем они пришли и, жадно озираясь, рассматривали это великолепие, это торжество изысканного вкуса.

Осталось мне рассказать об очень необычной истории, у которой, к сожалению, нет свидетелей, кроме соседей по улице Котэ Месхи. Было лето, очень душно, время было позднее, и я собрался уходить. Неожиданно он предложил мне в знак особого уважения проводить меня через подъезд, который выходил на улицу Котэ Месхи. Обычно все приходили к нему, в том числе и я, со двора. Так было удобнее. Услышав от него это предложение, я догадался, что Параджанов что-то задумал, и решил подыграть ему. На улице он сначала обычным голосом спросил, когда ему прийти ко мне в гости. Мы мирно перекидывались какими-то фразами, а он часто поглядывал на открытые окна соседей, видимо, оценивая, насколько подходящая обстановка для того, чтобы разыграть то, что он задумал. Неожиданно он очень громко сказал мне, нет, вернее, всей улице, что на днях его пригласил к себе Шеварднадзе, и спросил, что он может сделать для него. Мгновенно в окнах появились какие-то люди. Надо было продолжать игру, и я спросил тоже подчеркнуто громко: «И что вы ему сказали?» Ответ конечно же не мог не удивить. «А я ему сказал, что он ничего для меня не может сделать, а я вот могу сделать так, что его переведут в Москву». Окна стали пустеть, соседи услышали то, что должны были услышать. А история эта имела свое продолжение. Недели через две, не помню точно, Шеварднадзе был переведен в Москву и назначен министром иностранных дел СССР. Вот такая забавная история. Что это было — прозрение или информация, которая дошла до него из каких-то источников, хотя подобная информация в те годы не просачивалась. Что здесь гадать? Опять приходится сказать — не знаю. Но я хорошо помню фрагмент из документального фильма о Параджанове. Горбачев еще был в фаворе. Но в фильме Параджанов произнес такую фразу: «Горбачев — великий артист, и, когда он выйдет из Кремля и крикнет «Карету мне, карету!», я возьму его за руку, переведу через площадь в Малый театр и он сыграет у меня Чацкого лучше, чем Царев». Из Кремля Горбачев выбежал. Прозрение? Не знаю.

В начале восьмидесятых годов в Тбилисском доме кино была устроена большая выставка работ Сергея Параджанова. Естественно, была выставлена только изобразительная часть его творчества. Выставка производила ошеломляющее впечатление. Ведь все это пиршество красоты было организовано и экспонировано самим Параджановым. Первое, что бросилось мне в глаза, это оформленная им самим автобиография. Она начиналась так: «Я, Параджанов Сергей Иосифович, родился и умру в Тбилиси». Но произошло иначе. Он умер в Ереване, там его и похоронили. Видимо, действительно человек предполагает, но уже не Бог (прости меня, Господи!), а политики располагают. От дома Параджанова в Тбилиси ничего не осталось. Этот готовый, сотворенный руками самого Сергея Иосифовича дом-музей исчез. А

ведь надо было только поддерживать его. Уникальный, без преувеличения, памятник культуры, пропитанный любовью к родному городу, был разграблен и родственниками, и недругами, и даже друзьями Параджанова. В Грузии шла гражданская война.

После выставки я зашел к нему. Не дожидаясь, пока я переступлю порог, он спросил: «Ты был на моей выставке?» (на выставке было такое множество народа, что он просто не сумел бы всех увидеть, такого паломничества я не видел никогда). Я ответил, что был. И тут последовала совершенно не ожидаемая мною его реакция. Он вдруг очень смутился и стал оправдываться, что ни на что не претендует, что он не художник, он всего лишь режиссер. Думаю, его смутил тон моего ответа, он не почувствовал в нем привычной для его слуха восторженной интонации. К этому следует добавить, что он вообще очень настороженно относился к профессиональным художникам. Он любил и прекрасно чувствовал самоучек, полусамоеучек, юродивых, полуюродивых и прочих маргиналов от искусства. Он среди них чувствовал себя естественно, в их среде он был предметом восхищения и поклонения и делал все возможное, чтобы помочь этим людям. Он помогал им своим непререкаемым авторитетом. Самые умные, послушные и последовательные из его питомцев добились известности и признания. Но вернемся к моему визиту к нему после его выставки и его заявлению, что он не художник. А по-моему, Параджанов прежде всего художник, большой художник. Потому что он мыслил глазами. Все, что он сотворил даже в кино, в первую очередь сделано для глаза. Есть письмо, написанное им из тюрьмы и адресованное жене Светлане. В письме просьба: «Пошли, пожалуйста, Лиле Брик в Москву сто белых яблок и одно черное». Вот это да! Неужели у кого-нибудь еще может возникнуть сомнение в том, что Параджанов прежде всего художник! То, что он предлагает сделать, продумано глазом и рассчитано на глаз. Это, на мой взгляд, самый емкий и точный автопортрет Сергея Параджанова. Конечно, в этой задумке есть и режиссура, но, повторяю, она задумана и рассчитана на визуальное восприятие. В своих последних фильмах он постоянно стремится остановить кадр, избавиться от назойливого мельтешения изображения. Ему нужна статика, потому что ему нужна метафизика. А метафизика — это живопись, и серьезная живопись.

Я подхожу к концу моих воспоминаний о Параджанове, но меня мучает главный вопрос, на который мне бы хотелось ответить. Кто он? Мистификатор или пророк? Или эти две ипостаси заключены в одном человеке? Мне все время хочется отделить зерна от плевел. Я попытался сделать следующее. Первым делом забыть все байки о нем, в том числе и то, чему был свидетелем сам, я сосредоточился только на его творчестве. Я имею в виду его рисунки, особенно те, которые он выполнил в тюрьме, сценарии (конечно, в первую очередь — «Исповедь»), все, что было создано им «собственноручно». Стал вырисовываться подлинный Параджанов — очень умный, очень серьезный, очень глубоко страдающий и глубоко чувствующий человек. Однажды в разговоре он произнес слова «мой порок». Это было сказано с глубокой горечью. А где мистификация? Мистификацией занималось и сегодня продолжает заниматься его окружение, которое открывает ресторан его имени или какое-либо другое заведение и которое постоянно пытается выдать всякие беспомощные поделки и коллажи за произведения Параджанова и выгодно их продать.

Конечно, он провоцировал свое окружение; более того, он сам его взрастил. Конечно, он был остроумен, удачно отшучивался, когда его спрашивали, читал ли он такую-то книгу, отвечал, что книг он не читает, что вместо него читает Буца (Виктор) Джорбенадзе — архитектор, близкий друг Параджанова, высокообразованный, рафинированный человек. Но он читал, и читал очень серьезно. Я несколько раз был свидетелем того, какие серьезные и глубокие мысли он высказывал по поводу «Мертвых душ» Гоголя, объясняя, почему ему не нравится фильм Швейцера. Он хорошо знал Библию, на его персональной выставке в Доме кино были представлены его работы на тему библейских сюжетов. Это были очень сильные вещи, хотя и были выполнены синей и красной шариковой ручкой на белых носовых платках.

Несколько слов о его внешности. Описывать ее я, конечно, не стану, есть множество его фотографий. Его лицо производило на меня очень сильное впечатление. Какая красота, какая сила, какая мудрость были в этом лице. Я уверен, что на фреске Микеланджело в Сикстинской капелле среди изображений пророков нет лица

такой красоты и силы. У него было лицо пророка. Я никогда не видел и, уверен, не увижу таких глаз. В них была вселенская мудрость и вселенская грусть. Он очень страдал. От чего? Ведь он испытал не только унижения, он испытал и великие взлеты. Казалось, что какая-то невидимая черная тюль покрывала всю его незаурядную жизнь. Если мне удалось все же отделить зерна от плевел, я бы мог закончить свои воспоминания так: да, в жизни, в быту он был мистификатором, а вот в искусстве он был пророком. Сегодня, когда его уже нет, думая о нем, я перечитываю «Смерть в Венеции» Томаса Манна.

Джотто (Геворк Степанович Григорян)

Впервые работы Джотто я увидел в репродукциях, напечатанных в журнале «Литературная Грузия». Об этом замечательном журнале я обязан написать несколько слов, потому что он сыграл до сих пор еще не оцененную роль в литературной жизни нашей страны. Формально журнал издавался (подобные журналы издавались во всех республиках) для того, чтобы знакомить русского читателя с современной грузинской литературой в переводах на русский язык. Уже только эта задача сама по себе была крайне необходимой и благородной. Но самое главное, существовали дружеские и неформальные контакты с самими авторами. Частыми гостями журнала были известные и пока еще не известные поэты и писатели со всей России. Мне трудно вспомнить имя литератора, который не приезжал в Тбилиси. Я говорю все это с уверенностью, потому что сам был свидетелем и участником многих событий. Все гости «Литературной Грузии» в конце концов оказывались у нас дома, в старинном особняке в историческом районе города. Самое, на мой взгляд, важное состояло в том, что эти встречи и контакты перерастали в большую личную дружбу, которая продолжается по сей день. Многих, к сожалению, нет уже в живых, царствие им небесное!

Надо еще сказать, что журналу всегда везло с редакторами. Это были замечательные люди, честные, благородные, профессионалы высокого класса. И что самое главное, они глубоко осознавали, какую значимую работу они делали. Я не буду называть их имена, просто низкий им поклон за ту важную миссию, которую они взвалили на свои плечи в те (не надо забывать об этом) нелегкие времена. Под стать редакторам был и коллектив редакции, люди одаренные, высокопрофессиональные, жившие и работавшие одной семьей. Но главная заслуга журнала состояла в том, что он печатал всех талантливых литераторов независимо от того, как к ним относилась власть. Многие, кого не печатали в России, печатались в «Литературной Грузии». Хорошо, если кто-то еще помнит об этом журнале и о том времени.

Вот в такой атмосфере журнал берет на себя смелость и печатает цветные репродукции работ художника Джотто. Говорили, что он сам взял себе этот псевдоним, потому что считал, что в его судьбе много общего с судьбой величайшего художника Раннего Возрождения. Он не любил, когда его называли по имени и отчеству, и требовал от всех, независимо от возраста, называть его Джотто. Надо отдать должное смелости журнала. Джотто мало кто знал, разве что коллеги одного с ним возраста. Другие художники его поколения были широко известны, не со всеми отношения властей были лучезарны, но все знали, что, несмотря на некоторые идеологические несовпадения, эти художники — классики грузинского искусства и представляют собой национальную гордость. Общественность, особенно тбилисский бомонд, знал и высоко ценил Бажбеук-Меликова, блестящего живописца, который вместо того, чтобы изображать реальную жизнь, с упрямым постоянством писал обнаженных и полубнаженных женщин, что еще больше подогревало интерес к его творчеству. А Джотто практически никто не знал. Но вот в «Литературной Грузии» появляется цветная подборка картин Джотто. Они выглядели вызывающе и дерзко, потому что были написаны очень сурово, несколько неловко и аскетично. Я был полностью покорен работами Джотто и решил непременно познакомиться с ним. Мне казалось, что я наконец нашел «своего» художника, ведь я до этого отдавал предпочтение только одному художнику — Пиросмани. А тут я почувствовал, что

между Пиросмани и Джотто есть какая-то глубинная связь. Познакомившись с Джотто поближе, я был разочарован некоторыми его высказываниями, но одновременно понял одну очень важную, на мой взгляд, вещь.

Талант художника не имеет прямого отношения к интеллекту в прямом смысле этого слова. У художника информация, мысль движется по совершенно другим каналам, он способен прозревать вещи более значимые, сакральные. Мне кажется, что именно это объединяло Джотто и Пиросмани. Обделенный вниманием, Джотто стал часто заходить в «Литературную Грузию», где к нему относились почтительно и с вниманием. Именно здесь ему передали мою просьбу посмотреть его работы у него в студии. Он отреагировал так: «Сначала я должен посмотреть его работы, а потом уже я решу, стоит показывать ему мои картины или нет». Ну что ж, ответ однозначный, надо приглашать Джотто к себе домой. Я еще студент академии, и картин у меня мало, гордиться нечем, всего несколько натюрмортов, написанных «для себя». Но терять нечего, главное, мы познакомимся, а дальше время покажет. Особых надежд я не испытывал.

И вот в назначенное время у нас в доме появились Джотто и его жена Диана Уклеба — высокая златокудрая красавица с умным, добрым и благородным лицом. Она была родом из Кутаиси. Действительно, пути господни неисповедимы! Внешне более неподходящую друг другу пару трудно себе представить. Красавица Диана и рядом с ней Джотто — невысокого роста, с крючковатым носом, с разбросанными по плечам длинными седыми волосами, в очень смешных круглых очках. Во внешности ничего такого, на что можно обратить хоть какое-то внимание. Внимание привлекал только его пиджак, очень старый, но Диана сумела превратить его буквально в произведение искусства. Он был золотисто-коричневого цвета, все потертые места — рукава пиджака, борта, лацканы на карманах, заплатки овальной формы на локтях — были обработаны черным бархатом (вскоре это вошло в моду). Пропорции черных и коричневых пятен были прекрасно прочувствованы. Только позже я узнал, что Диана была художником, но ради Джотто пожертвовала всем, чтобы полностью раствориться в нем и всю свою жизнь думать и заботиться только о нем. Детей у них не было. Но и он относился к ней с огромным уважением, с нежностью и любовью, он ее просто боготворил, нигде без нее не появлялся, называл ее не иначе как Диана-джан (дорогая). Я по сей день не могу найти ответа на вопрос, что их объединяло? Ну конечно же любовь! Но к кому и к чему? По прошествии лет, наблюдая не одну семью художников, я пришел к мысли, что жены непреуспевающих художников ненавидят живопись. Потому что они с присущей женщинам мудростью и интуицией понимают, что, если мужу придется выбирать между семьей и живописью, он выберет живопись. Но так происходит тогда, когда жена любит только мужа. Диана любила не только мужа, она любила и боготворила мужа-художника. Он был для нее иконой, а она была для него ангелом-хранителем. Без Дианы Джотто не смог бы даже выжить. Честь ей и хвала, и светлая ей память. История искусств не столь уж богата подобными примерами.

Забегая вперед, хочу поведать читателю, что, когда Джотто не стало (он до этого переехал в Ереван, где ему были созданы идеальные по тем временам условия для проживания и работы), Диана отказалась покидать Ереван, потому что Джотто похоронен там. Ее приглашали родственники из Кутаиси, друзья и знакомые, ее уже ничего не удерживало в Ереване, но она сказала очень просто: «Он здесь, и я его не оставляю». После кончины Джотто Диана неожиданно стала рисовать. Извиняясь, как бы оправдываясь, она говорила, что после смерти Джотто остались чистые холсты, на которые ей было тяжело смотреть. Она много работала, устроила персональную и совместную с Джотто выставку в Тбилисском армянском театре. Временами она наезжала на родину, но сердце свое она оставила рядом с Джотто.

Итак, они пришли — Джотто с Дианой. Я познакомил их с моими родителями, они пришли друг другу по душе. Был, как принято, накрыт стол. Завязалась оживленная беседа, им было что вспомнить, у коренных тбилисцев особое отношение и любовь к городу. Нашлись и общие знакомые. Оказалось, Джотто вел уроки рисования в школе, где училась моя мама, она его вспомнила. Беседа становилась все оживленнее, Джотто стал рассказывать забавные истории о своих родственниках и знакомых; помнится, он сказал, что отец его торговал углем. Об одном своем знако-

мом он поведал весьма забавную историю. Так вот, этот знакомый, напиваясь, начал выяснять свои отношения с родственниками. Поначалу он ругал и материл каждого по отдельности, родственников у него было много, и он уставал называть каждого. Тогда он изобрел способ, как облегчить себе задачу. Он просто разделил родственников по территориальному принципу, и отныне его проклятия адресовались тем, кто жил на левом берегу Куры, а потом тем, кто жил на правом берегу. Отныне все его недруги делились на левобережных и правобережных. За столом царила прекрасная, веселая атмосфера, молча сидели только Диана и я. Диана потому, что была очень сдержана, а я молчал потому, что говорили взрослые. Я опасался того, что Джотто вообще забыл, по какому поводу он пришел к нам. Воспользовавшись паузой, я произнес какую-то фразу, больше для того, чтоб привлечь к себе внимание. Джотто взглянул на меня, встрепнулся и как бы между прочим сказал: «Ну, давай, показывай, что у тебя есть». Я повел его в свою комнату, где уже были разложены мои работы, как я уже говорил, несколько академических этюдов и несколько натюрмортов, выполненных дома. Академические этюды он не стал даже смотреть, он сделал такое движение рукой, словно отгонял назойливую муху. Несколько минут он рассматривал натюрморты, потом молча вышел из комнаты. Вердикта я не услышал.

Было уже поздно, гости собрались уходить, я вызвался проводить их до дома, мы жили недалеко друг от друга, надо было спуститься по Метехскому подъему, перейти мост и подняться по улице Энгельса, где жил Джотто. Я надеялся, что по дороге он выскажет свое мнение о моих работах. Но он молчал, вернее, говорил, что ему очень понравились мои родители и вообще вся моя семья, что им с Дианой было приятно побывать у нас. Мы подошли к дому, где жил Джотто. На улицу выходил подъезд необыкновенной красоты, как и многие старые подъезды в Тбилиси, но странным показалось мне то, что лестница при входе в подъезд вела не вверх, как это бывало обычно, а вниз. Мы попрощались, я понял, что дорога к картинам Джотто для меня закрыта, я повернулся и пошел к своему дому. Через несколько секунд раздался голос Джотто: «Если очень хочешь, завтра в одиннадцать можешь прийти». Я так обрадовался, что, как мне помнится, даже не поблагодарил Джотто.

Наутро, задолго до одиннадцати, я был уже возле его дома. Дождавшись, когда исполнилось одиннадцать часов, я спустился по лестнице и постучал в дверь слева. Других дверей, кажется, там и не было. На стук никто не отозвался. Через несколько секунд я снова постучался, уже более настойчиво и громко. За дверью послышался какой-то шорох, дверь открылась, на пороге показалась сухонькая старушка и, не дожидаясь моего вопроса, сказала: «Они с Дианой ушли». Я стал себя успокаивать, что, наверное, они ушли ненадолго и скоро вернутся, потом стал убеждать себя, что они могли где-то задержаться, что у них неожиданно возникло неотложное дело, — и все в этом духе, не отходя от подъезда, чтобы не прозевать их появления. Когда я последний раз взглянул на часы, была половина третьего. Наконец в нижней части улицы показались Джотто с Дианой; он конечно же держал ее под руку. А лицо его озаряла светлая, ну просто лучезарная улыбка самого счастливого человека. Подойдя ко мне, он, не моргнув глазом, заявил, что опоздал не случайно, что задержался намеренно, чтобы убедиться, в самом ли деле меня интересует его живопись или с моей стороны это простое любопытство. Он пригласил меня в свою единственную комнату. Это был полуподвал с единственным окном под потолком на уровне тротуара на улице — единственное светлое пятно в комнате, правую часть которой с пола до потолка занимали стеллажи с работами Джотто, в середине комнаты стоял старинный стол, а левую часть комнаты занимала большая кровать, на которой лежали работы Джотто, выполненные гуашью. Он сказал, что здесь их около тысячи листов. Ночью все работы перекладывались на пол, чтобы было где спать, а наутро они снова возвращались на кровать. Другого места для них не было.

С точки зрения обывателя, комната производила угнетающее впечатление, нужда и бедность заполняли каждый ее уголок. Но она была и прекрасна. Под окном стоял мольберт, освещенный падающим из окна светом, а на нем удивительный натюрморт. В комнате только то, что необходимо художнику, ни одного лишнего предмета, казалось, не чувствовалось даже женской руки. Все аскетично и сурово, как и в картинах Джотто. И в то же время все органично. Джотто, к моему удивлению,

стал показывать работы, которые покоились на стеллажах. Очень сильные вещи. То ли испуская вину передо мной, то ли потому, что расположился ко мне, Джотто стал показывать и листы гуаши. Думаю, это было признаком доверительного отношения, потому что маленькие, выполненные гуашью работы-экспромты, как правило, носят откровенный и интимный характер. Беседуя, он время от времени задавал мне какие-то вопросы, интересовался, какие художники мне нравятся, но самый провокационный для меня вопрос звучал так: «А тебе кто больше нравится, я или Бажбеук?» Он конечно же был к Бажбеуку равнодушен, зная, что тот невысокого мнения о нем. По всем характеристикам эти два художника были полной противоположностью, и я так и ответил, что они настолько разные индивидуальности, что ответа на этот вопрос просто нет. Он кивал, но я чувствовал, что он недоволен. Он всегда был недоволен и нарастающим вниманием к его творчеству, и комплиментами, и знаками уважения и вообще как-то ревниво относился ко всем проявлениям почтительного отношения к себе. Ему всего было мало. Думаю, он так много натерпелся в жизни, испытал так много унижений, что горечь обид ничто не могло компенсировать. Характер у него был тяжелый. Но зато он любил Диану.

После переезда в Ереван он часто приезжал в Тбилиси, обязательно звонил и приходил в гости. Скорее к моим родителям. Я как художник интересовал его мало. Он приходил для того, чтобы похвастать чем-то или поведать о своих недовольствах. Помню его рассказ о том, как его «обидели» в Союзе художников. В те времена краски по спискам распределял Союз художников. Так вот, придя за красками, он почему-то заинтересовался списком художников и увидел, что фамилия Сарьяна значилась раньше его фамилии. Это он счел величайшим оскорблением. Вот такие мелочные страсти большого художника. Зато он очень любил Диану. В следующий приезд, прежде чем зайти к нам, он осведомился по телефону, будет ли дома мой отец, что он хочет показать ему американский журнал, в котором напечатана статья о нем с большой подборкой его картин. Придя к нам, он сразу же, даже не начав обычного разговора о житье-бытье, всучил моему отцу журнал. Он оказался не американским, а советским журналом «Soviet Life» на английском языке. Я не стал его разочаровывать. Через минуту он шепнул мне на ухо, чтоб я забрал у отца журнал, потому что он может помяться. Вот такие мелкие страстишки большого художника. Зато он очень любил Диану.

Последняя встреча. Он в очередной раз приехал в Тбилиси. Захотел зайти, просто поболтать без всякой причины. Мы с ним не вели бесед об искусстве, как обычно это делают художники. Он или хвастал или жаловался. Вообще другие люди его мало волновали. Пока он жил в Тбилиси, я по возможности часто посещал его обитель. Он охотно показывал свои новые работы, наверное, потому, что чувствовал, как они мне нравятся. Но у меня никогда не возникало желания показать ему свои работы, потому что его высказывания по работам своих коллег и по теоретическим проблемам современного художественного процесса зачастую просто шокировали. Он был только большим художником. А этого вполне достаточно. А еще он очень любил Диану. Я хорошо запомнил эту нашу последнюю встречу. Он пришел в гости и увидел висящий на стене эскиз к дипломной работе «Игроки в нарды», будто как-то особенно на него посмотрел, очень внимательно, и сказал: «Это ты сделал хорошо». Он сказал это так, что мне показалось, он благословил меня.

Сурб-Геворк. Праздник

Я уже поднимался по лестнице, ведущей во двор храма Сурб-Геворк (Святой Георгий). Я часто бывал здесь. Мне нравился сам храм с его простыми, сильными, монументальными формами, суровой простотой, нравилось, как он расположен, — он стоял во дворе, в окружении жилых домов с многочисленными балконами, на которых кипела полнокровная жизнь, сушилось белье, проветривались ковры.

Во дворе стоял водопроводный кран — центр общественной жизни, было множество маленьких пристроек. Прямо у стены церкви — могила великого ашуга Саят-Новы, сочинившего стихи на трех языках — армянском, грузинском и азербайджанс-

ком. Могила спроектирована знаменитым художником Г.Башинджагяном, который покоится рядом с ашугом. Стены церкви в свое время были расписаны самим Башинджагяном. В стороне — могилы нескольких выдающихся армянских деятелей, в том числе графа Михаила Лорис-Меликова. Рядом сушатся ковер и шерсть, которой набивают тюфяки. В последние годы во двор церкви были перенесены чудом уцелевшие барельефы церкви «Пурпурное Евангелие» на Авлабаре, которая рухнула средь бела дня. Все вместе очень походило на обитель Бога и людей. Внешне все противоречило монофизитству, здесь все сливалось в единство, здесь Бог и человек были добрыми соседями.

Такая же простота и деловитость царили внутри церкви. Все скромно, без экзальтации делали свое дело, убирали, звонили в колокол, продавали портреты святейшего католикоса всех армян, книги религиозного содержания, свечи, открытки с видами величественных армянских храмов, по воскресеньям пели на хорах. Церковное пение — это нечто такое высокое, что его можно воспринять только как творение Самого Создателя. Эту музыку исполняют простые люди, не профессионалы, жители этого двора или близлежащих домов. Для моего неискушенного уха неважно, кто поет. Если музыка великая, если она гениальна на концептуальном уровне, если она стала каноном так же, как в изобразительном искусстве пластическая культура Древнего Египта, античность, русская икона, армянская миниатюра, армянское средневековое зодчество и поэзия, то она гениальна, гениальна всегда, вне зависимости от того, кто ее исполняет.

Старушки стараются прийти в церковь как можно раньше до начала службы, чтобы занять место поближе к решетке, отделяющей алтарь от основного помещения, чтобы, ухватившись за решетку, легче опуститься на колени и легче подняться с колен. Они приходят, тесно прижимая к груди маленькие подушечки в полиэтиленовых пакетах. Им больно стоять на коленках на мраморном полу. Пол из белого мрамора, и на него падает свет от цветного окна на восточной части купола. Этот свет, это цветное отражение на полу, создают впечатление присутствия в храме Святого духа. Меня всегда удивляла и восхищала «заземленность» армянских церквей. Грузинские церкви устремлены ввысь, они словно пытаются оторваться от земли, чтобы быть ближе к Богу. Армянские же словно стараются врасти в землю. Вероятно, армяне думают, что близость к земле и есть близость к Богу.

Но вернемся к тому дню, когда я пришел в церковь Сурб-Геворк. Поднимаясь по лестнице, я заметил необычное оживление. Я не думал, что мне предстоит стать свидетелем исторического события для армян, продолжающих пока проживать в Тбилиси. И вдруг я услышал за спиной слова, явно относящиеся к моей персоне. Я оглянулся и увидел художественного руководителя Тбилисского армянского театра. Я остановился, и он представил меня мужчине, в котором я не сразу узнал Армена Борисовича Джигарханяна. Просто я не ожидал встретить его здесь. Естественно, я был представлен как известный армянский художник — любовь к преувеличениям неистребима в армянах. Людей вокруг становилось все больше, и все возрастал «статус» представляемых, в счет пошли уже гении и даже живые классики. Это было слишком даже для армян, пристрастных к высокопарным эпитетам. Душевный подъем был вполне объясним и оправдан — среди почетных гостей этого собрания был еще и сам Шарль Азнавур. Двух самых дорогих гостей подвели друг к другу и познакомили. Взрыв ликования достиг предела. Мгновенно появился помост, который обычно устанавливался здесь во время торжеств. Сама встреча столь почетных гостей не была подготовлена заблаговременно, Армен Борисович приехал, кажется, на гастроли, а какие пути занесли в Тбилиси Шарля Азнавура, никто из присутствующих толком не знал. Почетных гостей пригласили на помост, рядом с ними оказались хозяева встречи. Поились пламенные речи, и каждый из выступавших почему-то подталкивал друг к другу Джигарханяна и Азнавура, видимо, приглашая их обняться. Гости неловко улыбались и вежливо раскланивались. Я впервые видел смущенными великих артистов. Музыки не было. В завершение слово предоставили гостям. Первым выступил Джигарханян. Он говорил по-армянски, вызвав всеобщее ликование. Затем слово предоставили Азнавуру. И он стал говорить по-армянски. Народ просто впал в экстаз. К моему стыду, я почти не говорю по-армянски, но могу догадаться, о чем они

говорили. Если встречаются трое армян, то они говорят конечно же о геноциде (родители Шарля Азнавура испытали его на себе), о том, что представляли собой армяне в Тбилиси до советизации Грузии, и о том, что самые выдающиеся в мире деятели по происхождению армяне, а если кто-то вдруг не армянин, то врач, принимающий роды у его матери, несомненно, был армянином. Это конечно же преувеличение. Но это не смешно, а очень печально, потому что взгляд, постоянно обращенный назад, в прошлое, не способствует созиданию. Это не относится к геноциду. Забывать об этом нельзя, и об этом никогда не будет забыто. Забыть — это значит осквернить могилы и память миллионов невинно убиенных. Можно в силу определенных обстоятельств принимать какие-то политические решения, но из памяти ничего не вытравишь.

Что касается деятельности армян на благо Тбилиси, то нельзя забывать, что они ничего не разрушили, напротив, они построили, сохранили и передали сегодняшнему поколению прекрасные дома, театры, больницы, придали городу неповторимый колорит и такое очарование, которое и сегодня производит неизгладимое впечатление на гостей города. Сегодня у города новые законные хозяева, им видней, что делать, но что бы они ни построили, это будет их автопортрет. О том, что было построено в Тбилиси, знают все и те, кто делает вид, что этого не было. Все это зафиксировано историей, и это вычеркнуть невозможно, это только унижает тех, кто пытается это сделать. И у грузинского, и у армянского народов есть очень много того, чем можно и должно гордиться. Но налицо все комплексы малочисленного и амбициозного народа, народа, у которого в действительности так много подлинно великого, что каждый народ почел бы за честь быть обладателем хотя бы одного из этих шедевров архитектуры.

Армянская буржуазия в свое время действительно сделала много полезного и доброго для Тбилиси. Но произошла смена общественного строя, социалистическая революция породила совершенно искусственные предпосылки для дальнейшего развития страны, что привело к тому, к чему привело. Армяне же должны окончательно осознать, что то, что было, прошло. Так называемых грузинских армян осталось в Грузии так мало, что уже время заносить их в «красную книгу», чтобы уберечь от исчезновения. Они еще могут пригодиться — ведь они не умеют разрушать. Зато строить — великие мастера.

Но вернемся в Сурб-Геворк. Гости все не отпускали, ведь подобные встречи случаются нечасто, особенно для тех старушек, которые заняли самые лучшие места на балконах. Дело в том, что помост и балконы первого этажа находились на одной высоте, и люди на балконах смотрелись, как актеры массовки в театре.

Я глядел не на «солистов», я не мог оторвать взор от старушек, которые так нелепо и трогательно до слез вырядились по такому, наверное, самому значительному событию в их оставшейся жизни. Они вытащили из шкафов давно устаревшие, но модные в их молодости наряды и аксессуары, перчатки, шляпки с вуалью, веера, китайские зонтики и гордо красовались среди этой театральной оргии, наверное, вспоминая молодость. Внуки широко распахнутыми глазами смотрели на своих бабушек, такими они их не видели и думали, что они всегда носили только простенькие халатики и фартуки и всю свою жизнь убирали и готовили еду. А ведь в молодости они были красивы и кокетливы и наверняка разбили сердце не одному молодому человеку.

Мне было очень больно. А еще я сожалел о том, что наши знаменитости не видят того, что происходит у них за спиной. А за спиной у них разыгрывался великий спектакль, спектакль, не имевший драматурга, режиссера и, не приведи Господь, еще и художника. Шел настоящий спектакль, не выдуманный никем, а сыгранный самой жизнью, без сквозного действия, зерна образа, темпоритма и всякой условной дребедени и потому — абсолютно подлинный, ведь перед глазами высоких гостей разворачивалось действие, хотя и искреннее, но помпезно-парадное, востребованное большинством зрителей, которые смогли полностью удовлетворить свои амбиции. Но ведь это тоже немало?

Армянские страницы

1957 год. Первый курс факультета живописи Тбилисской академии художеств. Шаг влево, шаг вправо — исключение из академии. Работы студентов предельно реалистические, их практически трудно отличить друг от друга по манере исполнения, разве что по степени таланта. Ни о каких «измах» мы пока еще понятия не имеем. А если и догадываемся о том, что существует некая другая живопись, то говорим об этом только в узком кругу между собой. На курсе двое армян, я и мой друг, замечательный художник Шамир Тер-Минасян. То, что я армянин, я вспоминал только тогда, когда приходилось заполнять графу «национальность» в документах. Армянином себя я никак не ощущал. Родился и жил в Тбилиси (я тбилисец в четвертом поколении — по сохранившимся в нашей семье документам), учился в русской школе, в семье говорили по-русски и по-грузински, к своему стыду, армянского не знаю до сих пор.

Приезжает в академию художеств делегация армянских художников. Переступив порог мастерской, они, указывая на мою работу и работу моего приятеля, говорят, что вот эти двое — армяне. Шок, но шок, похожий больше на фокус. Вскоре мы забыли об этом, на первый план вышли проблемы профессиональные, мириться с рутинным академизмом было уже невозможно, наступила так называемая «оттепель», молодые художники, которые учились до нас и были изгнаны из академии за «формализм», возглавили борьбу за свободу и право на индивидуальность в творчестве, которая выражалась в основном в работе над цветом. На многие годы мы все занялись проблемами цвета. Кстати, по-грузински живопись называется «цветопись».

Я очень не люблю путешествовать и считал до тех пор, пока я писал «открытыми глазами», что жить и рисовать можно только в Тбилиси. Это удивительный город. Писать о нем и о любви к нему даже неловко. Это то же самое, как ежечасно говорить, что ты любишь свою мать. Я многим обязан Грузии, она не позволила мне забыть, что я армянин.

Потом как-то по телевизору я увидел Иерусалим, и мне показалось, что можно рисовать и там. А потом была поездка в Армению. Мы ехали на машине. Закончилась граница прекрасной Грузии — и началось нечто. Этим нечто был ландшафт, такой пугающий и почему-то такой родной. Я вдруг вспомнил посещение армянскими художниками Тбилисской академии художеств, и мне стало не по себе оттого, что человек есть определенная свыше данность. У него нет возможности выбора, он не властен над собой, он не может проявить свободную волю. И тогда — где и в каких пределах он может выразить себя? Я видел перед собой другую планету, землю и камни, которые Бог сотворил суровой и щедрой рукой, казалось, только вчера. Ландшафт настолько ошеломил меня, что я понял — есть еще одно место на земле, где можно жить и работать. Должен признаться, что тогда я впервые ощутил себя армянином и даже испытал некую гордость. Мы долго ехали среди этих шедевров, композиций, созданных из камней рукой Всевышнего. Не покидало чувство, что ты находишься в другом измерении. Потом был Ереван. Он сначала не произвел впечатления. Наверное, оттого, что не был похож на Тбилиси. Впрочем, зачем он должен был походить на Тбилиси? Он был плотью от плоти того ландшафта, который мы видели по дороге. Та же суровая простота и мудрость. И строгая функциональность, без всякого социального пижонства в архитектуре. Во всем облике Армении чувствовалось, что народом пережито за свою историю столько боли и горя, что народ Армении чтит и уважает только подлинные ценности, вычурность и украшательство для него неприемлемы изначально.

Второе впечатление. Армения, я это чувствовал каким-то подсознанием, представляет собой в силу многих исторических событий и условий до предела сжатую пружину. Сегодня энергия, заключенная в пружине, пока развивается экстенсивно и проявляет себя в созидательном труде, в потребности положить камень на камень, возделывать свой сад, растить детей и в создании произведений искусства огромной энергоемкости. На мой взгляд, самая большая заслуга армян состоит в том, что,

невзирая на социальное устройство, на политические катаклизмы, они всегда относились и относятся к своей земле преданно и почтительно.

Потом мы поехали в Эчмиадзин, очень значительный духовно-религиозный центр, пульсация которого ощущается даже плотью, тебя не покидает желание низко склонить голову и преклонить колени. Но художник — это человек, который ощущает мир глазами. На глаз Эчмиадзин особого впечатления не произвел. Мы подъехали к храму Рипсима. Невозможно описать словами чувство, которое вызывает этот шедевр архитектуры. Я был настолько потрясен, что по многу раз обходил его со всех сторон и не замечал, что будто одержимый бормотал про себя: «Этого не может быть, этого не может быть!»

Мы вошли внутрь храма. Изнутри он производил даже более сильное впечатление простотой объемов и суровой изысканностью. Никаких украшений, стены отделаны тем же камнем, что и снаружи, простые, без спинок деревянные лавки, железные жаровни на ножках с речным песком, используемые как подсвечники. На передней лавке сидели, положив руки на колени, три старика. Вдруг, как бы взрывая покой и тишину, бодрым шагом из алтаря вышел молодой священник в ярко-голубой шелковой рясе и в больших солнцезащитных очках. Всем своим видом он демонстрировал, что на дворе XX век. Он подошел к крайнему из стариков, обнял его и что-то прошептал на ухо. Старики эстафетой тоже что-то прошептали друг другу. Священник ушел, старики остались смиренно сидеть на своих местах. Какая-то ирреальная связь времен. Позже я заметил в глубине ниши маленькую фисгармонию, за которой сидел лысый мужчина средних лет. Чуть погодя появилась сухонькая старушка вся в черном и подошла к фисгармонии. Второпях, волнуясь, прибежала женщина с двумя сумками продуктов, отдышалась. Старушка с трудом стала на колени, вознесла руки с раскрытыми ладонями ввысь. Послышались звуки фисгармонии, и все трое запели. Это нельзя назвать пением, это было нечто непостижимое, как сама музыка.

И тогда возникло предчувствие, что когда произведение гениально на концептуальном уровне и превратилось в канон, тогда не важен исполнитель. Все скульптуры Древнего Египта гениальны, Пергамский алтарь — над ним работала не одна сотня ваятелей, вспомним скульптуры Индии, русскую икону и, наконец, армянскую миниатюру. Когда соприкасаешься с чем-то очень большим, возникает страх и робость, но одновременно надежда, что не все так страшно и что самые простые смертные создают талантливые и даже гениальные творения. Не только Боги обжигают горшки.

Надо было уезжать, но я не мог оторваться от этого места. Я все время оглядывался на храм, но это было уже не нужно. Самое главное свершилось — все, что я видел, поселилось во мне и стало моей сутью. Я стал армянином, правда, «некачественным», не владеющим армянским языком и обделенным всеми признаками, присущими армянским патриотам. Я ведь всю жизнь прожил в Тбилиси, Грузия была моей Родиной, любовь к ней и корневые связи с ней были не менее сильны и даже сильнее. Я тбилисец в четвертом поколении, но сейчас я пишу об открытии мной Армении и как все это отразилось на моей творческой судьбе. Мы тогда не знали таких умных слов, как генетика, генетический код. Слов мы не знали, а просто жили, наверное, по генетическому коду.

По возвращении из Армении (кстати, мы были там всего полтора дня) я решил написать картины, навеянные поездкой. Должен заметить, что к тому времени я обладал абсолютной творческой свободой, потому что решил живопись не выставлять вообще и даже не показывать ее, разве что очень близким друзьям. Зарабатывал книжной графикой, оформлением интерьеров, сценографией.

Но сейчас передо мной стояли другие проблемы — совершенно беспомощные картины, навеянные поездкой в Армению. Это было непонятно, это было невысказано. Испытать такой восторг от увиденного, так остро пережить каждую деталь, так осознать себя плотью от плоти этой страны и написать такие слабые картины?! Прошли годы, я писал то, что писал обычно, а горечь от неудачи с армянскими работами меня не покидала. Постепенно, несколько успокоившись, я стал осознавать сначала подлинным, а потом все увереннее, что неудачи эти были обусловлены тем, что все,

что я увидел, настолько понравилось мне, что сковывало меня, я боялся «испортить» то, что увидел. Я просто забыл простую истину, что *чем дальше отходишь от природы, тем больше ты к ней приближаешься*. Я вспомнил, что однажды после захода солнца я увидел из окна моей мансарды древнюю крепость Нарикала и окружающие ее горы, окутанные необыкновенно красивым жемчужным цветом. Я бросился быстро писать, чтобы не упустить впечатление. Картина получилась действительно внешне очень похожей, красивой и жемчужной по цвету. Но Боже мой, какая это была пошлость!

После долгих сомнений и мучений я ее переписал кардинально. Я верю, что художники, к сожалению, не так часто, как хотелось бы, но соприкасаются с неким сакральным, астральным информационным пространством, откуда получают некие импульсы, подсказки и даже неподвластную себе волю, что заставляет их делать картину не так, как она была задумана. Как в бреду, беру темно-вишневый цвет и переписываю эту жемчужную, как мне казалось, красоту. Картина становится по-настоящему жемчужной и очень похожей на тот вид, что я помнил. Но самое главное, она стала произведением искусства. Чем дальше от природы, тем ближе к ней. И потом пришла догадка, что есть правда жизни (ее видят все), а есть еще правда искусства (ее чувствуют избранные). Сегодня это звучит наивно, это знают все. Но я пишу о годах после окончания академии, когда передо мной распахнулись наконец все двери и можно было писать как угодно и надо было постигать все самому. Это было очень трудно, и, уверяю вас, за это пришлось заплатить очень высокую цену. Своим здоровьем. Ремеслом занимаются люди здоровые, а творчество — это болезнь, в творчестве художник избавляется от навязчивых видений. Картины и воспоминания, подаренные мне Арменией, висели на мне непомерным грузом. Н а д о было собраться и не цепляться к каждой, даже самой прекрасной детали, изображенной на картине. А ведь они были так дороги мне. Рассматривая другие картины, написанные после поездки в Армению, я, к своему удивлению, обнаружил, что они выглядят так, как я хотел написать армянский цикл. Более того, просмотрев ранние работы, я увидел то же самое. Вновь пришлось вспомнить о приезде армянских художников. Я вернулся к работе над «армянскими картинами». Мне удалось сделать работы интереснее и, как мне кажется, глубже. Потому что я занялся формой, пластикой, непосредственно не связанными с реальностью, а связанными с абстрактной составляющей картины. И опять, чем дальше от реальности — тем ближе к ней. *Искусство есть ложь. Но она выше правды*. Порой я спрашивал себя: так кто же я? Грузинский художник или армянский? Свою раздвоенность я не чувствовал, пока мне не напоминали об этом, правда, только на бытовом уровне. Но в искусстве это не имело никакого значения. Правда, иногда можно отличить художника по национальности. Но что из того? Это ни хорошо, ни плохо, это просто данность. За нее цепляются только лжепатриоты. Можно лишь им посоветовать обратиться за помощью к плохому хирургу, но зато своей национальности. А в искусстве существует только талантливая живопись и не очень талантливая.

Потом была поездка в Ахпат, Санаин, Одзун и Србанес. Я ехал туда без особого волнения, потому что, как мне казалось, я уже испытал такое сильное впечатление от Рипсима, что более сильное впечатление на меня вряд ли могло уже что-то произвести. Но я конечно же ошибался. Во всем увиденном был какой-то нечеловеческий масштаб, но одновременно все было очень просто и человечно. В храме Одзун народу не было. Но как только мы с друзьями вошли, словно ангел из благовещения, возникла девочка лет двенадцати необыкновенной красоты, с иссиня-синими глазами, окаймленными густыми черными ресницами. Она подошла к нам и просто спросила: «Хотите зажечь свечи?» В ответ на наше согласие она куда-то убежала и быстро вернулась со связкой свечей. Мы решили расплатиться с ней, протянули ей деньги. Она сказала, что это больше, чем надо. Мы стали ее уговаривать, что это мелочь, она может оставить это себе. Но девочка очень серьезно ответила: «Так нельзя», быстро убежала и вскоре принесла сдачу. Уходя, она снова повторила: «Так нельзя». В ее голосе нам почудились обида и недоумение. Я не буду писать об Ахпате и Санаине, скажу только, что прошло уже много лет, а они как живые стоят перед глазами,

внушают гордость и надежду. Ахпат и Санаин — памятники хорошо известные и популярные. Мне же хочется рассказать об очень маленькой полуразвалившейся церквушке Србанес, рассказать не столько о ней самой, сколько о том месте, где она стояла. Простой, грубо отесанный камень, местами вставки из хачкаров. Стены сплошь облеплены воском, потому что свечи крепили прямо на стену. Никаких подсвечников. Единственное украшение алтаря — очень условная небольшая фигурка человека, вырезанная из ржавой жести и обмотанная цветными тряпочками. Трудно сказать, кого эта фигурка изображала. И было очень много ящериц, они сновали всюду, создавая атмосферу ирреального.

Но самое удивительное находилось вокруг церквушки. Она стояла на берегу маленькой речки (ее можно было легко перешагнуть). Вокруг было кладбище, речка делила его на две части. Одна половина очень древняя, наверное, дохристианская. Почти не было ни крестов, ни хачкаров. В основном плосколежащие камни из разноцветного туфа, на которых рельефно, очень условно были изображены фигуры усопших с орудиями труда, которым они занимались при земной жизни. Разнообразие форм надгробий и цвета туфа, из которого они были сотворены, общая композиция всего этого пиршества форм и цвета в который уже раз создавали впечатление, что все это сотворено не рукой человека, а десницей Всевышнего. А на левом берегу речки было совершенно роскошное прошлого века кладбище с огромными надгробиями из черного полированного итальянского мрамора, украшенного скульптурами в европейском стиле из белого мрамора, изображающими ангелов. Это, судя по некоторым надписям, было фамильное кладбище Аргутинских и Калантаровых. На одной из боковых сторон могильного камня четко прочитывалась скромная надпись «Инженер Калантаров... инициалы и даты рождения и смерти». Снующие кругом ящерицы были едва заметны на старых камнях, но на черном полированном мраморе они переливались под лучами солнца, словно старинные дорогие ювелирные украшения.

Ну как можно было в такое поверить? Но оно существовало, это совершенно неправдоподобное сочетание времен, доказывало то, о чем я смутно догадывался. А именно то, что время — понятие условное, а живопись может и должна синтезировать и прошлое, и настоящее, и будущее. Поездки в Армению, впечатления от этой земли не прошли бесследно. Более того, все, что я сделал позже, я имею в виду черно-белые картины серии «Протоформы и артефакты», было в основном подпитано впечатлениями, я даже рискнул бы сказать, осознанием и постижением этой земли, которая зовется Армения. А величие этой страны в том, что и самое высокое, самое духовное, и самое приземленное, бытовое, и самое древнее, и самое современное так органично сосуществуют во всем, что эта страна не имеет ни начала и, что самое главное, не имеет конца. Здесь поселилась вечность.

Тамара Гундорова

Симптом «больного тела»

Постсоветский украинский роман

Почти сто лет назад — еще в 1930 году — Вирджиния Вульф отметила: странно, что болезнь, занимающая такое место в жизни людей, не стала одной из основных тем литературы, наряду с любовью, войной и завистью. Поэтому не было особой неожиданностью, что современный постпостмодерный мир выведет болезнь на первые позиции среди литературных тем, особенно в связи с перспективой так называемого «постчеловеческого» будущего.

Именно болезнь в постпостмодерном мире не только угрожает духовному, психическому и физическому состоянию человека, но остро ставит вопрос о границах самой человеческой природы. До недавнего времени было принято считать, что «пластичность человека практически бесконечна». Что и позволило в процессе модернизации и культурной эволюции осуществлять социальное конструирование, загоняя человеческую природу в рамки социальных и культурных утопий. Другими словами, представление о неограниченной способности человека к трансформациям лежит в основе всей эпохи модерна. Однако, «хоть поведение человека и пластично, но лишь до определенного предела: в какой-то момент врожденные инстинкты и модели поведения восстают и разрушают лучшие планы социальной инженерии»¹.

Один из таких моментов и стал началом посттоталитарного этапа: сама человеческая природа восстала против резких социальных и технологических экспериментов, которые осуществляла эпоха модерна, вдохнувшая жизнь в социалистическую доктрину и насаждавшая тоталитарный контроль и насилие не только над духовным миром, но и над биологической природой человека. Эти био-техно-социальные испытания можно характеризовать как травматические, а посттоталитарное состояние — как посттравматическое, сопровождающееся регрессом в инфантилизм и в болезнь. Именно такую ситуацию и отражает современная постсоветская литература — в частности украинская.

Рассуждая о русском постсоветском романе, Марк Липовецкий и Александр Эткинд приходят к выводу, что посттравматический опыт стал одним из определяющих начал современной литературной ситуации². Собственно, понятие «травма» становится одним из центральных в современных гуманитарных науках — всю историю XX века можно осмысливать в категориях травмы. Травматичными были Холокост, Вторая мировая война, Хиросима, Голодомор, Чернобыль, развал СССР и

Тамара Гундорова — доктор филологич. наук, член-корр НАН Украины, лауреат премии им. Ивана Франко НАН Украины и др.

Автор нескольких монографий и многочисленных статей по проблемам модернизма, феминизма, постмодернизма и массовой культуры.

¹ Фукуяма Фрэнсис. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической революции. — М.: АСТ, ЛЮКС, 2004. — см. <http://alt-future.narod.ru/Future/Fnpb/fukunpb.htm>

² Марк Липовецкий — Александр Эткинд. Возвращение тритона: Советская катастрофа и постсоветский роман // Новое литературное обозрение. — 2008. — № 4. <http://magazines.russ.ru/nlo/2008/94/li17.html>

множество других событий и процессов. Доминик ля Капра вообще настаивает на том, что неустроенность, вызванная травматическими событиями или ситуациями, и, главное, встраивание ее в свою картину мира, является необходимым элементом принятия человеком истории. Причем речь идет о том, что эта травма должна быть переосмыслена, как в психоанализе, иначе она превращается в призрак, который преследует, порождает эксцессы, состояние потери и уныния. Работа же по переосмыслению и преобразованию посттравматических симптомов приводит к важным историческим результатам, так как помогает преодолеть чувство экзистенциальной неустроенности, тоски и облегчить последствия травмы¹.

Такой подход выглядит особенно актуальным при анализе посттоталитарного сознания, в частности, на Украине, где, несмотря на декларации и внешние символы, полного разрыва с тоталитарным советским прошлым так и не произошло — призраки его вызывают эксцессы в политике, массовой психологии, культуре. Посттоталитарная ситуация глубоко травматична в первую очередь для старшего поколения, которое вынуждено осуществлять резкую переоценку ценностей. Однако эта ситуация вызывает чувства неопределенности, неустроенности, бездомности и у более молодого поколения.

Предмет моего анализа — прежде всего так называемая молодежная проза и постсоветский молодежный роман начала XXI века в сопоставлении с литературой предыдущего десятилетия. Термин «молодежная проза» достаточно условен, поскольку к ней относят не только произведения, написанные молодыми авторами. Определяющими критериями служат ориентация произведения на молодежную аудиторию, отражение ее вкусов, активное освоение стилей молодежных субкультур; главные персонажи этой литературы часто обладают сходной с авторской биографией и являются знаковыми для своего поколения.

Именно в конце XX века, когда происходил переход к постиндустриальному информационному обществу, существенно возросла роль так называемых молодежных субкультур. Групповая солидарность в таких субкультурах поддерживается и воспроизводится при помощи своей системы знаков, символов, мифов и ритуалов. Особая роль таких субкультур состоит в том, что они выборочно включают в себя отдельные элементы «опыта отцов», а следовательно, разрушают установленные социумом и традицией барьеры, способствуют смене культурных парадигм, высвобождая инстинкты и приспособлявая социокультурную практику к биологическим основам человека.

Как утверждал Карл Мангейм, «скептическое, деструктивное, аналитическое мышление в первую очередь можно встретить среди представителей поколений, которые были свидетелями радикальных перемен в сфере власти»². Сказанное особенно подходит к посттоталитарному поколению конца XX века. Можно, наверное, в целом говорить о чередовании «молодежных» и «стариковских» времен. Так, очевидно, что в 1960-х доминируют «сердитые молодые», во времена так называемого развитого социализма 70-х правят маразматические старцы, 90-е снова молодежные, карнавальные, «бубабистские»³, а двухтысячные больше ассоциируются с «кризисом среднего возраста». Причем именно молодежная культура 2000-х демонстрирует интересные психосоциальные симптомы, которые можно соотнести с *болезнью века*. В частности, приобретает актуальность симптом «*больного тела*», прямо отражающий социальный разлад. Психические расстройства при этом вызывают соматические разлады: проблемы с пищеварением, затрудненное дыхание, страх смерти. Как писал Славой Жижек, «симптом появляется там, где мир сбивается с ритма, где нить символической коммуникации прерывается»⁴. В произведениях современной

¹ О таком культурологическом переосмыслении черныбыльской травмы путем включения ее в символическо-литературный пласт см.: Тамара Гундорова. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн (Київ: Критика, 2005).

² Мангейм К. Проблема интеллигенции. Исследования ее роли в прошлом и настоящем / Карл Мангейм. Избранное: Социология культуры. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. — С. 204. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/manh_probl/04.php

³ «Бу-Ба-Бу» — известная украинская поэтическая группа конца 90-х. Название расшифровывается как «Бурлеск-Балаган-Буфонада» (прим. переводчика).

⁴ Славой Жижек. Возвышенный объект идеологии. — М.: Художественный журнал, 1999. — С. 78.

молодежной прозы обнаруживается именно эта симптоматика прерванной коммуникации. Это не салонная коммуникация узкого круга экспертов-модернистов и не площадная коммуникация, присущая постмодернистским «бубабистам». *Прерванная коммуникация* двухтысячников, наряду с экзистенциальным одиночеством поколения, отображает и его постколониальную и посттоталитарную растерянность. Типичные для молодежной прозы мотивы связаны в основном со взаимным отталкиванием поколений, потерей родителей, жизнью без матери, бездомностью, скитаниями, депрессией, алкоголизмом и т.п., или, говоря в целом, с отторжением социальных норм и денатурализацией (потерей чувства естественности) социума. Вкусы, идеалы, отношения персонажей современной молодежной литературы замкнуты на таком «другом», который аналогичен персонажу, то есть тавтологичен, а идеалы таких персонажей по сути эскапистские. Они не укоренены в современности, а сдвинуты назад лет на тридцать—сорок — современное поколение как бы хочет прожить жизнь поколения позапрошлого. Как правило, это ориентация на 60-е годы, то есть времена, которые герои не застали. Речь даже не о бурных 60-х — периоде молодежного радикализма и сексуальной революции, а о поп-культуре того времени. Символами той идеальной эпохи стали поп- и рок-звезды, с которыми идентифицирует себя современное поколение, хотя притягивает его в первую очередь не успех, а «бездомность» звезды. Можно, по-видимому, говорить и о своего рода аутизме современной молодежной прозы — авторы часто не выходят за границы своего поколения, группы, издания, блога, «Живого Журнала» и т.д. Как заметил Игорь Бондарь-Терещенко, «сегодня электронный онлайн-дневник в «Живом Журнале» уже не считается признаком плохого вкуса и морального эксгибиционизма. Случайных посетителей твоего электронного закоулка все меньше, круг близких друзей все более маргинализируется. Прежние активные авторы «живой» литературной жизни Украины исчезают, теряя социальные связи и последние моральные заповеди, в дневниках киберпространства»¹. Происходит переключение внимания на «живых» современников и актуальную литературу, которая — вот где главное — должна быть интересна тебе и горстке твоих единомышленников. Такое состояние напоминает симптомы аутизма. Литературный аутизм, как и аутизм вообще, — вид генетически обусловленного заболевания, проявляющегося в нарушениях социальных коммуникаций. Главная причина современного литературного аутизма — прервавшаяся связь поколений, что обусловлено недоверием к культурной практике предыдущих поколений, в частности «отцов», поскольку та была деформирована тоталитарной системой.

Опыт тоталитаризма, считала Ханна Арендт, становится еще большей проблемой, когда исчезает сам тоталитаризм. Последний разрушает частный мир человека и обрекает его на одиночество. Между тем «даже восприятие мира, данное в ощущениях, зависит от контактов с другими людьми, от коллективного здравого смысла, который регулирует и контролирует все прочие смыслы и без которого каждый из нас был бы ограничен лишь ненадежными и обманчивыми сигналами своих органов чувств»². Молодое поколение унаследовало неустроенность и разрушенную тоталитаризмом частную жизнь, а потому доверяет лишь своим ненадежным и обманчивым органам чувств. Проявлением некоммуникативности и аутизма в современной молодежной прозе и является симптом *больного тела*. Правда, применительно к современной литературе следует говорить о разных телесностях одного и того же тела, поскольку тело в современной культуре, приобретшей опыт постмодернизма, уже не является тождественным самому себе, а становится *разорванным и перформансным*.

В произведениях модернизма тело предстает жаждущей плотью с разными, часто противоположно направленными желаниями, вместилищем самосознания, а также текстом, содержащим разные культурные символы и практики. В эпоху же постмодернизма тело — это перформанс, поскольку считается, что различные жизненные потоки разрывают тело и внутри него возникают виртуальные границы или,

¹ *Игорь Бондарь*. Життя в ЖЖ // Четвер. П р о е к т «№ 28: блог'ност» <http://chetver.com.ua/n28/01.html>

² Истоки тоталитаризма / Ханна Арендт. — М.: ЦентрКом, 1996. — 672 с.

как формулирует Валерий Подорога, *пороги экзистенциальных территорий*. Поскольку тело разорвано и его *экзистенциальные территории* невротически окрашены, то оно оказывается в центре жизненно необходимых компромиссов между сознательным и бессознательным, а также становится местом (не)встречи Я с Другим. Итак, постмодернистская концепция телесности состоит в том, что «отдельная жизнь не заключена в тело-порог, как в темницу, а всегда — вихрь, кружение, перепад глубин и поверхностей, изменение телесных состояний, не зависящих от устойчивых, видимых телесных форм»¹. Эта циркулирующая телесности и ее экзистенциальных порогов представляется бесконечной. Ведь начиная с середины XX века, отмечает Донна Гаравей, вся «медицинская теория была последовательно выстроена вокруг ... ряда технологий и практик, которые поколебали само понятие иерархически устроенного, обладающего границами, единого тела»². Согласно концепции *единого тела* болезнь вызывается неправильной передачей информации или «коммуникационной патологией», которая является трансгрессией границ «совокупности, называемой Я»³. Согласно же концепции постмодернистского *текучего, изменчивого тела* болезнь, напротив, связана с непрерывностью — повторений, перевоплощений, разрывов и перекombинаций тела.

Такой способностью к разнообразным телесным трансформациям наделен психически нездоровый Воцек в одноименном романе Юрия Издрыка, который стал своего рода визитной карточкой украинского постмодернизма. Именно болезнь посылает Воцеку сны-галлюцинации, а также демиургический дар телесных рекомбинаций. Особенно он ценит, что «люди в твоих снах не были тупо привязаны к своим оболочкам, и ты мог легко комбинировать — размещать нескольких в одном теле или делить кого-то одного на несколько разных, тасовать, менять местами, примерять одних людей к телам других или даже к предметам и вещам, ибо сущность вещей также не была установлена раз и навсегда и проявлялась в изначальном богатстве всех вариантов». Постмодернистское тело одновременно и *то самое* и *другое*. Об этом, в частности, свидетельствует так называемая монструозная телесность. Монстр не является ни полностью чужим для Я, ни абсолютно своим. Монструозная телесность по сути становится символом современного посттоталитарного общества. Эту монструозность, которая обнаруживает себя путем появления разнообразных не-людей, оборотней-гибридов и прочих фантастических существ, Марк Липовецкий и Александр Эткинд считают следствием непереосмысленной травматической памяти о советском прошлом. Используя идеи Зигмунда Фрейда об ужасном и о меланхолии как о непреодоленном чувстве утраты, известные российские литературоведы говорят о меланхолии постсоветских времен, когда подвергнутая забвению и вытеснению память о тоталитарном прошлом возвращается в литературу в химерических формах⁴. «Меланхолия Сорокина, Шарова, Пелевина, Быкова коренится в возвращении страха из непохороненного и неоплаканого советского опыта», — пишет А.Эткинд⁵. Оба исследователя обходят стороной психико-физиологические симптомы катастрофы, а между тем химеры постсоветских времен в значительной мере порождены насилием над биологической природой человека, в частности над

¹ В. А. Подорога. Феноменология тела: Введение в философскую антропологию. Материалы лекционных курсов 1992-1994 годов. — М.: Ad Marginem. 1995. — С. 20 // <http://ec-dejavu.ru/b/Body.html>

² Donna Haraway. The Biopolitics of Postmodern Bodies: Determinations of Self in Immune System Discourse // Feminist Theory and the Body. A reader. Edited by Janet Price and Margrit Shildrick. — Routledge, New York, 1999. — p. 210.

³ Ibid., p. 211.

⁴ О меланхолии как условии культурной и гендерной идентификации, которая вытекает из непреодоленного разрыва с материнским телом, см.: Тамара Гундорова. *Femina melancholica*. Статья і культура в тендерній утопії Ольги Кобилянської (Київ: Критика, 2002).

⁵ Марк Липовецкий — Александр Эткинд. Возвращение тритона: Советская катастрофа и постсоветский роман // Новое литературное обозрение. — 2008. — №4. <http://magazines.russ.ru/nlo/2008/94/li17.html>

телом, — такое насилие лежало в основе и модернизации, и социалистических экспериментов.

Постпостмодернистская литература, пережив период эйфории, связанной с постмодернистскими идеями циркуляции телесности, теперь разными способами возвращается к ценности живого опыта, к отображению живой жизни, а не других литературных текстов. Свидетельствами этого в украинской литературе стали «Тайна» (2007) Юрия Андруховича и «Из этого можно сделать несколько рассказов» (2005) Тараса Прохасько. Приметой постмодернистских призывов Прохасько до сих пор было такое взаимодействие биологического и литературного пластов, при котором литературные рекомбинации, порожденные воображением писателя, заслоняли цельность и сам ход жизни природы, а литературные вирусы, умножая число таких вариаций и комбинаций, заражали, казалось, саму внетекстовую реальность. «Из этого можно сделать несколько рассказов» соответствуют другой эстетической концепции: на первый план выходит спонтанность жизни и жизненных впечатлений. Здесь течет река воспоминаний с деталями, присущими разным этапам советского периода, — с упоминаниями о Брежневе и магазине иностранной литературы «Дружба», об армии, отце, брате Юрии, дяде, деде Михасе, даже об особняке, который начали строить в 1937 году. Реабилитация биологического Я, тела, деталей быта говорит о том, что художественное повествование движется параллельно течению жизни, не пытаясь эту жизнь создавать заново.

Эта реабилитация реальности заставляет задуматься о наличии временных границ и для текстов, отражающих трансформации тела, о том, не кончились ли уже, по выражению Артура Крокера, «пожирающие тело 90-е»?¹ Написанные в 90-е постмодернистские по стилю романы Юрия Андруховича, Оксаны Забужко, Юрия Издрыка зафиксировали разрушение «Я», расслоение личности и образование дополнительных — похожих либо контрастных — телесных воплощений. Так, несмотря на якобы цельность персонажей Андруховича, в романе «Рекреации» вариациями украинского постсоветского богемного героя были Юрко Немирич, Гриц Штундера и Хомский; в «Московиаде» украинский поэт Отто фон Ф. неотделим от его советской ипостаси — чекиста «Саши», а Стас Перфецкий в меланхолически-европеизированной «Перверзии» вообще распадается на «бесчисленное множество лиц и бесчисленное множество имен». В «Полевых исследованиях украинского секса» Оксаны Забужко образ героини также поделен между виртуальными ипостасями — шлюхой, поэтессой, маленькой девочкой, любовницей, русалкой. Но едва ли не наиболее разделен на различные телесные и духовные субстанции Воцек Юрия Издрыка, который распадается на «целую череду недоразумений, связанных с непроясненностью отношений между "я", "ты", "он". То есть между мной, тобой и им. То есть между Воцекком и Воцекком инкорпорейтед». Распад «я» передается в романе не только за счет собственно грамматических форм, но и через взгляд на себя с расстояния, из середины тела, через разглядывание себя поверхностью своего же тела, через взгляд на себя, как на другое тело. Поиски собственного «я» устремлены в середину тела — посредством оптического увеличения, словно в компьютерной игре, и продвигаются в глубины с их «гидравликой сердца и сосудов, сумеречной перистальтикой змееподобных труб и детской живостью тончайшего эпителия». Другой способ поиска собственного «я» — всей поверхностью своего тела. Однако все эти попытки выразить себя в терминах «я», «ты», «он», соединив их с некой биологической оболочкой, остаются лишь набором словесных упражнений, поскольку *тела как такового* не существует. Поэтому Воцек и ощущает себя «не телом, не собою привычным, не субъектом, а пульсирующей субстанцией, которая могла находиться и в тебе, и вне тебя, быть с маковое зернышко или вырастать до размеров комнаты». Как не-тело, Воцек «без всякого неудобства» вмещает в себе металлическую кровать, выкрашенную белой краской табуретку, электрическую лампочку, окно, пол, потолок, стены, унитаз и, наконец, «добрую треть земного шара». «Все оно было тобою, а ты был им всем», — сообщает рассказчик.

¹ Arthur Kroker. *Hacking the Future: Stories for the Flash-Eating 90s*. — New York, St.Martin's Press, 1996.

В целом Воцтек воспринимает свою болезнь как единственную вещь, способную придать смысл существованию. Болезнь позволяет ему не только стать телом без органов, но и выстроить спонтанный, алогичный, фрагментарный текст, свободный от необходимости соблюдать какую-либо последовательность событий. Болезнь также устраняет боль от патологических коммуникаций — «невстреча с людьми» становится для Воцтека привычным делом.

Размыкание цельной телесности и «пожирание плоти» в каждом из этих знаковых призывов 90-х символичны для посттоталитарного сознания. Глубокие изменения, связанные с разрывом с советским прошлым, свобода, принесенная перестройкой, переоценка ценностей привели к другому способу существования и, в частности, к открытию собственного телесного «я». Однако оказалось, что целостность этого телесного «я» достигалась раньше в значительной мере за счет тоталитарного контроля и принуждения, когда пространство между людьми было разрушено и они прижимались друг к другу, как в переполненном транспорте или в показательном для советских времен феномене — очереди. Когда ослабли все связи, оказалось, что прошлое — колониальное, советское, тоталитарное — пожирает не только современность, но и тело.

Итак, в 90-е болезнь принесла мучительные трансформации, распад личности, поиски потерянного «я», как в «Воцтеке» Издрыка, нарушение коммуникаций, как в его же «Двойном Леоне», но она также сделала возможными орфические странствия Стаса Перфецкого во времени и пространстве («Перверзия» Юрия Андруховича). В молодежной прозе 2000-х болезнь становится желанной, и герои рвутся к ней, а не от нее. Собственно, как раз в двухтысячные стали говорить о том, что в результате биотехнологической революции «можно будет прийти к поддержанию функций тела в нормальном состоянии в течение практически бесконечного срока», а центральными проблемами этого так называемого постчеловеческого мира станет, с одной стороны, взаимодействие новой человеческой личности с многоуровневыми символическими системами ее кодификации, а с другой — определение границ, в которых заключено такое «я»¹. Именно современное молодое поколение является сегодня участником постчеловеческих экспериментов, связанных с изменением границ и слоев телесности — пирсингом, бодибилдингом, татуировкой, клонированием. Грядущие же биотехнологии сулят трансформацию самой человеческой природы, а в культуре уже привели к появлению термина «киборг-тело». А значит, симптом «больного тела» не выглядит случайностью в современной молодежной литературе.

Говоря о различии в изображении тела в 90-е и 2000-е, следует отметить существенную разницу: поколение постмодернистов-«бубабистов» — например, того же Андруховича — интересовало постоянное движение от физики к метафизике и обратно — именно в этом просторе блуждали их маски-персонажи. В начале же XXI века мышление движется в направлении от метафизики к физике. Поэтому о возвращении тела (не Стаса ли Перфецкого, который некогда симулировал самоубийство?) свидетельствует, в частности, антология поэзии двухтысячников, эмблемой которой стала не экзистенция, а телесность (вес). Антология носит название «Две тонны молодой украинской поэзии» (2007). «Двухтысячники — поколение, литературное становление которого пришлось на рубеж тысячелетий. Почему две тонны? — пишет рецензент. — Потому что это общий вес более чем трех десятков поэтов, чьи стихи собраны в антологии — от 93-килограммового Сергея Осоки до 46-килограммовой Олеси Мамчич. Вес выступает здесь вместо литературного манифеста: вот мы в литературе и нас можно точно зафиксировать в определенных координатах — возраст, вес, а кое-кто сообщает еще и рост. В конце концов, не худший способ манифестации: доказывать "необходимость поэзии" излишне, она есть и все тут. И есть именно как явление физическое, а не только метафизическое»².

¹ Н.Кетрін Хейз. Як ми стали пост людством. Віртуальні тіла в кібернетиці, літературі та інформації. — Київ: Ніка-Центр, 2002. — С. 363.

² Віталій Жежера. «Двотисячники» міряють поезію кілограмами// <http://gazeta.ua/index.php?id=209675&eid=555>

«Изнашивание» и «завихрения» человеческой природы, то есть «физики», вызываемые, с одной стороны, социальной инженерией, а с другой — биотехнологией, проявляются в современной литературе не только через возвращение тела, но и через болезнь этого тела. Именно «больное тело» становится одной из самых существенных метафор современной молодежной прозы. Болезненное состояние — физическая боль, внутренний разлад, ипохондрия свойственны преобладающему большинству героев романов и повестей Ирэны Карпы, Александра Ушкалова, Михаила Брыныха, Любо Дереша. В определенном смысле персонажей «50 минут травы (когда умрет твоя краса)» (2008) Ирэны Карпы, «БЖД» (2007) Александра Ушкалова, «Электронного пластилина» (2007) Михаила Брыныха и — как сообщается в аннотации — знакового для 90-х «Культа» (2002) Любо Дереша можно назвать больными: все они существуют на границе расколотых я-внутреннего и я-внешнего, собственного и чужого сознания, реальности и ирреальности. При этом именно тело выступает в качестве *тела-аффекта* — оно готовится осуществить сдвиг, то есть измениться, оно ослабляет или усиливает свои возможности, чтобы вступать в комбинации с другими телами и событиями, но состояние это затягивается, а сдвиг не происходит. Тело-аффект не обладает никакими защитными свойствами, внешние потоки пронзают его и рушат его границы, оно уже не имеет четких естественных границ и напоминает компьютерную гиперреальность: в романе Брыныха — пластилиновую структуру, а в романе Дереша — монструозное тело. В романе Ушкалова оно становится телом-протезом: например, «рука и нога в военной форме» или «настоящие кишки». Тело-аффект приобретает ипохондрические свойства, когда, как утверждают Делез и Гваттари, органы разрушаются, ни нервов, ни груди, ни живота, ни внутренностей больше нет, остались только кожа и кости. Именно такое состояние переживает героиня «50 минут травы» Ирэны Карпы.

Поколение «больных» создает своего собственного героя — *лузера*, то есть неудачника. Так называет себя Даня, персонаж «50 минут травы»: «Ты запустил себе внутрь неудачника, и в один прекрасный момент эта падаль прорастет из твоих ушей, носа, глотки, задницы буйным пурпурным цветом». Лузер существует как раз в виде «неорганичного» и «неиерархичного» тела. В нем вспыхивают сгустки боли, заново формируются и изменяются органы — к примеру, желудок, отравленный несвежими креветками («БЖД»). При этом надо оставаться «хорошим лузером», и, как в рекламе, улыбаться. Поэтому Карпа и говорит о новом императиве — «to be a good looser»: «От вас нужно только одно:

улыбаться,
улыбаться,
улыбаться.

Без перерыва в пятикратном размере».

Наиболее близкие лузеру состояния — это «бездумность» и «бессилие»: «I'm thoughtless. You're strengthless — я бездумна, ты бессилён» — словно девиз того парада инвалидов, который проходит перед нами в романе Карпы. Евка, главная героиня, обводит эти написанные кем-то на стене слова в рамку, и они становятся лейтмотивом истории о любви, которая не может реализоваться в этой жизни, а лишь *постмортем*. Жизнь, тело, природа приобретают извращенный, болезненный вид. Баз в романе «БЖД» не хочет взрослеть, Евка не выносит детский плач — «не стоит искать в нем смысл. Как и в детях вообще. Евка не хотела детей, она заранее ненавидела все, что могло вылезть из ее паскудного нутра». Сама же она, несмотря на победы над мужчинами, тоже бездумный ребенок, который жаждет старости. Ее состояние описывается прежде всего в категориях болезни: «Она блевала полугодичными депрессиями, застывшим взглядом, туберкулезной мокротой, грибковыми заболеваниями, жадой паранойи (я люблю бабочек!) и страхом психоза». В одном из откликов на роман в интернете героиня Карпы характеризуется как «закомплексованная, тонущая в депрессиях, зацикленная на маниакальной идее о собственной смерти, периодически страдающая от шизофрении, неуверенная в себе, временами употребляющая наркотики 19—20—21-летняя девушка Евка, которая все это (вышеперечисленное) пытается скрыть под маской стервозной сучки, а постоянной смелой сексуальных партнеров хочет продемонстрировать себе свою "себестоимость"»...

«Я больна лузерством, — признается в одном из интервью писательница Таня Малярчук. — Вот даже муж мне сказал, что я превращаюсь в фанатку лузеров, потому что все последние рассказы я пишу про конченных людей. Все это реальные люди... Если я когда-нибудь издам книгу с этими рассказами, то добавлю к ней карту с обозначением мест, где этих лузеров можно встретить».

Лузерство — такой диагноз в «БЖД» Александра Ушкалова ставит подросткам социум в лице преподавателей, учителей. «Помню, — говорит Баз, — по результатам какого-то теста наш универский психолог определил, что Икара и я, что мы, короче, аутсайдеры, лузеры, блин... Он так и сказал: вы лузеры, ясно? — и ухмыльнулся». Диагноз «лузер» может быть не прямым, но от этого не менее очевидным, как, к примеру, в случае Ивана Геккерля, о котором рассказчик в «Электронном пластилине» Михайла Брыныха говорит: «Он живет настолько нудно, однообразно и непонятно, что закрадываются сомнения относительно его психического здоровья». Другие персонажи Брыныха тоже не кажутся здоровыми: Шарнир, у которого «одно слово — доход», и Корова, одержимая желанием «самоубийства с билетом в обратную сторону».

Этот тип лузера напоминает нам об известной песне Beatles «I'm a looser» (1964): «Я неудачник, я не тот, кем прикидываюсь. Хотя я смеюсь и веду себя, как клоун, под этой маской лишь разочарование». Джон Леннон так объяснял эту раздвоенность: «Одна моя половина думает, что я неудачник, вторая — что я всемогущий Бог».

«Больное тело» порождается именно нежеланием взрослеть и вступать в мир символического неведомого, где условием выживания является победа над другим, где ты должен «отвоевывать свои метры и кубометры воздуха» у «какого-то невидимого противника» — признается герой «БЖД» Ушкалова. «Больное тело» подростка превращается в механизм: «словно чья-то рука со следами никотина на ногтях открывает пустой проектор твоей башки и вставляет туда короткометражные черно-белые пленки, и пока эти пленки крутятся, ты и живешь, или по крайней мере думаешь, что живешь».

Маска лузера надевается сознательно, сигнализируя о несовпадении внутреннего и внешнего «я», об асоциальности и порождаемой ею ипохондрии. С древности иппохондрия ассоциировалась с воспалением, которое приводит к дисфункции различных частей тела, при которой человек не может соотнести свои ощущения с вызывающим их объектом. Таким образом, ипохондрия — симптом нарушения коммуникаций, невстречи с Другим, несформированного или утраченного идеала. Собственно, все эти признаки характеризуют и меланхолию, которая порождается чувством потери, в частности потери себя самого — идеального, взрослого, социализированного. Известный немецкий психиатр Вильгельм Грисингер в работе, посвященной ипохондрии и меланхолии, назвал последнюю «аномалией самосознания, желания и воли»¹. Ипохондрия связана с чрезмерным вниманием своему беззащитному телу, с боязнью болезни, потеря органов, распада и, в особенности, перерождения тела. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона сообщает, что, когда меланхолия приобретает характер ипохондрии, больные чувствуют, что «у них заросли все отверстия тела, кишки гниют, живот провалился, они сделались деревянными, стеклянными, превратились в животных и т.п.»

Возвращение плоти в литературе 2000-х носит меланхолическо-ипохондрический характер и проявляется в форме *монструозного тела*. В «Электронном пластилине» Брыныха целостное тело буквально потеряно — вследствие сбоя в системе персонажи постоянно перекодируются, переназываются, а само тело становится

¹ Griesinger. Hypochondriasis and Melancholia // The Nature of Melancholy. From Aristotle to Kristeva. Edited by Jennifer Radden. Oxford University Press, 2000. — p. 226.

предметом обмена, а в конце — вещью и материалом. Так, некий «меценат» скупает трупы бомжей и «делает из них произведения искусства» — тело превращается в декоративный материал: «суть в том, что фрагменты тел выступают в качестве декора. Это сейчас они — трупы, а после соответствующей обработки они — как пластмасса, и не скажешь, что это настоящие тела», — объясняет один из персонажей. Тело денатурализируется и делается монструозным, как некрасивое тело с избыточным весом, принадлежащее Ивану Геккерлю. В итоге тело в «Электронном пластилине» иронично и гротескно распадается, словно механизм, и плавится, как пластилин: «Вначале у него вылезли глаза — они распухли и вздулись, глазные яблоки трескались, трещины заполняла коричневая кровь... его тело дернулось, словно пассажир электрического стула, из рваной дыры в груди выкатилось сердце — оно шлепнулось о пол, упруго отскочило и укатилось под стол; одно за другим отвалились уши... потом почти одновременно у Вовы Карловича отвалились руки и ноги... позвоночник плавился, как сахар в ложечке на газу; еще несколько минут — и туловище Вовы Карловича сделалось совсем разреженным».

Монструозность присуща и эзотерическим персонажам «Культа» Любо Дереша, где призывание монстра Йог-Сотата, Ткача Теней, Великого Накликающего Беду Червя соответствует путешествию в подсознание, которое одновременно является желанным и вызывает страх. Это монструозное тело до смерти пугает Юру Банзая: «Мозг озверел от страха, потому что увидел огромного бледного червя, бесконечного в пространстве и времени, живую, кошмарную вечность, прозрачно-бледное, покрытое щетинками чудовище, представителя особой расы, цивилизации, настолько чуждой человеку и всему живому, насколько это вообще возможно».

Дина Хапаева в книге «Готическое общество: морфология кошмара» (2008) пишет, что превращение не-людей (другими словами, монстров), нечистой силы в главных героев российской фэнтези означает вытеснение человека за рамки эстетической системы и подрывает традиции европейского гуманизма Нового времени¹. Однако такое вытеснение человека, которое Хапаева считает атрибутом возвращения готического криминально-варварского общества, можно рассматривать и с точки зрения симптома «больного тела», который знаменует ситуацию перерождения постсоветского общества.

И тут стоит прислушаться к другой мысли Хапаевой, а именно к тому, что «массовое насилие, пережитое в XX веке, стало нормативным эмоциональным опытом не только для очевидцев и участников событий, но и для потомков. Очевидно, последствия травматического опыта непрерывного террора... вплелись в ткань истории трех поколений советских людей. Перверсии психологические, моральные, социальные, вызванные этим опытом, по-настоящему, я думаю, еще предстоит оценить»².

В качестве сублимации *больное тело* требует дополнения в виде идеального тела или тела-канона. Как пишет Валерий Подорога, «тело-канон объектно, оно — идеальная норма, то есть является совокупностью норм поведения, следуя которым мы различаем правильное или неправильное применение человеческого тела»³. В пространстве современной культуры, в которое вписано и из которого извлекается тело-канон, представлены различные телесные образы, которые фетишизируются и эстетически упаковываются, как товар. Это — тело кичевое. В молодежных субкультурах роль тела-кича особенно значительна. Поскольку они активно используют та-

¹ Хапаева Дина. О превращениях, или Ответ на критику Михаила Габовича и Ильи Кукулина // Неприкосновенный запас. — 2006. — № 6 (50) <http://www.intelros.ru/index.php?newsid=302>

² Хапаева Д.Р. Цена забвения: Российское готическое общество // <http://fond.spb.ru/programs/likhachev/100/stenogrammi/hapaeva.html>

³ Подорога В.А.. Феноменология тела: Введение в философскую антропологию. Материалы лекционных курсов 1992—1994 годов. — М.: Ad Marginem. 1995. — С.21 // <http://ec-dejavu.ru/b/Body.html>

кие стили, как треш, кемп, панк и т.п., тело в этих культурах выглядит как маскарад и перформанс. Тело становится экстравагантностью. Известный психиатр Людвиг Бинсвангер указывает, что именно в экстравагантность нередко преобразуется экзистенциальный порыв человеческой личности. «Поскольку только там, где отсутствуют *communio* любви и *communicatio* дружбы и где простое взаимодействие и общение с "другими" и со своим собственным "я" становятся исключительными способами нашего существования, только там человеческое существование представляется *конечной целью и современностью*, из которых нет выхода ни вперед, ни назад. В таком случае мы говорим о переходе в экстравагантность»¹.

Болезнь, о которой мы ведем речь, может быть точнее определена именно как *экстравагантность*. Последняя как раз позволяет избежать взросления, позволяет впасть в сновидения, галлюцинации, помогает, иными словами, застрять в сиюминутности. Собственно, экстравагантность так же, как тело без органов и монструозность, формирует особое литературное пространство, где внешние связи отсутствуют, персонажи взаимозаменяемы, а целые куски позаимствованы непосредственно из «Живого Журнала».

Многие персонажи молодежной прозы выбрали для себя тело-канон из мира богемы. В 60-е годы хиппи, поколение битников, позже рок-музыка приобретают черты богемной антибуржуазной культуры. Главным персонажем карнавала 90-х в украинской литературе также был богемный герой-«бубабист», бегущий от унификации, контроля и насилия советского социума и переворачивающий и трансформирующий его ценности. Отталкиваясь от бубабистов, молодые авторы 2000-х буквально заимствуют многие ситуации и сюжеты этой богемности, черпая их из текстов Андруховича, Издрыка, Жадана. Почва, на которой взрастает богемный протест — ситуация сиротства и бездомности. Потеря доверия к родителям, заикленность на галлюциногенной сиюминутности, разбитые мечты о счастье, которое могли дать дом и семья, нежелание взрослеть, инфантильность до старости, недоверие к материнскому телу социума — все это испытали еще поколения хиппи и битников, которые создали поп-арт — популярную культуру, базирующуюся на удовольствии и аффирмациях. Правда, встреча с поколением Гавела, Джона Леннона и хиппи оказалась не столь уж идиллической, что видно хотя бы по «Десяти способам убить Джона Леннона» Сергея Жадана: «Представь себе покойного Леннона в восемь вечера, если пить он начал в восемь утра — у него от перегара даже очки запотели, с круглыми такими стеклышками, помнишь, настоящие ленноновские очки».

В 2000-х, однако, прежние рок-кумиры снова становятся идеальным телом. Правда, возвращаются они скорее в виде кича, потеряв таинственную ауру 60-х или 80-х. Для героини Ирэны Карпы таким идеальным телом является группа Doors: «Хочу целовать Джим-Моррисона в губы. И она поцеловала прозрачную коробку от компакт-диска «The best of the DOORS». Цитатами из Doors усыпан весь текст «50 минут травы» — Евка цитирует *Break on through to the side, Riders on the Storm, My wild love*, при случае вспоминая Сартра, Джона Леннона и Боба Марли. Для Александра Ушкалова, как и для Сергея Жадана, которого он почти сплошь цитирует, идеальным телом является Элвис и группа «Депеш Мод». У Любка Дереша Юра Банзай слушает Van der Graaf Generator (60-е годы), а телом-каноном становится певец и гитарист Джимми Хендрикс, с которым в трансреальности встречается героиня Дарка. Немного погодя Хендрикс воплощается в Сатира-Гитариста — «странного господина, одетого в легкий черный костюм-тройку», «длинные, до плеч, черные с проседью волосы, продолговатое бледное лицо, прикрытые черными очками глаза и подвижные, черные с сединой брови, что частенько выскакивали из тени очков».

И «больное тело», и сублимации меланхолии — богемная и кичевая — позволяют говорить о появлении *нового экзистенциализма*: в романах и повестях, о которых

¹ Бинсвангер Людвиг. Экстравагантность // <http://kosilova.textdriven.com/narod/studia/verstiegenheit.htm>

шла речь, центральной является проблема ответственности и безответственности. У Ушкалова ключевой становится полемика с Кантом и его категорическим моральным императивом. У Брыныха в повести «Электронный пластилин» (появившейся, как сказано в аннотации, благодаря «кибер-панку, треш-культуре и поп-критике») предлагается целая «программа безответственности»: «Сказал — забыл. Написал — зачеркнул. Убедил — разуверил. Цепь превращений, закон сообщающихся сервисов». Так создается новый современный «мир бурлеска», разбудивший бурлескное мышление, где ценностей больше, чем их носителей, где смыслы стираются, а тела плавятся, как фигурки из пластилина. Это умножение ценностей — одна из граней существования тела без органов, поскольку «в пластилиновом мире стираются начало и конец, в нем нет ни линейности, ни обусловленности»¹.

Тела-аффекты служат в молодежной прозе знаками стирания начала и конца, символами разрыва связи с реальностью и другими людьми вне пределов своего узкого круга «таких же, как я». В определенном смысле все проанализированные симптомы являются суицидными желаниями. В то же время лузеры сублимируют желания в экстравагантность — в застывшие в сиюминутности сны-галлюцинации, в секс, наркотики, алкоголь, смерть. Реальность становится негативом, на котором молодежной прозой отражен опыт, позаимствованный из субкультур маргиналов — заключенных, чернокожих, больных. Не проявленным для нее остается то, что эти субкультуры давно уже существуют в виде маскарада либо кича, а проявленным — то, что под этим кичем скрывается тело, которому больно. Ведь тело в современной молодежной прозе, на вид асоциальное и натуралистическое, на самом деле больное и инфантильное. И совсем не случайно, что инфантильность в посттоталитарное время доминирует в сознании не только молодых авторов, но и взрослых классиков.

С украинского.

Перевод Андрея ПУСТОГАРОВА

¹ *Аліна Бажал, Михайло Бриних.* «Електронний пластилін». Видавництво «Факт» // Дзеркало тижня. — №13(692) від 05.04.2008. — С. 19.

Вячеслав Шаповалов

«Материнских слез не видел я...»

«Превратности метода» в переводах из Алыкула Осмонова

Иногда приходится рассказывать, глядя в доверчивые очи аспирантов, что некогда в зарослях литературного процесса бил кастальский ключ художественного перевода, знаменовавший собою лучшую в мире советскую его школу, в основе которой был, соответственно, лучший в мире творческий *метод перевода*. Давайте попробуем увидеть, из какого же сора растет внутреннее содержание этой в сущности эфемерной дефиниции. Рискнем сделать это уже по одному тому, что и впрямь кастальский родник «был и бил» (а как же без него!), и была действительно отличная школа переводчиков, и хоть «иных уж нет, а тех долечат», но нас было много на челне — и кое-кто еще до сих пор сушит ризу влажную свою... Межнациональный дискурс (если это не терминологический нонсенс) обусловлен, в сущности, переводческими обращениями к его художественной составляющей — к произведениям как таковым. Мотивация этих обращений (чем бы они ни диктовались, любой идеологией рынка) неизбежно отражает принципиальные процессы и приоритеты принимающей культуры. Потому, рассматривая случайные, казалось бы, причины подъемов и спадов нашей литературной, следует руководствоваться уверенностью, что за ними, в любом масштабе опосредования, стоят сложные и властные законы межкультурного взаимного притяжения и/или, если угодно, неприятия. Иными словами, по А.Карпентьеру, тоже — «превратности метода».

Рассмотрение двух существующих русских переводов шедевра великого киргизского лирика Алыкула Осмонова (1915—1950) могло бы прокомментировать нестандартные примеры переводческого отбора, связанного со сменой литературных эпох, переводческих поколений и принципов, эстетических ценностей и т.д. При такой постановке вопроса неизбежно актуализуется проблема (вспомним блестящего тартусца Пезтера Торопа) «соотношения культурного времени» оригинала и переводов. Для летописца (а кто же мы еще?) последнее особенно важно: сопоставление культурного времени переводов кое-что может прояснить в истории обеих культур.

Человек, первым из киргизов заговоривший на языке привычной нам поэзии, Алыкул рос сиротой, отдан был в интернат (чего вообще-то у киргизов в прошлом делать было не принято), жизнь его была недолгой, и стихотворение «Груне Савельевне» («*Грунья Савельевнага*»: так в оригинале) и есть его фактическая автобиография в двадцать строчек.

В обоих переводах (далее: *П-1* и *П-2*) название сохранено без изменений. Текст оригинала (киргизский язык базируется на кириллице, некоторые буквенные несоответствия договоримся не замечать):

Шаповалов Вячеслав Иванович — поэт, переводчик тюркской и европейской поэзии. Родился в 1947 г. в Бишкеке. Народный поэт Киргизии, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель культуры, профессор, доктор филологии. Директор научного центра «Перевод» в Киргизско-российском славянском университете. Живет в Бишкеке.

1. Далай таттуу даам жедим колундан,
2. Кем корбодун оз бир тууган боорундан
3. «Начар экен бат онолсун бала» деп,
4. Шашып турдун, чала уйкулуу ордундан.
5. Ырлар жаздым, кээде сызып, кээде ондоп,
6. Бала остургон жаш атадай конулум ток.
7. «Азгын экен, кантер экен бала» деп,
8. Сен ушкурдун кун кыскасын болжолдоп
9. Март да кетти, апрель, май жакындап,
10. Кокто турна, колдо каздар каркылдап.
11. Кунун бутту, кайтар мезгил болду, деп
12. Кош ат келди уй жанына жакындап.
13. Мени акырын, «аман бол» — деп узаттын,
14. Козун карап озум минген боз аттын.
15. Колумду алып, ылдый карай бергенде,
16. Молт, молт акты тоголонуп коз жашын.
17. Алыс кеттим, бармын, олуу эмесмин,
18. Мен барбасам, сен да мага келбессин...
19. Жан боорумдай конулумдо коз жашын,
20. Ата-энемден коз жаш коргон эмесмин.

Дословный первичный перевод выглядит следующим образом:

1. Из рук твоих вкусил (я) немало лакомств.
2. Не меньше любила ты меня (жалея), чем родного.
3. «Он слаб, поправился бы скорее» — говоря,
4. Вставала ты, отказываясь ото сна.
5. Стихи писал (я), когда перечеркнув, когда переделав,
6. И был доволен, как отец, возрадивший сына.
7. «Он собьется с пути, что ждет его!» — говоря,
8. Вздыхала ты, считая краткие дни.
9. Так март прошел, апрель, май уж близок,
10. В небе журавли, на озере гуси кричат.
11. И, «минул срок, пора прощаться» (как бы) говоря,
12. Приближается к дому пара лошадей.
13. Простилась тихо, сказав мне: «Будь счастлив»,
14. Взглянув в глаза белой лошади, на которую я сел.
15. И когда взяла ты руки мои (в свои), глядя вниз,
16. Слезы полились из (переполненных) глаз твоих.
17. Я далеко уехал, я есть (я жив), я не мертв,
18. (Но) если не приеду я, ты ко мне ведь не придешь.
19. Но в душе моей слезы твои всегда:
20. Из родительских глаз слез (я) не видел.

Первый перевод принадлежит **Вере Звягинцевой**, он включен в первую книгу А.Осмонова на русском языке «Мой дом» (1950) и в дальнейшем переиздавался неоднократно. Надо сказать, что А.Осмонова в официальной литературе Киргизии фактически травили, и перевод стихов и издание книги в Москве (гуманитарная инициатива русских поэтов и писательского союза) автоматически делали его классиком, т.е. в какой-то степени защищали в дальнейшем от жестоких приемов местной литературной борьбы. Датировка текста 1946 годом — по изданию А.Осмонова в Большой серии «Библиотеки поэта».

1. Из рук меня кормила ты, бывало,
2. Слостями, словно сына, баловала.
3. «Пусть поправляется, — твердила ты, — он слаб...»
4. И на рассвете для меня вставала.

5. Я все писал стихи, порой кидая,
6. Порой удачные на свет рождая.
7. А ты печалилась: «Уж больно тощ сынок...»
8. И плакала, мои часы считая.

9. Прошел и март. Апрель к концу подходит.
10. Летит журавль. На речке гуси бродят.
11. — Ну что ж, пора домой. — Гляжу в окно:
12. Коня к крылечку старому подводят.

13. Ты вышла проводить меня в дорогу.
14. Взглянув коню в глаза, седло потрогав,
15. Пожала руку мне, и крупная слеза
16. Скатилась и упала у порога.

17. Я далеко. Я жив, моя родная.
18. Не сетуй, что к тебе не приезжаю.
19. Слезою матери была твоя слеза,
20. Хоть ни отца, ни матери не знаю.

Второй перевод выполнен **Михаилом Синельниковым**, видимо, в конце 80-х годов (поскольку в книге «Отчий край», 1987, где много представлено его переводов, публикуется версия Звягинцевой). Среди поэтов-семидесятников Синельников одним из первых, еще в 70-е годы, обратился к произведениям А.Осмонова, и это стихотворение впервые появилось в его книге «Мой Алыкул», где переведенные произведения предварены переводческим эссе, выказавшим глубокое и своеобразное понимание поэтом-переводчиком и особенностей киргизского поэтического мышления, и лирического мира Осмонова.

1. Вкусною едой меня кормила,
2. Как своих детей, меня любила.
3. Слабое дитя, не зная сна,
4. Выходила — отдала мне силу.

5. Первые стихи я сочинил,
6. Как отец потомством, счастлив был.
7. Глядя на меня, ты все вздыхала,
8. Так уж, видно, был я тощ и хил.

9. Скоро — май, и в небе — журавли,
10. Слышу: утки голоса вдали.
11. Пару лошадей подводят к дому...
12. Чтобы увезти меня, пришли.

13. Проводила тихо и уныло,
14. Руку мне пожав, благословила.
15. Молчаливо голову склонив,
16. У порога слезы уронила.

17. Я — вдали, я жив, но в беге дня
18. Не найду тебя, и ты — меня.
19. В памяти твои остались слезы...
20. Материнских слез не видел я.

Необходимый контрастивный анализ двух данных переводов, строго говоря, должен был бы и учитывать два разных подстрочника — тот, по которому работала

Звягинцева, и тот, которым пользовался Синельников. Этой возможности нет; между тем разделенные сорокалетней дистанцией подстрочники могли бы, скорее всего, быть столь же несхожими, как и разделенные четырьмя десятилетиями две художественные интерпретации оригинала. Потому от сопоставления цепочек «оригинал — подстрочник — перевод» мы вынужденно перейдем к сопоставлению двух переводов, с опорой на оригинал и подстрочное прочтение текста (которое предпринято здесь самостоятельно, с чисто комментирующей целью).

Сравнительно-сопоставительным задачам толкования соотносительности перевода и подлинника могла бы соответствовать лаконичная схема *М.Ю.Лотмана* (подробнее у *Л.Л.Бельской*), предусматривающая три доминанты, связанные с литературоведческой традицией и философской триадой (герменевтика, описание, интерпретация): «о чем говорится», «как устроено» и «механизмы моделирования действительности в тексте». Дополнив эту «трехчленку» (где третий момент связан с сочетанием контекстного и подтекстового анализа) выявлением «центра тяжести» (*center of gravity*), по *Ф.Уиллу*, интерпретируемого произведения и текста-интерпретации, рассмотрением системы функциональных компенсаций и моментов интонационно-стилистической эквивалентности, можно надеяться получить приемлемую для нашей цели систему анализа.

Цель же эта — определение метода перевода, что позволяет, если ставить вопрос о квалификации неоднократного перевода, попытаться определить метод переводчика.

Герменевтический аспект здесь понимается локально — как принцип интерпретации содержания в историко-культурном контексте. Стихотворение «Груне Савельевне» написано зрелым поэтом за четыре года до его кончины (он знал о ней), написано в селе Чолпон-Ата, то есть почти на родине, на Иссык-Куле, где был создан большой цикл лирики. Прииссыккулье 1946 года — болдинская осень Алыкула Осмонова. В свете этого обращение к теме детства, вполне вероятно, означает оживление подавляемых (тем более, если речь идет о сиротском детстве) воспоминаний, как известно, мотивирующих дальнейший житейский код. В произведениях такого плана чаще всего проявляется пронзительная раскрепощенность ранимой и гордой личности. Материалы к биографии писателя в целом подтверждают такое предположение.

Предположительно важно учитывать — ибо это по-своему неисследованная область психологии перевода — и творческую совместимость поэта и его интерпретатора, тоже поэта. Возраст, мироощущение, общественные инстинкты, эстетическая доминанта — все это представляется немаловажным и гипотетически должно дать результат при сопоставлении разных переводов. Наряду с культурным временем перевода можно ставить вопрос о психолого-эстетическом континууме оригинала и перевода.

Если же говорить о механизмах моделирования действительности в тексте, то с точки зрения контекста реальности, обрисованного выше, объясним и контекст творческий. Стихотворение «Груне Савельевне» никогда не отмечалось киргизской критикой в ряду достижений национальной поэзии — но никогда и не замалчивалось. Не отмечалось, потому что не обладало обязательным для нормативно-идеологической эстетики «шармом» («Песня о Ленине» Токтогула), а не замалчивалось, поскольку героиня стихотворения — русская женщина, оставившая след в жизни киргизского мальчика-сироты (тоже идеологема). Один лишь *З.Мамытбеков* отметил, что среди многих произведений Алыкула именно это стихотворение поражает искренностью и силой негромкого чувства при мастерском и лаконичном использовании средств поэтического языка.

Культурный код стихотворения, если говорить о подтексте, нельзя назвать простым; здесь немало оппозиций. Мотив сиротства в киргизской семье (более, нежели русская, широкой и сложной по родственной структуре, включающей все, вплоть до категории рода) и должен был бы звучать более пронзительно в обстановке интерната. Киргизский ребенок-сирота в родственной семье себя таковым не чувствует; в казенном же доме он ищет родного человека. Поэтому из национально-культурного подтекста стихотворения властно переводит нас в общечеловеческий контекст. Аллюзии этого контекста («поэт — няня») поражают потрясающим совпадением колли-

зии и отсутствием даже намек на какую-то *реминисцентную* связь (Пушкин — Арина Родионовна), хотя здесь а priori это и допустимый, и более того — ожидаемый фактор, особенно если учитывать насаждавшуюся в поэтическом сознании представителей национальных литератур в 30-е годы культовую роль Пушкина, чаще всего не имевшую ничего общего с действительным содержанием пушкинской поэзии.

Центр тяжести объединяет подтекст и контекст: *сиротство*.

Его осуществление — градация: *сиротское детство; интернат* как символ одиночества; *няня* как компенсация жажды родства. Этот мотив нужно бы рассматривать в этносоциальном контексте: *тоска по родству и родичам* у сироты-подростка — киргиза, воспитывающегося *среди чужих, в интернате*, — состояние, inferнальное и по масштабам разрушительного действия на личность, и по безусловности этого губительного начала. Киргиз в этносоциальной структуре безоговорочно общинного сознания не может быть *один*: человек без рода — ничто. Отсюда внутренний ужас маленького героя стихотворения, теряющего вновь обретенное родство — няню. Отсюда вновь — *расставание с местом и человеком*, вместо абстрактного и не воплотившегося настоящего родства — *ощущение няни как единственного родного человека*; *отъезд как вторая и окончательная утрата родства*, пара лошадей как символ *бесприютного нескончаемого странствия*; и, наконец, потрясающей силы констатация: *«родительских слез я не видел»* — метонимия одиночества, возникающий и вновь ослабевающий, но никогда не исчезающий мотив: *сиротство — родство — сиротство*.

Конечно же, это стихотворение — наиболее полно воплощенная трагедия личности в киргизской лирике XX века. Это тем более ощутимо, что описание стихотворения «Груне Савельевне» как структуры, видимо, может связываться с *дихотомией традиционности, если не сказать маловыразительности, поэтического языка — и удивительно стройной и внутренне завершенной линии развития лирического образа*.

Формальный фон, сфера поэтического языка, — нейтрален. Насколько это характерно для поэтики Алыкула вообще, в нашем исследовании сказать трудно. Размер (11-сложный изосинтаксический *логаэд 443*) традиционен, наиболее распространен и экспрессивным либо жанровым семантическим ореолом не обладает. Рифмовка также традиционна (*ааба*), что в высшей степени характерно для киргизской поэзии этого десятилетия (в отличие, к примеру, от 30-х годов, когда поэты больше экспериментировали, создавая строфические и графические парафразы: вспомним «Поэтический отчет Владимиру Маяковскому» у самого Осмонова, имитационный по своей направленности). Качество рифмы в стихотворении тоже без градаций: рифма часто грамматическая (*колундан — боорундан — ордундан, жакындап — каркылдап — жакындап*), есть даже тавтологические повторы (*жакындап — жакындап* в 9-й и 12-й строках), созвучие неглубокое, безредифное: единственный случай — *узаттын — боз аттын — коз жашын*, — но зато *кээде ондоп — конурум ток — болжолдоп* в киргизском эвфоническом сознании звучит невыразительно и даже как бы непрофессионально.

В противовес этому — изощренный композиционный строй с великолепным контрапунктом, внутренняя симметричность, переключки фабульного и сюжетного движений.

Состоящее из пяти катренов, стихотворение имеет симметрию такого плана.

В первых двух строфах — фабула двух героев («я» мальчика и «ты» героини посвящения, няни) при сюжете, естественно, лирического героя: *Я вкусил, МЕНЯ любила, обо МНЕ говорила* — первая строфа как бы двупланова. Вторая строфа — взросление *Я* (2 строки), беспокойство *Ты* (2 строки). В двух строфах завершается тема детства — описания, где *Ты* реализуется через *Я*, а *Я* все более отрывается от *Ты*.

Центральная — третья — строфа, симметрическая ось:

Так март прошел, апрель, май уж близок,
В небе журавли, на озере кричат гуси,
«Пора прощаться тебе» — (как бы) говоря,
Приближается к дому пара лошадей.

Здесь первая строка — время, вторая — пространство, третья — время, четвертая — пространство. В последний раз возникает тема интерната (*приближается к дому*) и тема странствия — *пара лошадей*, связанная со словом *азгын* (здесь: *сбившийся с пути*) в предыдущей строфе. Третий катрен — пространственно-временной делимитатор: здесь делится жизнь героя — на детство (две первые строфы) и расставание с ним (две последние строфы).

Четвертая и пятая строфы симметричны первой и второй. В четвертом катрене строке «Ты простилась (со мной) тихо...» и беспомощно-тихое: «Будь счастливым» соответствует горестному предзнаменованию второй строфы: *Беспутным он будет (сбившимся с пути), что его ждет!* Этот мотив усилен строками — *Глянула в глаза белой лошади, на которую я сел, Взяла мои руки в свои*, в то время как во второй строфе разыгрывается партия самоосознания в лирическом «Я» (*Я писал стихи... и был доволен, как отец, взрастивший сына*) на контрасте с темой «Я» — возвращенного сына, с которым расстается его няня (4-я строфа). Еще более здесь ощутима симметрия расходящихся первой и последней строф.

Мотив детских впечатлений блаженства (*из рук твоих... сладость, любила ты меня, он слаб, поправился бы скорее*) прямо отзывается в пятой строфе; *я далеко уехал, я — есть (я жив, я не мертв!)*. Здесь ощутима и мощная градация: герой последней строфы — взрослый человек, и именно взрослому принадлежит констатация: *Мен барбасам, сен да мага келбессин — Если я (сам) не приеду, ты ведь не приедешь*. Это уже обращение к более слабому и незащищенному существу — к постаревшей няне. Отсюда и возникает мотив подавляемого опекой интерната утраченного детства, мотив слез. При прощании *брызнули слезы из глаз твоих*, и эти слезы не дают лирическому герою покоя еще и потому, что больше ничего равнозначного ему вспомнить не дано: *в душе моей всегда твои слезы, ибо никогда родительских слез я не видел*.

Последняя строка — центр тяжести стихотворения, и именно она должна быть передана в переводе с адекватной выразительностью, эмоционально сдержанно, как бы подавленно, но с тем большей высвобождаемой энергией.

Отсюда прочитывается и диалектика фабульного (событийного) и сюжетного (эмоционально-образного) движений в тексте. Фабульное движение — описание жизни мальчика в интернате и расставания с ним через образ единственного родного человека — няни. Движение же сюжетное — через переплетение мотивов «Я» и «Ты», мальчика и няни, нарастающая нота одиночества, все более осознаваемого как безнадежность: от того, что имел *из рук твоих... немало сладостей*, к тому, чего никогда уже не будет: *родительских слез видеть мне не довелось*.

Соответственно, переводы этого стихотворения целесообразно анализировать с точки зрения композиционной симметрии, сюжетного (более, чем фабульного) движения и выражения «центра тяжести, чтобы затем отметить компенсаторность и эквивалентность как методологические характеристики обоих переводов.

Формальный фон (П-1) в своем контексте также стилистически нейтрален. Размер как функциональная компенсация воспринимается лишь постольку, поскольку у 11-сложника нет русских устойчивых эквивалентов. Это 5Я в рифмующихся стихах и неожиданно шестистопник в холостых (за исключением 11-го стиха). Однако такое отступление от монометрии оригинала никак не маркировано и связано, видимо, с необходимостью калькированной передачи прямой речи (реплик). Объясняется это тем, что длина слова в киргизском языке меньше, а синтаксис и флективность еще значительно увеличивают трудность количественных эквиваленций (так, подстрочник с русского на киргизский дает короткие строки, и это порождает задачу обратной сложности для переводчика-киргиза). Удлинение строк в холостых стихах необыкновенно утяжеляет звучание поэтического текста и порождает ощущение косноязычия (что утрируется и калькой прямой речи): «*Пусть поправляется, твердила ты, он слаб...*».

Всего на один слог короче стиховой ряд в П-2, но в темпоральном выражении это оказывается значительным сдвигом. Пятистопный хорей и отказ от калькирования речевых реплик дают возможность сосредоточиться на интонации: *слабое дитя, не зная сна, выходила — отдала мне силу*. Здесь прослеживается связь с семантичес-

ким ореолом хорей в русском восприятии, как бы «очищая» в П-2 сюжетное движение эмоциональной темы.

Рифмовка в П-1 сохранена, в П-2 же дан своего рода цепной переход: мужские клаузулы в холостом стихе становятся женскими в следующей строфе, далее вновь мужская клаузула и т.д. Чередование клаузул и в рифмующихся стихах как бы сглаживает границы между строфами. Эффект довольно любопытный, но он не продиктован оригиналом и, скорее всего, возник самопроизвольно, так как в более короткой строке Синельникову труднее было оперировать значащими словами. Однако и в П-1, и в П-2 возникает русская каталектика: женская клаузула дает много больше простора для поиска рифмы, нежели мужская, таково свойство русской рифмы. Потому отступления переводчиков вынужденные; такого рода нарушения в передаче устно-поэтических текстов могли бы рассматриваться именно как нарушения — и встречаются они много реже.

Качество рифмы невыразительно — как и в оригинале, что с творческой манерой Синельникова-поэта контрастирует сильнее, чем с манерой рифмовать в стихах Звягинцевой. Но подчеркнуто однородная грамматически рифма ощутимее в П-2 как прием: *кормила — любила — сочинил — был — вздыхала — пришли — благословила — склонив — уронила*. Все глаголы в прошедшем времени; деепричастие — одно. В П-1: *бывало — баловала — вставала — кидая — рождая — считая — подходят — бродят — подводят — потрогав — приезжаю — не знаю*. Ритм времени нарушен, но деепричастий больше, как и в оригинале. Для восприятия же органичнее перевод Синельникова.

Симметрическая композиция и в П-1, и в П-2 сохранена, но в обоих случаях ослаблена.

Утрата сюжетного движения в П-1 связана с тем, что действие в осевой строфе помещено в настоящее время: *«Коня к крылечку старому подводят»*, настоящим же временем отмечен заключительный катрен. Происходит переструктурирование текста: он в П-1 распадается на две части: прошлое и настоящее, мотив нарастания чувства утраты заменен мотивом сохранения чувства родства, это изменило жанровую природу стихотворения, сделав его из медитативного — повествовательным.

В переводе Синельникова энергия сюжета остается в симметрическом композиционном выражении. Третий катрен, контрастируя глаголами настоящего времени с прошедшим в начале и конце текста, остается осью. Но сгущение пространственных и временных метонимий и тут размыто: символическая *«пара лошадей»* появляется в третьем стихе (нарушена эквилинеарность), потому заключительная строка катрена нейтральна. Правда, ее значение в сюжете само по себе значительно: *«Чтобы увезти меня, пришли»*. Это *«увезти меня»* очень точно звучит в устах ребенка как привычный фразеологизм. Не «я» — а «меня»; сослагательное, самообезличенное состояние ребенка в детсадовской группе (но не в семье!) — «нам сказали», «нас кормили». То есть действие не лирического героя, а некоей силы, действующей за него, вместо него. Однако медитативный характер не утрачивается, напротив, он становится подчеркнуто драматизированным.

Это видно по центральной строке оригинала: *Ата-энемден коз жаш коргон эмесмин — Из родительских глаз слез я не видел...* Будучи «центром тяжести» в тексте, эта строка звучит отдельно, она не связана с предыдущими грамматическим сцеплением (союзом, предлогом и т.п.). В П-1 Звягинцева допускает два просчета. Один вроде бы малозаметен, другой потрясает своим искажающим воздействием, но оба они как просчеты — значительны. Малозаметно то, что последняя строка начинается словом «хоть», выводящим ее из предыдущей: *Хоть ни отца, ни матери не знаю*. Этим утрачена редкостная лирическая афористичность концовки текста. Второе — это искажение смысла: в оригинале не говорится о том, что герой *не знает отца и матери*, здесь тончайшая метонимия — *он не видел ни разу плачущих мать и отца, он не видел слез своих родителей*.

Переводческое решение Синельникова — компенсационно. Он сохраняет смысл высказывания, но усиливает его, заменяя слово *родительский* на слово *материнский*: *«Материнских слез не видел я...»* Это, возможно (хотя и не бесспорно), та компенсация, которая учитывает традицию принимающей литературы, национальную этику культуры-реципиента; но, однако, скорее здесь важна для переводчика обще-

человеческая рецепция, где слово *материнский* обладает наиболее мощным семантическим полем. Что-то, очевидно, утрачивается, ибо, во-первых, «*ни отца, ни матери не знаю*» — выразительная формула, а, во-вторых, слово *родич* для киргиза несравненно более значимо, чем для представителя национальной цивилизации иного типа, и вполне может быть с точки зрения социальной психологии не менее полновесным, чем слово *мать*. Тем не менее приобретений точности здесь, в П-2, несравненно больше.

Сопоставление текстов переводов и далее могло бы, видимо, дать еще очень многое — столь хорош оригинал как поле переводческих решений. Но пора сделать выводы, которые мы наметили: попытаться определить *черты переводческого метода*.

Итак, в П-1 отмечаем *синтаксическое калькирование речевых реплик, калькирование повествовательно-описательной информации* — и объясняем это желанием точного воспроизведения текста-подлинника. Однако это точность частностей, что является одной из реальностей буквализма. Внешне выглядит парадоксом, но фактически закономерно, что, чем буквальнее перевод, тем ощутимее потери и привнесения. Чего нет в оригинале? Нет императивного «*твердила ты*», «*уж больно тощ сынок*», «*гляжу в окно*», «*к крылечку старому*», «*седло потрогав*», нет слезы, «*сбившейся и упавшей на порог*», нет несколько слащавого «*моя родная*», «*не сетуй*». Утраты уже упоминались, а искажение последней строки все же хотелось бы оправдать невнятистью, скорее всего имевшей место в подстрочном «предпереводе». Можно констатировать, что буквалистская эмпирика усиливает назойливость дополнений, подчеркивая структурные утраты. Однако в переводе Звягинцевой есть и определенные функциональные компенсации. В целом же метод ее в данном переводе ощущается как эмпирический, «компромиссно»-функциональный. Это определение отнюдь не может быть распространено на все переводческое наследие уважаемой Веры Клавдиевны Звягинцевой, где немало более оригинальных достижений.

Синельников, напротив, предельно функционален в синтаксисе (отказ от всех и всяческих реплик), в экономии детали и лаконичности — при сохранении лирического сюжета. Можно считать П-1 «*фабульным*» переводом, в то время как П-2 перевод «*сюжетный*», ибо связан с раскрытием доминанты лирического образа «*сиротство — родство — разлука*». Он менее описателен, чем оригинал, ибо основан на актуализации доминантных компонентов. По методу этот перевод можно охарактеризовать как функционально-актуализационный.

Он более зрел, но и более вторичен, так как М.Синельников не мог не опираться на перевод-предшественник. Это показывают общие ошибки в передаче знаменательных значений: «*"азгын экен, кантер экен бала" деп*» истолковано неверно и Звягинцевой (А ты печалилась: «*Уж больно тощ сынок...*»), и Синельниковым (Так уж, видно, был я тощ и хил...), поскольку *азгын* означает *сбившийся с пути, беспутный*, а в данном контексте может прочитываться как *сбитый с пути судьбой*, возможно, *бездольный, безродный, сирота*.

Если решиться на определенную метафоризацию термина, то можно предположить, что П-2, по сравнению с П-1 (и, рискнем сказать, что и с оригиналом), отличается более высокой степенью ментализованности. Различие с оригиналом может быть объяснено хотя бы только одним — различием психолого-эстетических континуумов поэта и его (второго) переводчика. Впрочем, это не более чем предположение, и то, возможно, излишне рискованное.

Все эти соображения дают возможность считать, что *неоднократные переводы, с одной стороны, свидетельствуют о разрастании границ литературных общностей в межкультурном историческом синтезе*. Так, киргизская поэзия именно в разных переводах своих произведений входила на русский язык (и не только на русском) в многонациональный контекст — в разные периоды. С другой же стороны, *переводческая множественность несомненно соучаствует в формировании локализирующих «микрообщностей»*, как правило, входящих в системные отношения с литературой-транслятором, воспринимающей литературой и современным ей литературным процессом.

Но это мысли, так сказать, по ту сторону добра и зла...

Валентин Курбатов

Проповедь исповеди

О, этого уже не забудешь! Низенький, словно сгорбившийся от старости, флигель дома Ростовых на Поварской. Редакция «Дружбы народов». Вход без крыльца и без сеней — сразу в коридор редакции, где все двери настежь — поэзии, прозы, критики. Комнатки темные. Окна чуть не вровень с тротуаром. С улицы в форточку можно рукопись протянуть.

Тесно-то тесно, а тут тебе весь Советский Союз — Йонас Авижюс, Иван Мележ, Абдижамил Нурпеисов, Иван Драч, Ион Друце, Грант Матевосян. И последние номера журналов — «Звезда Востока», «Памир», «Литературная Грузия», «Таллин» (еще с одним «н»). Не терпелось открыть все сразу. Словно окна распахивались — такая ширь и даль. В этом противоречии тесноты комнат и необъятности Родины было что-то особенно дорогое. Словно и сама книжная пыль здесь была пылью степей и гор. Легкие сами распрямлялись.

С какой радостью я писал, бывало, по поручению редакции о Василе Быкове или Пауле-Эрике Руммо, Василе Васиlake или Энне Ветемаа и Айварсе Калве (чаще именно о писателях прибалтийских, потому что жил во Пскове, мы были соседи, и я видел эту жизнь чаще, чем, скажем, белорусскую или молдавскую). И как понимаю теперь Леонида Арамовича Теракопьяна, который отдал журналу лучшие десятилетия жизни, когда он оглядывался на годы работы в редакции и торопился продлить это счастье, обернувшееся теперь горькой печалью, потому что жизнь делает все, чтобы отнять и само воспоминание о былом единстве, выдать минувшее за ложь, сделать его небывшим.

Как оказалось — писал он последнюю свою книгу: в феврале его не стало.

Он хорошо назвал книгу «Между исповедью и проповедью». Это общее состояние нас, стареющих и уже старых людей, для которых Советский Союз был не простым наименованием государства, а самой жизнью и мыслью, дыханием и миропониманием. Предательство, совершенное по отношению к нему в Беловежской Пуще тремя заигравшимися самоуверенными людьми, уже не заживет в нас и выйдет изломанной генетикой в новых поколениях, потому что там было повреждено общее кровообращение наций.

Впрочем, что опять старое повторять. Только растравлять сердце. И Теракопьян сложил свою горькую книгу не для того, чтобы еще раз высказать эту грозную очевидность, настоящее осознание которой еще впереди, и дал бы Бог, чтобы это осознание совершилось без крови, а больше для того, чтобы поблагодарить жизнь за то, что она была так щедра к нему, обнять еще живых и уже умерших товарищей, братски окликнуть их перед последним прощанием. Исповедаться в вольных и невольных огорчениях, какие приходилось порой причинять авторам, признаться в любви к ним и самой исповедью проповедать, может быть, еще не окончательно утраченную возможность единства, еще дотягивающуюся ниточку однажды разведанной человеческой правды о Господнем братстве, в котором мы рождены.

И подзаголовок цикла, «жанр» его тоже печален и верен — «послесловия». «Текст» этой жизни дочитан. Осталось послесловие. Прощальный взгляд, последняя страница. Но брезжит для сердца и еще один горчайший оттенок, что Слово, которое было вековой идеальной мечтой человечества, украшавшей его со времен Кампанеллы и Томаса Мора, ко-

Леонид Теракопьян. Между исповедью и проповедью: Очерки о писателях стран СНГ и Балтии. — М.: Культурная революция, 2010.

торое было Жизнь, Полнота, Единство, небесное Целое, навсегда отзвучало. И теперь остается вторичная малость, «договаривание», «метение по сусекам», а уж Целого и духовной крепкой идеи не жди. И ведь подлинно, когда он начинает просто пересказывать содержание книг Миколаса Слуцкиса, Ильясa Есенберлина, Гургена Маари или Адыла Якубова, ты чувствуешь, как восстанавливается дыхание, вспоминаешь позабытую покойную длительность чтения, когда проза успевала увидеть, понять и принять каждого человека. Не гнала его на сюжетную забаву, а жила с ним, потому что и дальше собиралась не бежать, а жить. Проза словно всматривалась в долготу дней и в анализе давней и вчерашней истории догадывалась о замысле человека и о том, что он только начинает жить с пониманием Господня замысла и дорога его далека.

Кажется, это происходило также оттого, что народы увидели себя в зеркале других народов и расширили свою душу и сами стали покойнее и мудрее от соседства, получили оправдание своей истории и своих страданий. В этих зеркалах стало видно, как они похожи в самом главном — в любви, надежде и вере и как они скоро поймут друг друга, если не вмешается злая, разделяющая воля истории, которая предпочитает мыслить массами и классами, а не человеком. Феномен новой рождающейся общности в том и состоял, что литературы стран переводили отвлеченные идеи на язык единичной судьбы белоруса, удмурта, литовца, осетина, и они обнимались в порядке простых человеческих работ перед Богом и узнавали, что только вместе и есть Господень сад в его разнообразии.

Это в моем обобщении, может быть, выглядит слишком теоретически, а у Леонида Теракопьяна все полно жизни и света, потому что одето в живые судьбы близких автору Сергея Баруздина и Анатолия Рыбакова, Юозаса Балтушиса и Юрги Иванаускайте, Абдижамила Нурпеисова и Вардгеса Петросяна, Алеся Адамовича и Пиримкула Кадырова, чьи герои думают перед нами о своей земле, об истории, о том, как трудно растет человек в этой истории, пока не увидит другого человека и не обрадуется ему, как Робинзон Пятнице. И как скоро распадается и отчуждается едва наживленная общность

снова, когда «человек человеку делается Чубайс» (даже не улыбнешься уподоблению, словно они нарочно шли такой чередой — «человек человеку Гайдар, Бурбулис» и т.д.).

В книге часто являются образы Атлантиды и Китежа и от повторения не слабеют, а только больше теснят сердце. И чем ближе к нынешним дням, тем словно темнеет в редакции и за окном устаиваются одни долгие сумерки. И уже реже коридоры оглашаются радостными восклицаниями и реже празднуются общие победы, и каждый телефонный звонок из Вильнюса, Алма-Аты, Еревана кажется, а порой и действительно оказывается последним.

Опять жалею, что в пересказе все отдает голою публицистикой, тогда как у Леонида Арамовича все — живая боль и все личная беда, словно это у него отнимают дыхание и теснят его собственное сердце. Ведь он не просто печатал или предварял тексты своих товарищей, он их «пробивал», терпел укоры и выговоры. Он сживался с ними и радовался их победам, словно они вместе слово по слову строили новую прекрасную справедливую Родину, где никто не забудет жестокого минувшего, тяжести разделений, крови и муки истории, но будет учиться не ставить это «в строку» другим народам, а вместе преодолевать и преобразовать жизнь. Он сам был с ними литовцем и казахом, армянином и адыгейцем, потому что знал их литературу до последней запятой, что доказывают десятки имен, которые он не просто перечисляет, а хоть обмолвкой проговаривается о глубинном их знании и понимании полноты их сердца. И я ловлю себя на том, что тороплюсь выписать имена авторов и названия книг, надеясь прочитать Гургена Маари, Яана Кросса, Ильясa Есенберлина — так ярко и заражающе Теракопьян пересказывает их, словно и сам не может расстаться и длит, длит счастье щедрой, горячей, прямой, злой, милостивой, губительной жизни, на фоне которой сегодняшний день глуп и жалок, как гламурная страница. И отступаюсь, потому что понимаю, что уже не найду и не прочитаю — библиотеки списали советскую национальную литературу за «невостребованностью», а интернет предпочитает своих продажных рыночных ребят.

Как скоро мы забыли, что еще недавно

не надо было и говорить ни о какой «всемирной отзывчивости». Довольно было читать и видеть и хватало одной «Дружбы народов», чтобы быть «гражданином мира». Я нечасто бывал в стенах редакции, но, слава богу, и в редкие наезды успевал коснуться святого чуда братства. И очень понимаю автора, когда он пишет: «Сюда бы сейчас экскурсии водить. Как в храм, как в музей, как в некую обитель духовности. Ведь столько людей перебивало в этих тесных клетушках: и Сильва Капутикян, и Маари, и Серо Хандзян, и Левон Мкртчян, и Константин Симонов, и Юрий Трифонов, и Юхан Смуул, и Юстинас Марцинкявичюс, и Олесь Гончар. Но поздно уже. Не получится. На этом месте теперь расположился бойкий ресторан».

Да, увы, уже нет редакции в привычном родном флигеле — сослали в еще большую тесноту, так что и проходить теперь в редакцию надо через ресторан, как через подлую метафору хищной новизны. Ко всему теперь надо проходить через пирующих победителей. Это не прибавляет любви к жизни. Вон как Виктор Петрович Астафьев утешал себя в последние годы, что, слава богу, ему недолго смотреть на это и что уходить из продажного мира печаль не великая. Вот и Теракопян с сочувствием и пониманием слушает героя залыгинского «Экологического романа», который расстается с белым светом чуть не со вздохом облегчения — «как-никак избавление от каждодневной трепки нервов, от страха перед ценами в магазинах, от пытки телевизионными новостями: там ограбили, промотали, довели до ручки...»

Это уже не литература, это матушка-жизнь перо берет. Тексты словно понемногу тяжелеют. В первых очерках я еще с радостью видел, что не зря Леонид Арамович работал некогда в «Гудке», откуда в давние годы вышли виртуозы литературной формы. Он и начинал разговор всегда как будто с середины, словно мы все предмет знали одинаково и были единомысленны. Прочтешь первую фразу — и уже «попал», уже в диалоге:

«Фантаσμαгория, конечно. Постмодернистское наваждение. Но вот подумалось...» («Его призвание»);

«А тогда эта публикация была событием. И не только литературным. Еще бы о Сталине — и без утайки, о репрессиях —

и без грима...» («Завершение спора, или Все сначала»);

«Теперь уже никто не спорит: классика. Но тогда до такого единодушия было куда как далеко...» («Но с благодарностью — были»).

Понемногу эти разговоры «с середины» уступают место разговорам «сначала», потому что нить общности с читателем все тоньше, а национальные литературы все дальше друг от друга. И долго державшая Теракопьяна умная ирония, которая на склоне лет много помогает в самостоянии, понемногу оставляет его, уступая место усталости и прямой публицистике:

«Уж если теперешние, выросшие при комсомоле олигархи от затрат на культуру шарахаются, то завтрашние могут оказаться еще прижимистее... К президентам, что ли, воззвать, но все ушли на саммит».

«... все вдребезги и все враздрызг: красные, белые, коричневые и даже, к счету, «голубые», проклятия собственничеству и раболопный восторг перед ним, ностальгия по партийным собраниям и умиление перед собранием дворянским. Эклектизм? И добро бы только вокруг человека, так нет — в нем самом. Как состояние души».

Да уж, что да, то да — «состояние», затянувшееся до черты характера.

Вторая часть книги темнее и без того невеселой первой. И название тоже верно — «Фрагменты панорамы». Тоже чуть безупречное. Кто из нас всю-то панораму может сегодня оглядеть? Да и захочешь ли оглядывать ее, всю-то, когда и в литературе, как на уличном рекламном щите, все формы порока и духовного растреления: мужской стриптиз, диджеи, целители, «крутые ребята» вроде Сорокина или Вик. Ерофеева с их «материальной» стилистикой. Так что поневоле — фрагменты. И у каждого свои. Теракопян доглядывает те, в которых уходит жизнь последнего поколения, что еще помнило, как пишутся слова «земля», «совесть», «любовь», «Родина».

Так и видишь, как вскидывается молодая власть в правительстве, Общественной палате, Думе: да что вы все хороните? Оглянитесь — страна готова в ВТО, в Сколково собираются лучшие ученые мира, в образовании «болонская система» и ЕГЭ, как в интеллектуальной Евро-

пе, полиция бережет ваш сон, ювенальная юстиция вот-вот спасет ваших детей от задержки в сексуальном развитии, инновационные технологии на каждом углу, а вы все *земля, Родина, дружба народов* — надоело!

Но уж потерпите. Недолго осталось. Дайте нам договорить. В старой пьесе Н.Эрдмана «Самоубийца» герой просил у молодой решительной Советской власти: «Дайте нам тихонько, отворотившись к стенке, ночью прошептать, что нам плохо жить. За шумом великих строек вы не расслышите нашего шепота, а нам будет полегче». Вот и мы сегодня — обыкновенные люди, статисты истории, не читавшие ни «Капитал», ни «Материализм и эмпириокритицизм», живущие простыми заботами дома, семьи, государства (а оно и есть семья и дом), как жили герои Астафьева и Распутина, Матевосяна и Мележа, Авижюса и Нурпеисова, не можем удержаться, чтобы не сказать молодой власти, что нам плохо жить. Что нажитое нами не бессмысленно, что за нами — Великая война, мощная промышленность, худо-бедно возделанная земля, уверенные, что не будут выброшены на улицу, люди и дети, не требующие ювенальной юстиции. За нами — небывалый опыт межнационального диалога не на уровне «толерантности» (то есть равнодушия), а на уровне братства и взаимообогащения духа. И мы вправе сказать (как давно уже на всех уровнях так и слышно «мы» и «вы», «мы» и «они») то, что от нашего имени говорит старый литератор Леонид Арамович Теракопян, отдавший жизнь делу единства многонациональной литературы, то, что он говорит в самой жесткой главе «Навеки вместе. Или навсегда врозь». А говорит он там много горького — что вот кладбища при разгулявшейся новизне начинают поглощать территорию страны и мертвое население теснит живое. Что вычисление «кому кто должен» есть общая смерть, что «историческая бухгалтерия» взаимных счетов и проверки прописки кончается только общим поражением, что в этой бухгалтерии притязаний «такой же бардак, как в нынешней истории. Подчистки, приписки липовые счета. Черт ногу сломит. Точь-в-точь как с Ходорковским. То ли великий комбинатор, то ли великий финансист. То ли про-

сто сажать, то ли сажать, но уже прямо в президентское кресло».

Это было бы смешно, когда бы происходило в чужой стране. Но ведь у нас, у нас. Ладно, не будем далеко уходить от предмета разговора — от общего дыхания вчерашней страны, где общего только и осталось, что злые сводки цветных революций и тлеющие очаги неприязни. Или в корректной полуевропейской форме, как в Прибалтике, или в незатухающей кавказской войне, чью причину объясняет со смущающей простотой: «...сдается мне, что и чеченская заваруха, и пресловутые скины, и базарные страсти-мордасти вокруг инородцев, чурок, чучмек — это, помимо всего прочего, и не прочитанный вовремя Лермонтов, и не усвоенный толком Толстой, и пропущенные мимо ушей Гамзатов, Кулиев, Тукай...» Это только с виду гуманистическая натяжка. А на деле-то, как ни обидно покажется, так. Пока мы были «самой читающей страной мира», мы и жили, как в тесных коридорах «Дружбы народов» — бедно да ладно, в любви и взаимном интересе. И леса еще были лесами, а не «зеленкой», и Кавказ любовью, а не бедой. А разучились читать — тотчас и одичали и бросились врассыпную, позабыв свои живые евразийские кровотоки и естественную историческую неотрывность. Подлинно — «к президентам бы воззвать, да все ушли на саммит».

Замечательно спокойную, позабыто «советскую» по человеческой обстоятельности книгу написал Леонид Теракопян. Горькую, но полную тайной надежды, что мы еще живы, что наша еще недавно великая многонациональная литература (ведь они все были для нас русской гордостью и нашим сердцем — Нодар Думбадзе и Юстинас Марцинкявичюс, Чингиз Айтматов и Чабва Амирэджиди, Грант Матевосян и Акрам Айлисли) еще оглянется с любовью на родительский дом и если не вернется, то хоть расскажет детям, как умели цвести сады нашей словесности до политического грехопадения. И мы, Бог даст будем, помнить, как шутил один добрый человек, что мы еще римляне, а не итальянцы.

Во всяком случае, пока еще живы мы, старые читатели и авторы «Дружбы народов», стыд и память еще поживут.

Георгий Кубатьян

На последнем берегу

Севан обычно называют самым крупным из высокогорных озер и самым высокогорным из крупных. И незамысловатая аналогия подталкивает охарактеризовать Инну Лиснянскую самым пожилым из ныне здравствующих крупных поэтов и самым крупным из пожилых. Оговорки? Вот они. Прилагательное *пожилой* — это, понятно, не что иное, как эвфемизм, уклончиво-вежливый и на просвет ясный. По сути же подразумеваются те, кто пребывает, если вспомнить Александра Межирова, «на рубеже восьмидесяти лет» и, больше того, перевалил этот рубеж: «Девятое десятилетье. / Ни деда, ни бабки, ни репки. / И вот я на этом свете / Живу, как белье на прищепке». Далее. Говоря про ныне здравствующих авторов, я имею в виду лишь активно сочиняющих и, главное, регулярно публикующихся (каким еще способом узнаешь о писательской активности?). Назовем их поименно; кроме Лиснянской, мне лично вспоминаются разве что Константин Ваншенкин, Александр Ревич и... Боюсь ошибиться, все. Что до наиболее щекотливого пункта — кто самый-самый, не стоит устраивать из-за него споры-свары. В конце концов, у каждого свое мнение, и мнение переменчиво. Сегодня тебе кажется так, а завтра, глядишь — этак.

Есть, однако, факты; факты не зависят от изменчивых условий и привходящих обстоятельств. Из их числа — публикации Лиснянской, показатель ее творческих интенций и рабочей формы. В последнее десятилетие она печатала новые (подчеркнем это, новые, с пылу с жару) стихи до того часто, до того много — мало кому впору потягаться. Бродский отметил некогда «чрезвычайную интенсивность» ее стихов, имея в виду напряженность и густоту чувствований и смыслов;

я вложу в это слово другое, совсем элементарное содержание — всегдашнюю, сиюминутную готовность уловить явление музыки, разобраться в ее диктовке. За упомянутые выше десять лет она выпустила, помимо множества журнальных подборок, три по меньшей мере сборника новых стихов.

К примеру, «Перемещенные окна». Почему-то лишенную традиционной пометы под заглавием книгу следовало бы снабдить указанием на сроки — «Стихи 2007–2010 годов». Это, правда, сделало бы полную датировку (год, и месяц, и число) каждого стихотворения заведомо лишней, а Лиснянская привыкла сообщать, в какой именно день оно написано. Почти все свои журнальные и даже газетные циклы поэтесса сопровождает этими пунктуальными довесками: 15 июня 2008-го, 23 января 2009-го... Не знаю, что дает это читателю (лично мне — ноль информации), но, должно быть, ей это важно. Как и специалисту по психологии творчества; расставляя перетасованные при компоновке стихи в хронологическом порядке, тот учет и смену настроений, и паузы между взрывами вдохновений. И странные нестыковки. Вот автор обращается к ненаглядному своему побратиму (так означен адресат), и вопрос «Отчего неделю молчишь?» определяет, что фон у размышлений не вневременной — вполне сегодняшней. «Может, дождь со снегом в ноябрьской Москве, — предполагает автор, — твой косящий почерк размыл...» Я было соглашаюсь, ан вижу, что датированы-то стихи двадцать пятым октября.

Бог с ними, с датами. Куда существенней другое. Лиснянская пишет обильно, но в стихах нет инерции. Стих упруг, а подход к изъезженной теме нов и неожидан. Я бы даже сказал — остроумен, однако не скажу; где-где, но тут остроумие ни при чем:

Заглядывает в глаза, дергает за рукав
И тащит меня в сторонку,
Жизнь мою кланчит, слезами ко мне припав,
Ну, как отказать ребенку?
Глажу по голове, холодной, как в стужу медь,
Хотя этот август жарок:
На что тебе жизнь моя, милая девочка-смерть?
Она никому не подарок.

Стихотворение разрабатывает изъезженную, как и сказано выше, тему. Смерть, смерть и жизнь, жизнь и смерть — эти слова фигурируют у Лиснянской во всех мыслимых сочетаниях и падежах. Удивительно вот что. Минорная нота берется то высоко, выше некуда, то гораздо ниже и глуше, но тональность остается здесь и там одной, неизменной. И не нагоняет уныния, не повергает в меланхолию. Должно быть, оттого, что смерть — обыденный персонаж в драме бытия; когда главный, когда третьестепенный, но не переменный. Без этого действующего лица драмы не получилось бы, потому как исчезло бы действие, потому что коллизия, сюжет истаяли бы на корню. Но бытие — философская категория, высокий штиль. А Лиснянская заземляет исполненную значительности философскую категорию, переводит бытие в быт. Она воспринимает эту тему на разных уровнях. Именно так — «На разных уровнях» — и называется стихотворение, лишь отдаленно к смерти прикосновенное. Впрочем, ее мотив и во многих других стихах если даже слышится, то под сурдинку. Частенько поэтесса рассуждает о ней не в лоб, а попутно, вскользь. Ибо смерть у нее завсегда, не столько гостья, сколько такая же, как и хозяйка, жилища в общем доме, всегдашняя собеседница, чуть ли не наперсница. Бытийная категория преображена в бытовую.

Что до меланхолии, которой нет и в помине, так откуда ж ей взяться? При подобном-то подходе к предмету:

Со смертью пью вино, играю в домино —
Ни солоно, ни постно.
Печалиться смешно,
А радоваться поздно.

.....
Давно, утратив стыд, на улице горит
Фонарь воспоминаний
И с голых аонид
Срывает одеянье.

А голое окно поет мне все равно
Пронзительным сопрано:
Надеяться смешно,
Отчаиваться рано.

Вот оно как — отчаиваться рано!

Не хотелось бы переливать из пустого в порожнее — смерть, о смерти, смертию... Но не найдешь у Лиснянской ни пустого, ни порожнего. С этим лейтмотивом сопряжены, сплетены, накрепко повязаны еще три-четыре постоянных мотива: память, одиночество, старость. А толкуя про них, поэтесса говорит о веке, о ценностях, именуемых непреходящими, слове. Ну и вкуче, за компанию со всем этим, а не поврозь — о дожде, слякотных облаках и цветах, и птах.

Особь статья — целомудрие, с каким Инна Лиснянская подступает к обоюдоострой своей теме. Казалось бы, чего церемониться. Квалифицированному читателю — другой ее книги не одолеет, а раз уж одолел, это значит, овладел квалификацией, — повторяю, квалифицированному читателю давно ведомо, что смерть, одиночество, старость — излюбленные ее темы. Ну, не излюбленные, конечно, любить-то тут нечего, но темы, присущие ей экзистенциально, говоря проще, по жизни. Смотрите, что выделил в ее стихах Иосиф Бродский много лет назад: «Из всех русских поэтов, которых я знаю на сегодняшний день, Лиснянская, может быть, точнее, чем кто иной, пишет о смерти, — это действительно самое прямое отношение с "предметом", о котором она говорит. А это ведь одна из самых главных тем в литературе...» Жаль, и Бродский не устоял перед оборотом, уму воистину непостижимым из-за дикого косноязычия, — на сегодняшний день. Остальное верно, с «предметом» и впрямь она соотносится напрямую, запросто, без церемоний. Но подбирается к нему не с бухты-барахты — нет, исподволь и постепенно. Целомудренно, как уже сказано.

В первом разделе «Перемещенных окон» мотив едва намечается. Смерти как таковой здесь еще нет. «Сколько прочитано, столько и прожито — / Тысяча жизней и тыщи смертей». Это пассаж из первой же в книге строфы. И тыща смертей, чужих и книжных, она, как ни крути, смерти далеко не равнозначна. Далее мелькают будто бы боковым зрением увиденные бессмертие, дорога теней, мертвый ребенок, сон Богородицы, «что сын ее убит», картинка армянского погрома, раковина, пахнущая смертью; кроме того, где-то во сне «жизнь уплывает», а поэтесса вызывает к ангелу — небесному своему сторожу: «не храни меня!». И наконец, в самом уже финале раздела слышится «последняя колыбельная». Между прочим,

в начальном этом разделе — четыре десятка стихотворений. И, читая про то и се, ты бродишь вокруг да около смерти, чуешь ее дыхание, но видеть ее не видишь. Это я к тому, как искусно книга выстроена; подробней об этом еще поговорим.

А после смерть явлена чуть ли не во плоти, даже приласкать ее можно. И что существенно, возникнув об руку с жизнью, в дальнейшем она так и не расстается с ней, во всяком случае, надолго: «Жизнь и смерть — сиамские близнецы», «Наша жизнь не подлежит побудке, / Смерть не подлежит перекадровке». Вспомните заодно девочку-смерть — как она выпрашивает у героини жизнь. И сопоставьте, что героиня (да чего уж там, сама поэтесса) думает «вдогон отбывающей жизни»: «Умереть — это тоже не плохо». Замыкая круг, я напомним: поначалу речь шла, как во сне «жизнь уплывает», а теперь уже «к верной смерти судьба плывет». И то же, и не то. Но главное, перед нами не философические выкладки, не умствование, перед нами стихи, которые по сути своей не могут быть абсолютно пессимистичны; в самых отчаянных интонациях, если стихи вправду стихи, неизменно содержится нечто, способное пересилить отчаянье. Так и тут.

Что же было прежде
И навек ушло?
Ангела надежды
Белое крыло.

Что творится ныне?
Чуждая среда —
Ангела пустыни
Желтая звезда.

Что случится в скором
Времени? Зимой
Ангел смерти в черном —
Прилетит за мной.

Обратите внимание, перед последней строкой поставлено совершенно не нужное здесь по школьному правилу тире. «Заповеди чту, — молвила как-то поэтесса, — избегаю правил». Избегаю, сдается мне сейчас, означает пренебрегаю. Не вполне доверяя паузе между строками, Лиснянская сигналист читателю — помедли, проникнись, осмысли. Верно, картинка трагична, да только трагизм, он преодолевается сугубо литературными средствами, не одной паузой с осмыслением, а вдобавок изнутри, стихом — энергич-

ным, очень живым (вот именно!). В совокупности подобные литературные средства зовутся мастерством.

Связана ли смерть, какой она предстает в этой книге, с мистикой, метафизикой, религиозным экстазом? Вопрос уместен, ответ отрицателен. «И только перед ликом смерти / Все обрело свои места»; двустийные, что существенно, подыскано не в «Перемещенных окнах», а в давней книге Лиснянской «Из первых уст» (1966; более ранних ее сборников я в руках не держал). Иными словами, смерть упорядочивает и мою, и твою, и всех вообще людей жизнь и проливает на нее ровный итоговый свет. И к этой спокойной, разумной, донныне неизменной точке зрения поэтессы пришла добрых полвека назад. Отсюда свойственная стихам, о чем бы ни шла в них речь, интонация — крайне разнообразная в конкретных своих изводах и никогда не взвинченная. Перед лицом смерти все предстает в истинном своем облике.

Только вот... как я расшифрую сакральное «все»? Лиснянская с досадой признается: «...на себе завязан мой мир узлом тугим». И стоило бы, мол, охватить стихами побольше, расширить оком, а выше головы не прыгнешь. Искать у нашей поэтессы большие социальные вопросы, болевые зоны государственной ли, народной ли жизни — зряшный труд. Она лирик, от публициста в ней ничего. Хотя кое-каких обобщений и констатаций довольно, чтобы помозговать о житье-бытье. К примеру, таких: «Кровопротитие неистребимо / В периоды перемен». Или: «Мало кто за собой оставляет оазис, / Мы идем, за собой оставляя пустыни»; чутьку ниже: «Мы идем, за собой оставляя руины». Или: «Кроется не во времени смена эпох, / А в корневых изменениях языка». Или спокойно, как и везде, без истерики: «Ну что ж, мой друг, бывали и похуже / На свете времена». Прямая отсылка к Некрасову — сильный ход, образующий далекую временную перспективу.

Кстати, взаимопроникновение времен — сквозной мотив у Лиснянской. «Путь из прошедшего в завтра» прихотлив, извилист, осложнен индивидуальным устройством ума. «Сквозь будущее прошлое продето», «Вовлекает день вчерашний / В заповедный разговор», «Прошлое — впереди», «Вчерашний день искать не надо, / Он канул в завтрашние дни». «Смешать былое с настоящим» — для Лиснянской в порядке вещей. Ну и венец этому: «И пе-

резвон и переключка / Времен уведомля-
ют нас, / Что у истории привычка / Дер-
жать бывшее про запас». Надо лишь ори-
ентироваться в истории, помнить об уро-
ках, ею преподанных. И не мешать игре
памяти.

Двигается жизнь, окликаема птицами,
Бабки толкают коляски с младенцами,
Тачку толкает узбек.
Вспомни Ташкента чинары зеленые,
Окна и лица не перемещенные
В непредсказуемый век.

Оказывается, название книги тоже за-
мешено на вольной повадке времени, без
усилий сопрягающего эпохи.

Точно так же, только много горше, со-
прягаются времена там, где не только
звучит эхо других, очень уже давних сти-
хов, но слышится сегодняшняя, сугубо
личная боль.

Под масками снов из дальних годов
Зияют душе
Скелеты домов, скелеты домов
В армянской Шуше.
С безумным чутьем домашних зверей,
А не наугад
В глазницы окон, в провалы дверей
Ползет виноград.

Разумеется, сразу вспоминаются стро-
ки Мандельштама: «Так в Нагорном Ка-
рабахе, / В хищном городе Шуше...»
Вспомнить его заставляет имя собствен-
ное, чужое русскому слуху, рифма, со-
единяющая это имя с душой, слова:
«окна» (там и тут, заметьте, в родитель-
ном падеже), «дома». Скелеты же домов
и провалы дверей — область или подтек-
ста, или даже подкорки. Почему? Приве-
ду несколько строк из этюда Н.Я.Ман-
дельштама, посвященного стихотворе-
нию «Фазетонщик»: «Мы прошли по ули-
цам, и всюду одно и то же: два ряда домов
без крыш, без окон, без дверей. В вырезы
окон видны пустые комнаты <...> Все пе-
регородки сломаны, и сквозь эти *осто-
вы*... (курсив мой. — Г.К.)». Мандельштам
описал следы страшного погрома, слу-
чившегося в 1920 году, Лиснянская — ба-
кинский погром 1990-го, когда «то ли сго-
рел, то ль просто был снесен / Мой дом».
Но «лучше впасть мне в немоту, / Чем про
армянский говорить погром / И про род-
ную, исчезнувшую в нем». Однако сказать
о немоте легче, нежели соблюсти. Лис-
нянская не впервые заговорила на мучи-
тельную для нее тему.

Теперь там больше нет
Ни родичей, ни крова,
А только ржавый след
Армянского погрома.
Армянской церкви медь —
Как вырванное небо...
И мне б окаменеть,
Как некогда Ниоба.

И еще:

В родном Степанакерте —
По бабушке родном —
Гуляет ветер смерти
И входит в каждый дом.

Эти стихи помечены 92-м годом, когда
Степанакерт обстреливался, методично
и прицельно, «Градом» и лежал в руинах.
Вообще надо сказать, армянские стихи
Лиснянской — едва ли не единственный в
ее творчестве прямой отклик на злобу
дня. И уж точно единственный, когда, не в
силах унять недоброе чувство, поэтесса
проговаривает его:

Где дом широкоплечий,
Где фрукты на столе?
Белеют, словно свечи,
Лишь веточки в золе.
И жажда отомщенья
Когтит мои уста,
Хоть и прошу прощенья
За это у Христа.

Жажда возмездия — поразительная,
совершенно чуждая Лиснянской напасть.
Едва ли не все, кто писал о поэтессе,
наоборот, отмечали в высшей степени
свойственное ей чувство вины («моей от-
кровенной вины»). Что бы где ни стряс-
лось, она никого не виноватила — клей-
мила себя: *теа сцпра*. Сильное это чув-
ство, то и дело прорывавшееся в текст,
еще чаще невидимо растворялось в нем,
будто соль в воде. В новой книге то же
самое: «Кормлю я слово скудную едою /
И мыслью о вине». Собственная винов-
ность, усугубляясь, обретает исполин-
ский размах: «...я с войны Троянской вино-
вата», всегда и перед всеми. Вина, знает
она, не останется безнаказанной: «Вот и
дожила я до расплаты, / Жизнь моя, при-
вет тебе, привет...» Я с умыслом обры-
ваю цитату, чтобы задержаться на кивке в
адрес Есенина. Кивок этот ироничен и
выворачивает есенинский смысл наиз-
нанку. В «Письме матери», сообщив, я,
мол, жив, герой с ней здороваются. Тогда
как у Лиснянской те же приветственные

слова заключают в себе прощание с жизнью. Продолжим оборванную на анжамбемане фразу: «...Из ортопедической палаты, / Из спасенья никакого нет».

Ироничен здесь и смысл, и намеренный излом языка, как если бы поэтесса разучилась изъясняться связно. Далее на ироничной этой волне следует автохарактеристика: «Прочной рифмы профессионал». Улыбка в том, что из множества предлагаемых мастерства выбрано то, которое менее всего в этой книге притягивает взгляд. Пускай «Перемещенные окна», словно в пику моему замечанию, начинаются с составной и, прямо говоря, претенциозной рифмы *проза та — прожито*, пусть изредка встречаются диссонансы и в наличии богатый арсенал разного рода концевых созвучий, Лиснянская при всем том спокойно прибегает и к самым бедным, грамматическим рифмам; она не заморочена на этом инструменте стиха.

Ее стих изначально скромнен и сторонится внимания. Лишь опытному глазу с первых же страниц откроется многообразие метров, ритмов, интонаций, строфики. Кроме прочего, книга мастерски составлена. Стихотворения не абы как перетасованы, нет, они расчетливо подогнаны друг к другу, часто в последующем слышишь эхо предыдущего — повторяется слово ли, группа ли слов, образ ли. Приведу несколько примеров. «А от земли до неба — ветра псалом» — это концовка. «Ветер такой, что...» — зачин соседнего стихотворения. «...В мыслях о будущем» — это последние слова; «Сквозь будущее прошлое продето» — вторая строка следующего стихотворения. «...при свете видней / И людская дорога, / И дорога теней» — финал стихотворения, в котором фигурируют, отмечу также, рассудок и сон. Следующее стихотворение начинается словом *рассвет*, и в нем поминаются вдобавок и тени, и рассудок, и сон. И таких примеров десятки. Компоновка столь искусна и тщательна, что даты под стихами лишь отвлекают, ежели не сбивают с толку.

«На последнем берегу / Говорить на новоязе нипочем я не могу». Ну, в оруэлловском толковании старого неологизма — бесспорно. Но перед новыми понятиями и словечками Лиснянская нисколько не тушует. В ее словаре нисколько не чужеродны компьютер с его экраном и клави-

шами, и сеть, и почтовый ящик — отнюдь не тот, что на дверях, — и мобильник. Она с усмешкой обзывает себя «лохом недобитым» и временами в неофитском азарте перегибает палку. Мобильник — это нормально, но мобила («люди и их мобилы») в ее стихе коробит, как яркая вульгарная брошь на интеллигентной, с неизменным вкусом одетой даме. Хоть убей, не идет этой даме *кайфовать*, ей скорее сродни чуть ощутимый налет архаики: «Летом я — в среднерусском лесу (заметьте, не в лесу. — Г.К.)...» Нет, она современна, спору нет, однако ж если выбирать меж едва различимой старомодностью и, пардон, «сегодняшним днем», я бы посоветовал ей первое.

Напоследок не могу не коснуться музыкальной темы, разлитой по всей книге. Подчас она почти не слышна, потом заглушает иные-прочие, потом уходит вглубь и вновь обнаруживается на поверхности, чтобы в финале сплести в себе воедино все звучавшие в стихах основные мотивы — старости, памяти, сна, слова. Речь о беспрестанной обращенности к герою, нигде ни разу не названному по фамилии, но в одной-единственной миниатюре троекратно поименованному Семушкой. Не буду раскрывать инкогнито. Во-первых, автору виднее, называть или нет, а во-вторых, ежели перед нами хорошие стихи (к чему я по мере сил и склоняю читателя), то в них обобщающее начало повесомей индивидуального; в противном случае кому была б охота читать их?

Особо выделяю завершающий книгу «Неправильный венок» (имеется в виду венок сонетов). «Сведены с концами все начала», — говорит поэтесса; так оно и есть, разные мотивы слились к финалу, как ручьи в озере. Ну, а что с лейтмотивом (это, напомним, старость и смерть)? «Мы с тобою встретимся во сне» — такова последняя строка книги. Кажется, французы с лукавым изяществом окрестили сон маленькой смертью. Стало быть, исход, известный загодя, — вот он. Умрем. А с другой-то стороны, сон, и вечный тоже, подразумевает и некое многоточие. «Перемещенные окна» пронизаны христианскими образами, духом евангельских истин. А ведь евангелие — благая весть, отрадная весть. И грустная книга Инны Лиснянской тоже дышит отрадой.

Ольга Балла

Правила непринадлежности

Если при виде названия книги националисты и почвенники уже насторожились, то совершенно напрасно. Вопреки обещанному в подзаголовке, ни единой русофобской строчки в сборнике статей венгерского историка-слависта Дюлы Свака не найти, не говоря уже о соответствующей установке в целом. Хотя да, русофобией он занимается: как исследователь — счастливо избавленный от того, чтобы видеть в ней личную обиду или вообще личную заботу, имея возможность рассматривать ее с дистанции, обеспечивающей свободу и объективность. Происхождению типовых западных мнений о наших с вами соплеменниках (эти мнения, показывает он, восходят к западным путешественникам раннего Нового времени: Флетчеру, Герберштейну, Олеарию, Мейербергу, Барберини... — и, к слову сказать, за последние несколько столетий не нарастили ни глубины, ни даже особенного разнообразия), их историческим корням и их пригодности в качестве политического инструментария Свак как раз посвятил отдельную работу — «К вопросу о генезисе русофобии». Правда, этим все «русофобское» в сборнике и исчерпывается.

Надо признать и то, что ничего особенного русофильского в книге мы, слава богу, тоже не обнаружим. Зато найдем кое-что гораздо более ценное: интерес, желание понять, избегая преувеличений, идеологического пафоса и других крайностей. Согласимся: изнутри собственной страны понять ее с совершенной объективностью — задача, близкая к невыполнимой. Слишком много в ней оказывается от столкновения с личным самолюбием и вообще — с личными смыслами. Да и то сказать: в объективности есть что-то нечеловеческое.

Дюла Свак. Русская парадигма: Русофобские записки русофила. — СПб.: Алетейя, 2010. — 176 с. — (Русский мир).

(Интересно, что «национальный угол зрения» видится «искажающим» и самому Сваку: «Мое видение российской истории, — пишет он в предисловии, — не является имперским и не искажено “национальным углом зрения”».)

В какой степени чаемая объективность возможна при взгляде на чужое? Вот хотя бы — при взгляде на Россию из Венгрии, особенно если этот взгляд принадлежит человеку, который основательно знает нашу страну и много над ней думал?

Книга Дюлы Свака — сборник его статей, написанных за последние десять лет, — предоставляет неплохую возможность над этим поразмыслить. Тем более что автор — действительно из тех как бы посторонних, назвать которых посторонними, а тем более чужими, язык не поворачивается. В восьмидесятых он учился в Ленинграде у Скрынникова, написал под его руководством кандидатскую. В 2001-м защитил докторскую об «основных проблемах русской истории периода феодализма в русской историографии». Более двадцати лет назад вместе с коллегами создал и возглавил Венгерский институт русистики, вскоре ставший самостоятельной кафедрой Будапештского университета. Создал исследовательскую группу по вопросам исторической русистики Венгерской академии наук — теперь это ведущее научное учреждение венгерской русистики, признанное и за пределами страны. Редактирует серии изданий: «Книги по русистике» и «Постсоветские тетради». Уже два года в качестве ответственного издателя руководит выходящим в Будапеште двуязычным информационным журналом Исследовательского и методического центра русистики при университете и будапештского Фонда в поддержку русского языка и культуры — «Русский квартал». Наша Академия наук в 2006-м присвоила ему звание доктора Honoris causa. Словом, этот че-

людей думал над нашим отечеством не просто почти всю жизнь, но еще и профессионально.

Не принадлежащий к русской исторической судьбе и не уязвленный ею, две из своих представленных в книге работ Свак посвятил вопросам, которые у нас, кажется, прочно относятся к числу вечных, едва ли не философских, практически на равных с проблемами бытия Божия и смысла жизни. Это — «Место России в Европе» и «Место России в Евразии» (в обоих случаях — на материале средневековья и раннего Нового времени). Для автора-иностранца это — не экзистенциальная проблема, но рабочая задача.

Основные черты его работы — спокойная сдержанность, а также непринадлежность ни к одной из четко очерченных — и соперничающих между собой — методологических и ценностных группировок. В отношении к этим, сплотившимся вокруг тех или иных ценностей, научным сообществам Свак предпочитает, насколько возможно, позицию не противостояния, но диалога на расстоянии. «Я не пользуюсь традиционными приемами русской исторической науки, — говорит он, учившийся у русских ученых, — хотя и веду с нею плодотворный дискурс». Признаваясь в благодарности и «"питерской"-ленинградской», и московской школе историков, Свак признается и в том, что, не принадлежа одной из них, «должен называть себя "двуликим"» и «в своей научной работе <...> всегда старался придерживаться связывающих, а не разделяющих эти школы ценностей». От «модных» же «вопросов исторической науки, столкнувшейся с вызовом постмодерна», он подчеркнуто дистанцируется и, «несмотря на распространение новой социальной истории, микроистории или психоистории», ни в какой диалог с ними даже не вступает.

Сам Свак вообще традиционен до некоторой, пожалуй, даже архаичности. Он использует марксистский терминологический инструментарий, говоря, например, о «базисе», «надстройке» («<...> абсолютизм, — пишет он, например, — может быть охарактеризован прежде всего как надстроечное явление»); «формациях»¹. Он сочувственно цитирует — говоря

об «относительном своеобразии» русской исторической динамики — такого популярного среди современных российских интеллектуалов автора, как Плеханов. Разделяет он, похоже, и не лишённые архаичности представления о прогрессе — по крайней мере, о направленном историческом движении, а вместе с ним — и об измеримости разных обществ одной мерой, поскольку говорит об «отставании» России (как и Азии — см. выражение «балласт азиатской отсталости») от Европы и ее, сравнительно с последней, «запаздывании». Он несомненно выделяет в исторических регионах — по крайней мере, в Европе — «центр» и «периферию», и Россия, хотя и не открытым текстом, относится у него скорее к последней¹ («центр», надо понимать, при таком словоупотреблении — те области, развитие которых в определенном направлении наиболее динамично).

Если совсем коротко, «приговор» Свака в отношении нашего отечества таков: Россия, несомненно, Европа, и ее историческое, социальное и экономическое развитие — вариант европейского. Это даже не «неправильная» Европа — но всего лишь «относительно своеобразная». «То приближаясь к Европе, то отдаляясь от нее, — пишет он, — Россия представляет собой особый вариант развития в Европе и даже в Восточной Европе, если сравнить ее с раньше ускорившими свое развитие странами Центрально-Восточной Европы». И в эпоху Киевской Руси, и «в период своего второго формирования Российское государство с новым, северо-восточным центром в Москве, как и другие "поздние" европейские государства, тоже шло европейским путем».

В «европействе» России ничего не изменило, полагает он, и монголо-татарское иго: хотя «все указывало на то, что, несмотря на европейские истоки, на раннефеодальное начало, историческое развитие русских земель свернет в сторону восточной деспотии» — «этого не произошло». Монголо-татары не смогли

¹ «<...> историческое развитие средневековой России и России раннего Нового времени в формационном аспекте может быть описано как феодальное...» (с. 17).

¹ Он пишет, например: «<...> в сравнении с Центрально-Восточной Европой обогнавшееся ранее «отклонение» России от «центра», ускорившего свое развитие, продолжалось, и лишь половинчатое развитие капитализма в XIX в. в определенном смысле положило начало длительному процессу «возвращения»» (с. 17).

уничтожить европейские основы русско-го развития — они всего лишь способствовали «тому, что патримониально-деспотический строй, наиболее соответствовавший уровню развития татарского общества, прочно сохранился в России». Монгольскому влиянию, считает он, вообще «нельзя придавать структурообразующего значения». (Впрочем, «в структурном отношении степень европеизации России не увеличилась и в царствование Петра I».)

Тем не менее нельзя сказать, что этот, без сомнения западный по своей внутренней организации, человек принадлежит к «западникам», то есть — к носителям представления, согласно которому «Запад» и им выработанные ценности — эталон для российского исторического жизнестроения или должен быть за такой принят. (Все-таки «западничество» — сугубо русское явление.) В отношении «традиционной "западнической" концепции истории» он настроен скептически — считая, что ее соперник, славянофильство, «в целом <...> дает больше хороших ответов на вопросы, связанные со своеобразием российской истории», — хотя и «сильнее ошибается в отношении главного — "европейскости" России».

Несмотря на некоторые черты «прогрессизма» и соответствующую лексику, Свак, похоже, не считает, что есть смысл говорить о «нормативных» вариантах исторического существования и соответственно об отклонениях от «нормы». Присутствует у него только представление о «чистоте» или, напротив, «искажении» типов этого существования (так, «дихотомия "землевладелец—крестьянин", характерная для европейского типа развития», стала «основой социально-экономического строя России» лишь «в искаженной форме»), о «классике» и «неклассике» в истории (он, например, употребляет, хотя и в кавычках, устойчивое выражение «классический феодализм». «<...> известный по учебникам т.н. "классический феодализм", — пишет он в работе о судьбах понятия «русский феодализм» в советскую эпоху, — в действительности существовал только в Северной Франции. По сравнению с ним во всех других странах феодализм имел существенные особенности, количество которых увеличивается по мере движения на Восток»).

Мнение — весьма скептическое — об «особом», «третьем», не азиатском и не европейском пути России складывается у Свака, похоже, именно в свете представления о «чистоте» типов (развитие «азиатское» и «европейское» представляется ему в каждом из случаев типом чистым и цельным). «Многие и много говорят о "русском пути". Однако во всемирной истории мало положительных примеров, связанных с движением по третьему пути» (значит, все-таки есть? К сожалению, эта мысль далее не развивается). Теория «евразийской школы», стремившаяся «отграничить Россию как от Европы, так и от Азии», «не выдержала, — говорит он, — проверки временем», поскольку «не существовало такого симбиоза Азии и России, который избавил бы русскую землю от "грешного" Запада, причем таким образом, чтобы при этом не надо было тащить с собой балласт азиатской отсталости».

То есть, похоже, автор представляет собой любопытный тип «западника без западничества»: не считая западный тип развития нормой, образцом и ценностью, он, однако, принимает «западное», европейское, сложившееся к XIX веку видение мира и истории за самую природу вещей — оно встроено в его взгляд на права естественной структуры.

При всем этом мышление автора нельзя назвать стереотипным (очередной повод задуматься о том, что традиционализм и стереотипность отнюдь не синонимичны друг другу). Взвешенно, с терпеливой аккуратностью Свак демонстрирует, как устроены и откуда взялись некоторые характерные сюжеты русского исторического существования и — что и того интереснее — распространенные даже среди его коллег-историков представления об этих сюжетах. То есть этот по видимости тихий традиционалист потихоньку и без революционных жестов работает над разрушением шаблонов. Он разбирается в том, насколько справедливы такие представления, живущие в умах (в том числе профессиональных) едва ли не на правах очевидностей. Например — так ли «неограниченна», как привычно думать, была русская монархия (отнюдь, как выясняется, не была: «миф о неограниченной царской власти был создан побывавшими в Московии иностранцами, которые, независимо от

своей национальности и веры, единодушно подчеркивали обширность власти русского государя»). Что за мотивы двигали русскими самозванцами в Смутное время и позже. Много ли по существу общего у двух самых ярких — и чаще всего сближаемых в историческом воображении — русских монархов-деспотов: Ивана Грозного и Петра Великого (нет, немного: «сравнение этих двух исторических личностей <...> надо признать натянутым»). Словом, описывает детали, из которых по обе стороны нашей границы выстраивается образ России — «русская парадигма». Удастся ли ему при этом быть объективным? Пожалуй, да.

Читатель получит в книге ответ и на вечно интригующий вопрос, «как *они* нас видят». Прежде всего, говоря о проблемах русской историографии, Свак уделяет много внимания тому, как их видят венгерские историки (не переводившиеся на русский и не известные здесь никому, кроме совсем уж узких специалистов). Кроме того, особый раздел сборника — «Hungaro-Russica» — он отводит русско-венгерскому историческому взаимодействию.

Правда, ни один из сюжетов этого раздела не принадлежит к тем, что простому участнику исторического процесса приходят в голову в первую очередь. О самых болезненных точках этого взаимодействия — ни о подавлении венгерского восстания русскими войсками в 1849 году, ни о Венгерской советской республике 1919 года и об участии в ее судьбе Советской России, ни о 1945-м, ни даже о 1956-м — здесь не сказано (почти) ничего: 1849-й и 1956-й годы только упомянуты, 1919-й и 1945-й даже не названы. Вопрос, принадлежит ли воздержание от этих

потенциально конфликтных, толкающих к пристрастности тем к явно принятым автором для себя правилам непринадлежности, остается открытым. Говорится же здесь о союзе между князем Ференцем Ракоци I и царем Петром, заключенном в сентябре 1707 года, — проблематичном, вынужденном, безусловно более значимом для венгров, чем для русских, и не принесшем желаемых результатов ни одной стороне; о напряженности венгерско-российских отношений после краха социализма и вступления Венгрии в НАТО и об их заметном налаживании при Путине («Существует мнение, — пишет автор в статье 2007 года, — что венгерско-российские отношения настолько хороши, что это уже вредит нам»). Зато здесь помещен любопытный очерк судеб венгерской славистики «в десятилетие смены режима», на которое — особенно на его начало — пришлось сильная идеологическая волна отталкивания от всего русского, наложившая изрядный отпечаток и на научную работу (очередное свидетельство трудноразрываемости политического и интеллектуального опыта).

Кстати, ни об одном из вошедших в книгу текстов не сказано, что это перевод. Получается, что Дюла Свак написал все это по-русски (или что то же сам и перевел). Так вот: если бы не иноязычное имя, ничто не свидетельствовало бы о том, что автор изъясняется на чужом для себя языке. Ничто вообще. Это язык такой точности, ясности и чистоты, на каком пишет далеко не всякий называющий себя русским. И вот это, да — самый яркий, безусловный и редкостный случай русофилии, который мне когда-либо случилось видеть.

Блаженство увечья

Рубрику ведет Лев Аннинский

Упасть, изваляться в святой и блаженной грязи...
Ни в сказке сказать, но воспеть пересохшей гортанью.

Борис Кутенков

Когда я осторожно спросил, сколько Борису Кутенкову лет, он так же осторожно ответил, что не любит объявлять свой возраст.

Ответ я нашел в стихах:

«Пускай по паспорту мне двадцать. — Я постарею лет на сорок...»

Постареет — от моих биографических вопросов? От того, что я пристану со «смыслом жизни» и прочими мерихлюндиями моего века — века блаженного просвещения и химерического счастливого будущего?

Он, пожалуй, ответит, что «устал от лжи и ума», сцепив вместе эти рекорды интеллекта. И предложит вслушаться в причитанья блаженной Люды. Или блаженной Кати. Или юродивого Вовы. Или сумасшедшей Наташи.

А если я попрошу более вменяемых свидетелей и менее увечных примет времени, то получу в ответ: «жиги, фокстроты и арии», а мало будет — «чудеса без карнавальных причуд, красоту без фотошопных прикрас». А мало и этого — «трындеж мэгол-агентовский» «эс-эм-эс-собеседников» и магическое ЖЖ, а еще — «террасу с кофеваркой, ноутбук»... Еще? Может, садовых лилий хочется? Пожалуйста, вот вам дачно-деревенский пейзаж, Лакинско-Собинский район Владимирской области: «плетень, иссушенный пастельно-недвижимой ленью; пастух, матерящий козу, что отбилась от стада».

Нет, не дожидаться от Бориса Кутенкова ни проклятий тоталитаризму, ни словословий демократии, ни запаха густой политичности девяностых или пустой аполитичности нулевых — приходит наконец-то поколение, которое эти самые девяностые провело в детсадовских фартучках, а нулевые получили как нечто данное, само собой разумеющееся, изначально...

И история для них — как веселый пес в лодке Джерома Клапки: хочешь — хеттам махни хвостом, хочешь — персам или афинянам, а если Афродиту из пены извлечешь, то это будет пена из соседней пивной и Дионис — «как обычно, с пьянцой». И сезонники-таджики в связке со всесезонными «мусорАми». И над всеми — песенка Рины Зеленой... то ли из допотопной радиопередачи, то ли из новейшей коллекции детской классики...

Что поражает в умонастроении этого новейшего поколения, так это обилие скрытых и открытых цитат. Земля вспахана, засеяна и убрана поколениями поэтов-предшественников. Плоды повсюду. Причем это не центоны приснопамятной эпохи: то ли там авангард-структурализм, то ли пост-авангард-постструктурализм, когда жанр подымается как знамя эстетического бунта. Тут, я думаю, другое: мир просто вымощен литературой; куда ни ступишь — искусность в роли естественности. Или

естество, из-под которого попискивает искусство: Рина Зеленая и пласты цитат лучших и талантливейших предшественников.

Хотя вроде бы и не с чего.

А кто поможет, если душа отшатнется, приняв тебя за бандита?

«...И выберет момент, и с шеи срежет нить, приставит к горлу нож и будет мстить — за перерезанную пуповину, за все, что долго било, гнуло, жгло, царапалось и изнутри рвало... за все, в чем был и не был виноват...»

Стих щегольской. Иногда — щегольски шатающийся. Рифмы безукоризненные, иногда неполные, ассонансные, но — без тени небрежности или недотянутости, все отлично встроено в ритм, а ритм словно бы качается от непредсказуемой воли. Пошли-таки на пользу советские десятилетия: всеобщий наробраз и культ чтения...

Но все-таки: Есенин тут при чем? Собака Качалова?

Да при том же, что и собака Джерома. Где Джером, там и Джим. Мир дышит поэтическими вздохами. Сейчас откликнется Лермонтов:

«...Что хочешь пей гуляй играй а он блаженный просит рая как будто есть на свете рай и можно снова все спокойно начать с нуля одной строкой как будто в чем-то или в ком-то хотя бы в чем-то есть покой...»

Покая нет. Бури нет. Знаков препинания тоже нет. Наверное, смысла в них нет. И бессмыслицы тоже нет. А что есть?

Сейчас уясним с помощью Пушкина и Ахматовой.

«...в бутылке из-под “Фанты” чахнет роза с-ума-сводяще в кране капает вода (читатель ждет уж рифмы “из мороза”) но нет из перманентного невроза безрифмо-безразмерного невроза растут стихи не ведая стыда...»

Лучше бы уж не ждать. И не давать советов. (Строки, пожалуй, разделю, чтобы кач ритма был яснее):

«Советов лишь, прошу, не надо. Не с кем // мне говорить в моей стране. Молчи. // А вырваться не выйдет — знаешь точно, // и дымоход закрыт, вот в чем труба. // Ты накрепко привязан к месту, почве, // которой дышит пряная судьба».

Почва и судьба дышат пастернаковскими заветами, но лейтмотив-то — другой:

«Мне не с кем говорить в моей стране».

Это уже Мандельштам?

А вот, наконец, лучший и талантливейший:

«Болезнь везде, болезнь всегда — в невзгоде и в пыли. Не отставай, моя звезда: терпи. И вновь боли».

Неспроста же каламбур, вынесенный в заглавие книги, обыгрывает ту же тему: «Жили-бОли». Это — лейтмотив. Ступить некуда — везде тени поэтов-предшественников. Наступишь — болит.

Нет пустого места. Все заполнено, забито. А под ногами — не опора, а пустота.

И это, кажется, экспертиза того мира, который достался в наследство двадцатилетним экспериментаторам наступившего двадцать первого века.

Ты зряч. Но бессилён. Все, что брезжит, тотчас увязает в тумане. Нелюбимых полно. Может, кто и любит, да не поймешь, любит ли. О счастье говорить бессмысленно: счастье — это лишнее. Несчастье — вероятно: могут ограбить, пырнуть ножом, но если подфартит, останешься жить. Враги и друзья малоразличимы: «недодрузья удирают во всю прыть», враги «радостно приближаются».

Горячечный бред лезет в уши. Лучше не отвечать. Говорят, что нет выхода, но и это бред. Выход — в ад, и мы туда шествуем гордо. Абсолют — иллюзия, если он и есть, то немошен. Бог есть или бога нет — без особой разницы.

Можешь остаться ни с чем: не удивляйся. И не повторяй за американцами, что каждому причитается «глоточек дерьма». Если бандиты — «данность ночного города», то дерьмо — данность большого мира. Мир увечен. Благодать развенчана.

Блаженное увечье, развенчанная благодать — это неизымаемо из мира и несдираемо с лиц людей, втянутых в абсурд бытия. Можно плясать вприсядку, ожидая перемен, но лучше принять эту жизнь как неменяющуюся данность:

«...Пыльно, блаженно, миндально. Все — промысел, солнечный замысел ужа-са, счастья, беды».

А счастливое детство, оставленное где-то за плечами? А недочитанные книжки, ожидающие, что их дочитают? А молоко, которым там всегда напоят?

Прокишим — напоят. «Другого — нет». Знатоки советской лирики почувствуют здесь привкус «прокиших сливок» Багрицкого, вряд ли мобилизованных специально, но вполне естественных при таком расчете с детством.

Перегляд с детством, оставленным где-то на полстранице, объясняет у Бориса Кутенкова главный, наверное, мотив: мотив круга. Жизненного круга, который никуда не выводит, а возвращает все к началу.

Или это полукруг — чтобы не замыкать бытие в безысходность и не смущаться от того, что судьба валяет дурака...

«Мы этим летом путали друг друга так бережно, что, дурочку сваляв, свернула жизнь с троллейбусного круга и нас вернула на круги своя...»

Благодать развенчана. Но может и повенчаться вновь.

Счастье — химера. Но если химера исчезнет, то может опять возникнуть.

Бытие — увечно. Но в этом увечье есть блаженство. Если, конечно, не лезть в смысл, отсутствие которого лучше не замечать.

Но как — в живой-то жизни?

А так: идут двое в кабак, за ними — третий. То ли лишний, то ли не лишний. Незаметный такой, тихий. Как манекен.

Заказывают по сто грамм. Выпивают. Каждый знает за что. Но не скажет.

«И, не вспомнив о том, что было, разойдутся за просто так: кто — себе вырывать могилу, кто — на скрипке играть в кабак. Человек — умирать в потемках с ненадежной ордой стихов, где пиджак, на локтях протертый, как дамоклова вечность, нов; где звучащая тишь повисла, где и сам превратишься в звук, что от века искомей смысла, описавшего полукруг».

Этот третий («человек»), который протер локти, записывая стихи, может рассчитывать на отыскание смысла. Если увидит смысл в мече, нависающем над пирующим Дамоклом, в осине, на которой можно повеситься вослед Иуде, в писании стихов, похожем на перетаскивание камней по следам Сизифа.

Но мир тысячелетия помнит же и Дамоклов меч, и Иудину осину, и Сизифов камень!

Значит, есть блаженство в этом собирании камешков, веточек, обрубков, обломков, обрезков бытия. Надо только подбирать кусочек к кусочку... Глядишь — совпадет, срастется, сцепится.

Вот так и соединяешь фрагменты бытия, надеясь, что благодатная картина все-таки проглянет и блаженная истина восстанет из увечья.

Горько и сладко кружатся кусочки жизни в стихах Бориса Кутенкова, сцепляясь если не в круг, то в полукруг, а если не в полукруг, то в неожиданное соседство: вот-вот забрезжит общая картина...

Да не пазл ли это?!

Да ведь подсказано:

«Я сложил бы тебя, словно пазлик, легко и беспечно...»

Еще одна примета нашего быта-бытия: вроде бы фрагменты, эсэмэски, сайты, файлы, ноутбуки, ЖЖ... Пазлы!

Легко не бывает. Беспечность — притворная. Боль — нестоящая. Надежда — необъяснимая. И неотступная.

Кусочек к кусочку, глядишь — и сложится.

Summary

This issue comes out on the eve of the VI Congress of artistic intelligentsia and scholars of the Commonwealth of Independent States, which coincides with the twentieth anniversary of this organization. This significant coincidence gave birth to the idea of the issue intended to show promising perspectives of the dialogue between different cultures – first of all on the territory of the CIS and Baltic countries. Contacts of multilingual cultures free from ideological dictates are able to accumulate positive experience of renovation and reveal both the potential of collaboration and the complicating factors.

Both attraction of cultures to each other and upholding of cultural originality are characteristic of the epoch of globalism. The point of intersection of these tendencies, their golden section we assume as the main point of applying our efforts because “Drouzba Narodov” has always been and is now that very crossroad where different cultures are meeting.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В 2011 году
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.
Нашиндекс 70250

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Сожаеем, но редакция нашего журнала не имеет возможности рассматривать рукописи, приходящие электронной почтой.

Вовсех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Свидетельство о регистрации товарного знака № 288681

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 мая 2005 г.

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор, заместитель главного редактора — 691-62-27, заместитель главного редактора (производственные вопросы) — 695-52-03, зав. редакцией — 691-62-27, отдел прозы — 691-85-10, отдел поэзии — 691-63-63, отдел публицистики — 691-05-09, отдел критики — 691-64-50, факс: 691-63-54.

E-mail: dn52@mail.ru, <http://magazines.russ.ru/druzhbа/>

Сдано в набор 20.07.11. Подписано в печать 22.08.11. Формат бумаги 70 x 108 1/16. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 19,60. Усл.кр.-отт. 20,30. Уч.-изд. л. 22,05. Тираж 2000 экз. Заказ 3777. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ОАО «Издательский дом “Красная звезда”». 123007, г. Москва, Хорошевское ш., 38. <http://www.redstarph.ru>